ЖОРЖ
СИМЕНОН

Я ДИКТУЮ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник вошли избранные страницы устных мемуаров Жоржа Сименона (р. 1903 г.). Печатается по изданию Пресс де ла Сите, 1975–1981. Книга познакомит читателя с почти неизвестными у нас сторонами мастерства Сименона, блестящего рассказчика и яркого публициста.

- Жорж Сименон
  - Сименон вспоминает
  - Из книги «Человек как все»
  - Из книги «Следы шагов»
  - Из книги «Маленькие люди»
  - Из книги «Ветер северный, ветер южный»
  - Из книги «Скамейка на солнышке»
  - Из книги «От подпола до чердака»
  - Из книги «Под сенью нашего дерева»
  - Из книги «Пока живу»
  - Из книги «Вынужденные каникулы»
  - Из книги «Рука в руке»
  - Из книги «За стеклянной дверью дома»
  - Из книги «Я остался мальчиком из хора»
  - Из книги «К чему зарекаться?»
  - Из книги «Точка с запятой»
  - Из книги «Цена человека»
  - Из книги «Говорят, что мне семьдесят пять»
  - Из книги «Когда наступают холода»
  - Из книги «Права, которые нам остаются»
  - Из книги «Спящая женщина»
  - Из книги «День и ночь»
  - Из книги «Судьбы»
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187

- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203

Жорж Сименон
Я диктую
Воспоминания

Я счастлив, что после знакомства с циклом романов о Мегрэ и с «трудными» романами мои верные русские читатели смогут прочесть воспоминания и раздумья старика, каким я теперь стал; они названы «Я диктую», потому что я диктовал их на магнитофон.

С самыми сердечными пожеланиями моим читателям в надежде не слишком их разочаровать.

Жорж Сименон, август 1982

Сименон вспоминает

В конце 1972 года, оставив незаконченным очередной роман «Оскар», Жорж Сименон резко оборвал свою деятельность всемирно известного писателя-романиста. Принятому решению он остается верен и сейчас. Многие годы он, по его собственному признанию, «вживался» в судьбы других людей — созданных им персонажей, — смотрел на мир их глазами, сквозь призму чужих несчастий и чужой боли. Но вот наступил момент, когда писатель почувствовал необходимость говорить от своего имени. Изо дня в день в течение десяти лет Сименон беседовал сам с собой перед диктофоном, ставшим «последней игрушкой старого человека», с помощью которой он пытался сказать о том, что «познал в течение долгой жизни», о том, что запало ему в сердце.

«Надиктованное» печаталось на машинке секретарем писателя и после небольших исправлений отправлялось в парижское издательство «Пресс де ла Сите». Так на полках книжных магазинов появился двадцать один том воспоминаний Сименона, явление в своем роде уникальное. Это — не дневники (в них нет или почти нет хронологической последовательности), не мемуары в узком смысле слова и не исповедь, автор которой хотел бы оправдаться в чужих или своих собственных глазах. Определить жанр появившихся книг не в состоянии пока и сам автор. Важно то, что именно такая, нетрадиционная форма оказалась наиболее приемлемой для писателя, стремящегося высказаться, открыть людям свою душу и помочь им понять самих себя и окружающий мир.

Сейчас на Западе мемуары пишут все. Издатели умело эксплуатируют успех «воспоминаний» так и не повзрослевших вундеркиндов и политических ренегатов, беглых каторжников и отставных министров.

Отношение Сименона к обширному потоку современной эпистолярной и мемуарной литературы — двойственное. Документ, обогащающий наши представления о жизни, о человеческой природе, о глубинных движениях души и скрытых сторонах человеческих поступков (именно поэтому в сознании Сименона особое место занимает переписка Ф. М. Достоевского), нередко, на его взгляд, дает лишь фальшивый портрет его автора, который изображает себя таким, каким ему хотелось бы казаться потомкам.

Воспоминания же Сименона отмечены большой искренностью, порой, в том, что касается его собственной интимной жизни, — откровенностью, которая может показаться

излишней. Сименон стремится восстановить о себе правду — в противовес легендам, которые во множестве слагались в западной печати и в некоторых книгах о нем, о его образе жизни, даже о том, как он работал над своими произведениями. В цикле, названном им «Я диктую», он то делится впечатлениями о прожитом дне, то размышляет о том, что происходит в мире, то мысленно возвращается к детским и юношеским годам, ко времени своих литературных дебютов в Париже или к воспоминаниям о совершенных им путешествиях. При этом он тщательно избегает всего, что может смахивать на сенсацию, возбудить у читателя нездоровое любопытство, задеть или обидеть кого-нибудь.

В «диктовках», или в монологах, как он склонен называть их, — немало повторений. Сименон ведет неторопливое повествование, как бы стараясь ответить самому себе на вопрос о том, чем же была его жизнь, понять смысл своих поступков, отношений с другими людьми.

Сделать это невозможно, не пытаясь одновременно проникнуть в существо современной эпохи и происходящих в ней изменений. Так за картинами частной жизни одного человека и его близких вырисовывается облик окружающего мира, то прекрасного и радостного, то страшного и уродливого. Несмотря на его излюбленный принцип «понять и не судить» (надпись на экслибрисе Сименона), мы замечаем, как из-под пера мемуариста все чаще вырываются строки гнева и осуждения. Не без некоторого удивления сам писатель отмечает, как его рассуждения о современности все больше своим гневом и возмущением походят на то, что писал шестнадцатилетний юноша, впервые столкнувшийся с социальной несправедливостью.

Хотя десять лет назад за диктофон сел человек с вполне сложившимися взглядами, установившейся жизненной позицией, страницы воспоминаний свидетельствуют о неустанном движении мысли писателя и его склонности к не признающему компромиссов самоанализу. Внимательного и как бы стороннего наблюдателя, пытающегося отделить себя от быстротекущей жизни временной дистанцией, подчас сменяет проницательный обличитель и судья.

Сименон видел и знает больше, чем это нашло отражение в книгах воспоминаний. В этом нас убеждают и его романы, и острая, злободневная публицистика, которая еще ждет встречи с советским читателем. Судьба сводила романиста и с сильными мира сего — банкирами, министрами, газетными магнатами, — и с людьми, определявшими целые направления в современном искусстве, литературе и науке. Среди друзей Сименона — Чарли

Чаплин, Жан Габен, Жан Ренуар, Федерико Феллини, Вламинк и Дерен, ученые-биологи, медики, юристы. Он встречался с сюрреалистами 20-х годов, с Пикассо, переписывался с А. Жидом и другими писателями. Имена появляются и исчезают, лишь иногда — несколько строк, яркие, меткие характеристики. Воспоминания уводят нас то в Америку, с которой связаны десять лет его жизни, то в Париж, то к пигмеям Тропической Африки, то в бельгийский город Льеж начала нынешнего века — на родину Сименона, чаще же всего — в маленький дом с садом на окраине Лозанны, где в последние годы обосновался писатель. Не правда ли, как о многом еще хотелось бы расспросить писателя.

Литературную судьбу Сименона можно было бы считать вполне благополучной. Его книги расходятся многотысячными тиражами в десятках стран мира. По его романам поставлены уже, вероятно, сотни фильмов и театральных спектаклей. О нем пишутся книги и диссертации; практически почти невозможно учесть все посвященные ему статьи. О живом интересе к его творчеству писали Ф. Мориак и У. Фолкнер, Р. Мартен дю Гар и Ч. Сноу. И все же к несомненному успеху, к необычайной популярности Сименона примешивается иногда какой-то странный привкус. Даже признавая особую значительность романов о полицейском комиссаре Мегрэ, а тем более так называемых «трудных», социально-психологических романов Сименона, многие до сих пор еще числят писателя по ведомству то ли детективной, то ли — шире — приключенческой литературы, призванной доставлять читателю развлечение, не всегда требующее большого напряжения ума.

В конце концов, упомянутые выше жанры — законные побеги древа художественной литературы, и можно было бы не обижаться за писателя, оказывающегося по соседству со многими другими почтенными авторами, если бы не одно существенное обстоятельство.

К писателям, работающим в различных жанрах, исследователи предъявляют и разные требования. Это в большой степени правильно и разумно. У А. Конан-Дойла или А. Кристи не следует искать эпические полотна или глубокое философское осмысление жизни, у Т. Манна или Р. Роллана — запутанную интригу, острые сюжетные повороты или изображение загадочных и страшных преступлений. Мы судим о писателях в соответствии с законами их творчества. Разумеется, были писатели, которые, подобно У. Фолкнеру, отстояли право соединять в своих произведениях эпический размах с почти «классическим» детективным построением, и критики были вынуждены с этим

примириться. Беда, однако, заключается в том, что, отнеся писателя к определенному, точно очерченному жанру, исследователи зачастую обращаются в его произведениях преимущественно или даже только к тому, что имеет отношение к данному жанру, не замечают и не ищут (иногда не хотят замечать и искать) то, что к нему не относится. Создается своеобразная литературоведческая инерция, которая так много повредила Сименону-романисту, да и не одному ему. Известно, с каким трудом пробивали себе дорогу переводы его «трудных» романов, как охотно публиковали романы о Мегрэ, но и в Мегрэ видели лишь смелого и опытного полицейского, а ведь именно ему писатель доверил многие свои важные мысли и суждения о жизни.

Литературоведы постепенно меняют свою точку зрения на творчество Сименона[1]. Однако существует и читательская инерция. Мы ведь тоже читаем в соответствии со все еще, к сожалению, недостаточно изученными законами. Едва принявшись за какую-нибудь книгу, мы как бы заранее настраиваемся на определенный лад. Так и с романами Сименона, от которых мы ждем острых ощущений, увлекательного, захватывающего действия. Но как легко, оказывается, в этом случае «пропустить», не заметить в этих романах (в том числе и в романах о Мегрэ) что-то существенное и важное. Это вдвойне вредно, ибо обедняет и автора, и читателя.

Книги воспоминаний открывают нам нового Сименона. В них есть многое из того, что не нашло места (или осталось не замеченным нами?) на страницах его романов, и знакомство с ними позволит по-новому прочесть и эти романы. Мы увидим то, чего не видели, поймем то, над чем прежде не задумывались. Сименон предстает перед нами как писатель, глубоко связанный с современностью.

В 70-х годах романист и критик Клод Мориак, сын Франсуа Мориака, опубликовал шесть обширных томов весьма своеобразных воспоминаний, включив в них страницы собственных дневников, дневников отца и деда, записи бесед со многими выдающимися людьми. Не будем останавливаться на этих не лишенных интереса книгах. Заметим лишь, что автор дал им несколько странное название — «Неподвижное время» («Le temps immobile») — Мысль К. Мориака, если несколько упростить ее, заключается в том, что, как бы ни развивались события, что бы ни происходило в нашей жизни, время не идет вперед, оно словно топчется на месте. Близкие к этому ощущения характерны для большой части французской интеллигенции, почувствовавшей

себя после второй мировой войны как бы выключенной из Истории.

Иное — у Сименона. Чувство принадлежности к миру, быстро изменяющемуся и подвижному, ожидание сдвигов, переломов, захватывающих все общество, все области человеческой деятельности, пронизывают его воспоминания. Мы живем между двумя мирами, двумя цивилизациями, между двумя формами отношений между людьми — эта мысль лейтмотивом проходит в сознании Сименона. «Много говорят о потрясениях атомной эры, — пишет он в автобиографической книге «Когда я был старым»[2],— ищут новые истины, новые основы жизни». И позже, в первом же томе своих «монологов»: «Мне кажется, что мы живем в такой период истории, когда человек ищет новые основания». Острое ощущение царящей в мире дисгармонии, неблагополучия не покидает писателя. Это неблагополучие затрагивает самое жизнь: «цивилизация бетона» безжалостно наступает на «цивилизацию деревьев», могущественные наднациональные монополии стремятся подчинить себе весь мир («Капитализм становится империализмом», — констатирует Сименон), и над человечеством нависла угроза гибели в атомной войне.

Предчувствие возможных изменений и катастроф давно волнует многих деятелей культуры. Их тревожит то, что человек утрачивает возможность воздействовать на собственную жизнь, а происходящее в мире не поддается его контролю. За «круглым столом» газеты «Леттр франсэз» в 1959 г. писатель П. Гаскар говорил: «Происходящие изменения фантастичны. Завтра нас могут послать на Уран или превратить в пар водородной бомбой».

Как бы отвечая на подобные утверждения, Сименон неоднократно заявляет: я — не пессимист. Он ждет пришествия нового мира: «В глубине моего существа живет чувство, заставляющее меня аплодировать всему, что приближает нас к завтрашнему миру». Он приветствует рождение мира, «основанного на новых ценностях», и с волнением фиксирует признаки грядущих перемен. Повсюду «некогда угнетенные классы, общественные группы, народы» поднимают голову, буржуазные правительства встречают все большее сопротивление. На страницах воспоминаний появляется мысль о революции, и пусть представление о ней носит у Сименона несколько наивный характер, он готов принять ее во имя будущего счастья людей, во имя тех, о ком были его романы. При этом он твердо убежден: поступательное движение истории остановить нельзя, хотя в мире есть еще немало сил, которые хотели бы сделать это. Медленная эволюция не кажется ему решением насущных, безотлагательных проблем, поставленных временем.

Мир нуждается в кардинальном преобразовании, потому что господствующие в нем капиталистические отношения стали препятствием на пути движения человечества вперед. Это капитализм, сопротивляясь поступательному ходу истории, пытается сохранить режим шаха, «позор современного мира». Это заправилы капиталистического бизнеса, почувствовав угрозу своим прибылям и привилегиям, «могут развязать какую угодно катастрофу». С гневом пишет Сименон о торговцах смертью, о правительствах, которые «вопреки решениям ООН дерутся между собой за поставки оружия в ЮАР, страну, где негры все еще рассматриваются как рабочий скот», о том, как «президент, а вслед за ним премьер-министр Франции ездят из страны в страну, домогаясь, точно нищие, заказов на поставку подводных лодок, танков, атомных энергетических установок», о французском миллионере М. Дассо, который с помощью обслуживающего его правительства наводняет весь мир машинами для убийства. Война — прибыльное дело, а лучшее на свете ремесло — ремесло тех, кто торгует оружием.

Мир нуждается в кардинальном преобразовании и потому, что еще слишком много экономически бедных стран, из которых выжимают прибыли страны богатые. Антиколониальная тема — одна из важнейших в творчестве Сименона.

Мир должен быть преобразован и потому, что режим Пол Пота, уничтоживший половину населения своей страны, сохраняет представительство в ООН, и потому, что в Никарагуа (Сименон пишет об этом в 1978 г.) правит «семья, разыгрывающая из себя королевскую династию» и «противостоящая народу с помощью винтовок и пулеметов, не говоря уже о других, более изощренных способах убивать».

«В этом году пало не то пять, не то шесть диктаторов. Разве это не радостно? Конечно, не для всех. Не для тех, кто посадил их на эти посты, например не для ЦРУ, которое ставит у власти и поддерживает самых жестоких южноамериканских диктаторов».

Сегодня особенно актуально звучат слова Сименона об огромной армии безработных, жертвах современного капитализма.

Мир нуждается в преобразовании…

Конечно, Сименон не революционер. Как многие писатели Запада, которых можно было бы назвать «социалистами чувства», но не точного научного знания, он довольно быстро теряет под ногами почву, как только речь заходит о конкретных формах общества будущего. Сименон хорошо знает капиталистическую действительность наших дней, буржуазный образ жизни. Плохо — при всем сочувствии ему — социалистическое общество, реально

создаваемое будущее. Перед ним один за другим возникают вопросы, на которые он не находит убедительного ответа. По каким образцам и кто будет строить новый мир на развалинах ненавистного ему буржуазного мира? «Кто? Мы? Как? Почему? И что такое *наша* мера? Чья мера? Мера чего? — спрашивает Сименон самого себя и тут же — характерная черта его позиции! — добавляет — Все же я чувствую — за этими неловкими словами что-то есть».

Он понимает, что нужно прежде всего преодолеть многие застарелые привычки, равнодушие к миру, в котором мы живем. Люди слишком привыкли к тому, что ежедневно им говорят по радио и телевидению о социальных и политических бедствиях, о стихийных катастрофах, слишком поглощены своими мелкими заботами. Сименон указывает на одну из главных бед сознания современного человека на Западе: «Можно было бы сказать, что мы не созданы для того, чтобы думать в масштабах всего мира или хотя бы континента». Если мы мысленно вернемся к некоторым его романам и внимательно вдумаемся в них, то найдем в них предлагаемое писателем объяснение того, как, почему, в каких условиях произошло «отречение», самоустранение «маленького человека» от участия в судьбах окружающего его мира, его отлучение от Истории.

Все за тем же «круглым столом» в «Леттр франсэз» писатели не раз говорили об ограниченности наших знаний, о невозможности охватить в целом, понять современный мир. Прислушаемся, например, к словам Б. Пенго: «Писатели сегодня абсолютно не способны получить общую картину мира… Они создают литературу изоляции, отчуждения. Чувствуешь себя совершенно чужим по отношению к вещам, которые описываешь, и страдаешь от этого». По мнению К. Симона, писатель «знает лишь обрывки реальности, фрагменты, смысл которых ему не доступен».

Сименону эта позиция чужда. Такие его романы, как «Братья Рико», «Грязь на снегу», «Лунный удар», да и многие другие, свидетельствуют о стремлении писателя охватить современность в самых различных ее проявлениях, о принятии принципиальной возможности проникнуть в суть происходящих событий, обнаружить скрытые пружины человеческих судеб.

Размышляя о будущем, о том, кто будет строить его, Сименон обращается к молодежи. Ей он посвятил ряд лучших своих романов. В них — и тревога за сегодняшнее положение той части молодежи, которую отсутствие идеалов, безработица, социальная несправедливость толкают к преступлениям, и вера в молодежь, способную преодолевать сопротивление враждебного ей

общества, его бездушие и жестокость. «Мы, люди пожилые и старики, не создадим новую мораль, — говорит Сименон. — Ее создадут сегодняшние дети и молодежь, которую упрекают за длинные волосы и за то, что она выходит на улицы с плакатами в руках. Они — предмет почти всеобщего порицания. Однако от них рождается мир будущего».

Сименона беспокоит то, что часть молодых людей, в том числе и тех, которые принимали участие в волнениях весны 1968 года, приспосабливается к буржуазному образу жизни, принимает условия его игры, подчиняется его правилам. Процесс этот он прослеживает во многих романах, которые можно было бы назвать романами воспитания-развращения. В книге воспоминаний «Вынужденные каникулы» Сименон с горечью отмечает, как постепенно его собственные сыновья приобретают привычки, вкусы, характерные для «обыкновенных» буржуа нашего просвещенного времени. Они, конечно, не презирают «маленьких людей», которые их окружают, но они, что еще хуже, их игнорируют. Их жизнь сосредоточена на них самих, на их будущем, на их благополучии, сегодняшнем и завтрашнем. В мае 1978 года Сименона постиг тяжелый удар: покончила жизнь самоубийством горячо любимая им дочь Мари-Жорж, не сумевшая и не пожелавшая пойти по пути приспособления к тому, что она ненавидела и не принимала[3].

В центре внимания Сименона-писателя всегда человек, «несчастный и чудесный маленький человек, исполненный героических порывов, надежд — и так часто — повседневного мужества, которое ничто не может истребить». Сименон пишет о тех, чья жизнь «состоит в том, чтобы любой ценой добывать хлеб насущный для себя и для своей семьи», о тех, кто, как легендарный Сизиф, всю жизнь катят вверх тяжелый камень собственной судьбы, который то и дело скатывается к подножию горы, снова и снова подхватывают его, пока не наступает трагический перелом, выбивающий их из «нормальной» колеи жизни, сталкивающий их с безжалостным и бесчеловечным Законом.

Еще в юные годы Сименон мечтал о роли человека, «выпрямляющего» судьбы других людей, их защитника (самого Сименона часто называют «адвокатом человеческих душ»). Эту роль, как известно, писатель отвел главному своему герою — Мегрэ. Честность большого художника в конце концов заставила писателя взглянуть правде в глаза: ни он сам, ни Мегрэ не в состоянии бороться в одиночку. Мегрэ побеждает в борьбе *против* настоящих преступников (на какой бы ступени социальной

лестницы они ни стояли), но терпит поражение в борьбе *за* оступившихся, несчастных, затравленных обществом и его законами «маленьких людей».

Действующих в романах Сименона персонажей можно с некоторой долей условности отнести к двум основным категориям, резко противопоставленным друг другу. С одной стороны — власть имущие всех рангов и степеней, которые редко становятся предметом специального изображения и находятся чаще всего за кулисами основного действия; почти всегда они подаются в отрицательном плане. С другой — «простые», «маленькие» люди. К ним Сименон относится с бесконечным сочувствием и симпатией, но они в его романах являются лишь *жертвами* обстоятельств, бесчеловечного и несправедливого уклада буржуазной жизни. Каждый из этих людей живет как бы сам по себе, обреченный на одиночество. Те же, кто восстает против установленного порядка вещей, находит пути к объединению с другими людьми в совместной с ними борьбе, остались за пределами романов Сименона, в которых есть героика долготерпения и жертвенности, но нет героики сопротивления и борьбы.

Еще одно существенное обстоятельство, позволяющее понять принципы изображения человека у Сименона. «В своих книгах я стараюсь изучать только маленькие колесики, которые кажутся второстепенными, — пишет он. — Это заставляет меня выбирать персонажей довольно заурядных, а не людей исключительных. Человек, обладающий слишком большим умом, слишком развитый, имеет тенденцию смотреть на себя со стороны, заниматься самоанализом, и в силу этого его поведение оказывается неестественным». Здесь Сименон поднимает весьма важную и актуальную проблему современной литературы — проблему «аутентичности», подлинности человеческой личности, скрытой под грудой условностей, штампов, навязываемых ей обществом. Задача писателя заключается в том, чтобы снимать один за другим слои «лакировки», обнажая человека подлинного, «глубинного». Заметим, что эта тема стала одной из ведущих тем творчества французской писательницы Н. Саррот, таких ее романов, как «Портрет неизвестного», «Планетарий» или знакомый советскому читателю по русскому переводу роман «Золотые плоды».

Тем, кто писал о творчестве Сименона, еще не удалось достаточно полно проследить, каким образом, обходясь минимумом изобразительных средств, писатель в лучших своих произведениях сумел передать почти незаметные движения человеческой души, несколькими фразами очертить характер

человека. Это — одна из сильных сторон мастерства романиста. Есть, однако, в проникновении в «общечеловеческие», глубоко скрытые пласты внутренней жизни человека и некоторая опасность. Слои «лакировки», которую наносит на человека общество, — это ведь и признаки *данного, конкретного* времени; по ним, подобно тому как по годовым кольцам определяют возраст деревьев, мы точно определяем временную принадлежность человека. «Голый», как его называет Сименон, человек, освобожденный от всего наносного, может оказаться как бы вне времени, а романы с его участием в отдельных случаях могут потерять временную конкретность. Страницы воспоминаний позволяют проследить, как художественные поиски Сименона движутся между двумя полюсами — изображением человека «вообще» в некой его «вечной» сущности и изображением людей в их конкретной сущности, социальной и исторической.

В краткой заметке, предваряющей роман «Розы в кредит», Э. Триоле говорит о драматическом разрыве между психологией современного человека и достижениями научного и технического прогресса. Люди живут в «нейлоновом веке» комфорта, в «обществе потребления», сохраняя привычки и инстинкты каменного века. С нетерпением призывая новые времена, общество, основанное на новых ценностях, Сименон, как и Э. Триоле, остро ощущает губительность этого противоречия для людей нашего времени. Человек изменяется слишком медленно, несмотря на все новейшие открытия и изобретения.

Тема «общества потребления», «общества изобилия» и его развращающего влияния на души людей была одной из ведущих тем французского романа с конца 50-х годов вплоть до 1968 года, принесшего с собой в литературу новые темы и проблемы. Вспомним такие, например, произведения, как «Прелестные картинки» С. де Бовуар, «Молодожены» Ж. Л. Кюртиса, «Вещи» Ж. Перека. В творчестве Сименона мы не найдем романа, в котором эта тема была бы определяющей, центральной, в ряде его произведений она проходит как бы на втором плане, но в своих воспоминаниях писатель обращается к ней непосредственно и неоднократно. Человека сегодня заставляют потреблять, покупать даже то, в чем он совершенно не нуждается. «Речь идет о том, чтобы продавать любой ценой, отбирать деньги у наивного покупателя». «Священное слово нашей эпохи —«продавать», продавать, но не покупать. Каждая страна становится крепостью. Стараются всеми способами, даже незаконными, распространять свою продукцию по всему миру. Это тем более безнравственно, что существуют страны, где сотни тысяч людей продолжают

голодать, когда в Европе твердят об «обществе изобилия»».

Одним из самых мощных и изощренных орудий угнетения «маленького человека» являются средства массовой информации. Что такое журналистика «свободного мира», Сименон знает превосходно. Сам он проделал путь от репортера — сотрудника отдела происшествий провинциальной газеты — до автора статей на злободневные темы международной и внутренней жизни. Газетному миру в своих воспоминаниях он посвятил немало блестящих сатирических страниц. Наблюдения над современной прессой, радио- и телепередачами заставляют его с горечью писать: «Личность, которую называют «маленьким человеком», оказывается объектом такого скрытого или откровенного давления, что я не уверен, долго ли она еще сможет сопротивляться». Средства массовой информации не только вдалбливают в головы людей рекламу тех или иных товаров, но и создают ложное, извращенное представление о мире. «Сегодня утром, пробежав «Ньюсуик», я спросил себя, каким чудом еще существуют в мире миллионы, десятки миллионов порядочных людей».

Сам Сименон прямо называет тех, кто несет ответственность за существующие в мире насилие, жестокость, войны, голодную смерть тысяч людей, но «маленький человек» не случайно в его изображении оказывается одиноким, покинутым, отданным во власть неизвестных ему, анонимных сил. Если бы «маленький человек» обрел понимание сложного механизма современного мира, узнал настоящих своих врагов, он перестал бы быть маленьким и беззащитным. Пока же в романах Сименона народ безмолвствует.

Иногда возникает ощущение, что мысль Сименона, его позиция по отношению к современности как бы соткана из противоречий, самоопровержений и споров с самим собой. Это оттого, что он в постоянных поисках, заставляющих его то утверждать какие-то истины, то отказываться от них. Сименон, как и значительная часть западной интеллигенции, то пристально вглядывается в будущее во власти новых и смелых идей, то отдается на волю анахронических предрассудков, которые тем прочнее, чем больший абстрактно-гуманистический заряд в них заложен. Это касается едва ли не в первую очередь взглядов писателя на соотношение личности и народа, на проблему индивидуальной свободы и исторической необходимости.

В отличие от многих других деятелей культуры, своих современников, Сименон понимает, что историю сегодня делают (или будут делать) массы, народ: «Сейчас все решают не несколько великих людей, а массы». Сименон не испытывает

страха перед движением этих масс, и мы уже убедились, с какой симпатией относится он к тем, кто оказывает все большее сопротивление своим угнетателям.

Но вот словно оживают призраки предрассудков, унаследованных еще от XIX века, и появляется страх перед «казармой», человеческим муравейником, подавляющим и уничтожающим личность. В этом, скорее всего, можно усмотреть желание противопоставить себя нивелирующим людей тенденциям стандартизации жизни, культуры, которые на Западе принимают устойчивый характер. Сименон говорит о том, как современная жизнь превращает человека в робота, час за часом крадет у него его «я», его индивидуальность.

Стандартизация, подчинение «массе» не исключают и другой крайности, которая становится трагедией современности — одиночества человека в безбрежном море других людей. Этой трагедии посвящены многие страницы как романов, так и книг цикла «Я диктую». Сименон с сокрушением говорит о «дроблении», распаде человеческих групп, коллективов, растущем обособлении людей. Уходят в прошлое такие объединявшие их раньше «центры», как городской квартал с его кафе и их завсегдатаями, «главная» площадь или даже церковь в деревне, которые для многих были местом встреч, живого человеческого общения. На смену приходит индивидуум у телевизора, оставляющий внешний мир за порогом своей квартиры или изгородью своего сада.

«Дробление» — несомненно реальный процесс, о нем рассуждают писатели, о нем пишут в газетах и журналах, о нем говорит и Сименон. Но противоположный процесс — сплочение масс, создание «коллективов», организованно отстаивающих свои права, в том числе и право на то, чтобы каждый мог оставаться личностью, — в его произведениях пока не зафиксирован.

На страницах воспоминаний не раз появляются заявления Сименона о своей аполитичности. Еще бы! Ему хорошо известна политика буржуазная, политика капиталистических государств и партий, представляющих власть имущих. Она отключена от нравственной сферы, в ней не действуют моральные принципы и запреты, и поэтому Сименон отмежевывается от нее.

Аполитичность аполитичностью, но Сименон ясно отдает себе отчет в том, что сама история (как это было во времена фашистского мятежа в Испании или в годы Народного фронта во Франции) потребует «от каждого, в первую очередь от писателей, быть ангажированными». И когда повороты буржуазной политики, деяния буржуазных политиканов становятся особенно отвратительными, у него вырывается крик: «Неужели во Франции

не найдется никого, чтобы написать новое «Я обвиняю»?» И потом, если бы в его романах не было этого желания помочь человеку, чувства ответственности за его судьбу, значительная доля их нравственной и художественной силы пропала бы.

Время не стоит на месте, и в 1974 году Сименон готов послать своего тринадцатилетнего сына Пьера с его товарищами на улицу — разделить с другими ответственность за происходящие события.

«С раннего детства, — говорит Сименон, — я был бунтарем, бунтарем против уродства, бунтарем против несправедливости, против эксплуатации человека человеком, бунтарем против лжи организованного общества и особенно против лицемерия». Романы Сименона — свидетельство этого бунта, бунта *против…* Но *за что? За кого?*

Конечно, за «маленького человека», за то, чтобы ему спокойно жилось на земле. И другой ответ, который дает Сименон на поставленные вопросы: во имя свободы, прежде всего свободы личности.

Таким образом, писатель оказывается между двумя исключающими друг друга позициями: исповедуемой им устаревшей религией индивидуализма и деятельной любовью и уважением к человеку. Но будем справедливы: в своем творчестве Сименон, несмотря на заявление о том, что «ангажированность» вызывает у него страх, выступает прежде всего как писатель «ангажированный» — во имя человека, во имя его будущего.

Что же касается свободы в том реальном мире, в котором Сименон живет сейчас, сегодня, писатель не строит никаких иллюзий: «Я упорно ищу, какие права нам еще остаются, и нахожу очень небольшое их количество, чтобы не сказать ни одного». Это утверждение приобретает свой точный смысл на фоне, например, гимна современной западной цивилизации, который слагает другой французский писатель — Ф. Нурисье: «Никогда люди… не были столь свободны и защищены, как на нашем маленьком Европейском континенте».

Книги цикла «Я диктую» дают богатую пищу для размышлений о литературе, в первую очередь о романах самого Сименона, о «творческой лаборатории» писателя. Вместе с их автором, мысленно возвращающимся к различным моментам своей творческой деятельности, мы можем проследить становление писателя — от ранних повестей и рассказов начала 20-х годов к романам о Мегрэ, в которых детектив уже освобождается от оков внешней развлекательности, к социально-психологическим романам.

К этим романам Сименон шел далеко не таким простым путем, как полагали некоторые из его критиков. Легенда о писателе, создающем свои книги чуть ли не поточным методом, — одна из наиболее устойчивых легенд о Сименоне. Ученичество его было, однако, долгим. Известно, что до того, как он познакомился со многими произведениями французской литературы, он пережил увлечение русской литературой, влияние которой ощутимо в его романах на протяжении всей жизни. Имена русских классиков мы не раз встречаем на страницах его воспоминаний. «В 16 лет, — пишет он, — я читал русских писателей, точнее, поглощал Пушкина, Достоевского, Гоголя, Толстого, Горького и многих других. Не знаю, когда я спал. Все свободное время я проводил за книгами». Без рассказов Чехова трудно представить себе не только «Человека с собачкой», но и ряд других романов Сименона, без «Шинели» Гоголя, которой Сименон не перестает восхищаться, — разработку им темы «маленького человека». Гоголь вообще занимает совершенно особое место в сознании Сименона. «Я перечитывал Гоголя, которого считал и до сих пор считаю величайшим русским романистом» — характерное признание, в свете которого было бы небезынтересно взглянуть на многие романы французского писателя.

У Достоевского и Толстого учился Сименон проникновению во внутренний мир человека. Гениальная повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» определила пафос и направленность романа «Колокола Бисетра», современного «западного» варианта истории человека, который перед лицом смерти мучительно сознает, что «вся его жизнь была не то».

Можно без преувеличения сказать, что именно русская литература предохранила Сименона от воздействия литературы модернистской, способствовала его становлению как писателя-гуманиста, верного реалистическим традициям. Размышляя о взаимоотношениях литературы и изобразительных искусств, Сименон отмечал близость своего творчества к исканиям и достижениям художников-реалистов. Близость с живописью была нарушена с появлением «различных видов так называемого абстрактного искусства». Сименон ставит закономерный вопрос: «Не является ли новый роман, роман без романа, о котором много говорят… эквивалентом этого искусства? Я хотел бы, — добавляет он с иронией, — понять его, загореться энтузиазмом, не превратиться в реакционера. Мне это не удается… Параллелизм моего творчества, моей жизни с живописью внезапно прервался».

Среди своих учителей Сименон называет У. Фолкнера и

Д. Конрада. Литературоведам еще предстоит определить, в чем именно проявилось их влияние на творческую манеру Сименона. Во всяком случае, можно предположить, что, создавая свои «морские» романы, писатель опирался на художественный опыт Д. Конрада.

Сименон хорошо знал и французских авторов; особым его вниманием пользовались Монтень, Стендаль, Бальзак, Пруст. С Бальзаком его сближает, в частности, глубокое понимание связей человека с миром вещей, в котором он живет. Еще более важно общее с Бальзаком ощущение драматичности повседневной, будничной жизни. Происходящие за стенами заурядных буржуазных домов драмы оказываются страшнее старинных драм «плаща и кинжала». В судьбах своих героев Бальзак показывал не те драмы, что «разыгрываются при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца»[4]

Словно обдумывая слова Бальзака, Сименон пишет: «Подлинные человеческие драмы происходят чаще всего в рамках семьи… У этих драм не всегда бывает кровавый исход, при котором погибает один или несколько человек. Есть драмы, которые я назвал бы глухими, неразразившимися».

Сименон — один из талантливых продолжателей устойчивой во французской литературе традиции «семейного» романа, представленного в XX веке произведениями Ж. Ренара, Ф. Мориака, Э. Базена и ряда других писателей. Он вспоминает, как когда-то писал: «Роман прошлого века большей частью заканчивался свадьбой и каноническими словами: они были счастливы, у них было много детей. И я добавлял: вот с этого момента и начинается драма». Драмы семейные — конфликт между родителями и детьми, жестокая борьба за наследство, драмы ревности и измен, служебных неудач и тщательно скрываемой нищеты. После свадьбы начинаются семейные невзгоды и в «Истории одного развода», и в «Супружеской жизни» Э. Базена.

Вряд ли можно установить прямые связи романов Сименона с творчеством Пруста, которому Сименон посвящает несколько интересных страниц в своих воспоминаниях. И все же отметим, как иногда Сименон, подобно Прусту, обращается к мимолетным, беглым впечатлениям, которые, оставаясь до поры до времени скрытыми в глубинах нашей памяти, вдруг как бы всплывают на поверхность, а вместе с ними — целые пласты утраченного и вновь обретенного прошлого. «Вопреки тому, что в соответствии с логикой можно было бы думать, в нас остаются, — полагает Сименон, — не наиболее важные события, сильные эмоции,

значительные встречи. Чаще всего речь может идти о беглых образах, которые не поразили нас сразу. Например, запах хлева и навоза, когда мы проходили мимо фермы». В некоторых случаях такие воспоминания становятся отправным моментом для отдельного эпизода или целого романа.

Сименон — блестящий мастер воссоздания атмосферы, в которой происходит действие его романов. Он необыкновенно тонко чувствует и знает особенности той или иной среды, обстановки и передает их обычно несколькими яркими, выразительными штрихами, несколькими характерными, запоминающимися деталями. Это — привлекательная черта не только его романов, но и книг цикла «Я диктую». Сименон вводит нас то в загородный дом богатого дельца, то в крестьянскую лачугу, то в номера шикарного отеля или за кулисы подозрительного заведения, создавая эффект нашего присутствия там, куда мы следуем за писателем. Поражает острая наблюдательность Сименона, его ставшая профессиональной потребность все регистрировать в своей памяти (потребность, которая, по его собственному признанию, временами становится для него самого обузой, тяжелой, почти физической нагрузкой).

Излюбленным жанром Сименона всю жизнь был роман (исключение составляют лишь одна пьеса, сделанная им по его же роману, и несколько стихотворений), привлекавший его возможностью широкого охвата действительности, подвижностью художественной формы, многообразием выразительных средств. Не случайно Сименон, стоявший в стороне от литературных дискуссий, не захотел уклониться от спора о судьбах романа, который писатели и историки литературы вели в 50-е годы. Не касаясь специальных статей и выступлений Сименона, посвященных этому вопросу, заметим, что и в своих воспоминаниях он неоднократно обращается к проблемам романа. Вопреки распространенному мнению об отмирании романа Сименон полагает, что, пережив временный кризис, этот жанр «возродится».

Сименон не принадлежит к числу языковых пуристов, и ревнители изящной словесности, вероятно, найдут не одну погрешность в его языке. Однако сам писатель к вопросам стиля и языка, особенно его лексики, относился с большим вниманием. Он отмечал, что уже в свои молодые годы, стремясь упростить стиль, употреблял по возможности слова, передающие конкретные понятия, называющие окружающие нас предметы, слова, которые в отличие от слов абстрактных имеют общий, понятный для большинства людей смысл. Сименон с интересом относится к работам, анализирующим лексику его романов. В

книгах цикла «Я диктую» читатель найдет некоторые любопытные примеры из таких работ, дополненные его собственными соображениями. На его взгляд, сейчас особенно часто употребляются слова *работа, усталость, депрессия, мрачный* и подобные им, которые передают настроения подавленности, неуверенности человека в современном буржуазном обществе. *Усилие, радость* — вот слова, которые Сименон, словно эстафету, хочет передать своим читателям.

Негодование Сименона вызывает чрезвычайно распространившаяся за последние десятилетия «мода» на «натуралистические», непристойные слова; по его мнению, совершенно исключены из лексики художественной литературы, из языка всех средств массовой информации должны быть слова, принижающие достоинство людей.

Из маленького дома на окраине Лозанны близ Женевского озера доносятся слова писателя, прожившего богатую и интересную жизнь, в которой он никогда не изменял своему призванию человека. И среди них такие: «Когда над Европой нависла угроза размещения новых смертоносных американских ракет и мирового ядерного пожара, не может быть места для равнодушия к происходящим событиям, что было бы поистине преступлением». «Именно от СССР исходят наиболее конструктивные и реалистические мирные инициативы, направленные на обеспечение успеха разрядки, прекращение гонки вооружений, восстановление доверия и тесного сотрудничества между народами различных стран». Так говорил Сименон накануне своего 80-летия, обращаясь к советским читателям[5].

На склоне лет Сименон подводит итоги пережитому, увиденному, выстраданному. Книги его воспоминаний передают и тревогу за судьбы мира, и чувство радости от своей причастности к жизни всех людей, от общения с природой.

«Я диктую» — книга встречи с доброжелательным и мудрым собеседником, оставляющая глубокий след в сознании читателя.

В. Балахонов

Из книги «Человек как все»

18 сентября 1972 года — насколько помнится, в воскресенье — я, как обычно, спустился в кабинет. Я сделал это с определенной целью — решил записать на желтом конверте, где всегда делал пометки, имена героев нового романа. Этот роман, который я собирался назвать «Оскар», представлялся мне самым «трудным» из всех написанных мною. Вынашивал я его уже месяца четыре, если не больше.

Я рассчитывал вложить в него весь свой житейский опыт — потому так долго и не садился писать. Наверх к себе я вернулся с чувством огромной удовлетворенности, подлинного облегчения: наконец-то я приступаю к делу!

Однако 19-го, то есть назавтра, я внезапно, без всякого надрыва, без мучительных колебаний, принял решение продать дом в Эпаленже, построенный всего десять лет назад.

Почему?.. Я уже не впервые принимал подобное неожиданное решение. До Эпаленжа я сменил двадцать девять домов в разных странах, и с каждым из них происходило почти то же самое. Я вдруг начинал чувствовать себя чужим в стенах, которые еще накануне были такими привычными и в известном смысле служили мне убежищем.

Так вот, я переставал узнавать эти самые стены. Недоумевал, как могла моя личная жизнь сочетаться с такой обстановкой, и не находил покоя, пока не уезжал, вернее, не удирал оттуда.

20 сентября, на другой день после принятия решения, я пригласил к себе управляющего самым крупным лозаннским агентством по продаже недвижимости и объявил, что продаю дом и прошу его немедленно заняться этой операцией.

Воспользовавшись случаем, я поинтересовался, не продается ли в городе подходящая квартира.

26 сентября я нашел в многоэтажном доме две квартиры, которые можно было соединить в одну и таким образом устроить удобное жилье.

Как всегда в таких случаях, весь месяц я провел словно во хмелю. Я вил гнездо. С плотницким метром обходил магазины. Покупал направо и налево — не брал только дешевку шикарного вида. А мастера в это время пробивали дверь.

Переезд я назначил на 27-е. И точно в назначенный срок перебрался на новое место.

В то время пишущая машинка еще стояла у меня на своего рода верстаке, за которым я работал. Цел был и желтый конверт с

планом романа «Оскар».

Однако шли дни, а машинка и конверт казались мне все более чужими. Не берусь уточнить, в какой именно момент я принял второе решение — не писать больше романов, но всего за несколько недель оно вызрело так же бесповоротно, как и предыдущее — покинуть Эпаленж.

Вопреки предположениям многих оно явилось для меня подлинным освобождением. Внезапно у меня создалось впечатление, что я обрел самого себя. Я вновь открывал в себе чувства, которые испытывал в шестнадцать лет, когда писал свой первый роман и шатался по улицам Льежа, задрав нос и засунув руки в карманы. Люди для меня также изменились. Равно как окружающая обстановка — вплоть до деревьев по краям газонов. Она перестала быть только декорацией, материалом для рассказов и романов, средством более или менее глубокого изучения людей.

Мне больше не нужно было инстинктивно влезать в шкуру тех, с кем я встречался. Быть может, впервые за полвека я оказался в своей собственной шкуре.

Я ликовал. Я стал свободен. Я свободен и сейчас. За несколько дней, даже часов все для меня переменилось. Раньше я не отдавал себе отчета, до какой степени порабощен своими героями и их бытием. Вероятно, это происходило подсознательно: я ведь никого и ничего не «наблюдал» нарочно, чтобы использовать потом свои наблюдения. За меня все это, несомненно, проделывал мой перетренированный мозг.

Выяснилось, что его можно освободить от этой функции: мне ведь больше ни к чему накапливать наблюдения.

Наконец-то я стал самим собой! Буду ли я еще писать? Не знаю. Возможно, время от времени у меня станет возникать потребность рассказывать себе вслух разные истории или восстанавливать куски прошлого без расчета на то, что эти разрозненные воспоминания будут когда-нибудь прочтены неизвестными мне людьми.

Пишущую машинку заменил на верстаке маленький диктофон. Он не столь внушителен и скорее игрушка, чем рабочий инструмент: я ведь никогда еще ничего не диктовал.

Происходит прелюбопытная вещь. Я обещал себе больше не писать. И — как профессионал, если можно так выразиться, — больше не пишу. Но стоит у меня в мозгу возникнуть воспоминанию, я испытываю ту же настоятельную потребность зафиксировать его, как и в те времена, когда роман наконец вызревал и я бросался к пишущей машинке.

Больше я на ней не печатаю. Теперь я диктую на магнитофон. Откуда же эта потребность немедленно выплеснуть все, о чем думаешь, что заново переживаешь, хотя твои записи почти наверняка не выйдут за пределы семьи?

Мне думается, желание высказаться присуще каждому. Во всяком случае, у меня лично воспоминания детства неизменно залиты солнцем. Например, пасхальные воскресенья и понедельники.

На пасху покупали новую одежду. Та, в которой весь год ходили в школу, куда-то исчезала. Воскресная становилась будничной, и мы с гордостью надевали новые костюмчики и соломенные шляпы — мой дед дарил их всем внукам. Он был шляпный мастер, и потому мы носили настоящие панамы, думаю, единственный предмет роскоши, который был у меня в детстве.

Льеж — дождливый город. Однако все пасхи, какие я помню, были солнечные и теплые; можно было обойтись без курточки и пальто и пофорсить в новенькой соломенной шляпе.

Мы, как и все льежцы, шли пешком в деревню, расположенную километрах в трех-четырех, где находятся холм, именуемый Голгофским, и часовня, считающаяся чудотворной. Насколько мне помнится, только однажды часа в четыре пополудни налетела гроза и нам пришлось искать укрытия.

И еще одна деталь. На ферме на лугу устанавливали столы и скамейки. Там подавали кофе, содовую воду и сладкий рисовый пудинг. Но на эти яства и на людей, сидевших за столами, мы смотрели из-за изгороди, а сами пили воду или жидкий кофе, который приносили во фляжке из дому.

Я с радостью вспоминаю не только о детстве, но и об отрочестве. Шестнадцати лет я поступил в редакцию «Газетт де Льеж». До этого я никогда не читал газет: в те времена это была привилегия главы семейства. Я ни разу не видел, чтобы моя мать просматривала газету. Она лишь вырезала печатавшиеся там романы с продолжением и подшивала их.

Почему мне пришла мысль заняться журналистикой? Вероятно, из-за Рультабиля, репортера из романов Гастона Леру[6].

Как бы то ни было, следующие три года оказались одним из самых упоительных периодов моей жизни. На первые заработанные деньги я смог наконец купить себе велосипед. Раньше я ходил в коллеж пешком, тратя на это добрых полчаса. У всех моих однокашников были велосипеды. У меня — нет.

И вот он появился. Какие только трюки я на нем не выделывал!

Поначалу положение мое в редакции было самым скромным.

Дважды в день я должен был обзванивать шесть полицейских комиссариатов Льежа и осведомляться, не было ли серьезных происшествий. В 11 утра вместе с коллегами из других газет я отправлялся в Центральный комиссариат, где письмоводитель прочитывал нам донесения за сутки.

Я уходил из помещения «Газетт» немного раньше конца рабочего дня. В зависимости от времени года покупал кулек леденцов или полфунта вишен, клал его в карман и отправлялся бродить по средневековым дворам Дворца правосудия. Эти дворы казались мне сущим раем, и я с наслаждением вдыхал аромат кустов и деревьев.

На год приходилось самое малое двести непогожих дней, когда гулять было нельзя: то осень, то зима, то снег, то ветер.

Но все это изгладилось из моей памяти — в ней живут лишь солнце да зелень.

Проработав в «Газетт» всего несколько месяцев, я попросил главного редактора доверить мне самостоятельную рубрику. Он не слишком верил в мои возможности. К тому же в редакции я слыл чем-то вроде нечестивца.

Я из религиозной семьи. Лет до тринадцати-четырнадцати ходил к воскресной мессе, затем утратил веру и перестал соблюдать обряды. А «Газетт» была самым католическим и самым консервативным печатным органом Льежа. Справедливо задать вопрос: что я там делал? Порой я и сам над этим задумывался. Чем объяснить терпимость главного редактора к юнцу шестнадцати с половиной лет, который намеревался строчить свои статейки в ночных кабаках?

Тем не менее собственную рубрику я получил. И вел ее три года.

Писал я главным образом о жизни Льежа, о городских событиях, более или менее связанных с политикой, был весьма категоричен во мнениях и довольно скоро приобрел некоторую известность. Подумать только! Даже мой отец читал скромные опусы своего отпрыска и вечером, за столом, разговаривал со мною о них.

В семнадцать лет, точнее, на несколько месяцев раньше, я начал писать роман «На Арочном мосту» — так называется главный и самый старинный мост Льежа. Легко догадаться, что роман не привлек внимания издателей. Его опубликовал за счет автора один льежский типографщик, предварительно набрав сотни две-три подписчиков и обеспечив тем самым рентабельность своего труда.

Мне вспоминается не эта тоненькая книжонка, а стол, вернее, маленький круглый столик красного дерева на одной ножке, за

которым я исписывал страницы мелким, почти бисерным почерком.

Один из моих тогдашних друзей, сохранивший рукопись, о которой я начисто позабыл, несколько лет тому назад любезно прислал мне ее. Я был поражен, обнаружив, что за столь долгие годы мой почерк совершенно не изменился: он остался таким же мелким, тонким и четким.

Худощавый длинноволосый молодой человек в широкополой черной шляпе и большом галстуке-бабочке, выбивающемся из-под дешевого макинтоша, выходит в толпе приезжих из Северного вокзала. Едва светает.

Он оглядывается по сторонам, всматривается в облик незнакомого ему Парижа. Льет дождь, на улицах мрачно и холодно. Прохожие — голова наклонена, руки в карманах — стараются прибавить шагу.

В одной руке у молодого человека чемодан из искусственной кожи, перетянутый ремнем, так как замок сломан. В другой — сверток в толстой оберточной бумаге.

Даже не прочитав, как называется бульвар, юноша пускается в путь. На дверях первой же гостиницы, перед которой он останавливается, висит табличка: «Мест нет». На второй, на третьей — то же самое. Рядом с каждой одинаковые доски под мрамор: «Комнаты на сутки, неделю или месяц. Водопровод, центральное отопление».

Время от времени приезжий перекладывает чемодан из руки в руку и продолжает подниматься по бульвару.

У моста — не то железной дороги, не то надземки — пешеход сворачивает влево к Монмартру. По-прежнему всюду гостиницы, доски под мрамор и объявления: «Мест нет».

Но вот на бульваре Рошешуар ему попадается маленькое узкое здание без предупредительной таблички. Молодой человек входит. В клетушке под лестницей — небритый старик в войлочных туфлях. Он окидывает клиента оценивающим взглядом.

— Комната на месяц найдется?

Старик молча кивает.

— Сколько?

— Пятьдесят франков.

Декабрь 1922 года. Пятьдесят франков не по карману приезжему. Подхватив чемодан и сверток, он продолжает путь. Площадь Пигаль, площадь Бланш. Названия чаруют слух, но перед глазами все те же вылинявшие от дождя фасады. Мельничные крылья над «Мулен-Руж» не вертятся. Они словно застыли в воздухе.

Можно подумать, что все владельцы гостиниц в сговоре. Мест либо нет, либо они слишком дороги.

Открытое пространство, забитое трамваями, автобусами, такси, фиакрами. Площадь Клиши.

Дальше бульвар Батиньоль, где уже не так шумно и по обеим сторонам тянутся деревья. Справа коротенькая улица Лайкре и на ней гостиница без неприветливого уведомления: «Мест нет».

— Найдется номер?

— На сутки или на месяц?

— На месяц.

Клиента долго разглядывают, потом снисходительно бросают:

— Следуйте за мной.

До четвертого этажа белая лестница устлана красным ковром. Выше ковра нет, но женщина в домашнем халате продолжает подниматься. Они доходят до мансард со скошенным потолком, и женщина отворяет одну из них.

— Надеюсь, с вами никого?

— Да, никого.

Железная койка, бамбуковый умывальник с выщербленным тазом, два стула, голый пол. Это все.

— Сколько?

— Двадцать пять франков.

Молодой человек со вздохом облегчения опускает чемодан и сверток на стул.

— Деньги вперед.

Юноша роется в бумажнике. В Льеже он предусмотрительно запасся французскими купюрами.

Когда он спускается вниз, атмосфера уже кажется ему не столь мрачной. Кров он нашел. А сейчас испытывает голод. Он привык получать на завтрак яичницу с салом, поджаренный хлеб с маслом, сыр.

Он входит в бар, заказывает кофе и поглядывает на стойку, где красуется корзина хрустящих рогаликов.

— Один рогалик, пожалуйста.

— Возьмите сами.

Он берет. Ест. Вкус у рогалика просто замечательный. Вот оно, первое приятное впечатление от Парижа! Молодой человек просит позволения взять второй рогалик, и хозяин в синем переднике лишь недоуменно пожимает плечами. Рабочие в белых халатах оборачиваются и смотрят на странного посетителя.

Второй рогалик… Третий… Он пожирает их. Ему кажется, что он впервые в жизни испытывает такой голод. Дважды он заказывает кофе: здесь его подают в крошечных чашечках.

Насытившись, молодой человек набивает трубку и осведомляется:

— Сколько с меня?

— Сколько рогаликов?

— Дюжина.

Хозяин явно не в духе.

— Бросьте трепаться. Я спрашиваю, сколько рогаликов вы съели.

— Дюжину.

Присутствующие пялят глаза на тощего, возбужденного, всклокоченного парня со слегка покрасневшими от усталости и волнения глазами, который только что уписал за один присест дюжину рогаликов.

Он уходит, засунув руки в карманы пальто, перебирается через мост Батиньоль над железнодорожными путями, и люди провожают его взглядами.

Этот молодой человек — я. Я не имел ни малейшего представления, чего мне ждать от громадного города вокруг меня. В то утро с поездов на различных вокзалах столицы сошли сотни, возможно, тысячи парней и девушек. Возможно, с таким же багажом. Возможно, с такой же неуверенностью в будущем.

У меня не было профессии. Не было знакомств, позволяющих рассчитывать на место. Я не закончил коллеж, так как врачи предупредили, что мой отец долго не протянет — он страдал грудной жабой.

Я поспешил досрочно отбыть воинскую повинность: месяц в Ахене, в оккупационных войсках; остальной срок — в казарме, которую было видно из окон нашего дома.

Третьего дня мы схоронили отца. Он умер в конторе, в полном одиночестве, так как от двенадцати до половины первого остальные служащие уходили на перерыв, а он оставался и шел домой завтракать только в два. Я был в Антверпене в связи с каким-то дурацким репортажем и, на скорую руку состряпав его, провел вторую половину дня в постели с девицей.

Я не подозревал, что по возвращении застану отца вытянувшимся на кровати. Лицо у него было бледное и спокойное. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы наклониться и коснуться губами его лба.

Сегодня, сидя в своем красном кресле перед диктофоном, я чувствую себя все тем же молодым человеком на Северном вокзале. Мне кажется, что ничего с той поры не произошло, что все это было вчера, что мечтал я о судьбе, отнюдь не из ряда вон выходящей.

Так ли уж я изменился за прошедшие десятилетия? Физически — несомненно. Каждый новый год отмечен следами пресловутого третьего, преклонного возраста, но стоит мне закрыть глаза и уснуть, как я вижу себя не честолюбивым юнцом, а маленьким мальчиком.

Так вот, из вокзала я вышел не один. В то утро, как в любое другое, на парижские вокзалы прибыло несколько сот человек, охваченных тем же возбуждением и внутренней тревогой, что и я.

И не важно, светит солнце или льет дождь. Главное — ты наконец в Париже. И еще, что, пожалуй, важнее: надо любыми средствами удержаться на поверхности, начать зарабатывать — как угодно, лишь бы иметь возможность есть каждый день.

Не знаю, скольким из новоприбывших пришлось уехать обратно и сколько пошло на дно и оказалось на Центральном рынке, где с одиннадцати вечера до пяти утра они разгружают машины с овощами, приехавшие из окрестных деревень.

Вчера я машинально произнес слово «честолюбие». В данном случае это слово следует понимать в совершенно определенном смысле. Я не задавался целью стать известным писателем, не претендовал на успех и славу. Я притязал лишь на то, чтобы остаться в Париже, как-нибудь зацепиться за этот город, где вокруг меня кишели миллионы людей, в которых я с любопытством всматривался.

Здесь маленькое отступление. Меня поражает одна деталь. Когда я писал романы и в половине седьмого утра спускался к себе в кабинет, я автоматически, без записей, без всякого усилия начинал с того, на чем остановился вчера, и мне никогда не было нужды перечитывать последние абзацы или хотя бы фразы, написанные накануне.

С нынешними записями — дело иное, и это меня радует, поскольку доказывает, что я диктую, подчиняясь только прихотям своего настроения.

Итак, я упомянул о Северном вокзале и поисках жилья, которые предпринял, двинувшись наугад по бульварам. Но я никак не могу вспомнить, где закончились эти поиски — на площади Клиши, авеню Батиньоль или же улице Ланкре?

Вот почему, рискуя дважды надиктовать одно и то же, я продолжаю рассказывать о бульваре Батиньоль. Этот бульвар занимает большое место и в моей жизни, и в моих романах.

Мне понадобилось немало времени, чтобы отыскать тупик Бово в самом верху предместья Сент-Оноре, на углу авеню Гош. Я добрался туда по бульвару де Курсель в полном восхищении от роскошных зданий и аристократических особняков, выстроившихся напротив решетки с золочеными остриями,

которая окружает парк Монсо.

Я воображал, что именно в таком месте и должен квартировать Б. В., романист, забытый сегодня, но тогда слывший крупной величиной. Он ежегодно печатал по роману в «Журналь», наиболее влиятельной парижской газете. Каждую неделю там же, на второй полосе, публиковался новый его рассказ, а книги Б. В. издавал Фламмарион. Вдобавок члены патриотических союзов и «Аксьон франсэз»[7] во время своих шествий часто несли во главе колонн портрет Б. В.

Один из приятелей отца, живший во Франции, на каком-то банкете случайно оказался рядом с Б. В. Он вскользь упомянул о молодом льежце, которому не терпится перебраться в Париж, и Б. В. сказал, чтобы собеседник направил юношу к нему.

Я уже воображал себя секретарем известного писателя. Легко представить себе мое разочарование, когда в тупике Бово я увидел невзрачные двухэтажные домишки вроде того, где я жил с родителями в Льеже. Позади домов тянулся глухой черный брандмауэр. У конца его стоял грузовик.

Раз десять я тщетно осведомлялся, где могу видеть г-на Б. В.

Наконец какой-то мужчина лет тридцати с багровым лицом спросил:

— Вы Жорж Сим?

Получив утвердительный ответ, он крикнул:

— Живо за работу! Машина должна быть нагружена до двенадцати.

Я словно с неба на землю свалился: я же ехал в Париж не машины грузить. Меня повели на второй этаж, где громоздились свертки и всевозможные игрушки, преимущественно в плачевном состоянии.

Дело было связано с последней затеей Б. В. — празднованием рождества посреди развалин: Франция ведь еще не залечила нанесенные ей войной раны.

Мужчина с багровым лицом и две женщины непрерывно сновали вверх и вниз по лестнице, вынося пакеты. Предыдущую ночь я не сомкнул глаз, на узкой лестнице голова у меня кружилась, ноги после долгой ходьбы под дождем подкашивались от усталости.

Помнится, я чуть не разрыдался. Еще немного — и я взял бы обратный билет в Льеж. Завтракать меня отпустили всего на час. Я выбрал самый дешевый на вид ресторанчик, но, когда настало время расплачиваться, понял, что и он мне не по карману. После полудня мы принялись грузить новую машину, а я так и не видел Б. В. Даже не слышал, чтобы мои сотоварищи по работе упоминали о нем.

По другую сторону черного брандмауэра высились прекрасные здания авеню Гош, в те годы одной из самых фешенебельных улиц Парижа. А я нашел себе пристанище за кулисами, в длинном темном грязном тупике, в глубине которого мы продолжали грузить.

Лишь много позже я узнал, что Б. В. вовсе не требовался секретарь. Вместе с несколькими другими деятелями он основал Лигу бывших фронтовиков — командиров взводов, крайне правую организацию, равно поддерживавшую Пуанкаре[8] и графа Парижского[9]. Что мне было в ней делать?

Мои обязанности состояли в том, что я почти весь день надписывал адреса на конвертах, заготовленных впрок, на случай экстренной мобилизации членов Лиги. Я носил также письма на почту, что на углу улицы Бальзака. Наконец, когда нужно было передать официальное коммюнике в газеты, я отвозил его: Б. В. считал необходимым вручать важные сообщения в собственные руки главному редактору каждой, а газет тогда в Париже насчитывалось сорок пять. Только по прошествии трех недель я встретился наконец с г-ном Б. В., чьим секретарем так мечтал стать.

Много позже я понял, почему мне показалось унизительным развозить пакеты. Отец мой был всего-навсего бухгалтер. Мать получала крохотную пенсию. Право же, ничего аристократического в нас не было.

Тем не менее моя мать с необъяснимым презрением относилась к людям, занимающимся физическим трудом. Мне она, например, неоднократно наказывала:

— Не смей водиться с детьми рабочих.

А я завидовал детям рабочих: пусть одежда у них была не такая, как у меня, зато игрушки красивей, и питались они лучше, чем мы.

Но загрузку фургонов я воспринимал в душе как оскорбление.

Когда-то эта комната, наверно, была спальней. На старых грязных обоях еще видны были чуть более светлые прямоугольники — следы мебели, в том числе, вероятно, и зеркального шкафа. Пол был совершенно серый. Сидели мы за кухонными столами, к которым кнопками была приколота оберточная бумага. Эту комнату с двумя почти ослепшими от грязи окнами мы занимали вчетвером.

Вместо канцелярских шкафов здесь стояли ветхие стеллажи, привезенные из какой-то лавки; я расставлял на них надписанные конверты.

М-ль Берта была пухленькая и смешливая. Вторая машинистка, исполнявшая обязанности секретарши Б. В., — длинная, бесцветная и меланхоличная; ходила она только в сером, как иные ревностные протестантки.

Еще был человек с багровым лицом, похожий на боксера, он все время напускал на себя свирепый вид.

После возвращения с почты мне не оставалось ничего иного, как заниматься собственными делами. В полдень я, как правило, пешком отправлялся на бульвар Монмартр — а это было довольно далеко, — где открыл для себя столовую под названием «Парижские обеды».

Там кормили по твердой цене — три франка пятьдесят. Огромный зал вмещал сотни две-три столующихся; их обслуживала туча официанток, у которых, должно быть, ноги гудели от беготни между столиками.

За эти три с половиной франка подавали полный обед: закуску (сардинку и четыре редиски или малюсенький глиняный горшочек с рийетом[10]); первое (опавший омлет или крохотный кусочек рыбы); второе (немножко мяса с картофелем или ложкой шпината); сыр и десерт.

Меня прельстило такое обилие. Правда, соблазнявшие меня кушанья все шли с приплатой. Рядом была написана цифра: 30 сантимов, 50 сантимов и т. д.

В «Парижских обедах» я столовался почти месяц. Но когда по лицу и по всему телу пошли прыщи, я предпочел питаться в другом месте.

По утрам в Лиге, как мы называли наше заведение, я осведомлялся:

— Турне предстоит?

Иными словами, объезд редакций газет для передачи срочных сообщений. Такое случалось раза два-три в неделю: Б. В. старался постоянно держать публику в напряжении. То были времена Серо-голубой палаты[11], когда верховодили «Бывшие фронтовики», а студенты Политехнической школы во время забастовки водителей метро и автобусов считали долгом чести, надев парадные мундиры и белые перчатки, занять места бастующих.

Какая восхитительная прогулка! Город еще погружен во мрак, простроченный пунктиром газовых рожков. Большие бульвары вместе с улицей Руайяль и нижней частью предместья Сент-Оноре составляли тогда еще центр Парижа. Сердцем столицы считалась великолепно освещенная площадь Оперы.

Обычно я нанимал фиакр. Вливаясь на площади Оперы в поток экипажей и машин, объезжал редакции, входил в приемные, вернее, в салоны: в те годы приемные газет оставались

последним местом, где еще умели поддерживать разговор, а не просто говорить о делах. После шести вечера там можно было встретить мужчин во фраках и с моноклями, которые вели между собой конфиденциальные беседы, и театральных звезд, заезжавших туда перед генеральной репетицией, дабы обеспечить себе успех.

Я носил тесный — дешевая шерсть села — пиджак, брюки с манжетами, вечно заляпанными грязью, прохудившиеся ботинки, неизменные макинтош и шляпу с очень широкими полями.

Тем не менее величественные швейцары пропускали меня к секретарю редакции или главному редактору, и я вручал конверт с крупным вензелем «Б. В.».

Для меня это был новый мир, хотя ему вскоре предстояло исчезнуть. Господа, которых я встречал в приемных, отправлялись позднее обедать «в город», как тогда выражались, то есть к какой-нибудь модной светской даме, после чего у них еще оставалось до ужина время показаться в нескольких салонах предместья Сен-Жермен.

Я наблюдал за этой жизнью из-за кулис. Вот отчего она представлялась мне более экзотичной, чем жизнь какого-нибудь негритянского племени в Центральной Африке.

На другой день, прикрываясь папкой с письмами, я продолжал свою скромную повседневную работу. Заключалась она обычно в писании рассказов. Я называл это «писать для себя». Сколько я сочинил таким манером новелл, коротких, не очень коротких и даже длинных? Не помню. Знаю лишь, что в то время еще не пытался их публиковать и рукописи давным-давно затерялись.

И все же эти рассказы имели для меня большое значение: они доказывали, что тощий парень на побегушках не отрекся наперекор всему от заветной мечты стать когда-нибудь настоящим писателем.

Начиная диктовать, я отнюдь не рассчитывал, что эти заметки, эти обрывки воспоминаний выльются в более или менее связное повествование. Подобной мысли нет у меня и сейчас: она повергла бы меня в смятение. Я диктую не мемуары, а клочки воспоминаний, и мне хочется, чтобы они так и остались разрозненными.

Вчера мне вспомнился один эпизод. В 1942 году я жил в лесу Вуван и нечаянно зашиб себе топорищем грудь, выстругивая палку для Марка, своего двухлетнего сынишки. Мне пришлось отправиться пешком за 12 километров к рентгенологу, чтобы проверить, нет ли трещины в ребре. Врач осматривал меня

больше часа, а потом с каким-то садистским удовлетворением объявил, что, если я не брошу курить и ходить пешком, не буду соблюдать диету и не откажусь от физической близости с женой, жить мне осталось от силы два года.

Я привожу эту забавную историю потому, что она сыграла большую роль в моей жизни. Глядя на Марка, я твердил себе, что, когда мальчик вырастет, он ничего не будет знать ни обо мне, ни о нашей семье. Вот тогда я и принялся записывать в тетрадь историю семьи Сименон.

Я написал уже несколько глав, когда Андре Жид посоветовал мне отказаться от повествования в первом лице и излагать свои детские воспоминания так же, как я пишу романы.

Жид убедил меня. Первая часть вышла под названием «Я вспоминаю». Вторая, гораздо более объемистая, заканчивалась моим пятнадцатилетием, то есть перемирием 1918 года, и вышла в свет под заглавием «Pedigree»[12]. Однако, взглянув на последнюю страницу этой книги, вы увидите там слова: «Конец первой части».

Короче, я намеревался дать продолжение. Я задумал вторую часть, которая охватывала бы мою жизнь между 15 и 20 годами. Третий том должен был живописать мой литературный дебют в Париже. Написать эти тома мне помешало то, что выход первого повлек за собою несколько проигранных мною судебных процессов[13]. А так как во втором и третьем томах я собирался вывести еще большее число действующих лиц, нежели в первом, вполне реальная перспектива целой серии процессов заставила меня отказаться от своего замысла.

Вчера меня внезапно осенило — уж не диктую ли я второй том «Pedigree»? Эту мысль надо немедленно отвергнуть, иначе, боюсь, я не смогу диктовать дальше. Писание мемуаров — занятие, на мой взгляд, скучное и суетное. Мне не свойственно делать себя главным героем большого романа-хроники.

Мне понадобился смокинг. Чтобы жениться. В то время в Бельгии существовал обычай: жених должен быть в смокинге, невеста в белом или вечернем платье.

Мне повезло: я встретил бельгийского журналиста, работавшего в Париже. Он несколько располнел и потому собирался продавать свой смокинг. Попросил он за него вдвое дешевле, чем пришлось бы заплатить в магазине: двести пятьдесят франков. Но у меня не было двухсот пятидесяти франков.

Однако мой коллега-бельгиец оказался славным парнем и согласился, чтобы я выплачивал ему долг в рассрочку в течение

нескольких месяцев. И вот, облачившись в свадебный костюм, я, исполненный гордости, поехал в Льеж. Выбрал я тот же поезд, на котором приехал в декабре и от которого у меня сохранились самые скверные воспоминания. Ночной поезд. Думаю, по маршруту Париж — Льеж и Льеж — Париж днем я не проехал ни разу.

Все сочли, что я похудел. Долго обсуждали этот вопрос. Предполагали, что я, наверно, живу впроголодь. Я же вынужден был утверждать, что зарабатываю по тысяче франков в месяц: так я пообещал будущему тестю.

В течение, двух месяцев Тижи регулярно ходила к кюре соседней церкви: изучала катехизис. Ни она, ни ее братья и сестры не были крещены. Теперь ей пришлось креститься; она уже ходила к первой исповеди, а рано утром в день свадьбы приняла первое причастие.

Нас с нею вполне устроил бы и гражданский брак, но моя мать считала его ненастоящим, а мне не хотелось разочаровывать ее и ставить в унизительное положение перед родственниками и соседками.

Тижи была в длинном платье из черного тюля, в черном муаровом манто и большущей шляпе с перьями райской птицы. Как жаль, что у меня нет ее фотографии в этом нелепом наряде. Правда, я выглядел в смокинге с чужого плеча ничуть не элегантнее. К тому же за день до свадьбы нижняя губа у меня воспалилась, распухла и приобрела чудовищный красный цвет.

Тижи со своими родителями ехала в одном фиакре, мы с матерью — в другом.

Венчания в церкви святой Вероники я не помню. Зато прекрасно запомнил, как мы отправились в мэрию. Эшевен[14], зарегистрировавший наш брак, был очень молод. Он счел своим долгом произнести длинную речь, в которой говорил о моих первых шагах в журналистике, о карьере, которую я непременно сделаю в Париже, и т. д. и т. п.

Он излучал благожелательность. Бедняга! Через месяц его поместили в психиатрическую лечебницу.

А потом снова поезд, естественно ночной. Отдав должное винам и шампанскому, я несколько осовел. Притом меня весьма тревожило, какое впечатление произведет на Тижи жилье, которое я нашел для нас.

Оно также находилось в предместье Сент-Оноре. Мастерские художников образовали там нечто вроде дворика, в котором стоял двухэтажный дом. Во втором этаже жил старый содомит со своим дружком, который изъяснялся громким визгливым голосом и круглый день носил женский передник.

Я смог снять единственную свободную комнату — без окон, но зато со стеклянным фонарем в потолке. К ней примыкала каморка, где была раковина и водопроводный кран.

Мы с Тижи довольно быстро уснули. А ранним утром буквально остолбенели, увидев, как через комнату на цыпочках крадутся старый седой развратник и его юный друг, которого он именовал племянником.

Оказывается, вода была только в нашем чуланчике, и они пробирались туда умыться.

Думаю, что для Тижи это был большой удар. Но она мужественно встретила его, и уже через час я представлял ее Б. В. и моим сотрудникам по Лиге.

После этого мы торжественно спустились в предместье Сент-Оноре. Началась наша совместная жизнь, о которой я так мечтал. И все-таки, когда я думал о будущем, на душе у меня было неспокойно.

8 апреля 1973 года. Этим утром, прослушав по радио последние известия, я случайно взглянул на календарь.

Три дня назад я получил от одного из моих ближайших парижских друзей письмо, ошеломившее и расстроившее меня. Сорок с лишним строк в письме мой друг посвятил современной молодежи.

Он возглавляет крупное предприятие, старше меня и давно уже дед. Внуки его старше моего сына Пьера. А в письме он разглагольствует о «длинноволосой сволочи с грязными ногтями, не приученной к дисциплине и потому устраивающей манифестации».

Так вот, учащиеся французских лицеев проявили за последнюю неделю исключительную прозорливость. Несколько раз они выходили на демонстрации. Поддержание порядка взяли на себя девушки: стоя по обе стороны улиц и проспектов, они брались за руки, образовывали цепь и охраняли колонны манифестантов.

Студенты в конце концов примкнули к движению лицеистов и захватили здания нескольких университетов. Затем к учащимся присоединились в свою очередь рабочие профсоюзы.

Утром по радио передавали выдержки из речи председателя Совета министров, который угрожал, что учащихся, добром или силой, заставят ходить по струнке. Правда, он бывший полковник. Сегодня в мире слишком много государств, возглавляемых полковниками. Впечатление такое, что накатывается новая волна фашизма. А это прежде всего новая волна страха.

Как могли учащиеся не испытывать отвращения и тревоги за

свою будущность, посмотрев по телевизору последнюю избирательную кампанию с сопровождавшим ее разгулом грязных страстей, поглядев на самодовольных избранников, столь похожих на призраков былого?

Политические деятели разных стран, например США, где ИТТ[15] сильнее, чем правительство, объединяются с финансистами того же пошиба, что они сами. Это подобие паутины или огромной рыболовной сети все плотнее окутывает мир, вылавливая мелкую рыбешку вроде нас.

Учащиеся это поняли. Им все опротивело. Живи я в Париже, я был бы рад, если бы мой четырнадцатилетний Пьер вышел с товарищами на улицу в полном сознании лежащей на них ответственности.

И в письме моего друга, и во всех официальных выступлениях меня крайне изумляет полная политическая слепота тех, кого именуют столпами общества. Они стремятся любой ценой воспрепятствовать революции, которая нанесла бы ущерб их личным интересам, и не сознают, что она уже началась.

Как существует сговор между финансистами разных стран, так начинают находить общий язык трудящиеся и интеллигенция.

Даже бегство отнюдь не поможет промышленникам выйти из затруднительного положения. Я читал вчера, что одна из крупнейших западногерманских фирм по производству фотоаппаратов перебазировала свои предприятия в Сингапур, поскольку там они не облагаются налогом, а рабочая сила в десять раз дешевле, чем на родине. Так же поступает «Фиат», размещая свои заводы в Южной Америке.

На мой взгляд, это симптомы болезни, которая протекает в скрытой форме.

Я не занимаюсь политикой. Меня от нее воротит. И если сегодня я делюсь своими размышлениями на этот счет, то лишь потому, что думаю о тысячах юных лицеистов, у которых хватило мужества взглянуть реальности в лицо и выразить свой протест.

Случалось ли в истории нечто подобное? Не думаю. Во всяком случае, я восхищаюсь ими.

Наконец я опять мысленно вернулся на узкую улицу с лавчонками, привычным бистро и — прямо напротив гостиницы — прачечной, где миловидные, почти нагие под халатами девушки целое лето с утра до вечера гладят белье.

Атмосфера здесь почти та же, что на торговой улице Пюиз-ан-Сок в моем родном льежском квартале. Все этажи домов заселены простыми людьми, мелкими ремесленниками, мастерицами, изготовляющими искусственные цветы, и им подобными. В

хорошую погоду окна распахиваются, и голоса обитателей сливаются в один хор. Каждый составляет часть целого. Даже в гостинице кипит жизнь, и не одни мы с Тижи готовим еду на спиртовке, выставленной на подоконник.

Тижи вновь принялась за работу, но уже не как живописец, а как рисовальщица: в такой тесной комнатушке, как наша, трудно писать маслом. Не считая кровати, там стоят только зеркальный шкаф из полированного дерева, фаянсовый умывальник и два стула. Кресло уже не умещается.

Да, там был еще маленький белый столик, за которым я сочинял свои рассказы. Позже я повадился писать их в одном из соседних бистро. Посетители с любопытством поглядывали на меня, недоумевая, что я могу строчить в кабаке.

Никто, разумеется, никогда в глаза не видал сочинителей Пума и Зетта, Арамиса, Плика и Плока, Жоржа Мартен-Жоржа и т. д. Для каждой газеты полагалось иметь особый псевдоним. Я набрал их штук 16 и все официально зарегистрировал в Обществе литераторов[16].

Пределом моих мечтаний было еженедельно печатать рассказ в газете «Матен», как Анри Дювернуа[17]. Литературным редактором служила там Колетт[18], вышедшая замуж за директора «Матен» Анри де Жувенеля. Рукописи она принимала по средам. Я отправился к ней с двумя рассказами, написанными, как мне казалось, в стиле вещей, публикуемых в «Матен».

В следующую среду, когда я пришел узнать о результатах такого рода экзамена, Колетт неодобрительно покачала головой:

— Очень литературно, молодой человек. Слишком литературно. Избегайте литературных красот.

Потребовалось известное время, прежде чем я понял, что она имела в виду, советуя мне избегать литературных красот. Я принялся за работу. На этот раз я написал не два, а три рассказа и снова отнес их Колетт. Через неделю отзыв был уже более обнадеживающим:

— Лучше, но все еще много литературы, редких слов, пустых фраз…

Наконец в одну из сред Колетт оставила мой рассказ у себя. Теперь она звала меня «мой маленький Сим».

Я был отнюдь не самым малорослым, но, вероятно, самым юным из ее подопечных. Рассказ напечатали, за ним последовали другие. И вот наступил день, когда Колетт объявила, что отныне я могу писать для нее по рассказу в неделю. В тот день я, кажется, хлебнул на радостях лишнего. Наконец-то моя давняя цель достигнута!

В те времена на бульваре Батиньоль был большой гастрономический магазин под названием «Люс»; возможно, он существует и до сих пор. В нем торговали выдержанными винами, деликатесными консервами, экзотическими фруктами, а также тем, что сейчас называют «канапе», то есть маленькими бутербродами с лососиной, омарами и другими вкусными вещами.

Мы с Тижи частенько заглядывались на его витрину, а в «тучные» дни, когда мне удавалось продать несколько рассказов, покупали там что-нибудь вроде устриц или салата из крабов с майонезом, короче, все, что подсказывало нам наше гурманское вожделение.

Приблизительно в это же время на площади Константен-Пекер на Монмартре стали раз в месяц устраивать выставку-продажу картин. Один мой приятель, живший в глубине двора на улице Мон-Сени, выставлял там свои работы; он убедил Тижи последовать его примеру.

На площади Константен-Пекер я тоже вижу солнце, но процеженное сквозь густую листву деревьев. Более или менее длинноволосые и молодые художники в широкополых шляпах выставляли там свои творения, не представлявшие ценности с художественной точки зрения, но прельщавшие мелких буржуа окрестных кварталов сюжетами вроде «Закат солнца в Довиле» или «Ловцы креветок», а то и просто претенциозными названиями — «Меланхолия», «Грусть». Тижи стала рисовать головы хулиганистых молодых людей, которых мы встречали, гуляя по улице Лапп, где находилось тогда с полдюжины бистро с танцульками под аккордеон.

На улице Коленкур я обнаружил маленькую, веселую, удобную и спокойную пивную. Однажды, начитавшись развлекательных книжек, я сам начал писать за мраморным столиком роман в той же манере. Назывался он «Роман машинистки» и должен был быть весьма душещипательным. В изданиях подобного жанра сентиментальность — непременное и обязательное условие. Я закончил свой маленький роман в два дня и отнес его наиболее известному издателю такого рода литературы. Через неделю он выплатил мне гонорар — не то 200, не то 300 франков, не помню уж точно, но я был вполне удовлетворен: я освоил новую область. Мне тогда и в голову не приходило, что таких романов от 2 до 10 или даже 20 тысяч строк я напишу более двухсот.

Я не старался писать лучше, чем мои собратья по перу. Задача сводилась к тому, чтобы поставлять определенной

публике, скажем молоденьким швеям и продавщицам, нужное ей чтиво.

Тижи несколько раз выставляла картины на площади Константен-Пекер и однажды продала голову апаша за 40 франков. Тем временем в уютном кафе, где Куртелин[19] чувствовал бы себя счастливым, я сочинял новые развлекательные романы.

Пришла пора обзавестись жильем поудобней, чем наша гостиничная комнатушка. Мы с Тижи принялись за поиски — читали объявления в газетах, бегали с одного конца Парижа на другой, и в итоге один из нас — не помню кто — присмотрел квартиру на Вогезской площади[20].

Мы занимали огромную комнату с высоким, как во всех домах на Вогезской площади, потолком и двумя окнами, выходящими на мощеный двор, в глубине которого росло несколько деревьев и кустов, слегка оживлявших его своей зеленью.

Комната эта служила нам всеми жилыми помещениями сразу. Вместо кровати у нас был диван. Большущий стол использовался и как обеденный, и как письменный — мною. Тижи наконец смогла приобрести стационарный мольберт: до сих пор ей приходилось довольствоваться маленьким этюдным.

У нас была еще комната, поменьше, которую мы разделили перегородкой. В одной половине была кухня, во второй мы устроили туалетную. Установить там ванну мы не могли и потому мылись в огромной оцинкованной лохани, а вместо душа выжимали на себя губку.

Мы жили на границе района, который можно бы назвать тогдашним гетто. Это старинный квартал Марэ, старые, не ремонтированные особняки которого населяли ремесленники, работавшие в основном, по золоту и алмазам.

Месяц-другой нас навещали друзья с улицы Мон-Сени. Мы тоже несколько раз бывали у них. Потом вдруг без всякой видимой причины трещина между ними и нами углубилась.

Начался новый отрезок нашей жизни, ориентированный на богему не Монмартра, а Монпарнаса[21], на его бистро, ночные кабачки и торговцев картинами. Тижи много писала, чаще всего большие картины, холст для которых стоил нам бешеных денег, но тут я даже пикнуть не смел. Я тоже работал, издатели развлекательных романов принимали мои рукописи, но наряду с романами я продолжал заниматься рассказами. Не отказался я и от ежедневных пеших прогулок по Парижу. Вспоминая о них, только теперь отдаю себе отчет в том, что всю жизнь, где бы ни

оказался, я неизменно ходил пешком. Для меня всегда было потребностью брести наугад, задрав нос, вбирая в себя всевозможные запахи, прислушиваясь ко всем шорохам, ловя обрывки разговоров и наполняя голову образами.

Квартал Марэ, который я назвал гетто, в этом смысле давал возможностей куда больше, чем улицы Дам или Мон-Сени. Тут жило множество иностранцев, главным образом евреев, приехавших со всех концов Европы. У них были тут свои магазины и даже два борделя на улице Розье.

Конечно, в наши дни многое переменилось, например обитатели Вогезской площади и острова Сен-Луи. На площади живут теперь звезды экрана, кинопродюсеры и финансисты. То же самое на острове, где в ту пору мы прогуливались по вечерам, обходя его со всех сторон. Все тогда было для нас ново, увлекательно, все хотелось запомнить, все мы считали как бы своим достоянием. Раз в неделю мы бывали в кино, но не «в городе», как мы называли тогда Большие бульвары и Елисейские поля, а в нашем квартале, в «Сен-Поле», где вновь видели тех, кого встречали днем. В антракте между двумя картинами мы выпивали по стакану вина в соседнем баре, прислушиваясь, не раздастся ли звонок, возвещающий о конце перерыва.

Через несколько месяцев нам пришлось снять еще одну квартиру на третьем этаже. Она состояла из комнаты, почти такой же огромной, как на первом, тесной кухоньки и — наконец-то! — ванной.

Тижи по-прежнему не хотела ребенка, и мы купили собаку — огромного датского дога, которого выгуливали по вечерам на острове Сен-Луи. Он прожил у нас 12 лет.

В том же году совершенно случайно мы обзавелись прислугой. Звали ее Анриетта. Месяца через два-три, видя, что лицо ее округлилось и в то же время утратило деревенский загар, я сказал ей, что она похожа на шарик омелы. В конце концов все стали называть ее Буль[22].

Для нас началась жизнь на Монпарнасе с иным распорядком дня, иным кругом знакомств, иными интересами.

Я не намерен ни пересказывать события, ни даже воскрешать в памяти Монпарнас 20–30-х годов. Не собираюсь я также излагать историю Монмартра и площади Тертр. Мне хочется воссоздать здесь нечто вроде мгновенно отснятых кадров, и, по моему первоначальному замыслу, они должны быть разрозненными, как лотерейные билеты или фотографии дядей, тетей, кузин и бабушек в семейном альбоме.

На деле же инстинктивно, почти бессознательно я чаще всего соблюдаю хронологический порядок повествования. И злюсь,

потому что это расходится с моими намерениями. Мне меньше всего хочется, чтобы то, что я диктую для собственного удовольствия, напоминало роман.

Вопреки заявлениям, которые я делал журналистам, бравшим у меня интервью, я вовсе не страдаю от того, что бросил писать романы. Скорее наоборот. И мне думается, появись у меня желание вновь их писать, сегодня я оказался бы неспособен на это.

Не помню уж, как мы с Тижи приобщились к жизни Монпарнаса и когда отправились туда в первый раз. Не в тот ли день, когда купили в магазине товаров для художников на бульваре Монпарнас большущий мольберт, который водрузили посреди просторной комнаты на первом этаже дома на Вогезской площади?

Я вижу также, как утром, около 10, вхожу в зал «Ротонды»[23], где в ожидании сидят несколько женщин. Это профессиональные натурщицы. Прежде чем приняться за работу, художники приходят сюда выбрать подходящую модель. Я по очереди оглядываю их. Спрашиваю у одной, не слишком ли она худа, и она ограничивается тем, что задирает платье выше пояса.

По вечерам мы чаще всего ходили в «Жокей» на углу улицы де Шеврез. Крохотный кабачок каждую ночь был битком набит натурщицами, художниками, богатыми американками с длинными нитками жемчуга на шее.

Оркестр состоял из трех гавайских гитар. Не представляю, как нам удавалось танцевать там, верней, прилипнув друг к другу, покачиваться на месте.

Кики, знаменитая натурщица, была королевой кабачка.

С трудом пристроившись за столик, мы целыми часами разглядывали посетителей, впитывали тамошнюю атмосферу.

Сейчас я спрашиваю себя, о чем мы тогда могли думать? Наверно, нам было достаточно видеть вокруг лица, движение, знать, что мы на Монпарнасе.

«Ротонда» служила местом встречи художников, и я познакомился там с Паскином[24] и Кислингом[25], ставшим одним из моих ближайших друзей. Реже туда захаживал Вламинк[26], впоследствии тоже мой большой друг, с семьей которого я продолжаю поддерживать добрые отношения.

Я был мальчишка, приехавший из очень чинного благонравного города. На Монпарнасе я открыл для себя своего рода перекресток, где звучали языки всего мира и в крохотном невзрачном ресторанчике можно было отведать любые блюда, даже русские.

В 1923–1924 годах я не раз наблюдал, как художники

пересекали бульвар и усаживались за столиками на террасе кафе «Дом». Там всегда было с кем поговорить. Тем, кто интересовался моей профессией, я отвечал весьма туманно: они не поверили бы, что у поставщика развлекательных романов и галантных рассказиков могут быть иные планы и стремления.

Действительно, все, кого я встречал в приемных издательств, там и застряли, продолжая из года в год сочинять истории, вызывающие потоки слез у чувствительных привратниц.

Назвать свою профессию я не мог, зато моя жена могла это сделать. Она была Художница с большой буквы, а я оставался просто мужем.

В то утро, не знаю почему припомнившееся мне, я не слушал ни журчания фонтана напротив нашего дома на Вогезской площади, ни щебета птиц, перепархивающих с дерева на дерево.

У нас было похмелье, и, надо признаться, очень тяжелое: накануне вечером на улице Мон-Сени мы перебрали траппы, а от нее на следующее утро свет не мил. Работать было невозможно; потому Тижи и я, взяв нашу собаку Олафа, двинулись пешком вдоль Сены и дошли до Винного рынка, черные решетки которого побежали справа от нас. Чуть впереди громоздились ряды бочек: их сгружали с баржи, и мы, присев на большущий камень, лениво наблюдали за разгрузкой. Было пасмурно. Это одно из немногих моих воспоминаний в серых тонах. Но дождя не было, и я заметил, что на мостике баржи играет девчушка в красном платьице.

Потом мы пошли дальше и остановились в Шарантоне, где Марнский канал сливается с Сеной.

Что мы пили в том бистро, где сидели одни моряки? Забыл, но помню, что возвращаться нам было куда легче, а около Винного рынка мы опять заглянули в бистро: там еще сидели двое в синих комбинезонах и с сумками через плечо.

Это было замечательное время. Не берусь сказать ни когда оно началось, ни когда кончилось. Все тогда приводило меня в восторг, даже легкий плеск фонтана на площади, который я слышал, просыпаясь ночью или на рассвете.

Особенно привычным для нас с Тижи стал один маршрут. Мы пересекали сперва площадь, а затем вечно кишащую народом улицу Сент-Антуан. Узкая старинная улица Сен-Поль выводила нас к Сене, и, перебравшись через один из рукавов реки, мы попадали на остров Сен-Луи. Уродливый железный мостик соединял его с садами архиепископства. Затем еще один мост — и перед нами бульвар Сен-Мишель, напоминавший мне о стольких прочитанных книгах, а затем Люксембургский сад.

Студенты и студентки на желтых стульчиках, няньки, присматривающие за детьми. Мы шли наискось через сад, и на другом его конце уже начинался Монпарнас — улица Вавен, бульвар Распай. Я могу и сейчас представить себе каждый метр нашего маршрута, но мне никогда не приходило в голову проделать эту прогулку снова, как бы совершая паломничество. На Монпарнасе было много торговцев картинами, еще больше любителей, и мы бродили из лавочки в лавочку, надолго задерживаясь перед каждым полотном. Затем мы почти всякий раз оказывались на террасе кафе «Дом». Там я впервые заметил Фужиту[27], который был уже знаменит. Он и его жена Юки стали впоследствии частыми гостями у нас на Вогезской площади.

Мы жили для того, чтобы радоваться жизни. В сущности, ничему тогда не придавали особого значения, ничего не принимали драматически и по-настоящему всерьез. Кроме одного — того количества страниц, которое я должен был ежедневно отстукивать на машинке. За развлекательные романы платили мало: тысячу-полторы франков за 10 000 строк, две — за роман в 20 000 строк.

Я писал быстро. При желании мог отстучать страниц 80 в день. Работал с увлечением, особенно над романами для юношества, то есть приключенческими. У издателя Таландье выходило две серии: голубая — приключения, красная — чувства. И какие чувства!

Я писал для обеих серий, но предпочтение отдавал голубой. Приобрел большой словарь Ларусса, и, чтобы сочинить, к примеру, роман «Си Мацзин, совершающий жертвоприношение», мне пришлось прочесть там все о Тибете и сопредельных странах. Неделю спустя я уже с головой ушел в изучение Конго, выписывал названия местных растений, животных, различных племен. Потом наступил черед Южной Америки — я занялся Амазонией.

Так я путешествовал по миру, сидя за пишущей машинкой в лучах солнца, щедро вливавшихся в наши высокие окна. Под рукой у меня была бутылка белого вина, к которой я время от времени прикладывался. Начинал я работу ранним утром, обычно в 6, заканчивал после полудня. Это составляло 2 бутылки вина и 80 машинописных страниц.

Для нас настали счастливые дни. В каком году была Выставка декоративного искусства? Не то в 1925-м, не то в 1926-м.

Мы ходили на нее не реже двух раз в неделю и именно там решили по-новому обставить квартиру на третьем этаже.

Главной деталью меблировки стал большой бар, верх которого был не из дерева, а из матового стекла, подсвеченного установленными внизу лампами. Гардины были из черного

бархата. В довершение мне удалось купить театральный прожектор, позволяющий посылать в любой угол комнаты пучки белого, красного, голубого или желтого света.

Я играл в жизнь, жонглировал ею. Все меня забавляло, все радовало. Но при этом я не терял из виду поставленную цель — писать романы не для голубой, красной или зеленой серии, а такие, которые выразят то, что я желаю выразить. Я чувствовал, что еще не созрел для этого. Нередко по вечерам я «сочинял для себя», как выражался тогда. Это были рассказы в 8–10 страниц, и я не печатал их, а писал от руки. После одного-полутора часов работы меня неизменно начинало мутить, как неоднократно случалось и впоследствии.

Вогезская площадь, Монпарнас… Особый мир — сверкающий, веселый, пьянящий. Я был уверен в себе, уверен в будущем. И убеждал себя: «Года через два начну писать по-настоящему».

И я был настолько уверен в этом, что чувствовал удовлетворение, словно уже добился цели.

А двумя этажами ниже, на первом, Тижи писала свой картины. Мы ходили по разным танцулькам на улице Лапп и там нанимали парней и девушек позировать. Это было гораздо ближе и куда проще, чем отправляться на Монпарнас.

Еще раз, а может, два Тижи выставлялась на площади Константен-Пекер, но я что-то не помню, чтобы она продала там хоть одну картину. Нет, две она продала. В те времена много говорилось о том, какие состояния делали и делают люди, покупая картины по дешевке, а потом перепродавая их втридорога. Мещане, ничего не смыслившие в живописи, пробовали наудачу пытать счастье.

Однажды к нам тоже заявился покупатель — первый и единственный. Ему, пожалуй, не было и сорока. Он долго рассматривал большое ню и поинтересовался ценой.

— Тысяча франков, — объявила Тижи.

Мы были уверены, что он тут же сбежит. Но он не только не сбежал, а, напротив, выбрал еще один холст и заплатил за него восемьсот франков.

Не думаю, чтобы он сделал состояние. Но зато мы в тот вечер решили пожить несколько месяцев на острове. Только вот не знали на каком. И тут мой Ларусс еще раз сослужил мне службу. Мы ткнули пальцем в название — Поркероль. Это остров в Средиземном море напротив Иерских островов и Тулона.

И вот мы, Тижи, Буль, Олаф и я, отправились на Поркероль.

Сегодня я не болтал еще перед микрофоном. Наказал себя. За что? За то, что привычка усаживаться ежедневно в один и тот же час в красное кресло и включать диктофон стала главным из всех

моих пунктиков.

В тот год, когда я впервые приехал на Поркероль, на острове жило человек полтораста, и все они принадлежали к трем семействам. Звали их, как в средние века, Гоше-бородатый, Гоше-табачник, Герси-трактирщик, Герси-цирюльник и т. п.

В селении была большая хорошо утоптанная площадь, обсаженная эвкалиптами и шедшая чуть-чуть под уклон. А наверху стояла построенная моряками церквушка; казалось, она сделана из детских кубиков.

В то утро была жара. Группки мужчин и женщин стояли перед домом, из открытых окон которого неслось:

— О-о!.. О-о!.. Ай!.. Пресвятая матерь, дрянь ты этакая!.. Клянусь, поставлю тебе в церкви свечу!.. За что мне эти страдания?.. Что же ты не помогаешь мне?.. О-о!.. Ай!.. Клянусь, поставлю свечу!..

Люди слушали, переговаривались, одни посмеивались, другие качали головами. Хозяйка дома Адель рожала, вопли, брань и проклятия в адрес Пресвятой девы не утихали все утро.

Время от времени мужчины заходили к Морису, выпивали по стаканчику белого и опять возвращались на свои места.

Эта сцена поразила меня на острове больше всего: она иллюстрирует образ мысли островитян.

Был там один старик, который в течение всего года отращивал волосы и бороду. Весной, полностью одетый — он никогда не раздевался, — он залезал в море и все сбривал. Спал он на скамейке. А когда наступали холода, приходил ночевать в комнатенку при мэрии; кроме стола и стула, там не было никакой мебели. Никто не знал ни его фамилии, ни откуда он появился. Летом он искал в прибрежном песке червей и продавал их рыболовам.

Как-то его не видели кряду дней десять, и нам с мэром пришло в голову заглянуть в эту каморку. Войти туда было невозможно — столько там оказалось мух. Старик стоял, опираясь руками на стол. Он был мертв.

Все это не просто Поркероль, а Средиземноморье. Беззаботность, внешняя веселость. А под ними — трагическое, пожалуй, видение жизни.

Впоследствии я неплохо изучил Средиземное море. На своем корабле я обошел его, заходя во все порты. В этом плавании не было ничего от туризма. Оно дало мне возможность увидеть обитателей побережья такими, какие они есть.

Всякий раз, возвращаясь туда, я снова приходил в восторг и давал себе клятву навсегда поселиться на побережье, все равно где — во Франции, Италии, Греции, Тунисе.

Но через несколько месяцев меня начинала бесить беспечность этих людей, заласканных солнцем и теплом. Я обнаруживал в себе северянина, которому просто необходимо серое небо и даже дождливые дни, а также активная деятельность.

Эта борьба между человеком Севера и человеком Средиземноморья длилась годами, я бы сказал, всю мою жизнь, и даже теперь, не заполони Средиземноморье туристы, я, пожалуй, соблазнился бы и поселился там.

После нескольких месяцев жизни в Париже или другом городе порыв теплого ветра, запах эвкалипта или розмарина рождали во мне желание умчаться на юг, а поскольку ничто меня не сдерживало, я прыгал в машину и отправлялся в путь.

Поркерольцы выделяли меня среди других. Но больше ноги моей там не будет. В 1956 году я из любопытства заглянул туда и обнаружил, что остров превратился в предприятие по обслуживанию курортников.

Куда подевались времена Гоше-бородатого, Гоше-табачника и всех других?

Во всяком случае, для меня там больше нет места.

Своим диктофоном я не пользовался уже четыре или пять дней. Почему? Не знаю. Вернее, догадываюсь: жизнь была так тиха, хороша, ароматна, что я поддался соблазну сохранить ее чистоту и ничего не усложнять.

Наверное, эта благодушная беспечность объясняется тем, что головокружения у меня временно прошли. Не сглазить бы! Жить свободным от вечной тревоги, не шататься из стороны в сторону, уверенно ставить ногу на тротуар, не боясь толкнуть какую-нибудь пожилую даму…

И еще множество более интимных мелочей, разговор о которых лучше отложить до другого раза.

Тем временем мир сотрясают политические шквалы. Уотергейтское дело подорвало доверие к Никсону. Каждый день происходят новые скандалы с многонациональными корпорациями. Во Франции правительство угрожает репрессиями, словно уже стало фашистским. Все это совершается у нас за спиной и создает впечатление, что, несмотря на современные средства информации, с нами обращаются как с детьми, что газеты, радио, телевидение приподнимают лишь краешек завесы над происходящим.

Сегодня утром, пробежав «Ньюсуик», я спросил себя, каким чудом существуют еще в мире миллионы, десятки миллионов порядочных людей.

Тем более что сейчас в отличие от прошлых времен нет понятия греха, страх перед которым обуздывал человека.

Становится немного грустно, когда мысленно анализируешь двадцать или больше веков истории и констатируешь, что и в наши дни, как в любую другую эпоху, горстка людей может решать вопрос о жизни и смерти миллионов себе подобных.

Но даже эта мысль не лишает меня сегодня — как не лишила вчера и позавчера — ощущения радости жизни. У ног моих играет солнечный зайчик, а в двух метрах от себя я вижу белое пятно щеки и затененный волосами профиль.

Как прекрасна, как полнокровна жизнь для нас, маленьких людей, не стремящихся управлять миром!

Только что услышал восхитительную фразу и, чтобы не забыть, повторяю ее: «Нельзя так уснуть, чтобы время остановилось».

Мне было лет пятнадцать. Может, на пол года больше или на полгода меньше. Память у меня исключительная: я помню малейшие детали, запахи, звуки. Могу точно реконструировать событие, которое произошло, когда мне было тринадцать или четырнадцать лет.

Правда, это память, если можно так выразиться, не хронологическая. Мне трудно располагать события во времени. Я очень привязан к своим детям и тем не менее не смогу сказать не только в каком месяце, но даже в каком году родился каждый из них.

Во всяком случае, то, о чем я собираюсь рассказать, происходило в конце войны. Разумеется, войны 1914–1918 годов. Шел дождь. Я сидел на чердаке, где устроил себе что-то вроде кабинета: старое кресло, стол из некрашеного дерева, колченогий стул.

Мать соорудила мне из красно-желтого стеганого одеяла некое подобие халата, смахивающего, если не брать во внимание цвет, на монашескую рясу, и от этого я чувствовал себя как-то значительней.

На холодном чердаке, завернувшись в халат, я превращался в поэта и сочинял стихи.

Я не сохранил их. Вряд ли они обладали какими-нибудь достоинствами. Но вот первые строки и тему одного стихотворения я запомнил:

Печаль высокой колокольни,
Высокой столь…

Дальше забыл, но помню содержание. Высокая колокольня с

завистью смотрит на окружающие ее низкие дома, на улочки, где играют мальчишки, переговариваются, стоя в дверях, женщины, а торговцы пронзительными голосами расхваливают свой товар.

Не думаю, чтобы я сравнивал себя с этой колокольней, надо сказать, достаточно уродливой, поскольку церковь святого Николая, на мой взгляд, самая уродливая в Льеже.

Меня, скорей, привлекали окрестные улочки, человеческое тепло, способность людей не чувствовать себя одинокими, сродниться со *своей* улицей, *своим* кварталом, пределы которого они редко покидали. Может быть, поэтому меня всегда раздирали противоположные влечения?

Вполне возможно.

На Вогезской площади меня навещали друзья, в том числе художники и знаменитые деятели кино. Вскоре, однако, я оснастил в Сартрувиле пятиметровую яхту, которую можно было накрывать брезентом и даже запирать на ночь. Посреди палубы возвышались моя пишущая машинка и специально заказанный ящик, заменявший мне стул. На корме был установлен вспомогательный мотор в две лошадиные силы. Яхту назвали «Жинетта». За ней на буксире шла шлюпка, куда мы погрузили матрацы, одеяла, кухонную утварь и маленькую палатку для Буль. Нас было четверо — Тижи, я, Буль и пес Олаф, который становился все огромней и грузней. В таком составе мы совершили путешествие по рекам и каналам Франции. Во время его я сделал одно из наиболее удивительных открытий. Оказалось, что города и селения чаще всего сохраняют свой подлинный оригинальный облик, когда смотришь на них с воды. Железная дорога и шоссе показывают их нам в обычном стандартном виде: бензоколонки, магазины спортивных товаров, универмаги, филиалы банков. А я предпочитаю набережные, особенно не слишком крупных рек, где женщины, стоя на коленях, полощут в воде белье. По вечерам мы выбирали для ночевки уединенное место, предпочтительно лесную опушку. Ставили палатку для Буль и Олафа и сооружали брезентовую каюту на «Жинетте» для нас с Тижи. Часа в 4–5 утра Буль будила меня, подавая огромную чашку кофе. Наступал мой черед перебираться в палатку на берегу. Машинка устанавливалась на складном столике, и за 2–3 часа я печатал две главы романа. Вспоминаю, что однажды мне довелось напечатать несколько глав на одной из набережных Лиона. Зеваки останавливались и удивленно глазели на меня.

И еще вспоминаю, как во время плавания по Южному каналу я поздно утром брился, а вместо зеркала смотрелся в окно какого-

то дома. Был я в одних шортах. И вот мне стало казаться, что мое отражение мутнеет, верней, вместо моего лица возникает какое-то другое.

Вдруг окно распахнулось, и толстая женщина в бигуди и халате испуганно и в то же время удивленно спросила:

— Что вы тут делаете?

Я невозмутимо ответил:

— Бреюсь.

Довольно надолго мы задержались в Гро-дю-Руа; «Жинетта» стояла на якоре метрах в ста от берега, и Буль, чтобы доставить нам утренний кофе, приходилось брести чуть ли не по шею в воде.

Как-то вечером мы отправились в казино. Оделись мы в палатке на берегу. Вернувшись, все сняли и в чем мать родила перебрались на «Жинетту».

Жара стояла страшная. Я начинал писать с восходом солнца. Огромные камаргские[28] комары тотчас бросались на меня в атаку. Я купил марлю и накрывался ею с головой. Под ней я не только печатал на машинке, но и ухитрялся курить трубку. Как-то утром марля вспыхнула, и мало того, что мне едва не опалило волосы, — в палатке чуть не произошел пожар.

Веселое это воспоминание или грустное?

На таком удалении мне трудно ответить. Бывали у нас и тяжелые моменты, например когда мы находились далеко от деревни, а надо было наполнить питьевой водой десятилитровый бочонок.

Забавные или печальные, воспоминания эти для меня плодотворны, как прежде. Я встречался с людьми, которых в обычной обстановке не мог бы повстречать. У меня завязывались с ними отношения, какие в иных обстоятельствах были бы немыслимы.

В Эпернэ дождь лил как из ведра восемь дней. Все промокло насквозь — матрацы, одежда, собака и мы сами. Невозможно было поставить палатку и развести костер, чтобы приготовить еду. Питались мы колбасой, сыром и хлебом. Перед нами были пришвартованы баржи, и хозяйка одной из них время от времени выходила и поглядывала на нас с высокого борта.

На какой-то день она наконец решилась. Сошла на берег, пробралась на «Жинетту» и пригласила нас к себе поесть горячего.

Тогда я впервые отведал козленка, и это мое самое лучшее воспоминание из области гастрономии. А также воспоминание о простоте, сердечности — без ненужных слов.

Плавание по каналам Франции на яхте «Жинетта» пристрастило меня к воде. Я решил построить настоящее судно — крепкий, остойчивый парусник, как у феканских рыбаков, и сам ревниво следил за его постройкой. Это была не хрупкая яхта, а надежное судно, способное выдержать любой шквал. Настал долгожданный день, когда я вывел парусник в устье Сены, поднялся вверх по реке и поставил его на якорь у стрелки сквера, где высится памятник «Галантному королю»[29]. Туда с большой помпой явился священник из собора Парижской богоматери и окрестил судно. Назвали его «Остгот». Я проплыл на нем по Бельгии, Голландии, вышел в Северное море, достиг Бремена и затем Вильгельмсхафена, бывшего немецкого военного порта.

Мне нравилась такая жизнь. Я печатал романы в хорошо натопленной каюте, где Буль готовила пищу. На обратном пути мы вновь оказались на севере Голландии и решили там перезимовать. Уютный порт, где в толстых крепостных стенах вместо ворот были шлюзы, назывался Делфзейл. Я причалил в спокойном месте. Назавтра пошел прогуляться по берегу, придумывая на ходу сюжет нового романа, и именно в Делфзейле родился первый роман о Мегрэ, «Питер-латыш». В Делфзейле же в натуральную величину воздвигнута статуя ставшего впоследствии знаменитым комиссара.

Делфзейл, расположенный на самом севере Голландии, вблизи немецкой границы, — один из поразительнейших городов, которые я знаю. Его стены похожи на оборонительные сооружения, а на самом деле это шлюзы, так как на протяжении веков волны Северного моря часто затапливали город. Вот почему встроенные в дамбу ворота и служат шлюзами. В случае опасности их можно наглухо закрыть. Улицы вымощены розовым кирпичом, домики тоже розового цвета. В Делфзейле стоит такая тишина, от которой мы давно отвыкли. Редких прохожих замечаешь с другого конца улицы.

По утрам я заходил пропустить стаканчик джина в маленькое, сверкающее чистотой кафе, потом возвращался в каюту «Остгота» и приступал к работе.

«Питер-латыш» отнюдь не шедевр, и тем не менее им отмечен новый рубеж в моей жизни.

К тому времени я, обучаясь своему ремеслу, уже написал десятки развлекательных романов и сотни рассказов. Перечитав «Питера-латыша», я спросил себя, не подошел ли я к новому этапу в своей работе. Так оно и оказалось. Я попытался придать более индивидуальный характер образу Мегрэ, который обрисован вначале лишь в общих чертах. Три следующих романа[30] показались мне достойными публикации, но не в

развлекательной серии, а в той, что я называл про себя промежуточной, полулитературной. Я поехал поездом в Париж и вручил четыре романа папаше Фейару: о нем говорили, что у него безошибочное чутье. Через несколько дней издатель вызвал меня.

— Что вы, собственно говоря, тут настрочили? — спросил он. — Ваши романы не похожи на настоящий детектив. Детективный роман развивается, как шахматная партия: читатель должен располагать всеми данными. Ничего похожего у вас нет. Да и комиссар ваш отнюдь не совершенство — не молод, не обаятелен. Жертвы и убийцы не вызывают ни симпатии, ни антипатии. Кончается все печально. Любви нет, свадеб тоже. Интересно, как вы надеетесь увлечь всем этим публику?

Я протянул руку за рукописями, но папаша Фейар отвел ее.

— Что поделаешь! Вероятно, мы потеряем кучу денег, но я рискну и сделаю опыт. Шлите еще шесть таких же романов. Когда у нас будет запас, мы начнем печатать по одному в месяц.

Я с облегчением вернулся в Делфзейл, где нашел свое судно: на нем я чувствовал себя дома. Изо дня в день я стал писать то, что позднее назвали «циклом Мегрэ».

Затем я проплыл по фрисландским каналам и встал на зимовку в маленькой гавани Ставерен, где каждое утро начинал с того, что обкалывал лед вокруг корабля. Никто не мог упомнить такой жестокой зимы. Как чудесно было сидеть в теплой каюте и вдыхать аромат жаркого или кролика в вине, которого готовит Буль.

Корабль стоял на приколе, и жизнь Олафа стала куда веселей. Он завел привычку бегать по деревне. Рыбаки заметили, что Олаф обожает рыбу. Возвращаясь с уловом, они бросали ему живых сельдей, и Олаф ловил их на лету.

Забавно, что Мегрэ родился в столь чуждой ему атмосфере — ведь все или почти все свои расследования он будет вести в Париже.

Мне понравилась жизнь на корабле. Я уже мечтал, как заведу себе другой и оснащу его для плавания по Средиземному морю.

О некоторых периодах, например о первых двадцати годах жизни, я сохранил почти стереоскопические воспоминания и могу в точной последовательности восстановить самые ничтожные события. Думаю, такое свойственно всем.

О других же периодах, скажем от двадцати до тридцати лет, у меня сохранились живейшие воспоминания, но, что касается хронологии, тут я уже слегка путаюсь.

Не скажу, что десятилетие от тридцати до сорока куда-то провалилось, но я его не помню, главное, не помню себя: у меня

нет чувства, что я его прожил. Я могу ошибиться на два, на три года — для меня тут нет никакой разницы.

Вот, к примеру, терраса ресторана «Фуке». Было время, когда я проводил на ней все вечера в компании артистов и продюсеров. Что я там делал? Не знаю. Случалось, в одиннадцать или в двенадцать ночи я требовал, чтобы меня с Тижи провожали в Бурже, справлялся, какой самолет отправляется первым, и улетал без всякого багажа в Прагу, в Будапешт, все равно куда.

А сейчас все эти годы как в тумане. Я совершал путешествия и куда более далекие, от которых остались лишь фрагментарные картинки: стая обезьян, преследовавшая нас в африканском лесу, спокойное плавание по Тихому океану, Австралия, остров Таити, еще не ставший приманкой для туристов.

В каком году я арендовал в Орлеанском лесу замок Кур-Дье с охотничьими угодьями в десять тысяч гектаров? Я устроил там загонную охоту и имел несчастье ранить косулю, которую мне пришлось добить. С тех пор я не беру в руки ружья.

Все это правда. Так я жил. И хочется добавить: бессмысленно. И так же бессмысленно немного позже я несколько месяцев просиживал на одном и том же желтом стуле на террасе «Фуке». И так же бессмысленно одевался, чтобы отправиться на какой-нибудь коктейль.

Мне остается только Поркероль: там у меня в течение лет пяти-шести был дом, я купил «остроноску» — местную рыбачью лодку. У меня был матрос. Целые ночи мы проводили в море. А вечером я играл в шары с местными жителями.

Надо сказать, что после периода лихорадочной жизни я ощущал настоятельную потребность расслабиться, возвратиться на море или на землю.

Во всяком случае, если меня спросят, какие годы я хотел бы пережить заново, эти я не назову. И однако, где бы я тогда ни находился, я писал по шесть романов в год.

Чего же я искал на протяжении 30-х годов, когда метался из замков в кабачки, с континента на континент, по сорок дней не сходил с парохода, идущего в Сидней, устанавливал свою пишущую машинку в самых разных, порой очень отдаленных уголках земного шара? Любопытно, что в ту пору я не задавал себе такого вопроса. Мое поведение казалось мне естественным. Мне хотелось жить, причем не одной жизнью, а сразу несколькими, быть одновременно крестьянином, моряком, наездником, элегантным парижанином с Елисейских полей. Этот вопрос я серьезно ставлю перед собой только сейчас, много лет спустя. Я знаю одно — что не пытался тогда придать себе уверенность в своих силах. Чего-чего, а ее во мне хватало. Я не

искал также приключений, живописных уголков и ландшафтов, не повышал, говоря сегодняшним языком, свой культурный уровень, так как не посещал музеи и не осматривал исторические памятники.

Думаю, что, в сущности, я искал человека. Этот поиск всегда увлекал меня, и теперь, в 70 лет, я понял, что бессознательно посвятил ему всю жизнь.

Партия в белот в бистро в Ниель-сюр-Мер с мясником и двумя рыботорговцами представлялась мне не менее важной, чем прибытие на рейд Стамбула, в те годы одного из красивейших портов мира. Верховая прогулка по проселкам Вандеи рождала во мне чувство не меньшего удовлетворения и полноты жизни, чем вечер, проведенный в парижском салоне.

По правде говоря, я никогда не вел светского образа жизни. Если не считать влиятельных лиц, с которыми я случайно встречался, я избегал того, что называют бомондом, словно сознавая, что он не имеет ничего общего с моими поисками человека. Меня интересовал обыкновенный человек с его маленькими радостями и большими заботами. Я посещал в Центральной Африке совершенно нецивилизованные племена. Меня предупреждали, что приближаться к некоторым из них и то опасно. Тем не менее я отправлялся к ним без всякой бравады и чувствовал себя среди этих не знающих одежды людей совершенно непринужденно, более непринужденно, чем среди тех, с кем обедал в кают-компании роскошного пакетбота. Мне трудно это объяснить. Я чувствую, что хотел бы сказать, но не нахожу подходящих слов.

Вправе ли я говорить об этой поре как о неудачной странице своей жизни, некоем крахе моих взглядов и даже — почему не признаться в этом? — того образа жизни, о котором так часто мечтал в начале 30-х годов бедный сочинитель развлекательных романов?

Итак, словно пересматривая рукопись, я вычеркиваю теперь из своей жизни ненужные персонажи и слова, все, что было в ней искусственного и фальшивого.

Я искал человека, человека без покровов, человека один на один с самим собой, и он встречался мне на всех широтах. Я приходил в бешенство, слыша пренебрежительные разговоры белых богачей о дикарях, о «канаках», как презрительно именовали тогда туземцев.

Так целый десяток нелегких лет я от случая к случаю учился понимать, что нет ни «канаков», ни черномазых, ни дикарей. Возможно, я не прав, говоря, что немного стыжусь тех лет? Нет, гордиться ими действительно не приходится. Я не хотел бы

пережить их вновь. Думаю, однако, что они были необходимы. Скромность — вот самое главное, чему они меня научили.

Возраст от десяти до двадцати — это время, когда людям снятся сны, которые остаются на всю жизнь. Но сновидения не зависят от человека.

После того как я прекратил писать, мне случается читать современные мемуары, то есть истории, написанные нашими современниками для современников. Раньше я ограничивался чтением мемуаров и переписки исторических лиц.

Книги, которые я просматриваю сейчас, вызывают у меня тягостное ощущение. Авторы, пользуясь тем, что знали того-то или того-то с двадцати лет, выставляют на свет божий не только его слабости, но порой выбалтывают то, что им говорилось по секрету.

Даже если это касается людей знаменитых или очень известных, о которых постоянно писали в широкой или «определенной» прессе, все равно я всякий раз испытываю чувство неловкости.

Вот почему, болтая перед микрофоном, что стало для меня манией, я стараюсь не называть фамилий, за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Безусловно, эти устные заметки не предназначены для публикации. Хотя первый опыт несоблюдения подобного решения у меня уже есть.

В 1959 году я делал в тетрадях дневниковые записи и был полностью уверен, что они никогда не увидят свет. Тетради эти десять лет пролежали в ящике, их не читал ни один человек. Потом по настоянию одного из друзей я решился опубликовать их под названием «Когда я был старым».

Сейчас я по-настоящему стар. Сдержу ли я слово? Не знаю.

Поэтому я и стараюсь не упоминать фамилий даже тех людей, о которых могу сказать только хорошее.

Я не летописец. И тем более не журналист. Можно, конечно, поведать забавные историйки о людях, но, даже когда речь идет о тех, кого, казалось бы, неплохо знаешь, истории эти оказываются неточными, а то и лживыми.

Мне принадлежат герои моих романов. Но не мои друзья.

И уж подавно не люди, которые однажды сидели у меня за столом или у которых однажды сидел я.

От воспоминания к воспоминанию я добрался до своего открытия Парижа. Открывал я его на автобусе.

Сейчас, когда автобусы представляют собой герметично

закрытые коробки, это было бы невозможно. В 1923 году у автобусов еще имелись открытые площадки[31], и вот как раз на площадке я и ездил. У меня возникала иллюзия, будто я являюсь частью города, частью толпы, кишащей на тротуарах; нередко я садился в автобус вовсе не затем, чтобы проехать из одного места в другое, а ради удовольствия открыть новые улицы. Особенно узкие, где по обе стороны куча лавок и женщины с хозяйственными сумками переходят из одной в другую.

Многие годы это было для меня огромным наслаждением, наградой, которой я поощрял себя, когда работал до шести утра. Тогдашние Большие бульвары были примерно тем же, чем сейчас являются Елисейские поля; правда, выглядели они куда живописней. На бульваре Мадлен я влезал на площадку автобуса, устраивался в уголке, покуривал трубку и, восхищенный, глазел по сторонам.

Тогда наряду с такси существовали еще фиакры и разные экипажи, там можно было увидеть дам в пышных нарядах и мужчин в цилиндрах.

Террасы были полны народу, и у каждого большого кафе — «Неаполитанского», «Английского» или «Мадрида» — была своя клиентура.

Недавний провинциал, я горящими глазами смотрел на картинки парижской жизни. Да, это была жизнь. Жизнь многообразная, менявшая свой облик чуть ли не через каждую сотню метров.

Между хорошенькой женщиной с бульвара Мадлен и хорошенькой женщиной с бульвара Капуцинов не было ничего общего.

То же самое и с магазинами. На бульваре Мадлен — большие, шикарные, а чем ближе к бульвару Сен-Мартен, тем они становились проще, доступней.

Этот маршрут я проделывал сотни раз, и не ради того, чтобы куда-нибудь доехать, а ради удовольствия. И не жалею об этом.

Хотелось бы, чтобы все города давали возможность проникать вглубь, сливаться с ними, вдыхать их запахи, наблюдать людей в часы досуга и за работой.

В сущности, контакт с другими людьми всегда был и останется моим всегдашним стремлением. Но, может, потому, что я стал стар, этот контакт оказывается для меня все более и более трудным.

Мне приснился забавный сон. Верней, это был даже не сон. Я пребывал в сладостной полудреме и с любопытством разглядывал человека, стоящего ко мне спиной. Он был выше, шире в плечах и

массивней, чем я. И хоть я видел его со спины, в нем чувствовалась умиротворенность, и я позавидовал этому.

На человеке были синие холщовые штаны, фартук садовника и рваная соломенная шляпа. Он стоял в саду. Вдоль заборчика, отделявшего сад от соседей, росли разные душистые травы, и человек их пропалывал.

Потребовалось некоторое время, чтобы я в полусне понял, что это вовсе не реально существующий человек, а персонаж, рожденный моим воображением.

То был Мегрэ в своем садике в Мен-сюр-Луар, Мегрэ, находящийся, как и я, на покое, но не такой старый, как я.

Мне казалось, что я в малейших подробностях узнаю дом под красной черепицей, где г-жа Мегрэ возится возле плиты. И еще показалось, что вижу, как ближе к вечеру Мегрэ неспешно направляется в свое кафе, где его уже ждут партнеры на партию в белот.

Больше он не рыбачит. Считает, что реки слишком загрязнены.

Он не скучает. Во всякое время дня у него есть занятия, а бывает, они с женой, взявшись под руку, совершают долгие прогулки пешком.

Я то ли сразу заснул, то ли проснулся. Картины эти исчезли. Они сохранились у меня в мозгу, и это стало для меня как бы окончательной отставкой Мегрэ.

1932 год. Пристань на атлантическом побережье Габона. Впрочем, пристань — слишком громко сказано. Волна настолько высока, что пассажиров поднимают на борт пакетбота в своего рода корзинах с помощью пенькового троса. Да и судно тоже не пакетбот, а грузовоз, принадлежащий крупной французской судовой компании. Он возит черное и красное дерево в Европу.

Корабль стоит на якоре. С борта спустили веревочный трап, и шлюпки непрерывно подвозят к нему полуголых негров и негритянок. У многих женщин за спиной пристроены младенцы. Корабль подвергается сильной килевой качке. Черные человечки, издали смахивающие на жуков, отчаянно цепляются за трап, чтобы не сорваться, и карабкаются на палубу.

Когда они наконец взбираются наверх, лица у них серы от страха. Негров две-три сотни. Испытания для них еще не кончились: теперь им предстоит спуститься по трапу в трюм.

Я замечаю маленькую негритянку — полуженщину-полуребенка с большими испуганными глазами. Старший механик, присутствующий при погрузке, тоже замечает ее.

Утром, когда корабль уже в открытом море, я вижу на палубе

эту хрупкую фигурку с большеглазым лицом. Женщину сопровождает молодой негр. Возбужденно лопоча и жестикулируя, она обращается к капитану. Тот наконец выслушивает ее.

Ночью старший механик спустился в трюм. Направился прямо к негритянке и овладел ею в присутствии мужа, посулив пять франков. Пять франков он не заплатил и удалился, осыпав несчастную руганью.

Капитан вызывает старшего механика. Тот без тени смущения во всем признается. Капитан приказывает ему отдать пять франков; механик, пожав плечами, возражает:

— В жизни не платил за то, что переспал с черномазой!

Так он и не заплатил. Капитан не мог ничего с ним поделать. Я и сейчас вижу, как негритянка и ее молодой муж возвращаются в трюм.

Все это людское стадо будет грузить красное дерево в устье реки.

Они попали сюда не по доброй воле: их продал вождь племени.

Что станет с ними потом? Это никого не беспокоит. Может быть, они попадут в руки враждебного племени; может быть, другое судно той же компании отвезет их еще куда-нибудь так же, как их привезли сюда.

За это, писал я в 1932 году, мы еще заплатим. И мы, и наши дети, и наши внуки.

В Делфзейл я приплыл на «Остготе», корабле, который мне построили в Фекане.

Там, в каюте, освещенной четырьмя иллюминаторами, я каждое утро писал по главе романа.

Однажды плотник заметил, что «Остгот» дает течь и его надо проконопатить. Поскольку я поклялся себе не провести за время путешествия ни одной ночи на суше, то ночевать продолжал, как, впрочем, и Тижи, и Буль, на борту, хотя корабль стоял в сухом доке.

Но о продолжении работы на нем не могло быть и речи: конопатчики громко стучали по корпусу, и от их ударов все внутри резонировало, как под колпаком. Тогда я разыскал старую, полузатопленную баржу. Я поставил там прямо в воду большой ящик под пишущую машинку, другой, поменьше, себе под зад и два маленьких — под ноги. На барже я сочинил серию детективных новелл: «Тринадцать тайн», «Тринадцать загадок», «Тринадцать виновных».

Как-то утром я отправился в маленькое кафе, к которому

успел привыкнуть, — оно мне очень нравилось. В нем было темновато, но вся мебель просто сверкала. На биллиарде, под которым стояла жаровня, чтобы дерево не коробилось, не было ни пятнышка мела, а столов с такой идеальной полировкой я вообще нигде не видел.

Помню, я спросил у хозяина, каким лаком или мастикой он пользуется. Он чуть ли не с негодованием посмотрел на меня и ответил:

— Никаких мастик, а тем более лаков. Каждое утро в течение сорока лет я протираю мебель тряпицей, смоченной маслом.

Я заказал стаканчик джина с капелькой лимонного сиропа и принялся не спеша смаковать его, попыхивая трубкой, затем выпил второй и не поручусь, что не заказал третьего. Правда, джин в Голландии подают в крошечных стаканчиках. Тем не менее, когда, сунув руки в карманы, я зашагал по берегу моря, в голове у меня слегка шумело. И тут в моем мозгу возник ряд образов: вначале парижские улицы, с которыми я расстался год назад, затем силуэты бродяг, прозванных «портовыми крысами». Я встречал их в разных частях света. Они похожи на морскую пену. Это своего рода портовые клошары. Никто не знает, откуда они, какой национальности. Прогонят их от одного склада — глядишь, они уже около другого. Больших правонарушений они не совершают и всегда готовы оказать мелкие услуги, почему портовое начальство и терпит их.

В отличие от городских клошаров «портовые крысы» — люди не старые. Большинство из них довольно молоды. Они производили на меня не менее сильное впечатление, чем парижские клошары, ночующие под мостами.

Все эти образы смешались в моем затуманенном мозгу, и вскоре я решил написать роман, исходной сюжетной точкой которого послужат «портовые крысы». К вечеру решение мое не поколебалось. Я по-прежнему был погружен в новую, захватившую меня атмосферу, в среду, постепенно обретавшую для меня зримые контуры.

В 6 утра я отправился на полузатопленную баржу, сел на ящик, поставил ноги на два других и начал отстукивать первую главу «Питера-латыша». К 11 она была готова. У меня не было ни набросков, ни плана. На старом желтом конверте, найденном на «Остготе», я записал лишь несколько имен персонажей и названий улиц. Через неделю роман — первый из «цикла Мегрэ» — был закончен.

Вначале я не представлял себе, как развернутся в нем события, а просто изо дня в день следовал за своим главным героем. Мегрэ в тот момент являлся для меня второстепенным

лицом, и я ограничился тем, что обрисовал его характер в общих чертах. Я и понятия не имел, что использую своего инспектора еще в 80 романах, что Мегрэ не только станет известен во всех странах, но что о нем будут ставить фильмы, делать радио- и телепередачи. Чем кончится «Питер-латыш», я узнал лишь в последний день. В дальнейшем то же самое происходило со всеми моими «Мегрэ» и «не Мегрэ».

Что же вызвало у меня вспышку творческой энергии? Три стаканчика в тихой и созвучной мне атмосфере маленького кафе? Или «портовые крысы», которых я встречал во всех гаванях мира? В сущности, этот механизм мне и самому непонятен. У меня никогда не возникало сознательного намерения написать книгу. Все начинается с какого-то внезапного беспокойства. Или с желания выключиться из окружающей меня реальности? Не убежден, что это так, но подобное объяснение вполне возможно. Как только герой романа родился, он обретает плоть и — тут я готов биться об заклад — начинает жить самостоятельной жизнью. Это характерно как для «Питера-латыша», так и для «Колоколов Бисетра» или «Трех комнат в Манхэттене». Это характерно для всех моих книг. Любопытно, что, несмотря на мое в известной мере второстепенное участие в развитии действия, работа над романом крайне меня изнуряет.

С 1929 года я написал больше двухсот[32] романов. Я старался делать их все более динамичными, насыщенными и в то же время сжатыми, работа над ними становилась все труднее. Поэтому я писал все меньше: сперва двенадцать романов в год, под конец — четыре, а то и три.

Приступая к двести пятнадцатому роману, я час просидел над желтым конвертом. Записал фамилии, адреса, номера телефонов. Все было готово. Но на следующее утро я не стал в шесть утра садиться за стол и писать первую главу: почувствовал, что у меня нет сил.

Тогда я и решил бросить писать. Было это год назад, в канун моего семидесятилетия.

С той поры я только болтаю перед диктофоном. Выбрал я самый простой и самый дешевый: он ведь предназначен не для работы, а для развлечения. Ну и чтобы снять налет торжественности и высокопарности с того, что я рассказываю — кое-кто мог бы сказать: мелю.

Несколько лет назад на том месте, где был написан «Питер-латыш», то есть родился Мегрэ, поставили бронзовую статую комиссара. Сейчас мне это кажется таким же нереальным, как сам Мегрэ, как все написанное мной.

Как все романисты, я получал и еще получаю очень много писем. Они приходят из самых разных стран, от людей, принадлежащих к разным слоям, — от врачей, психологов, психиатров, преподавателей и, наконец, от массы читателей, не занимающихся умственным трудом. Однако большинство моих корреспондентов, к какой бы общественной категории они ни принадлежали, задают один и тот же вопрос:

— Каков механизм вашего творчества?

Или:

— Как вы пишете романы?

Это именно тот вопрос, на который я не в силах ответить. Вчера я попытался продемонстрировать этот механизм на примере своего первого «Мегрэ», который впервые подписал собственной фамилией. Я всегда стремился уяснить себе, как возникает во мне первоначальный творческий импульс. В Делфзейле это случилось за полированным столиком маленького кафе, где пахло джином. А в других случаях? Мне кажется, иногда для этого достаточно любой малости: солнечного луча, какого-то необычного дождя, запаха сирени или навоза. Они пробуждают во мне непроизвольный образ, который подчас не связан даже с первоначальным ощущением, например образы набережных в Льеже и Антверпене, причала в Габоне и одновременно образы больших людских масс.

Долгое время эти образы почти всегда ассоциировались у меня с детством и отрочеством. У нас была большая семья. Отец имел дюжину братьев и сестер, мать — столько же, с широким диапазоном судеб — от монахини до клошара, от самоубийцы до крупного землевладельца, от хозяйки матросского кабачка до пациенток психиатрической клиники. А о скольких я не упоминаю! Вероятно, перечитав романы, написанные мною лет до 40, я нашел бы сходство между этими людьми и своими героями. Я имею в виду не точное портретное сходство, а то, что эти люди, сами того не подозревая, погрузили меня в свою атмосферу, и я тоже об этом не догадывался. Потом, осознав это, я написал «Pedigree», чтобы избавиться от воспоминаний детства, описать раз и навсегда свое семейство в одной книге и больше не испытывать неприятного предчувствия новой встречи с родней в следующих вещах. К тому времени я уже многое повидал на пяти континентах. Нагляделся на тысячи мужчин и женщин разных социальных уровней. Я никогда не складывал их на хранение в клеточки мозга, надеясь, что в один прекрасный день они мне пригодятся. Не хранил я и красочные почтовые открытки, чтобы черпать в них вдохновение при описании пейзажей. Смешно сказать, но все это совершалось автоматически. Заменим слово

«автоматически» на «бессознательно» или «подсознательно», и думаю, что приблизимся к истине. Толчком к началу творческого процесса мне всегда служило мимолетное ощущение: запах, цвет неба или даже тихое шарканье по полу. Через несколько часов или дней возникала атмосфера романа и меня начинали преследовать его персонажи, происхождения которых я не знал и о которых ничего не мог сказать. Когда я принимался писать, эти герои, сперва расплывчатые и чуждые мне, обретали имя, адрес, профессию и становились настолько живыми, что мое собственное *«я»* отступало на задний план. На третьей главе я начинал ходить, говорить, чувствовать, как они. Вот почему я никогда не составлял план романа — сюжетом дирижировал не я, а мои герои. На первый взгляд все очень просто. Главная трудность состоит в том, чтобы на тебя низошло, как я выражаюсь, «состояние благодати», то есть полной отрешенности от своего «я», и внутри тебя создалась пустота: там требуется место для другого человека, твоего героя. Затем на протяжении всего романа надо суметь остаться этим другим человеком, не позволяя себе отвлекаться от него и ничему не давая тебя отвлекать. Вот как я могу ответить на вопрос, задаваемый мне столь многими. Я отдаю себе отчет, что ответ мой может показаться наивным, упрощенным, но не нахожу иного. Этот по крайней мере ближе всего к истине.

В самом деле, у меня не было выбора. Как только я начинал писать, мною овладевала своего рода лихорадка. Она одолевала меня, порабощала, лишала свободы воли. И я продолжал писать. Не потому, что хотел этого, даже не потому, что стремился заработать деньги, а потому, что, если перерыв между двумя романами слишком затягивался, я чувствовал себя словно в вакууме, в безвоздушном пространстве, как наркоман, внезапно лишенный привычного зелья. Должен ли я признать, что не люблю в себе эту настоятельную потребность непременно возвращаться к работе, эту потерю душевного равновесия, когда не пишу? Я понимаю, задавать себе подобные вопросы глупо, но удержаться не могу. Если это удается мне несколько дней или часов, всегда найдется кто-нибудь, кого я даже не знаю и никогда не видел и кто заговорит со мною на улице, чтобы задать вечный вопрос:

— Господин Сименон, как вам удается писать столько романов?

Как это удается мне в течение почти полувека? Да очень просто, черт побери! Я пишу. В первый раз я писал, сидя за пишущей машинкой на ящике; потом более комфортабельно — сидя на стуле. Но я никогда не принимал за письменным столом

позу романиста с пером в руке, трубкой во рту и распахнутым на улицу окном. Перед началом работы я неизменно вынужден был повторять определенные жесты, ставшие за долгие годы привычкой, которая опять-таки поработила меня. Перед тем как приняться за роман, я спускался к себе в кабинет, прихватив из библиотеки маленький столик на колесиках. Я устанавливал его на определенном месте, отправлялся на кухню за плиткой и, как всегда, втыкал в кабинете вилку в розетку. Затем я приносил чашку, которую не без труда раздобыл — так она огромна. Это чтобы не слишком часто наполнять ее снова. Далее следовал осмотр машинки и чистка шрифта. Справа от машинки я клал желтый конверт, который ошибочно называют моим планом. На нем никогда не делалось пометок, связанных с развитием сюжета. Слева — две папки из толстой бумаги особого сорта для обоих экземпляров рукописи: я всегда печатаю под копирку. На другом столике огромная пепельница, выточенная из цельного куска дерева, полдюжины тщательно подобранных трубок. Последний взгляд на весь ансамбль… Я казался себе акробатом, который уже в трико выходит перед номером на арену проверить, хорошо ли натянута проволока и закреплена аппаратура. Не были ли все эти приготовления чудачеством? Некоторые писатели создают шедевры за столиком кафе, не обращая внимания на гул голосов. Большинство пишет, если у них появляется желание писать или если они решают приняться за работу. Кое-кто сочиняет каждый день обязательную сотню строк, что позволяет выдавать по роману в год. Я смущаюсь и даже волнуюсь при мысли, что меня могут счесть исключением. Для тех, кто меня знает, я человек как все, живущий нормальной жизнью без особенных неожиданностей и потрясений.

Во мне укоренились и другие привычки, например вывешивать на дверях кабинета табличку «Do not disturb»[33], которую я привез из нью-йоркского отеля «Плаза», или другая — запрещать домочадцам вставать раньше меня, когда я пишу роман. Я хотел, чтобы никакая мелочь не отвлекала меня после сна: я должен быть свеж, как чистый лист бумаги.

Некоторое время я пытался сбросить гнет этих привычек и писать по-другому. Накупил десятки карандашей и тонко-тонко очинил их электрической машинкой. Наконец уселся даже за письменный стол. Почерк у меня очень мелкий, и я был вынужден часто очинять карандаши. После полудня я перепечатал рукописный текст на машинке, и мне пришлось многое менять. Пишущая машинка не располагает к словесным пируэтам, повторам, приглаженным фразам, которых я не терплю. От нового

метода я вскоре отказался, почувствовав, что явно поддаюсь тенденции писать красиво, и опять сел за машинку. Итак, в течение стольких лет я не был волен даже в выборе техники письма. Это признание вызывает у меня досаду и беспокойство, несмотря на то что я сделал все от меня зависящее. Теперь, когда я больше не романист, мне тревожиться нечего. Я очень хотел бы не писать воспоминания, а рассказывать забавные истории об известных людях — моих друзьях. Я набит такими историями, но считаю, что действия и поступки людей принадлежат только им самим и не мне выставлять их жизнь на всеобщее обозрение, а уж судить о ней — и подавно. Значит, для болтовни перед моей игрушкой у меня остается одно — я сам в молодости и в старости, небольшой запас образов, возникающих у меня в голове, когда я меньше всего этого ожидаю. Как видите, я даже образы не волен выбирать сам.

Воскресный день. Я, как и ежедневно, восхитительно провел сиесту. В этот раз я гулял в лесу. Этакая послеобеденная прогулка. А теперь снова сижу перед моей игрушкой и ощущаю потребность продолжить разговор, если можно так выразиться, с того, на чем оборвал его утром. Я спрашивал себя:

— Почему? Почему я всю жизнь таскал с собой пишущую машинку, а не, скажем, померанского шпица? Почему у меня регулярно возникало чувство, что окружающий мир становится пресным, и я убегал из него в вымышленный? В чем причина?

Я попробовал использовать метод вопросов и ответов.

Деньги?

— Решительно нет. Деньги меня не интересуют. За те пятнадцать лет, что я живу в Швейцарии, я и четырех раз не был в банке. В самом начале, в Париже, я был беден, но, когда получал свой крохотный заработок, тут же его тратил — на что угодно, лишь бы потратить, рискуя потом всю неделю просидеть на одном камамбере. К тому же, избери я другую профессию, скажем в торговой или в промышленной сфере, я заработал бы куда больше и не испытывал бы тех крестных мук, которых требовала работа над каждым романом.

Слава?

— Я не тщеславен. Посмертная слава интересовать меня не может, потому что, если она придет, я об этом не узнаю. Что же касается прижизненной, я к ней равнодушен. Ни на официальных, ни на светских приемах я не бываю. Не хожу на генеральные репетиции и прочие парадные торжества. За исключением двух лет в молодости, я всегда жил в своем углу, чаще всего в сельской местности, где единственным моим развлечением была верховая

езда да игра в карты с крестьянами в деревенском бистро.

Почести?

— Я абсолютно равнодушен к ним, у меня не осталось ни одной из моих регалий. Ими играли мои дети. Я никогда их не надевал и вряд ли даже смогу перечислить. Я никогда не принадлежал к официальным кругам. Не вхожу ни в какое жюри. Не являюсь председателем никакого общества — даже деревенского кружка любителей духовой музыки.

Житейская независимость?

— Я был независим: жил, как мне нравилось, ездил, куда хотел, но платил за это слишком дорого, потому что всюду таскал с собой пишущую машинку. И хотел я того или не хотел, но из-за необходимости работать путешествия как-то блекли.

Что же еще? Не вижу никакой правдоподобной причины, которая объяснила бы, почему я выбрал эту профессию. Верней, одну вижу, но ее могли бы назвать многие писатели — и прошлых веков, и современные: ничего другого делать я не умею.

В сущности, если бы я не стал писателем, то, вероятней всего, превратился бы в неудачника. Когда я писал развлекательные романы, чтобы заработать и одновременно изучить механику построения прозаического произведения, у меня холодные мурашки пробегали при мысли: а вдруг и в шестьдесят, и в семьдесят лет я все так же буду сочинителем развлекательных романчиков.

Не знаю, толково ли я объяснил. Я ни о чем не жалею. Я прожил жизнь — свою жизнь. Возможно, выбери я другую профессию, мне не пришлось бы так изнурять себя. Но с тех пор, как я перестал сочинять и мне не надо больше представлять себя на месте своих героев, я живу в ладу с самим собой.

Лет в 40–45 я давал сотни интервью. С одинаковым радушием я принимал репортеров маленьких провинциальных газет и сотрудников больших парижских, лондонских или нью-йоркских иллюстрированных журналов. Кроме того, я часто давал интервью радио и телевидению. Последние были особенно утомительны, так как обычно продолжались почти неделю и дом захламлялся кабелями и прочим оборудованием. Многие думают, что я поступал так ради рекламы. Чистосердечно заявляю, что это предположение не соответствует действительности. В 16 лет я сам был репортером, меня посылали брать интервью у приезжих знаменитостей — Пуанкаре, маршала Фоша[34], Ллойд Джорджа[35], Анны Павловой[36], Артура Рубинштейна[37] и других. Вспоминаю, с каким горьким чувством я докладывал порой главному редактору о своей неудаче: нередко кое-кто из этих персон захлопывал двери у меня перед носом. Вот эту горечь

я и не хотел вселять в других тогда, когда уже не брал, а давал интервью.

Я рассматриваю писателя как человека, принадлежащего в некоторой степени публике, поскольку он пишет именно для нее. Публика же имеет право на известное любопытство. Она, естественно, хочет получше знать того, за чтением чьих книг проводит вечера. А романист имеет возможность более или менее объясниться с читателем лишь через печать, радио и телевидение. Я говорю «более или менее» и настаиваю на этом. В самом деле, тот, кого интервьюируют журналисты и телерепортеры, может лишь отвечать на задаваемые вопросы. Вопросы же, которые он хотел бы услышать, ему задают редко. Это приводит ко многим ошибочным выводам и недоразумениям. Убежден, что некоторые авторы разочаровывали публику уже одной своей неловкостью перед телекамерой. Каждому человеку свойственно желание поделиться с ближним, высказаться перед ним. Вероятно, это стремление и лежит в основе дружбы, но подобные излияния обращены, как правило, к узкому кругу лиц. Профессиональный литератор — иное дело. Любая выдумка журналиста, который сочтет, что без прикрас статья окажется недостаточно пикантной, может приклеиться к писателю на всю жизнь.

Решив бросить писать, я пригласил к себе одного лозаннского журналиста, который дважды брал у меня интервью и отличался безукоризненной вежливостью. Ему я и объявил новость. Было это в канун моего семидесятилетия.

Его статью перепечатали во всем мире, хотя дал он ее только в местную газету. И тут как прорвало: телеграммы, телефонные звонки. Собрались приехать с телевидения. Я был непреклонен. Сказал этому журналисту, что это было мое последнее интервью, поскольку я перестал быть писателем, а следовательно, человеком, принадлежащим публике. И я сдержал слово. Конечно, журналисты, которые безуспешно стучались в запертые двери, досадовали и злились. Но если они задумаются, то поймут меня.

В один прекрасный день я стал свободным человеком, человеком как все, а интервью обычно не берут у первого встречного или у пенсионера, сидящего на скамейке.

Со дна памяти поднимается воспоминание. Странно, почему оно не всплыло раньше: все-таки что-то оно да значит.

Лет в пятнадцать-шестнадцать я был убежден, что стану прославленным юмористом. Мой первый роман «На Арочном мосту» был написан с потугами на юмор. Действие в нем происходит в основном в аптеке, специализирующейся на слабительных пилюлях для голубей. Она существует и сейчас. В

мой последний приезд в Льеж два года назад эта аптека находилась на том же самом месте и рекламировалось в ней то же самое специфическое лекарство.

В следующем году мой друг М., репортер конкурирующей газеты, подбил меня писать вместе с ним пародию на полицейский роман. Почему на полицейский? Не знаю, откуда возникла эта мысль. Полицейских романов я не читал. Ну, может, прочел один или два Мориса Леблана[38] да один Гастона Леру.

Я тогда взахлеб читал Гоголя, которого очень любил и которого до сих пор считаю величайшим русским писателем, как Достоевского, Чехова и Горького.

Тем не менее мы с приятелем сочинили этот пародийный или, если угодно, иронический роман. Он назывался «Пуговица от пристежного воротничка».

Несколько лет назад М. отыскал рукопись и любезно прислал мне. Я попытался ее прочесть, но не одолел и четырех страниц. Если бы среди рукописей, которые мне присылают, попалась бы столь же скверно написанная, я, вне всякого сомнения, почел бы своим святым долгом порекомендовать автору заняться любым другим делом, скажем, стать мусорщиком, но только не лезть в писатели, тем более в юмористы.

Судя по моим дебютам, мне не предопределено было писать романы, которые можно было бы назвать черными, если бы теперь этот термин не обозначал литературный товар вполне определенного свойства. Сейчас многие английские критики и кое-кто из американских отмечают, что в моих книгах есть юмор. Во Франции этого не заметили. Я тоже за собой такого не замечал.

В журналистский период, лет примерно в восемнадцать, я написал третий роман. Он назывался «Жеан Пинаге» по имени героя, долговязого курносого юноши, довольно смешного, который принюхивался, чем пахнет на улицах, в лавках, посмеивался над внешностью прохожих, прилипал к витринам кондитерских, где громоздились всевозможные торты. Мне хотелось изобразить в этом романе старый Льеж. Я зачитывался Рабле. Читал также «Харчевню Королевы Гусиные Лапки» Франса.

Короче, ничего оригинального там не было. Но это уже был мой роман: я ведь тоже всю жизнь принюхивался к запахам, присматривался к огням и отблескам, полосам тени и света, к лицам, грубым, тупым или скорбным.

Потом в Париже мне случалось в «тощие» дни заглядывать, как Пинаге, в окна трактиров, но не для того, чтобы полюбоваться пропитанными кремом тортами; глотая слюни, я вожделел паштетов, заливного, устриц — одним словом, яств, вкус которых

тогда мне был неведом.

«Жеан Пинаге» чуть было не вышел в свет. Одна владелица типографии, дама в летах, питавшая ко мне склонность, предложила отпечатать его за свой счет. К счастью, я из предосторожности дал прочитать роман своему главному редактору. Он мне заявил:

— Если вы его опубликуете, вам больше не работать в «Газетт де Льеж».

Причина была в одном из героев романа — старом кюре, любителе выпивки и девочек. Для сотрудника католической газеты такой персонаж немыслим.

Обыкновенно он носил костюм в клетку, начищенные до блеска туфли из кожи ящерицы и порой надевал зеленую шляпу.

У него были большие светлые глаза и круглое розовое лицо, с которого не сходила насмешливая и в то же время довольная улыбка. Мне редко доводилось встречать человека, так жуировавшего в жизни. Порой он с самым серьезным видом представлялся таким вот образом:

— Эжен Мерль, шантажист.

И это была правда. Но он был шантажист, который никогда не использовал факты частной жизни людей.

Жертвами его оказывались банки и крупные компании, нарушившие закон.

Родился он в Марселе в небогатой семье и на всю жизнь сохранил марсельский выговор и юмор. Совсем мальчишкой он стал анархистом, а во время войны, как он со смехом говорил, армия использовала его для взрывания мостов.

Демобилизовавшись, он основал сатирический журнал «Белый дрозд»[39], который сразу же стал пользоваться огромным успехом.

Это была пора, как тогда говорили, Серо-голубой палаты — палаты крайне правого толка и резко шовинистической. Для Мерля — благословенная эпоха: он был в оппозиции и мог нападать на всех и вся.

Тогда же он основал еженедельник «Фру-фру», имевший почти такой же успех, как «Белый дрозд».

Это был один из многих галантных журналов, в которых я сотрудничал после приезда в Париж. Там частенько платили чеками без покрытия, но при наличии терпения случалось и получать заработанные деньги. В очереди в кассу я впервые встретился с Анри Жансоном[40], Пьером Лазаревым[41] и многими другими, сделавшими блистательную карьеру.

У Мерля был исключительный нюх на стоящих авторов для своих журналов.

Тогда не было левой вечерней газеты, и он основал «Пари-суар»; роскошное здание ее редакции находилось на бульваре Монмартр. Если не ошибаюсь, в «Пари-суар» печатался с продолжением роман Джефа Кесселя[42] «Ночи принцев».

К несчастью для Мерля, Серо-голубая палата протянула недолго, и, когда к власти пришли радикалы, у него не стало объектов для нападок. Он продал «Пари-суар», которая сейчас называется «Франс-суар», но по внешнему виду не очень изменилась.

Коньком Мерля была кулинария. Каждое воскресенье он собирал человек двадцать гостей в своем маленьком замке Авренвилль близ Арпажона и уже с рассвета возился на кухне. Я бывал на большинстве этих обедов. Там можно было встретить трех-четырех министров, банкиров, Илью Эренбурга, который слыл тогда «оком Москвы», и многих других.

Я с удивлением слушал, как высокопоставленные господа с невероятной простотой и бесцеремонностью обсуждали государственные и всякие прочие дела.

Я уж не говорю о разных делишках, которые обговаривались по углам во время кофе.

То были двадцатые годы, которые теперь называют «бель эпок», то есть «прекрасной порой», но прекрасная пора имеет свойство передвигаться во времени, и теперь для многих ею уже являются тридцатые годы, а то и эпоха Сен-Жермен-де-Пре[43].

Мерль привязался ко мне и, не смущаясь, часто говорил:

— Единственная стоящая вещь в мире, дорогой Сим, — это деньга.

Это выражение меня шокировало.

— Почти всегда и везде деньга приобретается нечестным путем. Надо только знать, где взять ее.

Не стану врать: его речи действовали на меня.

Это ведь под его влиянием однажды в Льеже, прогуливаясь по улице Пон-д'Авруа, я заявил матери:

— Существуют два сорта людей: те, кого порют, и те, кто порет. Я хочу быть среди тех, кто порет.

К счастью, я быстро спохватился. Начал смотреть на Мерля другими глазами, избегал обедов в Авренвилле.

Верней, спохватился я после того, как Мерль попытался основать утреннюю газету «Пари-матиналь».

Оттуда-то и пошла легенда о стеклянной клетке. Тогда я писал еще одни развлекательные романы под разными псевдонимами. Мерль предложил мне написать один на глазах у публики — сидя в стеклянной клетке. Она была заказана, но не

докончена по той простой причине, что после выхода всего нескольких номеров «Пари-матиналь» прогорела.

Я благодарен Мерлю за то, что он дал мне вблизи и во всей красе увидеть тех, кто правит нами и от кого мы зависим.

Поэтому я стал держаться подальше от этого особого социального слоя, особого мира: мне там так же неуютно, как Мегрэ.

Саша Гитри[44] написал пьесу «Отец был прав». А я вынужден признать: «Мать была права».

Черт! Поймал себя на том, что уже рассказывал эту историю о Мерле, если только можно назвать ее историей.

Наверное, такое случится еще не раз. Как-никак я прожил целую жизнь. Надеюсь, еще не до конца. Но много ли воспоминаний из всей жизни придет на память, когда закроешь глаза. Не очень. Лишь щепоть.

Когда смотришь на кружащуюся карусель, видишь одних и тех же лошадок, те же лодки, тех же лебедей и свиней.

Ну что ж, будем считать, что во мне тоже кружится карусель.

В это утро я принимаюсь за тему, которую уже затрагивал. Три дня назад я получил посвященную мне книгу со статьями и исследованиями ведущих критиков. Книга эта в принципе предназначалась к моему дню рождения, 13 февраля. По каким-то таинственным причинам дошла она до меня буквально только что.

И нагнала на меня страху. Вчера я прочел три статьи, исключительно хвалебные, и от каждой у меня осталось чувство неловкости.

Зачем все это? Об этом я думал сегодня утром, когда брился. Такой же вопрос я задавал себе, когда у меня приходили брать интервью для телевидения, хоть я не придавал им никакого значения, потому что в большинстве случаев дело сводилось к ответам на банальнейшие вопросы.

В статьях же, напротив, проводится тщательный анализ моих произведений. Безусловно, я думаю, что они, то есть мои произведения, обладают кое-какими достоинствами: как-никак я в течение сорока лет творил их, что называется, в поте лица своего.

Но когда я вижу подобные хвалы черным по белому, то впадаю в состояние некоторого замешательства.

Ко мне относятся как к знаменитости. Однако я нисколько не чувствую себя знаменитостью. Напротив! Когда на улице или где-нибудь еще ко мне подходят и просят автограф, я начинаю заикаться, стаскиваю шляпу, а расписавшись, совершенно

сконфуженный удираю.

В этом я вижу подтверждение теории, о которой уже говорил, только начав разглагольствовать перед диктофоном: детство сопровождает нас всю жизнь.

Я скромный человек — я родился от скромных родителей, которые учили меня смирению. Вопреки всему я во всем остался смиренным.

Не знаю, как благодарить тех, кто написал эти статьи. Сказать: «Да, я узнаю в них себя», — значило бы проявить гордыню. Сказать: «Нет, я не узнаю в них себя», — значило бы чуть ли не оскорбить авторов.

Я получал много анализов подобного рода, в частности от врачей, психиатров, психологов. Должен сказать, что я их не читал, чтобы уберечься от чувства неловкости, которое бессилен побороть.

Я приучен говорить «спасибо». А толкнув кого-нибудь на улице, говорю «простите» или «извините».

Сколько раз за свою жизнь я просил прощения и извинялся! Ибо все люди — такие же, как я, и имеют право на уважение: пусть я добился кое-какого успеха в своем деле, но ведь сотни тысяч людей добились того же в своем.

Здороваясь с нашим привратником, я приподнимаю шляпу. И ничего экстраординарного в этом не вижу, потому что когда он в шляпе встречается со мной, то поступает точно так же.

Короче говоря (добавлю, что не считаю это своим особым достоинством), я человек скромный и таким останусь.

Т. заметила, что пишущие обо мне сдирают слой за слоем, чтобы открыть меня подлинного. Они наблюдают меня в жизни, как бы сквозь зеркало без амальгамы.

Вероятно, так оно и есть. Может быть, человек не в силах познать самого себя? Я начинаю верить в это. Но восстаю, когда пытаются изменить мое чрезвычайно простое, непритязательное представление о себе самом.

Оно мне необходимо.

Из книги «Следы шагов»

26 сентября 1973

Сегодня вечером в книге, которая посвящена моему семидесятилетию, я перечитал письмо, написанное мной Андре Жиду в 1938 году.

Тогда мне было всего тридцать пять лет. Ровно в два раза меньше, чем сейчас.

В этом письме, написанном небрежно, без оглядки на слог и стиль, я попытался ответить на вопросы, которые Андре Жид задавал мне неоднократно — и в письмах, и в разговорах.

Письмо было о прошлом и о будущем, о том, как я наблюдаю жизнь, верней, как пишу, но в основном о будущем.

Написал я его мгновенно; сразу, даже не посмотрев, отправил и вот сегодня впервые перечитал.

Из него я понял, что в молодости у меня был ясный взгляд на свою жизнь и карьеру. В тексте многократно встречается слово «воля», и действительно, нужна стальная воля, чтобы в течение многих лет писать под псевдонимом развлекательные романчики, потом романы из разряда полулитературы (серия Мегрэ) и, наконец, перейти к тому, что за неимением другого термина я называю «трудными» романами.

Жид говорил мне, что когда-нибудь я напишу «большой роман». Несколькими неделями или месяцами раньше о том же со мной беседовал Бразийак[45]. Ему я ответил:

— Никакого большого романа не будет. Верней, большой роман — это мозаика из моих маленьких романов.

Написать такое Жиду я не решился. Он столько уговаривал меня приняться за большой роман, что я уверил его, будто надеюсь когда-нибудь создать его.

Тогда я и представить себе не мог, что скоро (тридцать пять лет — это ведь очень небольшой срок!) наступит день, когда я вообще откажусь писать и *не пожалею об этом.*

Одни спортсмены прекрасно бегают дистанцию сто метров, другие — двести, или четыреста, или тысячу метров, или даже тридцать километров. Но бегать другую, не свою дистанцию они, как правило, не способны.

Одни спортсмены прекращают бегать или плавать в двадцать пять лет, а другие и в сорок участвуют в соревнованиях.

Мне не предназначено было бегать на три тысячи метров. И также не предназначено писать после семидесяти.

Это естественно. И это надо принимать как должное.

Делать «плохого Сименона» я не хочу, но и не хочу убить

себя, делая «настоящего».

Тереза всегда слушает меня и обычно никак не комментирует, но на этот раз она произнесла фразу, просто на удивление справедливую:

— Это был бы первый случай самоубийства с помощью пишущей машинки.

1920 или 1921 год. Я был репортером в «Газетт де Льеж». В административном совете у нас был один сельский дворянин, владелец очаровательного замка и совершенный бездельник.

Время от времени он заходил к нам в редакцию поболтать, и тогда мы хохотали как безумные, потому что этот человек, в общем-то приятный и симпатичный, был непроходимо глуп.

Тем не менее ему пришло в голову стать депутатом. Главный редактор вызвал меня и сказал:

— Надо бы подготовить серию статей для избирательной кампании Х.

Я не разбирался в политике и не очень представлял себе, что такое избирательная кампания. В конце концов, не видя иного выхода, я обратился в канцелярию:

— Какая не политическая ассоциация насчитывает больше всего членов в наших краях?

Начальник канцелярии, не задумываясь, ответил:

— Рыболовы-любители.

Я провел избирательную кампанию Х. Он стал лидером рыболовов и был избран — потому что в восемнадцать лет я написал серию статей о загрязнении рек и вообще воды.

29 сентября 1973

Вчера часть дня я провел с Мари-Жо[46]. Мы сидели в креслах друг против друга и спокойно беседовали — обо всем и ни о чем.

Она уже взрослая: через несколько месяцев ей исполнится двадцать один, и, надо сказать, меня это приводит в некоторое замешательство. Я привык считать ее ребенком.

Я ни о чем ее не спрашивал: дал возможность говорить самой. И порой ее откровенность смущала меня.

В мое, как говорится, время многие вещи таили в себе и не открывались родителям, даже если откровенничали об этом с приятелями или подружками.

Я чувствовал, что Мари-Жо отдыхает, с нее спало напряжение и она счастлива в доме, где она не у себя, а гостья. На обед она заказывала крестьянские супы и тушеные овощи, которые не подают в маленьких парижских ресторанчиках, где она питается.

Это внешне. Но у меня создалось впечатление, что ей хочется дойти до самой глубины своего существа. Она всегда мечтала

быть актрисой, я об этом уже говорил. Ей начали давать небольшие роли в кино и на телевидении. Но она настаивает, чтобы о ней говорили как можно меньше, потому что не хочет известности прежде, чем станет мастером своего дела.

Несколько дней назад я говорил Терезе, что Мари-Жо стала бы писать, если бы достаточно быстро не преуспела в кино и театре. Пока она училась, я просматривал ее сочинения и письма. И всегда был убежден, что она, единственная из моих детей, могла бы пойти по моим стопам.

Вчера она сказала как бы между прочим:

— Со временем мне надо бы взяться писать. Не для того, чтобы зарабатывать литературой: во мне есть что-то, от чего обязательно надо освободиться. Это связано всего с двумя годами детства, но будет тяготить меня до тех пор, пока я не напишу об этом.

Я знаю, что она имеет в виду. Не хочу входить в детали. Главное, однажды она об этом напишет.

Странно, двое детей из четырех несколько сдержанны со мной, и, хотя разговаривают откровенно, за этой откровенностью я ощущаю недосказанность.

Марк женился, развелся, снова женился, у него двое детей, он занимается кино; я понимаю причины, по которым он из стыдливости кое-какие истины хранит про себя.

Джонни лет до тринадцати-четырнадцати был со мной вполне искренен, но сейчас его искренность распространяется только на некоторые темы: карьера, любовницы и т. п.

Мне никогда не приходилось слышать, чтобы четырнадцатилетний мальчик разговаривал с родителями так, как Пьер со мной. Он не только с полной откровенностью рассказывает о самых интимных сторонах своей жизни, в том числе и половой, но порой, можно сказать, бросает нечто вроде вызова.

Он прочел «Pedigree» и знает, что я в юном возрасте познал женщину. Знает, что в четырнадцать лет я курил трубку.

Порой создается впечатление, что ему хочется шаг за шагом пройти мой путь (не обязательно во всем), но, когда я рискую очень осторожно сделать ему замечание, он мне отвечает:

— Перечитай «Pedigree».

Что тут возразишь?

Может быть, мой случай особенный? Может быть, свобода, которую я всегда предоставлял детям, и выработала в них такую откровенность со мной?

Не знаю, но, признаться, я доволен этим и мог бы даже сказать — горжусь, если бы это не звучало несколько смешно.

Сегодня в каком-то смысле конец Эпаленжа. И отметит это событие Пьер.

В подвале дома есть большой зал для игр, но его можно использовать и как танцевальный. Мари-Жо неоднократно устраивала там вечеринки. Пьер практически ни разу.

Теперь, когда дом пуст, он устроит там прощальную вечеринку, где будут только шестнадцатилетние ребята. Но меня ничуть не огорчает, напротив, радует, что именно мой младший сын, веселясь, поставит точку в конце целого периода моей и своей жизни.

30 сентября 1973

В последней посвященной мне книге я с удивлением обнаружил статью Жана Полана[47]. Жан Полан — один из ведущих сотрудников «Нувель ревю франсэз». Его прозвали «папой римским».

Я с ним никогда не встречался. Никогда его не читал. Статью он начинает с восторгов, а заканчивает утверждением, что мне больше всего недостает чувства трагизма.

Какой трагизм он имеет в виду? Древних греков или Корнеля и Расина?

Подозреваю, что г-н Полан никогда не обращал внимания ни на лица людей на улицах, в метро, в маленьких кабачках у бульвара Ла-Виллет и заставы Сен-Мартен, ни на трагизм парижских улиц в три часа ночи, ни на трагизм жизни семей, теснящихся в квартирках дешевых муниципальных домов.

Я имею в виду вовсе не бедность. Я говорю о трагизме. Думаю, такой обыденный трагизм можно наблюдать даже в кабинетах «Нувель ревю франсэз».

Меня трогает именно этот обыденный трагизм, а не страстные монологи, метания и мировая скорбь.

Но удивительней всего, что Жан Полан меня читал. Нет, разумеется, он много читает, он прочел сотни, тысячи книг — и классику, и кое-что из современных авторов, но прочел их, наглухо запершись в своем кабинете; сомневаюсь, чтобы когда-нибудь он сталкивался с жизнью.

Каким, должно быть, заурядным я ему показался!

2 октября 1973

Я испытываю угрызения совести из-за того, что совершенно забросил Мегрэ после последнего романа «Мегрэ и господин Шарль». Это почти как навсегда расстаться с другом, не пожав ему руки. Между автором и его героями возникает эмоциональная связь, а если их сотрудничество длилось

пятьдесят лет — и подавно.

Мне доводилось читать в газетах, будто Мегрэ я писал с себя, будто он всего лишь моя копия.

Категорически отрицаю. Когда я писал первые романы с Мегрэ, я и не предполагал, что он надолго станет моим героем. В первых романах он был всего лишь эпизодическим персонажем. Впоследствии комиссар обрел внешний облик: внушительность, массивность, неторопливость, импонирующую невозмутимость.

Ни физически, ни нравственно этот портрет не похож на меня.

Позднее Мегрэ станет менее обобщенным. Да, возможно, я совершенно безотчетно передал ему некоторые свои мысли, какие-то оттенки своего отношения к миру…

Но он никогда не был мною. Я оставил его в деревне на берегу Луары, где он живет на покое — так же, как я. Он копается в саду, играет с соседями в карты, удит рыбу.

Я продолжаю заниматься единственным видом спорта, который мне еще доступен, — ходьбой.

Желаю ему жить на покое так же счастливо, как живу я.

Мы достаточно потрудились вместе, чтобы я мог с нежностью сказать ему: прощай.

3 октября 1973

Со вчерашнего дня французский парламент занимается проблемой мелких торговцев, которых душит конкуренция супермаркетов, больших магазинов, где все продается по ценам на десять-пятнадцать процентов ниже, чем в традиционных лавочках.

Замечу мимоходом, я этому совершенно не верю. Сейчас пачка «Данхила», например, содержит на две сигареты меньше, и я не уверен, что они из того же табака, что раньше.

Но вопрос не в этом. Французское правительство догадалось, что на будущих выборах ему не хватит многих десятков тысяч голосов. И внезапно заинтересовалось мелкими торговцами и ремесленниками.

Я-то от этого в восторге, но не думаю, что это спасет лавочки и мастерские. И это вопрос не политики, а образа жизни. Я где-то говорил, что мои лучшие детские воспоминания — это утренние часы на рынке, где я ходил между корзин и ящиков с овощами, фруктами, вдоль мясного ряда и где так вкусно пахло съестным.

Живя в Эпаленже, я часто спускался в город в рыночные дни, среду и субботу, чтобы снова окунуться в ту атмосферу.

На большой площади в Рипонн, где был рынок, сейчас гараж. В прилегающих узких улочках можно увидеть крестьян с товаром,

но это уже не настоящий рынок, что был прежде.

В Стамбуле, Каире, Алжире, Тунисе туристов восхищают базары, огромные, занимающие площадь величиной со средний городок, где перемешаны кустарные изделия и плоды земли и где во весь голос, яростно торгуются о ценах.

Я видел в Америке рождение первых супермаркетов.

Бесконечные вереницы консервов, мебели, белья, мяса; все запаковано в целлофан, на пакетах обозначены вес и цена.

Это было пятнадцать лет назад. Теперь волна докатилась до Франции, Швейцарии и, несомненно, других стран Европы.

Акционерные компании, поддерживаемые крупными банками, заменили земледельца, который сам привозил на рынок овощи, битую птицу или баранину.

Говорят, в супермаркетах цены на десять процентов ниже. Здесь в безмолвии длинных проходов между стеллажами каждый толкает свою тележку; в некоторых даже предусмотрено место для ребенка.

Возможно, я старый ворчун. Но лет в пять-шесть мои дети были в восторге, когда я их приводил на рынок.

А чем восторгаться в супермаркете? Кочаны капусты здесь не лежат в большой корзине, откуда их можно взять, взвесить на руке, понюхать. Они завернуты в целлофан, как зеленая фасоль, персики, рыба.

И все здесь на десять процентов дешевле? Я остаюсь скептиком. Крупные компании, банки умеют считать лучше, чем крестьянин из соседней деревни. В супермаркете нет никого, с кем можно поговорить. Зайдите. Возьмите тележку. Наполните ее консервами и замороженными продуктами.

Выйти можете через любой из семи, восьми, десяти проходов, в которых стоят кассы.

На миг мне вспомнилась моя утренняя прогулка. Днем я обычно гуляю на природе, а сегодня утром совершил прогулку по улочке, которую некогда назвали бы торговой: на ней две мясные лавки; зеленщики выставляют лотки с овощами, фруктами; торговцы знают каждого клиента и его вкусы.

Очень сомневаюсь, что мои внуки познают подобную радость, несмотря на предвыборные речи в Бурбонском дворце.

Супермаркет когда-нибудь заменит теплое человеческое общение торговых улиц Лепик, Сент-Антуан и многих других. Даже тележки, с которых идет торговля в разнос, не сегодня-завтра исчезнут с парижских улиц.

И тогда первые этажи домов займут офисы, в основном туристские.

— Посмотрите Багдад… Посетите Гонконг…

И люди поедут за пять-шесть тысяч километров осматривать базары.

Того же дня

Часом позже. Весь этот час я, читая утреннюю газету, думал о прежних рынках, а также о тех, что пока еще существуют, но долго не протянут.

Рынок или торговая улица — это не только пестрое жизнерадостное зрелище, где люди ощущают близость друг к другу, но и контакт с природой, сведенный нынче к дням уикэнда.

В Льеже между фруктовым рынком и овощным было метров пятьдесят. Там стоял такой запах, какого я никогда больше не вдыхал: пахло дынями, и покупатели, прежде чем купить, нюхали их, пахло сливами, абрикосами, яблоками — их перерабатывали на консервы.

На овощном рынке цветная капуста была прекрасна, как настоящие цветы, а стручки фасоли — такого нежного и ясного зеленого цвета, что так и тянуло их погрызть.

И все это исчезнет? Уверен. Когда открыли первый универсальный магазин типа «Галереи Лафайета», Золя написал о нем роман[48]. Продавали там только товары для женщин: платья, шелка, хлопчатобумажные ткани. Но Золя прозрел в нем ад.

Рынки, торговые улицы имели, а сохранившиеся и до сих пор имеют одно преимущество: они способствуют общению между жителями квартала. Не только общению с продавцами, но и между покупателями. В очереди люди обмениваются мыслями, иногда кулинарными рецептами, часто сплетнями. Не заменяло ли это с успехом радио и телевидение?

Неужели у нас отнимут чувство общности, нормальные, неофициальные человеческие отношения? На этих улочках можно было и не знать фамилии своего собеседника или собеседницы. Это могла быть просто седая дама с шиньоном, или пожилой господин с собачкой, или хромоножка, или, на льежском наречии, «воображала» — та, что при покупках словом ни с кем не обмолвится, а к товару даже не притронется: ее сопровождает служанка с корзинкой.

Знаю, во все времена пожилые люди сожалели о прошлом. И всегда происходили какие-то изменения в образе жизни. Увы, на сей раз это уже революция. Так же как в кино — садишься там между двумя незнакомыми, и никто ни с кем словом не перекинется, все сидят, уставившись на экран, и он один говорит за всех.

Неужели в свой черед исчезнут кафе, где играют в карты, на

биллиарде, в кости? Исчезнут террасы, с которых разглядывают прохожих? Боюсь, что да.

Уже существуют бары без цинковой стойки, где нет ни столов, ни стульев, куда забегают, чтобы на ходу чего-нибудь выпить или зайти в уборную, бары, где нет человечной, теплой атмосферы.

И вот человек жалуется на одиночество.

15 октября

Человек, несчастный и чудесный маленький человек, исполненный героических порывов, надежд и — так часто — повседневного мужества, которое ничто не может истребить!

Не могу понять, почему он ни разу с тех пор, как существует на земле, не разметал силы, которые объединились против него и превратили в того, кого раньше именовали крепостным, а сейчас — квалифицированным рабочим, то есть в раба.

К счастью для своего относительного равновесия, он этого не понимает. Каждое утро ему внушают, что он должен думать, и муштровка эта не прекращается до самой ночи.

Ради чего? Ради кого? Ради нескольких негодяев, у которых совести и идеалов меньше, чем у остальных. Эти люди не стесняются жульничать — жульничать во всем — и выдавать войны за выражение единой воли народа, хотя причина кроется в барышах от поставок танков или самолетов.

Когда-то вот так же соблазняли крестьян идти на Восток отвоевывать гроб господень[49].

Это повторяется каждые двадцать–тридцать лет, и всякий раз маленький человек идет, всякий раз верит, всякий раз позволяет себя убить, ну, в крайнем случае оставить без руки или ноги.

В эти дни радио и телевидение особенно омерзительны. Они разжигают примитивные инстинкты в противниках, натравливая их друг на друга.

А несколько негодяев становятся еще богаче и могущественней.

Маленький человек отнюдь не святой. Он тоже не прочь сжульничать. Но жульничает он, чтобы купить — смотря по тому, где живет, — муки, риса или приобрести — это уж максимум — лавочку, где простора для жульничества побольше.

Всякий раз, слушая последние известия, я чувствую себя подавленным. И все-таки я не прав. Ведь когда мы были оленями, морскими львами, муравьями, короче говоря, за долгие миллионы лет до того, как приобрели звание человека, мы не переставали быть рабами и повиновались одной или нескольким особям, которые оказывались самыми сильными.

Того же дня

С сотворения мира, думаю, каждая раса мнит себя избранницей бога, Будды и не знаю кого еще.

Периодически одна раса берет верх над другой. Не надо забывать, что сарацины победно дошли до центра Франции, а Испания надолго была захвачена маврами; и перечень этот можно продолжить.

Наконец-то мы начинаем понимать, что различия между расами не столь велики, как считалось раньше. Просто направленность у них разная.

Долгие века раса, именуемая белой, гордо и безжалостно правила миром. В прошлом столетии боялись нашествия желтой расы. А сегодня Никсон, равно как и главы других государств, едет в Пекин. Больше ста двадцати стран (точной цифры я не знаю, поскольку она все растет) представлено в ООН.

Что касается Африки, то она в конце концов объединилась или, во всяком случае, образовала некую общность и намерена занять подобающее место в мире.

Арабы, связанные общей религией, сейчас пытаются объединиться.

Эпоха колониализма была периодом неслыханного процветания белой расы. Это была эпоха, когда белый колонизатор — я это видел — приказывал негру посидеть на обочине, а сам занимался любовью с его женой.

При англичанах в Хартуме цветные не имели права после шести вечера оставаться в квартале для белых или заходить на его территорию.

Я мог бы привести сотни подобных примеров из совсем недавнего — лет тридцать назад — прошлого.

Сейчас колесо поворачивается — может быть, медленно, но неумолимо.

Уже есть университеты в песках Аравии и в тропических лесах, и у нас нет больше монополии ни на что, разве только на технические знания, которые можно приобрести за несколько лет.

24 октября 1973

«Все уже сказано, все написано»[50].

Эта фраза повторялась и устно, и письменно тысячи раз. Она принадлежит древнегреческому философу, имя которого я забыл, но и ему она, вероятно, досталась от более древней цивилизации.

Однако это не мешает десяткам тысяч мужчин и женщин покушаться на белизну листа бумаги в надежде найти читателей.

Люди все равно пишут. Выходят книги. Зачем?

В шестнадцать лет я часто ходил в лавки букинистов и отыскивал на полках тома в роскошных переплетах, авторы которых мне были абсолютно неведомы. Читал ли их кто-нибудь? Может быть, когда-то они были в моде?

Я часто думаю об этом, но признаюсь: диктуя каждое утро ради собственного удовольствия в микрофон, я делаю это с задней мыслью, что когда-нибудь все это прочтут.

Что заставляет человека читать? Я часто задаю себе этот вопрос. Чисто эстетические запросы? Сомневаюсь.

Человек глубоко ощущает свое одиночество. Он знает свои достоинства и недостатки, свои возможности и пороки.

Не для того ли он читает, чтобы встретить себя в героях книги, пусть придуманных, но похожих на него? И не оправдывает ли — хотя бы частично — их пороками свои?

Кто-то — забыл кто: память у меня скверная — сказал:

— Все мы — зеваки.

Читать — не значит ли это играть роль зеваки?

Бог с ним. Не мое это дело анализировать причины и следствия в литературе.

Более того, я иногда спрашиваю себя, правильную ли дорогу выбрал в жизни? Я прошел ее, созерцая, пытаясь проникнуть в то, что человек прячет в самой глубине, в то, что у него врожденное. И неважно, удалось мне это или нет.

Одни и те же слова для каждого имеют свой смысл. В одной и той же книге каждый вычитывает свое. Один и тот же разговор каждый понимает по-своему. Все зависит от воспоминаний детства, воспитания, образования.

Животные общаются между собой знаками, которые чаще всего от нас ускользают, но от этого не перестают существовать.

Я не стану обольщаться мыслью, что человек — царь природы, даже если он станет общаться с себе подобным без помощи слов, письма и технических средств.

Это свойственно многим видам животных, а возможно — ведь этого мы не знаем, — всем.

Но почему не нам?

25 октября

Пришла осень, почти зима, и первое, что я делаю утром, еще до того, как по радио и телевидению сообщат высоту, на которой лежит снег (сейчас она ниже отметки две тысячи метров), так вот, первое, что я делаю, — смотрю в окно. Определяю по тому, куда клонятся деревья, не дует ли северный ветер.

Для меня сейчас это очень важно. От этого зависит, пойду ли я днем гулять. Теперь — не то что когда-то — я не переношу

северного ветра, ибо всякий раз рискую подхватить бронхит, как три последних года подряд. А бронхит в моем возрасте легко переходит в пневмонию.

С семи до восьми утра дул сильный ветер. В полдевятого деревья перестали качаться, и я смог выйти погулять.

После прогулки я каждый раз берусь за микрофон с некоторой нерешительностью и огромным смирением. У меня впечатление, будто я несу вздор. И не только несу вздор, но и повторяюсь.

У меня нет намеченной линии, так что я не могу продолжать тему с того места, на котором вчера закончил; я говорю то, что пришло мне в голову накануне вечером или когда я засыпал, и поэтому рискую повторяться.

Почти уверен, что такое случалось неоднократно. Кажется, сегодняшнюю тему я уже затрагивал.

Вчера вечером мы с Пьером вели за столом разговор о возрасте. В его устах, как и в устах его сверстников, слово «старик» имеет пренебрежительный оттенок.

Я спросил его:

— А в каком возрасте, по-твоему, становятся стариком?

— Лет в сорок — сорок пять.

Я тоже когда-то не только думал так, но и писал. Если почитать мои первые романы, там можно найти немощных стариков и старух лет пятидесяти. Это, между прочим, тоже способ определить возраст автора. Сперва он называет стариками всех пятидесятилетних. Достигнув тридцати, считает стариками тех, кому пятьдесят пять. В сорок лет стариком становится шестидесятилетний. А в пятьдесят — граница смещается до семидесяти.

После границы старости счет годам вообще не ведется. Я бы сказал, мужчина и женщина после этого живут как бы вычеркнутые из жизни, словно в преддверии рая, обещанного в Священном писании.

Газеты и журналы закрепляют эту мысль в головах читателей. Обсуждается проблема заведений, в которых найдут приют эти человеческие развалины, и проблема стоимости таких заведений. Статистики возвестили, будто к 1980 году (потом дату сдвинули на 1990 год и, наконец, на 2000-й) будет столько стариков, что молодым, чтобы содержать их, придется работать вдвое больше.

О больницах, богадельнях, о безнадежных больных я уже не говорю.

Неужели авторы этих статей (а среди них есть крупные медики и известные социологи) не отдают себе отчета, что на свете существует не только молодежь, но и старики, сохранившие

привычку читать газеты?

Думают ли авторы, какое впечатление все это производит на стариков? Общество считает их ненужными, относится к ним как к обузе. Подсчитано чуть ли не до сантима, какую часть налогов платит каждый на содержание старых.

Лет двадцать назад я писал, что социальное страхование и больничные кассы в конце концов объявят войну индивидуализму. Почти как в данном случае. Уже рассчитано, во сколько каждый алкоголик обходится государству, то есть всему населению страны. Убежден, что, не будь производство и торговля вином и спиртными напитками так доходны, их давно бы уже запретили.

29 октября

Человек, бедный маленький человек, брат мой. А есть ли какой-нибудь смысл у слова «брат»? Не входит ли оно в арсенал оружия, которое используют против нас?

Вся история животного, именуемого человеком, учит, что брат всегда убивал брата, причем не только брата по племени, но и по крови, единоутробного.

Нас закабаляли, подавляли, терзали, принуждали к невыносимому, иногда смертоносному труду.

Сперва этим занимались колдуны, которые сами были вождями или приспешниками вождей, потом служители разных религий. Некоторые религии требовали, дабы отвратить гнев богов, человеческих жертвоприношений. Другие довольствовались тем, что под страхом адских мук накладывали запрет на все, что могло бы уменьшить власть королей или императоров.

Изучая историю любой части света, обнаруживаешь те же табу, то же рабство, те же кары для тех, кто эти табу нарушает.

Сейчас ни королей, ни императоров практически нет. Человек может считать себя свободным. Впрочем, его заставляют так считать.

Заставляют во имя поработившей его свободы.

Какая разница между древнеримским рабом и нашим современным рабочим? Раньше, правда, иногда можно было отрубить голову чересчур жестокому тирану. Фанатики это делали.

Сейчас голов слишком много. К тому же головы эти анонимные. Даже те, что, казалось бы, правят народами, трепещут перед властью, имя которой — деньги.

Бедный маленький человек от заработков своих вносит деньги во множество касс вроде сберегательной и социального

страхования. Приходит время, и ему не возвращают и половины того, что он выплатил. А если жителям какой-то страны не по нраву опасная или грязная работа? Тогда для этого экспортируют рабочих из других стран, как когда-то ввозили рабов.

Конечно, сейчас это происходит мирно. Головы теперь отрубают редко. И в других государствах нечасто прибегают к электрическому стулу или виселице.

Человек живет уже не в лачуге, а в доме, схожем по своим достоинствам с курятником, в доме, где царят страх и тоска.

Ему позволяют ценой жестокой экономии приобрести автомобиль, на котором ему некуда ехать, но который обогащает хозяев.

Его почти вынуждают покупать тысячи ненужных вещей, а если он взбунтуется, для него это плохо кончается.

Власть — это то, что отдельные ловкачи присваивают себе, пытаясь заставить вас поверить, будто они это делают в соответствии с божественным правом или в крайнем случае с законом, поскольку вас просили поставить крестик на избирательном бюллетене.

Придет ли когда-нибудь этому конец? Очень бы хотелось. Я всей душой надеюсь на это, но не верю.

Маленький человек, брат мой, такой честный, такой откровенный, тебя всегда будут совать лицом в дерьмо.

Но у тебя все-таки останется твоя гордость.

Я не специалист в истории религии. Немножко знаю католическую религию: был в ней воспитан.

До сих пор вспоминаю мои ночные страхи: как я вскакивал, когда мне снился ад.

Кажется, у арабов тому, кто совершил преступление, отрубают руку или ногу. Во Франции преступникам отрубают голову, правда, все реже и реже. В других странах их вешают, что тоже малоприятно.

Но я не знаю кары более жестокой, чем та, которая придумана католической церковью. Католики верят в ад. Не знаю, верят ли в него епископы, архиепископы, кардиналы и сами папы.

Когда я учился в начальной школе у отцов миноритов[51], один из них попытался дать нам представление о вечности. Было нам не то по восемь, не то по девять лет!

— Представьте себе, что весь двор (а он был очень большой) занимает огромный литой металлический шар. Представьте, что каждый год на него всего на секунду садится маленькая птичка, к примеру малиновка. От этого шар незаметно истирается.

И монах торжествующе воскликнул:

— Так вот, когда шар совсем изотрется, исчезнет, это все

равно еще не будет вечность!

Перспектива вечных мук бросала меня в дрожь, в холодный пот, вынуждала падать на колени перед гипсовыми фигурами Пресвятой девы и любого святого, но, возможно, именно поэтому через несколько лет я отошел от религии.

Думаю, ни одна другая религия не нашла для порабощения народа более чудовищного, более бесчеловечного наказания, и невозможно поверить, что ад, каким я его только что описал, был изобретен людьми, верящими в него. Нет, такие вещи придумываются хладнокровно, цинично.

Представляю себе, какое было бы лицо у Аллаха, Моисея, Иисуса, Будды или любого другого бога, если бы они сошли на землю, понаблюдали за колоссальными операциями торговцев танками и самолетами и увидели, как их именем посылают на бойню тысячи и тысячи людей.

30 октября

Вчера вечером я совершенно случайно прочел:

«Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом; потому что все — суета!» (Экклезиаст, 3, 19).

В этих словах — суть того, что я говорил несколько дней назад. Лицея я не закончил — ушел из третьего класса[52] из-за болезни и смерти отца. Но я много читал, хотя и беспорядочно.

В шестнадцать лет я прочитал, верней, проглотил русских писателей: Пушкина, Достоевского, Гоголя, Толстого, Горького и других. Не знаю, когда я спал. Почти все время я проводил, глотая книги.

И вот после русских я постановил прочитывать — не из религиозности, а из интереса — каждый день по нескольку страниц из Ветхого или Нового завета.

Это продолжалось несколько лет. Конечно, я читал и этот стих из Экклезиаста. Но забыл его. Надо полагать, однако, он оставил во мне след, раз недавно я повторил его почти буквально.

Потом я приобрел полную «коллекцию Бюде»[53], то есть собрание произведений древнегреческих и древнеримских авторов. Может быть, и от них во мне что-то осталось? Не знаю.

Не знаю также, что осталось во мне от чтения «Опытов» Монтеня, которые долгие годы были моей настольной книгой.

Я читал их понемножку. Сотню строк в день. Три-четыре страницы.

Потом Андре Жид опубликовал свой «Дневник». Недавно мне довелось сказать в каком-то интервью, что я не читал Жида. Это и

правда, и неправда. Я бегло просмотрел его романы, но вот «Дневник» долгие годы лежал у меня на ночном столике.

Потом пришел Стендаль. А как-то я долго болел плевритом и перечел от корки до корки всего Пруста и Бальзака.

И наконец, я пристрастился к чтению медицинских книг и журналов.

Таков мой багаж. В семьдесят лет он мне представляется легковесным. Да, я мало читал великих писателей. И ни единого не постиг до конца.

Тем не менее сейчас я замечаю, что они оставили во мне следы куда более глубокие и живые, чем мне казалось.

Что было бы, если бы я смог продолжать образование? Вероятно, я не сделался бы писателем. Скорей всего, стал бы врачом. В юности меня привлекала медицина. Да и сейчас привлекает. Увы, у меня нет достаточной базы, чтобы понять то, что я читаю в медицинских книгах.

Но я не сетую. Даже если бы мой отец не заболел и не умер, я, наверно, все равно бросил бы учение: меня тянуло к реальной жизни.

И несомненно, я стал бы неудачником, чтобы не сказать бездельником.

31 октября

Без всякого стыда признаюсь, что еще несколько лет назад стал ипохондриком.

Со времен Мольера и особенно в прошлом веке, в пьесах Лабиша[54], ипохондрик был фигурой комической.

Довольно долго я жил, изнуряя себя и не думая о здоровье. Ничто не казалось мне слишком трудным. Никакое усилие — чрезмерно большим.

Потом, с возрастом, когда то здесь, то там стало что-то побаливать, я начал хмурить брови и попытался понять причину недомоганий. Три последние зимы меня мучал хронический бронхит. Я жду его и этой зимой. И чем старше становлюсь, тем тяжелей он проходит.

С наступлением первых холодов я обнаружил у себя начальные симптомы бронхита, но этому как-то еще не хочется верить.

Ипохондрия в конечном счете болезнь, которой мы обязаны врачам. Обычно после невнимательного наружного осмотра они вам объявляют, что вы в отличной форме и проживете до девяноста лет.

Как-то я разговаривал с врачом, моим другом (не буду называть фамилии), и он признался, что, если у пациента

смертельная болезнь, он ему этого не сообщает.

В Соединенных Штатах по-другому: как правило, врачи там откровенно говорят раковым больным — чисто из гуманных соображений, — сколько им осталось жить: три месяца, шесть месяцев, два года.

Замечено, что первый шок после подобного сообщения переносится больными не так тяжело, как неуверенность и страх; большинство из них старается получить в оставшееся им время как можно больше удовольствий.

В Европе газеты, радио, телевидение, медицинские светила втолковывают публике, что о первых симптомах той или иной болезни ничего не известно. Сколько сотен тысяч ипохондриков породили эти заявления?

Мне запомнилось выражение одного моего учителя в коллеже:

— Подлинное знание приближает к богу, полузнание — отдаляет.

Нельзя требовать, чтобы каждый человек имел медицинское образование. Во Франции, кстати, все меньше и меньше людей выбирают его, и можно опасаться, что при росте населения лет через десять врачей будет не хватать.

А в результате вместо подлинного контакта, который должен существовать между врачом и пациентом, на больного или того, кто заподозрил у себя болезни, будет отводиться десять минут для осмотра и произнесения нескольких банальных ободряющих фраз.

Я давно уже не читаю романов, но, как правило, просматриваю рецензии на них. Это поразительно! Оказывается, главной темой всех художественных произведений, даже в театре и кино, является одиночество. Что ж, одиночество мне знакомо. Я пережил его в самых ужасных условиях, то есть вдвоем, а это куда хуже, чем в одиночку.

Говорят, в одиночестве повинно наше время, общество потребления, тесные квартиры. Как знать!

Одиночество либо есть в нас, либо его нет. Надо учиться жить и радоваться каждому мгновению, вместо того чтобы стенать и восставать против непостижимой судьбы.

С другой стороны, никто не одинок. Спрашивает ли кто-нибудь себя, достоин ли он того, чтобы другой человек жил вместе с ним и делил его радости и тревоги? Такого я почти не встречал. Люди женятся по многим причинам, как правило ничтожным. Однако влечение юноши к девушке, встреченной на танцах, не создает супружескую пару. То же можно сказать и о родительских чувствах, которые в действительности играют все

меньшую роль в создании прочной семьи.

Супружество путают с интрижкой или со страстью. Нет, стать супругом надо удостоиться.

И вот тогда одиночество исчезает.

Нашу цивилизацию винят в том, что она создала мир, где человек не находит себе места. Какой человек? Я слушаю, что говорит мой сын. Знаю, что думают его друзья. Уже не существует того, что я назвал бы культом самообуздания. Верней, он уже почти сошел на нет.

Сейчас главное — не сидеть на месте, нестись в никуда, вскочить в машину или на мотоцикл, которые ждут у дверей, примчаться на танцульки, «подклеить», то есть найти себе девушку, переспать с ней и уже на следующее утро забыть, как она выглядит. Мой сын, когда я упрекаю его за чтение комиксов, отвечает, что его учителя тоже их читают и даже берут у учеников.

И вот я думаю, а не лучше ли, если бы вместо алгебры и древнегреческого в школе обучали искусству чтения?

Мой отец имел диплом бакалавра и, однако, смиренно работал бухгалтером. Мы были небогаты. По нынешним меркам можно даже сказать бедны.

Отец знал, что он болен. Знал, что не доживет до старости.

Однако он был счастлив. Я не намерен делать никаких выводов. Я только считаю, что человек должен искать счастье в себе самом, а если он нашел спутника, которого достоин, он счастлив вдвойне.

5 декабря 1973

Нехорошо жить в себе. Только три дня назад я осознал, какая стоит пора года, и с восторгом обнаружил белые от снега крыши и зимний пейзаж. Вспоминается мгновенная картинка, увиденная мной сегодня днем через оконное стекло: дети в яркой одежде катаются в саду на санках.

Маленьким я катался не с горок, а на ногах по ледяным дорожкам на тротуарах, и это было восхитительно.

Нет, я тоже получил свою долю радостей.

На нем серое пальто, серый костюм, серая шляпа. Он высокий, худой, идет по улице, ни на кого не глядя, руки в карманах.

— Здравствуйте…

Он удивленно посмотрел на меня, в глазах вопрос.

— Вы меня не знаете. Меня зовут Жозеф.

Выражение его лица осталось прежним.

— Мы встречаемся почти каждый день. Вы никогда не замечали меня?

— Нет.

— Уже много месяцев я наблюдаю за вами. Впечатление такое, будто с каждой неделей настроение у вас становится все мрачней.

Он смущенно молчит.

— У вас, наверно, неприятности.

Он колеблется, потом чуть слышно произносит:

— Да, жена…

Этому человеку лет пятьдесят; к какому социальному слою он принадлежит, определить трудно.

— Вы потеряли жену?

— Нет. Но от этого не легче. У нее рак.

Мы идем вместе. Проходим мимо кафе. Я предлагаю:

— Может быть, по глоточку?

Он колеблется в нерешительности, но в конце концов следует за мной.

— Любите божоле?

Он безразлично кивает. Я заказываю маленькую бутылочку божоле, мы делаем по первому глотку.

— Вы с женой живете одни?

— Дочка работает в Англии.

Вот, пожалуй, и все. Конечно, это неправдоподобно. Даже невозможно. На улице мы встречаемся с тысячами людей. Некоторые обращают на нас внимание. Другие даже не видят. Про кого-то мы замечаем:

— Смотри-ка! Купил новое пальто.

Про другого:

— Вид у него нездоровый…

Это фантазия. Мы знаем совсем немного, всего горсточку людей, с которыми поддерживаем более или менее тесные отношения. Всех прочих — не знаем. Если кто-нибудь вдруг сядет на землю у дверей, мы даже не посмеем спросить, не стало ли ему плохо и не нуждается ли он в помощи.

Это явление тревожит меня с детства. Ради человеческих контактов надо, скажем, каждый день играть в кафе в карты с постоянными партнерами. Вот тут люди смеются, подталкивают друг друга локтями.

Или, например, стать участником хора и ходить каждое воскресенье по утрам на спевки или членом гимнастического кружка или благотворительного общества.

Там по крайней мере знают фамилии своих партнеров. Знают, где они живут, знают, правда не всегда, женаты ли они, есть ли у

них дети, какова их профессия.

Постепенно, и чем дальше, тем больше, одиночество становится уделом человека в городе. В деревне знают друг о друге даже то, что скрывается, а уж на похороны приходят все.

В современном городе люди проходят мимо друг друга без всякого интереса и потребности хоть какого-нибудь общения.

Пока еще остаются кафе, но таких, где посетители сидят за столиками, становится все меньше. Вместо них появляются бары, куда забегают, чтобы наспех что-нибудь выпить и тотчас же уйти.

С тех пор как я посмотрел вокруг себя, а тому уже больше шестидесяти лет, это человеческое безмолвие, это почти небытие становится все более явным, как будто внезапно на улицах остались одни призраки.

22 декабря 1973

Каждый год в это время по телевидению показывают один из залов Елисейского дворца[55], где сидят сто стариков и старух, чисто вымытых, причесанных, одетых в самое лучшее, что у них есть; возможно даже, эти наряды они получили в гардеробной, точь-в-точь как статисты в театре.

Они безучастно ждут, не позволяя себе перекинуться словом.

Входит супруга президента в сопровождении дам (полагаю, что следует говорить «светских»), которые несут корзинки.

Каждый старичок, каждая старушка получает пакет, обернутый в золотую бумагу. Они сидят и держат пакеты на коленях. Кое-кто встряхивает подарок, пытаясь определить содержимое. Другие решаются чуть надорвать ногтем бумагу.

Речей не произносят. Что можно им сказать? И что могут сказать они?

Прислуга Елисейского дворца невозмутимо и неторопливо направляет стариков к выходу.

Я нахожу этот спектакль чудовищным. Отобрано сто, используя официальную терминологию, самых заслуженных. Что это такое — заслуженный престарелый? Их нарядили. Научили прилично держаться, велели молчать и благодарить сдержанным поклоном.

Куда их отправили после всего этого? Не знаю. То ли в трущобы, где обитает большинство из них, то ли в один из немногих домов призрения для престарелых.

Недавно обсуждалась проблема абортов, и министры не скрывали, что им нужно, чтобы рождались дети, как можно больше детей. Франция должна за несколько лет увеличить население на пятнадцать миллионов человек. Долой противозачаточные таблетки!

Дети нужны не для того, чтобы они потом стали стариками, которых некуда девать и помощь которым, правда весьма скудная, так обременяет государство.

И не для того, чтобы они пошли в университеты, которых правительство побаивается.

Нет, дети нужны, чтобы стать солдатами. Солдаты, если только они не погибнут на войне, наделают еще детей, и эти дети потихоньку превратятся в стариков.

Говорят, есть страны, где обрекают на смерть тех, кто уже не может залезть на верхушку кокосовой пальмы. У нас так не делается.

Но не делается и ничего или почти ничего, чтобы обеспечить им жизнь, достойную мужчин и женщин. Потому что — а об этом забывают — старики и старухи, бредущие по улицам, продолжают оставаться мужчинами и женщинами.

Но они совершили грех, тягчайший грех, какой только возможен в современных государствах: они стали бесполезными.

27 декабря 1973

Молодые писатели, как правило, начинают с того, что пишут о собственном опыте — либо о детстве, либо о юности. Именно поэтому кто-то сказал, что каждый человек несет в себе роман.

В сущности, каждый способен что-то рассказать о своей жизни.

Вот почему по-настоящему писатель начинается со второго или третьего романа.

У меня все было наоборот. Пятьдесят лет я писал о других, всюду искал человека, но не по своему образу и подобию, а просто человека. Я создал множество героев, совершенно непохожих на меня; что бы там ни говорили критики, это относится и к комиссару Мегрэ.

Единственное исключение —«Pedigree», но я писал эту книгу в особых условиях, что и оговорил в предисловии.

Лишь перестав писать романы, я отважился рассказать о себе, занялся поисками себя.

Первая книга, которую я написал, вернее, надиктовал, после того как в семьдесят лет ушел на покой, и, вероятно, назову «Человек как человек» или «Человек как все», содержит эпизоды из моей жизни и мои размышления. Я старался избегать всякой литературы, всякой философии — там только факты, неприкрашенные факты.

Теперь я диктую что-то вроде дневника. Именно дневника, поскольку диктую я каждый день. Но в отличие от первого тома сознаю, что ищу себя. Раньше я жил слишком напряженно, чтобы

пытаться постичь себя. Да меня это и не интересовало. Казалось даже нескромным.

С возрастом я изменил мнение. Я часто спрашиваю себя:

— Почему я сделал то-то или то-то?

На другой день я записываю вопрос в дневник, никогда не зная ответа. Короче говоря, я честно и трезво допрашиваю себя.

Вот почему я считаю, что эти тома не относятся к моей литературной деятельности. Здесь нет никакого творчества. Нет анализа других людей.

Я один перед зеркалом и, отбросив стыд и тщеславие, пытаюсь понять, кто я такой на самом деле.

Большинство людей, знающих меня, но, увы, знающих плохо, поскольку невозможно до конца познать ближнего, считают, наверно, меня человеком самоуверенным и даже, может быть, несколько высокомерным и заносчивым.

А я с самого детства робок. Робость моя проявляется не в том, что я отворачиваюсь или опускаю голову, когда со мной заговаривают, или не нахожу слов для ответа, — нет, я просто вечно боюсь причинить кому-нибудь боль.

Я знаю, что может задеть достоинство человека, даже когда он сам не отдает себе в этом отчета. И считаю его достоинство самым драгоценным из всего, что у него есть.

Но я знаю также, как оно беззащитно: достаточно слова, неверно понятого взгляда, чтобы его ранить.

Вот в чем причина моей робости. Я боюсь причинить кому-нибудь боль, кого-нибудь оскорбить.

Если смотреть со стороны, я говорю громко, возбуждаюсь. Особенно часто так было раньше: я произносил целые речи, чуть ли не от лица всего человечества.

Но это не мешало мне испытывать робость, и она еще усугубилась с тех пор, как время приглушило мой пыл.

30 декабря 1973

Когда я был ребенком, совсем еще маленьким, мы освещались керосином. В некоторых домах, но не в нашем, было газовое освещение, и моя мать мечтала о дне, когда не нужно будет каждое утро начищать медные керосиновые лампы.

Газ у нас появился гораздо позже, когда уже было электричество: площадь Святого Ламбера освещали ослепительные дуговые лампы.

В свое время провели электричество и нам. Дальше мы не заглядывали. Не думали, чем будем освещаться потом. Льеж окружали черные терриконы угольных шахт. Все были убеждены, что так будет всегда.

В новогодних выпусках газет, выходивших большими тиражами, гадалки на картах и предсказательницы, читавшие будущее по хрустальному шару, давали прогнозы на год.

Потом этим занялись университеты и стали готовить футурологов.

Некоторые газеты до сих пор обращаются к гадалкам и печатают их предсказания. Но солидные, серьезные журналы публикуют статьи футурологов.

Нам говорят не только о том, что будет в 1980 году, но и гораздо позже — в 2000-м; дальше — больше, и нам уже возвещают, что нас ждет (говоря «нас», я имею в виду не себя) в 2030, в 2050 году и т. д.

Короче говоря, все стало возможно. Можно предсказывать, что взбредет в голову, и, чем дальше срок пророчества, тем больше шансов оказаться правым, потому что никто из ныне живущих не сможет проверить, сбылось оно или нет.

С гадалками и другими пророчицами все было проще: не так уж много людей по-настоящему верило им. С футурологами куда сложней: люди испытывают инстинктивное почтение ко всему, что имеет видимость науки.

И вот появилось много людей, обеспокоенных своим будущим, будущим детей и внуков. Ведь какое предсказание ни возьми, кончается оно катастрофой и исчезновением жизни на Земле.

А моя бедная мать так мечтала избавиться от керосиновых ламп, чтобы не чистить их каждое утро!

Я отнюдь не шучу. Серьезные люди сообщают с точностью чуть ли не до одного человека, какое население будет на нашей несчастной Земле в 2050 году. Они предрекают, что под тяжестью людей Земля перевернется.

Я могу позволить себе оставаться оптимистом.

Не люблю праздников, но люблю воскресенья. Обычно, открыв утром ставни, я с удовольствием смотрю на парк и озеро, на старательно укатанные спортивные площадки, на торговую улицу, где находится одна из двух церквей.

Сегодня все не так. Все серое. Серое небо. Серыми кажутся стены. И люди тоже. Редкие пешеходы бродят как неприкаянные.

Я торопил приход рождества, теперь хочу, чтобы поскорее пришел Новый год и жизнь обрела свой привычный облик.

8 января 1974

С тех пор как началась промышленная эра, мы своими глазами видим, как мир с каждым днем становится все более и более сложным. Во вращение непрерывно вовлекаются все новые

шестерни.

Во времена моего детства не существовало ни автострад, ни сверхзвуковых самолетов и при слове «мусорщик» передо мной возникала такая картинка: старик в лохмотьях, навеселе уже с восьми утра, плетется с кнутом на плече рядом с лошадью, запряженной в двухколесную тележку.

Лошадь была, но возчик не ехал, а шел пешком, останавливаясь у каждой урны и высыпая ее содержимое в тележку.

Тележка была открытой, и, стоило дунуть ветру, над ней вихрем поднималась пыль и засыпала мостовую.

Сейчас мы запаковываем отходы в пластиковые мешки, выносим их во двор и ставим в контейнеры.

Это мелочь, но она показывает, как усложнилась наша жизнь. Во-первых, надо добыть нефть. Затем часть ее переработать в пластик, отформовать мешки и пустить их в продажу.

А когда мешки полны, встает новый вопрос, на который до сих пор не могут дать ответ: что делать со всеми этими отходами?

Дороги теперь не просто дороги. Все они распределены по классам, начиная от автострады с четырьмя или шестью полосами движения и кончая деревенским проселком.

Врач, прежде чем осматривать больного, обязан спросить, является ли тот членом больничной кассы, и, если является, заполнить несколько формуляров.

И так во всем. Поэтому у нас вместо двенадцати или тринадцати министров — сорок, и у каждого имеются вице-министры, совсем еще молодые люди, недавние выпускники школы управления.

Я пытаюсь представить себе вереницу всевозможных управляющих, инженеров, инспекторов, вице-инженеров и вице-инспекторов, занятых в каждой из служб.

В Париже больше пятисот крысоловов, и у них тоже, должно быть, имеется своя иерархия.

Одни должности оплачиваются лучше, другие хуже. Всюду, даже в судебном ведомстве, существует множество ступеней, и смысл жизни любого чиновника состоит в том, чтобы подняться как можно выше.

Рекомендации отнюдь не бесполезны. И предпринимателю, пожелавшему взять подряд, скажем, на строительство автодороги, приходится многим «давать на лапу».

Не думаю, чтобы люди стали менее порядочными, чем пятьдесят лет назад. И глупее тоже не стали.

Но я тщетно ищу того, кто знал бы все эти колесики, кто был бы способен их контролировать — контролировать людей,

которые занимают разные должности, следить за их компетентностью и честностью.

Вот в чем, думаю, причина скандалов, о которых каждую неделю нам сообщают газеты. И когда все усложнится еще больше, будет больше скандалов.

19 января 1974

В детстве я считал себя бедняком. Нет, не из самых бедных: ниже нас был еще один класс — рабочие.

Но над нами были высшие классы, о которых говорилось с почтением. Обыкновенная лоджия в доме, например, давала его владельцу чувство превосходства. Адвокат, нотариус были важными лицами, и кланялись им низко. А кроме того, существовали сферы настолько недоступные, что о них вообще не говорили.

Во всяком случае, мир в моем представлении, равно как и в представлении моих родителей, четко делился на богатых и бедных, а между ними находился средний класс, до такой степени неопределенный, что уже не принадлежал ни к какой категории.

По моим детским понятиям, богатые были сильны, а бедные — слабы. Я уже говорил, что нашел другое определение: те, кто порет, и те, кого порют.

Еще в ранней юности я стал журналистом и начал общаться с теми, кого привык считать богатыми, то есть сильными. К ним относились депутаты, сенаторы, муниципальные советники и несколько коммерсантов, участвовавших в различных комиссиях.

Гораздо позже у меня возникли контакты с людьми действительно богатыми, то есть с настоящими сильными мира сего. Контакты эти были сперва довольно зыбкими, потом стали гораздо тесней.

Я с ними завтракал и обедал, начал привыкать к условиям их существования и в конце концов понимать их самих.

Мало-помалу до меня дошло, что в действительности они слабы. Почти все эти люди, такие внушительные, такие самоуверенные, говорящие так безапелляционно, были сильными только с виду и пытались сохранять внутреннее спокойствие с помощью антуража. Я был знаком с крупными промышленниками, с министрами, и от всех от них у меня оставалось точно такое же впечатление. Я догадывался, что они живут в страхе. Они достигли, нередко с помощью сомнительных средств, блестящего положения, но их преследует мысль, что они могут его утратить. И утратить деньги, которые сейчас придают им уверенность.

Их часто называют влиятельными.

Но влиятельные не суть сильные. Я бы сказал: они слабые, потому что влияние их висит на волоске; достаточно припомнить скандалы последних лет, чтобы убедиться в этом.

Конечно, они обедают в лучших ресторанах, живут в роскошных апартаментах, имеют загородные виллы, но при этом боятся. Эти люди, кажущиеся столь сильными, боятся.

По-настоящему сильных я встречал в народе, среди крестьян, среди маленьких людей, которым нечего терять и которые живут в мире с собой.

Нами правят влиятельные особы. Они занимают важные посты в государстве и в обществе. Но они понимают, чувствуют, что у них нет никакой опоры, что все это — фальшивая монета, что их респектабельность и богатство — не настоящие.

Они — почти в каждой стране — создают армии, но не для того, чтобы сражаться с мифическим врагом, находящимся где-то за границей, а для подавления бедняков, если те наконец возмутятся. А покуда они продолжают свои махинации.

Я благодарен судьбе за то, что родился в бедной, а не богатой семье. И порой сожалею, что получаю слишком много денег; будь у меня их меньше, я был бы спокойнее за судьбу своих детей.

26 января 1974

Многие были бы удивлены, узнав, что составляет большую часть моей корреспонденции. Окажись на моем месте Александр Дюма или графиня де Сегюр[56], все было бы понятно, но я…

Мне пишут дети — дети всех возрастов; одни по собственной инициативе, другие — потому что учитель задал сочинение по одной из моих книг.

Отвечать им гораздо труднее, чем кажется. Письма от детей и подростков приходят из всех стран мира, и в частности из Чехословакии. Почему? Письма эти очень часто приводят меня в замешательство. Сегодня утром я получил еще одно — от четвертой уже ученицы E.N.S. Что такое E.N.S. — мне неведомо. Насколько я могу судить, корреспондентке моей лет четырнадцать-пятнадцать.

Первый вопрос: «Вас часто называют писателем человеческого одиночества. Почему?»

Что ответить четырнадцатилетней девочке? Человеческое одиночество — тайна, которую я не могу понять. Может быть, это самая драматическая сторона жизни. Но что сказать девочке? Особенно когда второй вопрос еще хлеще:

«Подтверждается ли, по-Вашему, это определение романом «Три комнаты в Манхэттене»?»

Я, конечно, написал «Три комнаты в Манхэттене», но зачем и почему — не знаю. Однако она хочет знать и спрашивает:

«Не могли бы Вы объяснить символическое значение названия этого романа? Какому нюансу чувства любви соответствуют «Три комнаты»?»

И это еще не все.

«Не могли бы Вы произвести детальный анализ любви в трактовке Сименона?»

Когда я был в коллеже, такие проблемы не изучались и говорить об этом было, в общем-то, запрещено.

«Какую роль в этом романе играет прошлое героев?»

Это полегче: в жизни каждого мужчины и каждой женщины прошлое играет важную роль.

Не знаю, нет ли иронии в следующем вопросе:

«В чем значение и польза романов о Мегрэ? Могли бы Вы описать внешность и характер Мегрэ?»

«Почему один Ваш роман называется «Невинные»? Будете ли Вы продолжать писать романы?

Мы надеемся *окончательно* охарактеризовать творчество Сименона по книгам «Три комнаты в Манхэттене», «Невинные» и «Мегрэ и старик». С помощью Ваших ответов на эти вопросы мы сможем лучше вникнуть в тему, потому что вообще-то мы все, каждый из нас, как правило, читали какие-нибудь романы о Мегрэ».

Затем следуют выражения благодарности, подпись и адрес.

Будь это единственный случай, я бы так не удивлялся. Но вот, например, на будущей неделе меня придет интервьюировать целый класс одного женевского лицея, и я уверен, что ребята зададут не менее трудные вопросы.

Это трогательно. Молодость ищет себя. Ищет беспокойно. Но какого черта они обращаются ко мне?

Еще один феномен. Менее таинственный, может быть. Естественно, мы с Терезой весь день проводим вместе. Но разговариваем не очень много, и у нас нет обыкновения затевать споры по каким-нибудь важным вопросам, да и вообще спорить.

Однако стоит мне открыть рот, она говорит то, что хотел сказать я. А иногда я говорю то, что собиралась произнести она. С секунду мы бываем несколько ошеломлены, а потом начинаем смеяться. Я прямо-таки поверил, что один из нас является медиумом. Но кто?

Лицо у меня не особенно выразительное, и я почти не жестикулирую. Про ее лицо тоже не скажешь: «Можно прочесть без слов».

Может быть, действительно два человека могут общаться, не

прибегая к словам?

Это одна из тех проблем, которые меня всегда несколько пугали.

У меня такое ощущение, будто кружится голова. Тем не менее я не чувствую себя больным. Вчера вечером я лег в полседьмого и проспал до девяти утра. Сейчас еще не пробило полдень, а меня клонит ко сну.

Трижды я принимался за газету и трижды бросал: читаю и ничего не понимаю. Вожу глазами по строчкам, а смысл от меня ускользает.

Кашля у меня нет. Температуры тоже. Пульс нормальный. Голова ясная.

Как немного надо, чтобы нарушить равновесие человеческого организма! Достаточно небольшой простуды: убежден, что я немного простудился.

У меня нет никаких забот, никаких неприятностей. Что же может вдруг так ослабить человека и превратить чуть ли не в развалину?

11 марта 1974

Вчера я прочел почти до половины воспоминания Селесты[57] о Марселе Прусте. Сперва они были надиктованы на магнитофон, потом какой-то журналист привел их в порядок.

На мой взгляд, перестарался. Я предпочел бы, чтоб они были полностью переписаны с магнитофонной ленты без всякой правки.

Но книга от этого не стала менее захватывающей. Пруста я читал дважды: в первый раз по мере того, как выходили романы, второй — все подряд в серии Галлимара «A la Gerbe».

По моему мнению, Пруст — величайший французский писатель конца прошлого и начала этого века. Какое волнующее занятие наблюдать, как он гонится за своим детством, пытается воссоздать мельчайшие подробности, воскрешает светское общество, каким оно было в его время!

С другой стороны, сейчас немножко удивительно видеть, что весь этот мир, подобно русской и австрийской аристократии, подобно любой аристократии вообще, исчез.

Правда, кое-где еще встречаются люди, пытающиеся играть в тогдашние игры. Но сейчас это выглядит чудовищно фальшиво.

Больше всего меня поражает метод уточнения воспоминаний, которым пользовался Пруст. Когда он вспоминал, например, еду, подававшуюся в маленьком горшочке, ему нужно было, чтобы это кушанье принесли из того же ресторана, где он когда-то его ел; попробовав, он тут же отставлял тарелку. Разочарование? Или это

позволяло ему уточнить воспоминание?

Вот так же Пруст отправлялся ночью в «Ритц», чтобы снова взглянуть на лица завсегдатаев и удостовериться, что он описывает их с полным правдоподобием.

Думаю, что это уникальный случай в истории литературы.

12 марта 1974

Продолжаю читать «Господина Пруста». Почему, черт возьми, нельзя было сохранить стиль Селесты Альбаре? Меня очень позабавило, что я обнаружил у Пруста известные странности, которые, как я думал, присущи только мне.

Такие вещи не выдумаешь!

14 марта 1974

Опять Пруст.

Теперь я жалею, что взялся читать Селесту. После этой книги Пруст мне менее симпатичен, чем после двукратного внимательного прочтения его произведений.

Я, разумеется, читал в газетах всякие сплетни о нем. Меня они не смущали.

А вот способ, каким Пруст создавал свои произведения, пожалуй, смущает. А также (но это я знал) мир, который он описывает.

Не по нраву мне его метод уточнения воспоминаний, будь то цвет платья, кружева, которыми оно отделано, прическа той или иной героини, эта настойчивая потребность тут же увидеть модель, чтобы убедиться, что память его не обманывает.

Когда-то я читал, что Золя поступал примерно так же. Если он описывал столяра, то шел к нему, выяснял назначение каждого инструмента, как им пользоваться и т. д. Будь к тому возможность, он, несомненно, уносил бы с собою фотографию мастерской.

Это же делал Пруст. Разумеется, он сохранил точные воспоминания о своем детстве, юности, годах, когда он был «господин с камелиями», плетя бесконечные интриги и используя обходные пути, чтобы быть принятым в каком-нибудь модном салоне.

Да, это смущает меня. Художественное произведение, на мой взгляд, должно выливаться спонтанно, рождаться из потребности вспомнить, но разве так уж важно, какое — розовое или лиловое — платье было на герцогине в таком-то салоне в такой-то день и час.

Цвет, который остался в воспоминаниях, и есть подлинный. Он становится более подлинным, чем в действительности. А вся

эта искусно вымеренная и терпеливо культивируемая жеманность оставляет теперь у меня такое же впечатление, как экспонаты музея восковых фигур.

Возможно, я не прав. Может быть, изменю мнение, когда возьмусь читать Пруста вместо этой претенциозной прозы, которая не имеет отношения ни к Прусту, ни к Селесте, ни, вероятно, даже к тому человеку, который переписал в своей манере то, что надиктовала Селеста.

В любом случае эта книга разочаровала меня.

15 марта 1974

Снова и снова Пруст.

Мнение мое может, конечно, измениться, но я сомневаюсь в этом. Есть одно слово, которого, как мне припоминается, я ни разу не нашел в этой книге. Это слово «нежность», и как раз нежности не ощущаешь ни в одном ее персонаже. Пробую вспоминать все тома «В поисках утраченного времени» и «В поисках обретенного времени»[58]. Не думаю, чтобы там фигурировало это слово. Если оно там и оказалось, то, несомненно, лишь по случайности.

То же самое со словом «любовь», за исключением тех случаев, когда говорится об отроческих и юношеских увлечениях Пруста.

Чтобы персонажи были живыми, хорошо выписанными, схожими со своими прототипами, нельзя пренебрегать любовью. Но все они, кроме самой Селесты, двигаются, как марионетки в искусственном мирке, где не чувствуется ни теплоты, ни биения человеческого сердца.

Я знаю, что этими заметками восстанавливаю против себя всех поклонников Пруста. Нам твердят о небесной красоте г-жи де Грэйфул, об элегантности манер герцога де Монтескью, короче, почти обо всех героях Пруста, но их фотографии наводят на мысль о разряженных мелких буржуа или привратницах, а не о княгинях и герцогинях.

Все позы и жесты у них заученные. Нет в них ни естественности, ни подлинного изящества.

Что же до герцога де Монтескью, то сегодня он мог бы играть комические роли: он напоминает мне скорее Макса Линдера[59], чем сильных мира сего.

Это все меня смущает. Я поспешил дочитать книгу, чтобы не думать больше о ней. Пруст занимает слишком значительное место в литературе и в моей памяти, и я не хочу, чтобы из-за какой-то мелочи образ его потускнел.

P.S. Среди изображенных на фотографиях только одна выглядит человечной, полной достоинства и не связанной

условностями. Это сама Селеста. Какая разница между нею, только что приехавшей из провинции, и всеми этими светскими дамами!

23 марта 1974

Я изумлен или, скорее, встревожен, видя, что прохожий на улице, мать семейства, делающая покупки, даже молодежь умудряются еще сохранить безмятежность, если только это не равнодушие.

Действительно, чтение газет, слушание радио, даже почти ежедневное повышение цен на большинство продуктов питания должно было бы поколебать нравственные устои личности.

Можно сказать, что мы — свидетели смерти личности. Конечно, войны, сражения, пытки существуют с сотворения мира. История полна битвами племен, баронов, королей. Новое — это лихорадка, охватившая весь мир. Капитализм превратился в империализм с транснациональными корпорациями, и правительства сознают, что они уже ничем не управляют. Деньги перестали быть деньгами, теперь они — весьма неустойчивая и зыбкая ценность. Бывшие колониальные страны обретают все большую независимость, и вчерашние колонизаторы пытаются снова закрепиться в них под прикрытием анонимных акционерных компаний.

А что же человек? Я восхищаюсь тем, что он продолжает потихоньку идти своим путем, что ученые в лабораториях продолжают исследования, рабочие на заводах — свой тяжкий труд.

Все меняется. Завтра будет не похоже на сегодня. При каком режиме мы будем жить? Не погибнут ли при всеобщем катаклизме благоприобретенные ценности?

Мы видели, как в 1929 году богатые Соединенные Штаты стремительно покатились вниз и банкиры выбрасывались из окон своих роскошных контор.

Рано или поздно, через год или через десять лет, банкирам останется только выбирать — выбрасываться из окон или быть выброшенными из них.

Человек теперь ежедневно встает в один и тот же час, умывается, что, вероятно, следует считать прогрессом, и на том же самом месте, что вчера, покорно принимается за работу, которая его совершенно не трогает.

Он покупает машину — в кредит, мебель — в кредит, одежду — в кредит. И если удается, запасается в кредит провизией, как это было в начале обеих мировых войн — на черный день.

Конечно, то тут, то там взрываются бомбы, людей все чаще

похищают, и поскольку правительства, не чувствуя себя больше хозяевами положения, боятся завтрашнего дня, они становятся все более полицейскими институтами.

Я говорю о грядущей катастрофе, а сам сижу в мягком кресле; я тепло одет, сыт, и поглядываю в свой сад, куда время от времени залетают птицы.

В сущности, всеобщий хаос, к которому может привести стремительное крушение валютных систем, отсрочивает лишь то, что каждый думает только о самом себе, своей жизни, семье, привычках. Я! Я! Я!

Из книги «Маленькие люди»

1 апреля 1974

Около двух часов я просматривал первые пятьдесят страниц того, что начал диктовать больше года назад; до сих пор я записей не прослушивал и машинописную копию не читал.

До сегодняшнего дня я не был полностью уверен, решусь ли опубликовать эти тексты. Окончательно судить пока не могу, но первые пятьдесят страниц заражают меня оптимизмом. Первый том я, вероятно, назову «Человек как все».

Еще в ранней молодости я решил предельно упростить свой стиль и по мере возможности пользоваться словами, как я их называю, «предметными». Абстрактные слова, в сущности, имеют разный смысл для разных людей.

Вчера вечером перед сном Тереза сказала мне:

— Слова вызывают только недоразумения. Лучше просто посмотреть друг другу в глаза.

24 июня 1974

Вчера по некоторым причинам я прослушал то, что надиктовал утром. Мне это не доставило удовольствия так же, как не доставляет удовольствия перечитывать себя. И все же я подумал, а не может ли то, что я надиктовал, послужить вступлением или предисловием к книге, которую я надеюсь создать. Впрочем, слово «книга» кажется мне претенциозным. Особенно для того, что я задумал. Мне хотелось бы, чтобы она была похожа на время, чтобы в ней перемешались дождь, солнце, впечатления и, может быть, даже — каковы, однако, претензии! — размышления.

Я читаю почти все выходящие журналы, за исключением, естественно, женских и посвященных кино. Все больше и больше в них появляется мрачных и тревожных статей о нашем будущем. Все вызывает беспокойство: финансы, топливо, уличное движение — вплоть до электроэнергии. Нет журнала, который не предвещал бы катастрофы.

И происходит чудо. Человек все это читает, качает головой и тут же машинально возвращается к своим маленьким заботам или радостям. Я сказал бы, что мы не созданы мыслить в масштабах всего мира или хотя бы континента.

В эти дни футбольный чемпионат занимает в газетах места гораздо больше, чем любой другой вопрос. Дошло до того, что приходится огораживать футбольные поля колючей проволокой, а в первых рядах рассаживать вооруженных солдат, чтобы

сдерживать болельщиков.

Для меня тоже дух времени гораздо важнее финансовых или политических проблем. Не потому ли, что мы давно занимаемся ими, постоянно пытаемся что-то как-то сделать, но ничего не удается?

После того как я ушел на покой, мне часто случается восстанавливать в памяти разные периоды моей жизни, разные события прошлого. И я спрашиваю себя: «Что же мне из всего этого осталось?»

Многое. Я чувствую себя богачом: я богат воспоминаниями. Но не теми, которые я рассказывал в свое время. Мои воспоминания, ставшие теперь частью моей жизни, — это лучи солнца, капли дождя, ползущие по стеклу, вкус сливочного мороженого, долгие одинокие прогулки по разным районам Парижа, во время которых я неоднократно заходил в старомодные бистро, где посетители, даже не знающие друг друга, вступают в беседу.

Главное в моей жизни — ощущение солнечного тепла на коже, пылающие дрова в камине зимой и прежде всего рынки — всюду, в Ла-Рошели, в Канне, в штате Коннектикут.

Запах овощей и фруктов. Мясник, отрубающий огромные куски мяса. Рыбины, лежащие на каменных плитах.

Если я чему-то и научился в жизни, так это тому, что все это важно и нужно человеку. Остальное — занимательные истории, пища для газет.

25 июня 1974

Ряд случайностей привел к тому, что перед войной я столкнулся с теми, кого в медицине именуют «светилами», и некоторые из них стали моими друзьями. Сегодня я видел «светил» по телевидению — важных, уверенных в себе; они говорили о своих открытиях и исследованиях.

Я читал их книги, но в основном не научные, предназначенные для медиков, а популярные.

Сознаюсь, меня все это действительно волнует. Эти ученые мужи, эти «светила» в душе вовсе не так суровы и бездушны, какими хотят казаться публике. О своих больных и о болезнях они обычно говорят с легкостью, которая меня всегда шокировала. Они так и сыплют анекдотами, причем довольно забавными, но вот слова сострадания я слышал от них редко.

Не скажу, что больной, лежащий на больничной койке, для них всего лишь предмет, который надо попытаться починить, но я ни разу не видел, чтобы они по-настоящему заинтересовались страдающим человеком.

Каждое утро я наблюдал в больнице обходы — эти безжалостные процессии. «Светило» шествует впереди, словно несет святые дары. Затем следует довольно многочисленная группа врачей-практикантов и студентов — иногда человек тридцать, иногда шестьдесят. Болтать они не смеют — рядом со «светилом» болтать нельзя, но зато обмениваются ироническими взглядами.

Не знаю, сколько сейчас коек приходится на палату. В те времена, о которых я говорю, их стояло до тридцати, не считая тех, что с грехом пополам втискивали в коридор.

«Светило» бросает рассеянный взгляд на температурный листок, висящий в ногах больного, и, чуть смягчившись, задает вопрос:

— Ну, как дела?

Надо ли говорить, что лежащий в постели больной, около которого остановилась торжественная процессия, почти не реагирует, разве что старается съежиться.

«Светило» касается пальцами лба пациента, поворачивается к кому-нибудь из свиты и спрашивает:

— Каков будет диагноз?

Затем задает тот же вопрос остальным. Начинается шумное обсуждение состояния больного, и хорошо еще, если не провозглашается во всеуслышание:

— Больше трех дней не протянет.

Не утверждаю, что все «светила» таковы. Существуют, конечно, исключения. И я, естественно, понимаю, что, когда постоянно видишь чужие страдания, постепенно привыкаешь к ним и они не вызывают уже никакой реакции.

О современной медицине и больницах говорят много. Забота о них действительно необходима, мало того, это обязанность общества. Но по моему скромному мнению, студентам, которые, возможно, станут когда-нибудь «светилами», надо в первую очередь читать курс лекций по человечности.

6 июля 1974

С незапамятных времен, с тех пор, как стоит мир, главы государств и люди, играющие важную роль в жизни своей страны, пишут мемуары — на камне, на глиняных табличках, на пергаменте и, наконец, на обыкновенной бумаге.

Безусловно, эти мемуары представляют интерес. Они помогают воссоздавать историю. А может, фальсифицировать? За свою жизнь я перечел множество мемуаров, но что-то не припоминаю признаний вроде: «Человек я на редкость заурядный и никогда не был на высоте стоящих передо мной задач». Или:

«При таких-то и таких-то чрезвычайных обстоятельствах я сел в лужу».

Существуют мемуары людей, пользовавшихся большим или меньшим влиянием при королевском дворе, как, например, Сен-Симон[60], или в литературных и художественных кругах. Но и эти авторы, разумеется, не пишут: «У меня искусственно раздутая репутация. Единственной моей заслугой является то, что я сумел пройти во Французскую Академию благодаря тестю или моим светским связям».

Воспоминания такого рода, которые я назвал бы личными, еще несколько лет назад были довольно редки. Но вот уже года три-четыре они сыплются как из рога изобилия. Каждый писатель, достигший семидесяти пяти лет, испытывает настоятельную потребность рассказать о своем детстве, юности, пути к славе.

Чуть ли не каждую неделю я читаю, что вышла еще одна книга воспоминаний, и радуюсь, поскольку — только не надо понимать это буквально — они позволяют мне по-новому взглянуть на людей, которых я знал.

В сущности, мемуары — это лживые автопортреты, которые оставляют потомкам.

До изобретения фотографии великие мира сего, а следом за ними средние и малые заказывали свои портреты художникам, специализировавшимся в этом жанре.

Вот почему нам представляется, будто в некоторые эпохи люди были преисполнены особенного достоинства.

А что было бы, если бы фотография существовала, скажем, в эпоху Людовика XIV? Был ли бы тогда Король-солнце — солнцем? Ведь мы увидели бы тогда на лицах великих мира сего бородавки и морщины, а может, оказалось бы даже, что кое-кто из них страдал косоглазием.

Правда, нынешние официальные фотографы — великие мастера по части ретуширования. Вот почему многие важные особы избегают уличных фотографов.

В сущности, всякий человек — и великий, и ничтожный — испытывает потребность оставить лестное представление о себе. Вот и доказательство: кропотливые, порой растягивающиеся на полдня приготовления осветителей перед тем, как снять главу государства.

Когда мы видим на экране государственных деятелей, они не потеют, не бледнеют, не краснеют. Искусные гримеры сделали их лица достойными внимания потомков.

Но вот новость: уже несколько лет, как посыпалась лавина мемуаров людей, ничего общего не имеющих с историей.

Воспоминания пишут певцы, певицы, художники, писатели.

Я верю, что писатели, поскольку это их профессия, пишут сами. За всех прочих — журналисты; для них это является основным занятием.

Вчера один человек, обычный человек, не литератор, сказал мне:

— Впечатление такое, словно все эти мемуары написаны одной и той же рукой.

Почти так оно и есть. Но это не ново. Когда мне было двадцать два года и я еще писал под псевдонимом, один издатель предложил мне написать воспоминания Жозефины Бекер[61]: ей, окруженной ореолом недавней славы, в ту пору было лет двадцать.

Я отказался. Один мой коллега, к которому я при всем при том питаю огромное уважение, согласился.

Скоро мы получим воспоминания велогонщика Меркса, который едва говорит по-французски. Будут у нас и мемуары знаменитостей, полузнаменитостей и четвертьзнаменитостей всякого рода, а там — недолго ждать! — всех подряд.

У каждого человека в семейном альбоме имеется фотография, на которой он в возрасте трех-четырех месяцев лежит голенький на медвежьей шкуре. И свадебная фотография; обычно всех молодоженов снимают около одинаковой гипсовой колонны. Гораздо реже можно найти фотографию тех же людей в возрасте восьмидесяти лет.

Вот почему я не даю разрешения назвать мемуарами два тома, надиктованные мной, ибо это просто-напросто разглагольствования отшельника.

И в отличие от Рубинштейна, который охотно это делает, я отказываюсь говорить о более менее известных людях, с которыми мне доводилось встречаться. Их жизнь принадлежит им. Я могу говорить только о своей.

Мне могут возразить, что оба тома — «Человек как все» и «Следы шагов» — полны мной. Да, действительно. С тех пор, как я не пишу романов и не придумываю героев, мне обязательно надо о чем-то говорить. И вот изо дня в день я записываю все, что мне приходит в голову.

Но это не мемуары. Я решительно восстаю против такого определения.

P.S. Право, это становится модой. Мало кто из известных адвокатов, знаменитых врачей и вообще «знаменитостей» решается уйти, не оставив автопортрета и не сообщив, какое место он занимал в обществе. Люди читают воспоминания медицинских сестер, сотрудников учреждений социального

обеспечения, бывших заключенных (особенно заключенных обоего пола: это очень соблазнительно). Уверен, что скоро объявят о мемуарах клошара. А почему бы и нет?

7 июля 1974

Без четверти десять утра.

Сегодня я случайно проснулся на полчаса раньше, чем обычно. Мы с Терезой уже совершили небольшую утреннюю прогулку. Солнце утром было жаркое, и поэтому мы проделали то, что называем «прогулкой по кладбищу».

Настоящее кладбище с надгробными камнями и пышными памятниками находится несколько дальше, а мы дошли до колумбария — это один из лучших парков Лозанны, и мы иногда посиживаем там на скамейке.

Ни антураж, ни атмосфера здесь не навевают мрачных мыслей. В ярких глиняных урнах находится пепел, но в них можно было бы ставить и цветы.

Возвращались мы по Судейской и Инжирной. Меня потрясло зрелище ревущего потока машин. Куда они мчатся? Куда мчатся все эти водители с напряженными лицами, семьи, набившиеся в маленькие автомобили?

Куда мчатся парижане, устремляясь к выезду из города у заставы Сен-Клу? Куда мчатся берлинцы? Жители Нью-Йорка? Низкорослые, экспансивно жестикулирующие японцы из Токио?

Что делают в этот час негры в деревнях Уганды? Должно быть, женщины, как обычно, толкут просо в огромных деревянных сосудах?

Несмотря на существование радио, телевидения и газет всевозможного толка, мы, в сущности, не знаем о том, что происходит на свете.

Да! Сегодня днем шестьдесят тысяч человек заполнят мюнхенский стадион, и подсчитано, что еще семьсот миллионов в разных странах будут смотреть футбольный матч по телевидению.

Футбол? Разумеется, будут играть в футбол. Но для игроков и болельщиков не будет ли это продолжением последней войны?

Встречаются Голландия и Западная Германия. Когда в последний раз они встречались, но не на футбольном поле, а на полях одной из этих стран, атмосфера была гораздо трагичнее.

Миллионы, миллиарды мозгов работают в головах. В наших головах. Мы не знаем, о чем думает сосед, не говоря уж о человеке, живущем у антиподов. А ведь те, кого называют дебилами и кретинами, тоже думают, думают. Крохотным колесикам крутиться не запретишь!

В сущности, мир — это огромная мыслящая машина, которая мыслит впустую, ибо это ни к чему не приводит.

Вчера из-за одной незначительной фразы я случайно сделал открытие, тоже незначительное и касающееся всего-навсего моих детей.

У меня их четверо, я уже об этом говорил. И думаю, говорил, что они образовали что-то вроде маленькой мафии, а именно: они гораздо больше доверяются друг другу, чем мне.

Теперь я начинаю чувствовать, что и в моей семье все будет так, как в других знакомых семьях. Внешне все друг друга любят и, как правило, ладят между собой.

Но с достижением определенного возраста у каждого формируются жесткие, чтобы не сказать жестокие, убеждения.

Я немножко ревновал, и не скрывал этого, к согласию, которое царило среди моих домочадцев. Сейчас я скорблю из-за раздоров, хорошо, если не драм, которые в любой день могут вспыхнуть среди них.

Как прекрасны были прежние книжки с картинками! Как идиллически выглядела в них семья! Почему действительность обманула нас и грозит омрачить наши мысли?

У меня в голове тоже крутятся крохотные колесики. Из этого не проистекает ничего грандиозного, разве что радость диктовать. Но это радость чудовищно эгоистическая.

9 шюля 1974

У меня было три жены.

Третья, Тереза, сейчас сидит напротив меня. Мы любим друг друга уже почти десять лет. Надеюсь, она будет со мной до конца. Во всяком случае, она превратила мои дни в непрерывную радость.

Парадоксально, однако, что именно с ней я не могу вступить в брак из-за предыдущей моей женитьбы. Развод разорит меня.

Тереза — единственная, кто не сможет унаследовать после меня даже булавки.

Сегодня для нас обоих незабываемый день. Пьер вечером уехал в Англию. Иола завтра в первом часу отбывает в Италию. Мы остаемся только вдвоем. Уже больше месяца я радовался при мысли об этом. Наконец-то мы поживем как новобрачные, хоть мы и не сходили к мэру.

Мне понадобилось сорок лет прожить в браке, прежде чем я узнал, что такое любовь.

21 шюля 1974

Я в смущении. Вчера вечером, когда мы укладывались спать,

Тереза задала мне вопрос. Прежде всего надо сказать, что она знает меня лучше всех на свете. Уже десять лет практически круглые сутки она живет рядом со мной и видит мои малейшие реакции. Бывает, она ошибается в суждениях насчет того или иного моего поступка, но такое случается исключительно редко. Гораздо чаще она открывает мне самому глубинные мотивы моих действий.

И вот вчера вечером, когда я меньше всего этого ожидал, она спросила:

— Ты вправду не жалеешь, что бросил писать романы?

Признаюсь, что после 13 февраля 1973 года, дня моего семидесятилетия, никто еще так впрямую не задавал мне этот вопрос.

А действительно, есть ли во мне то, что можно бы назвать тоской по роману?

Но прежде всего я должен произвести некоторое размежевание. Во французском языке для определения литературы существует только одно слово — «литература». В английском — два: «литература» и «фикшн», то есть вымысел.

Это позволит мне, может быть, ответить с полной откровенностью на вопрос Терезы.

Вымысел? Нет, я не чувствую больше потребности писать вымыслы и не думаю, что способен на это, возможно, потому что не хочу больше придумывать героев, а возможно, потому что у меня уже нет сил.

Литература? Это слово всегда было мне чуждо. Иногда я пытаюсь читать так называемые литературные журналы, но редко добираюсь до конца статьи.

Итак? Я не чувствую, что мне недостает романа. Я удовлетворился, написав их более двухсот, но теперь не думаю о них и бываю очень удивлен, когда, получая диссертации или посвященные моим книгам исследования, узнаю, что в некоторых странах их изучают в школах.

Они существуют отдельно от меня. Я не отрекаюсь от них. Я не отрекаюсь ни от чего написанного мной — даже от развлекательных романчиков.

Но не испытываю ни малейшей потребности, ни малейшей тяги продолжать путь, которым я шел почти пятьдесят лет.

25 сентября 1974

Не помню, в какой пьесе, кажется у Фейдо[62], по сцене расхаживал полковник в отставке и, поглаживая седые усы, повторял: «Порохом пахнет! Порохом пахнет!»

А мне очень хочется крикнуть: «Пахнет войной!»

Нет, не обычной войной. Не мировой, которую нам обещают уж сколько лет. И не малой, какие время от времени вспыхивают по всему миру. Но что значит «малая» война? Если гибнут люди, тем более женщины и дети, войну нельзя называть малой.

Когда я говорю, что пахнет войной, это значит, что уже некоторое время в мыслях и поведении людей происходят смутные изменения. И это заставляет задуматься тех, кто пережил первую и вторую мировые войны.

В некоторых странах стало не хватать сахара. В других нормирована продажа макарон и их достают за огромные деньги.

Дома будут теперь отапливать не так, как требуется, а как позволит правительство. Сейчас на пьедестале лишь автомобили, священные, архичтимые автомобили, как будто они необходимы для расцвета морали и преуспеяния страны.

У меня впечатление, что ощущается некое сближение людей, особенно в народе и в средних классах, какое случается во время войн и в периоды крайнего оскудения.

Конечно, есть социальный класс, который продолжает считать черную икру, гусиную печенку и шампанское продуктами первой необходимости.

Конечно, есть спекулянты, всевозможные мошенники, которые делают состояния.

Но народ, по-настоящему страдающий от нехватки и ограничений, готов сплотиться и, скажу без преувеличения, не пал духом.

2 октября 1974

Заголовок в сегодняшней утренней газете, которую я получаю: «Квебек: индейцы нападают!»

Подзаголовок: «Затопление индейских охотничьих территорий для облегчения последствий энергетического кризиса».

В свое время я посетил резервации канадских индейцев. Не все, понятно. Те, в которых я был, производили плачевное впечатление.

У тамошних индейцев не было ни перьев, ни томагавков, и одеты они были в старую мешковатую одежду, в основном поношенную. Их резервации смахивали на концлагеря.

Мужчины, женщины, дети изготовляли там куколок с перьями на головах и всякие сувениры в так называемом индейском стиле, не знаю, правда, из чего.

Теперь у них отнимают, как это происходит и в США, часть земель, которые были им оставлены: там обнаружена нефть.

Индейцы так же, как в Америке, бунтуют. С моей точки

зрения, их не в чем упрекнуть. Некогда во время постыдных войн их было уничтожено столько, что оставшиеся в живых имеют хоть какое-то право на человеческое отношение.

Я ознакомился также с индейскими лагерями во Флориде, в Аризоне; тамошний мой садовник был когда-то вождем племени.

Те, кого долгие годы унижали, будь то индейцы, африканцы или азиаты, повсюду начинают поднимать голову.

Я никогда не занимался политикой. Для этого нужны грязные руки, а я свои всегда берег. Но я не могу удержаться от радости, видя, куда движется мир.

Наконец-то оскорбительная самонадеянность правительств, заместителей министров и прочих чиновников, причисленных к министерским канцеляриям, в том числе самих министров, а также, разумеется, банкиров и крупных промышленников наталкивается на сопротивление, хотя оно еще только начинается.

Забастовщики теперь требуют не только повышения заработной платы, сокращения рабочего времени или увеличения отпусков. Там, где из-за скверного управления собираются произвести полное или частичное увольнение, рабочие занимают предприятия.

Те, кто производит, предъявляют счет.

Если рабочий или инженер оказывается некомпетентным, его увольняют.

Почему же рабочие и инженеры не имеют права контролировать компетенцию и честность директоров, от которых зависит их заработок?

Я знаю, что надо ожидать упорного противодействия, может быть, жестоких схваток и даже серьезных потрясений.

Мое внутреннее чутье велит мне приветствовать все, что приближает нас к обществу будущего.

Тереза каждый день читает «Коррьере делла сера» и находится в курсе того, что происходит в Италии; она сообщила мне интересный факт. Рабочие одного большого завода в этом году, как обычно, ушли в отпуск. Когда же они вернулись и хотели приступить к работе, оказалось, что в цехах нет ни одной машины. Хозяева их вывезли неизвестно куда, и сотни рабочих превратились в безработных.

4 октября 1974

Хочешь не хочешь, но каждому приходится сейчас думать о том, что называют мировым кризисом: он в той или иной степени затрагивает всех. Большинство стран якобы приняло меры по

ограничению потребления сырья, топлива и многих других продуктов; ожидается, что ограничения распространятся на все.

За исключением, естественно, автомобилей, потому что автомобиль — пуп современного мира.

Вчера у меня был мой американский издатель. Он утверждает, что в США положение с книгоизданием ничуть не лучше, чем во Франции или любой другой стране. Ко всем прочим кризисам прибавился еще и бумажный.

Издатели с трудом добывают бумагу, чтобы печатать своих авторов и новичков, которые только входят в литературу. Встает вопрос о том, чтобы печатать книги еще более мелким шрифтом и без абзацев.

С другой стороны, во всех странах жалуются, что люди выбрасывают деньги на предметы, которые не являются необходимыми.

Каждое утро я обнаруживаю в своей почте большеформатные многостраничные проспекты, отпечатанные на великолепной бумаге. Проспекты, побуждающие людей приобретать массу бесполезных вещей.

Не пора ли положить конец этой инфляции типографской бумаги, которая подрывает начинания правительств?

Почтовая администрация жалуется на необходимость увеличивать число почтальонов, а тем приходится таскать все больший и больший груз. Почтовые ящики уже стали малы: большая часть проспектов имеет такой формат, что не пролезает в щель.

Экономисты уже неоднократно приговаривали общество потребления к гибели.

И что же? Зачем каждый божий день манить людей соблазнами? У меня впечатление, что с нами обращаются примерно как с рыбами. Нам суют под нос множество крючков, только наживлены они не настоящими дождевыми червяками и опарышами, а пластиковыми.

6 октября 1974

Я был одним из первых почитателей Фрейда[63] и Юнга[64] и остаюсь им до сих пор. К тому же в своем творчестве я безотчетно использовал некоторые их идеи, в частности о новом сознании и о родовом сознании…

В то же время я спрашиваю себя, не несут ли они отчасти ответственность за десакрализацию человеческой жизни. Отвергнув чувство вины, которое государство и его институты пытаются вбивать нам в головы, они предоставили нас самим себе, то есть нашим инстинктам.

Я еще помню время, когда политику или журналисту частенько приходилось драться на дуэли; Клемансо, например, проводил все утра в тире и фехтовальном зале, тренируясь в стрельбе из пистолета и в упражнениях со шпагой и саблей, чтобы иметь верную руку и меткий глаз.

Это никого не возмущало. Полиция закрывала на это глаза. Когда суд рассматривал дело об убийстве на дуэли, приговор был необычайно легким. То же самое было на протяжении всей истории. Люди восхищаются тремя мушкетерами, для которых убить было все равно что выпить стакан воды. Восхищаются христианской церковью, которая во время крестовых походов призывала убивать арабов, а потом учредила инквизицию.

Я вспоминаю ремни немецких солдат времен первой мировой войны. На их медных пряжках было выгравировано: «Gott mit uns» — «С нами бог». Французы не носили на животах такого девиза, но думали точно так же. Епископы и архиепископы с высоты кафедр и в пастырских посланиях призывали верующих убивать врагов.

А сейчас убивают, не испытывая угрызений совести…

Вчера в Симплонском туннеле по дороге из Милана в Женеву, где работало много итальянцев, обнаружен динамит в количестве, достаточном, чтобы взорвать все сооружение. Это было вовремя установлено в Домодоссоле, в нескольких километрах от туннеля, где взрыв поезда мог бы стать трагедией.

Трагедий больше нет. Все кажется нормальным. Даже психиатры, вызванные в суд, не решаются с уверенностью свидетельствовать о вменяемости или невменяемости преступника.

К чему мы придем завтра? Не знаю. История движется отнюдь не по прямой. Настроение у нее меняется внезапно, как у человека. И надолго. С другой стороны, у нее, как у айсберга, есть скрытая часть, которая намного превосходит видимую.

Я против агрессивности, я за уважение к жизни и к личности любого человека.

И как многие другие, я обязан задать себе вопрос: «Что я могу сделать?»

Всю свою жизнь я пытался влезть в шкуру другого человека, будь то человек с улицы или столп режима.

А в семьдесят один год признаюсь, что отказываюсь от этого.

Часом позже

С тревогой спрашиваю себя, а что, если в отдаленном или не очень отдаленном будущем право убивать — даже не на войне, даже не для защиты угнетенного меньшинства — станет частью

Прав Человека?

23 октября 1974

Вчера я случайно — такое со мной бывает — нажал на кнопку второго канала французского телевидения. Прошу прощения за термин «нажал». На кнопки теперь не нажимают, их чуть касаются: они теперь электронные.

Наткнулся я на передачу «Для вас, мадам». Должен признаться, посмотрел я только название: «Цена смерти».

Несколько дней назад, помнится, я говорил о смерти a la carte, по выбору. Как в ресторане. С той лишь разницей, что в ресторане выбираешь любимые блюда.

Смерть, увы, не выбирают.

Думаю, я не составляю исключения. Знать, когда я умру, я не стремлюсь; разумеется, я предпочел бы прожить как можно дольше: никогда в жизни я не был еще так счастлив.

И сейчас меня временами занимает вопрос не когда я умру, а как.

У всех у нас, а у некоторых с самого рождения есть одно или — как правило — несколько слабых мест. Примерно до пятидесяти лет я об этом не думал: мое тело превосходно функционировало и нисколько не беспокоило меня.

Но с годами начинаешь отдавать себе отчет, что становишься чувствительным к разным болячкам. И это вовсе не обязательно какие-нибудь серьезные болезни. Просто смутно ощущаешь: утром начинает болеть тот или иной орган.

А когда больных органов много, начинаешь думать: какой сдаст первым? Но, думаю, как любой другой человек, я предпочел бы (верней, отдал бы предпочтение, ибо предпочел бы вообще не умирать), итак, я предпочел бы тихую безболезненную смерть. Вдали от больниц и клиник. В своей постели, и чтобы Тереза сидела у изголовья и закрыла мне глаза.

В этом нет ничего трагического. Такова судьба человека. А вот заглавие передачи «Для вас, мадам»: «Цена смерти» — трагично. И вероятно, в этот вечер по одной из программ врач будет рассказывать о раке или о какой-нибудь редкостной болезни.

Только вечером мне вспомнилось, как я сам участвовал в передаче, предназначенной для женщин. Происходило это лет пять назад в Эпаленже; туда прибыла съемочная группа с аппаратурой, техниками и несколькими женщинами, которых выбрали, не знаю уж по какому принципу, среди телезрительниц.

Все было очень весело, очень сердечно. Ни о смерти, ни о болезнях, конечно, не говорили. Не помню уж, какие вопросы

задавали мне эти дамы.

А сегодня я спросил себя: «Что я там делал?» — и вспомнил, что ведь так продолжалось годами. Уже в Соединенных Штатах меня снимали на пленку и записывали. Репортеры и фотографы «Лайфа», который тогда еще существовал, целую неделю с раннего утра до поздней ночи ходили за мной и делали сотни снимков.

Потом французские и иностранные телевизионщики завели привычку проводить по целым неделям в замке Эшанден, а после и в Эпаленже, нарушая распорядок жизни моих домашних; заставляли меня по прихоти оператора или режиссера передачи менять рубашку или костюм, ходили за мной по улицам Лозанны, на поля, на фермы. Мне приходилось гулять по рынку в сопровождении оператора и человека, держащего шест с микрофоном, который, словно рыболовный крючок, плясал у меня над головой, и при этом я должен был «совершенно естественно» обращаться к торговцам и торговкам.

Поражаюсь, почему я соглашался. Ведь это отнимало у меня время, не доставляло ни малейшего удовольствия, а кроме того, стоило мне нескольких простуд, которые я подхватил во время съемок на улице.

Тогда, как и сейчас, у меня не было необходимости в рекламе. Передачи о себе мне были неинтересны, и я их не смотрел. Я просто считал, что это мой долг, связанный с профессией писателя, то есть в некотором смысле человека публичного. Ну и возможно, долг по отношению к моим читателям. Им всегда любопытно знать о человеке, чьи книги они читают.

После семидесятилетия все это прекратилось. Один-единственный раз я дал короткое телевизионное интервью в моей квартире на Судейской улице.

А в этом маленьком доме, где я сижу сейчас перед очагом, ни один журналист ни с радио, ни с телевидения не может нарушить мою спокойную, уединенную жизнь.

Это парадоксально, но свой покой нарушаю я сам. Я подхватил что-то вроде вируса: чувствую потребность почти ежедневно болтать перед микрофоном. И что хуже всего, говорю исключительно о себе.

Потому что пытаюсь понять не только вымышленных героев, но и себя. А это дьявольски сложно.

Вчера вечером, засыпая, я видел во сне берега Роны и Южного канала, где я плыл на своей маленькой яхте «Жинетта». Через каждые четыре-пять километров на берегу были устроены уходящие в воду мостки для стирки, и с десяток женщин яростно

колотили белье, кто на досках, кто на камнях, а потом полоскали в реке или канале.

Это были не прачки — это слово меня восхищает. Дородные крестьянки колотили вальками белье, сплетничали и хохотали во все горло.

Позже, много позже в подвалах дешевых муниципальных домов мне доводилось видеть, как женщины караулят у сине-зеленых окошек автоматических стиральных машин. В полумраке или при свете тусклой лампочки, свисающей на проводе с потолка, они подстерегали момент, когда надо сунуть в щель очередную монету, а в машину белье.

В большинстве своем они не были ни пышными, ни крикливыми. Они не разговаривали, глядели друг на друга чуть ли не украдкой, словно находиться здесь было позорно.

Стоит ли говорить, что никто не смеялся?

Но меня обвинят, и мой сын Пьер первый, в том, что я несу вздор, как все старики, когда они болтают о временах своей молодости или зрелости.

А я все-таки доволен, что видел, как под солнцем, играющем на воде, пышнотелые женщины весело стирают белье.

День поминовения, 1 ноября 1974

В кантоне Во, где я живу, не отмечают День поминовения усопших — никто не посещает в этот день кладбище, нет черных штор на готических окнах здешних церквей: Швейцария — страна протестантская.

Этот день сразу вызывает у меня воспоминания детства, но думаю, они приходят ко мне не только поэтому.

Вот уже некоторое время, как я заметил (но феномен этот, возможно, куда более давний, чем мне представляется: я ведь почти не бываю в книжных магазинах, а довольствуюсь критическими статьями в газетах и журналах), так вот, уже довольно давно у меня впечатление, что большую, если не большую, часть выходящих книг составляет популярная литература по медицине, о которой я уже говорил, и мемуары или их эрзацы. Встречаются и Антимемуары[65] (с большой буквы). Меня это беспокоит, но только по одной причине — мои монологи достаточно близки к тому, что обычно называют мемуарами.

Их пишут все кому не лень. Писатели, даже журналисты начинают вдруг испытывать потребность поведать о своем детстве, отрочестве, а то и всей жизни или о приключениях где-нибудь на море.

Вчера вечером, прежде чем уснуть, я размышлял об этом. Я

вспомнил, что у императоров, королей, князей и даже просто крупных сановников были свои историографы, которые записывали каждое их деяние, каждый поступок, если не каждую мысль.

Нынешние великие делают это сами.

Мне вспомнилось также, что многие годы я постоянно получаю письма от пожилых мужчин и женщин, а порой и от еще не очень пожилых, которые просят о встрече: они мне расскажут свою жизнь, а я напишу о ней. Присылают и рукописи, которые отнюдь не лишены интереса, даже напротив.

Дела и поступки простого человека, его мысли, проблемы, с моей точки зрения, так же интересны, как умствования какого-нибудь министра или экс-премьера.

Что же заставляет людей, вступивших в определенный возраст, рассказывать о себе? Уж не надежда ли остаться жить в сознании близких и незнакомых людей? Должно быть, в большинстве случаев так оно и есть.

Люди хотят уверить себя, что в конечном счете прожили вовсе не такую уж тусклую и бесполезную жизнь, как им казалось. Что ж, это в высшей степени человечно и трогательно. Куда трогательней, чем пышное надгробие на могиле.

Но если бы меня вдруг спросили, для чего мне это почти ежедневное говорение в микрофон, я затруднился бы ответить. Бросив писать романы, я искренне верил, что покончил со всем, что каким-либо образом связано с литературой.

Я запретил себе заниматься литературой. Как раз она и смущала меня в тех немногочисленных мемуарах, которые я попытался прочесть. Красивые фразы, забота о слоге и, как мне кажется, недостаток подлинной искренности.

Великий Рембрандт охотно и много писал автопортреты, и изображал себя очень эффектно.

Что же касается, скажем, Андре Жида, то, просматривая как-то его фотографии разных лет, я был страшно разочарован: всюду он позирует, всюду пытается казаться значительней.

Я же стараюсь быть как можно ближе к суровой правде. Удается ли мне это? Судить об этом будут другие.

Во всяком случае, это будет для меня развлечением, я надиктовываю эти мои разглагольствования, обрывочные воспоминания, картинки, всплывающие в памяти, ради собственного удовольствия, а также чтобы избавиться от случайных мыслей, которые иногда вечером одолевают меня и не дают уснуть.

Слово «мемуары» мне не нравится. Я предпочел бы «разглагольствования».

И я продолжаю называть магнитофон своей игрушкой.

Моей последней игрушкой, то есть игрушкой человека, у которого нет больше ни духу, ни сил создавать вымышленных героев и который, если случайно и выходит на сцену, не пытается создать о себе лестное представление или высказывать неопровержимые истины.

Я не высказываю истин. Я плыву по течению и не пытаюсь направлять себя. Как листок, который плывет по ручью или по реке.

Из книги «Ветер северный, ветер южный»

29 ноября 1974

Эта маленькая история всплыла у меня в памяти вчера, когда я смотрел по телевизору дебаты во французской палате депутатов по вопросу об абортах. Но я не собираюсь говорить об абортах.

Это было в 1945 году. Во время войны я жил в Вандее и, вернувшись в Париж, встретил давнего друга, уже знаменитого, если не великого, но еще молодого духом. Он мне тут же сообщил:

— Некоторых членов Французской Академии придется исключить из ее рядов, но не из-за их кончины, а потому, что они были вишистами; признано, что они недостойны оставаться в ней. Остальные понимают, что Академию надо омолодить, поскольку время сейчас довольно революционное, и, приняв нескольких молодых нонконформистов, старики создадут себе в некотором смысле алиби. Я выдвигаю свою кандидатуру. Потом, пройдя в Академию, я устрою так, чтобы приняли еще троих наших друзей.

И он назвал фамилии этих троих, тоже известных литераторов, сейчас, увы, уже покойных. Потом воскликнул:

— Представляешь, как мы вчетвером растрясем этих старых хрычей с набережной Конти[66]!

Действительно, по прошествии нескольких лет все четверо были избраны в Академию. Я ждал шума. В ту пору я жил в Соединенных Штатах. До меня почти не доходили вести о том, что происходит в Академии.

В 1952 году я ненадолго приехал в Европу, встретился с четырьмя мушкетерами и был поражен тем, как они переменились.

Вот одна из множества историй. Однажды в состав жюри Каннского фестиваля вошло шесть академиков. Я спросил своих друзей:

— За какой фильм вы будете голосовать?

Они ответили, словно это само собой разумелось:

— За тот, который укажет самый старый из нас.

— Ты хочешь сказать — самый старший?

— В Академии имеет значение не возраст, а годы членства. Решает всегда самый старый.

Тот же самый друг рассказывал мне:

— На прошлой неделе мы были с визитом в одном буржуазном доме. Там нарушили все правила приличия: мою

жену за столом посадили рядом черт знает с кем, а не справа от хозяина дома, как положено. Я сделал ей знак. Мы поднялись и ушли.

Четыре мушкетера не изменили обычаев Академии, напротив, стали ревностно соблюдать все правила этого почтенного заведения на набережной Конти.

Вспомнил я об этом только потому, что, глядя вчера, как депутаты сменяют друг друга на трибуне, был уверен: большинство из них баллотировалось на выборах только ради того, чтобы, выражаясь вульгарно, «растрясти лавочку».

Ничего-то они не «растрясли». Многие из них — президенты или председатели чего-то там. Чего же? До самой смерти экс-президента республики, экс-председателя Совета министров, экс-президента Национального собрания, экс-председателя комиссии по вооружениям, экс-председателя бог весть какой комиссии или неведомо какой группы даже близкие друзья титулуют почтительно «господин президент (председатель)», а фамильярно — просто «президент».

Во всех городах и весях Франции имеются свои председатели и президенты:

председатель муниципального совета,
президент местного футбольного клуба,
председатель клуба игроков в шары,
президент общества любителей рыбной ловли,
председатель общества игроков в белот, —

и все они до конца жизни действительно ощущают себя президентами и требуют, чтобы их именовали этим словом.

Не говорю уж о чемпионатах. Надо быть хоть каким-нибудь чемпионом. Конечно, все не могут быть председателями Олимпийского комитета или чемпионами мира по толканию ядра, но всегда ведь можно выказать в чем-то превосходство, и вот в каждом парижском кафе есть свой лучший игрок в белот, в каждом ночном кабаре — свой лучший певец и лучшая стриптизерка; в XVIII округе существуют королева красоты и чемпион по танцам, способный протанцевать сто семьдесят два часа, ни разу не присев, а также чемпион по крутым яйцам, способный проглотить крутых яиц больше, чем кто-либо в мире. А есть и такой, кто дольше всех курит трубку, набитую несколькими граммами табака.

Существует даже чемпион, дольше всех простоявший на маленькой площадке на конце сколько-то-там-метрового шеста.

Это кажется смехотворным. Я мог бы назвать еще сотни, тысячи всевозможных чемпионов, президентов, генеральных секретарей.

Но мне от этого не смешно. Можно сказать, что каждый человек полон чувства собственного достоинства, но оно чаще всего проявляется в том, что он считает себя выше соседей. Это чуть ли не жизненная необходимость.

В деревне тоже есть такие, у кого самые лучшие быки или самая лучшая пшеница, кто может провести плугом самую ровную борозду.

Но если человек не находит в себе превосходства ни в чем, он может купить кошку, собаку, канарейку, какаду — короче, любое животное с прекрасной родословной и официально выставлять его на одной из многочисленных выставок, где награждают золотыми, серебряными и бронзовыми медалями так же, как награждают спортсменов или королев красоты.

У женщин тоже есть жажда превосходства: одна варит непревзойденный суп с цветной капустой, другая мастерски тушит рагу, у третьей прямой нос или голубые глаза.

К подобным демонстрациям прибегают, чтобы утешить себя. Никому неохота быть посредственностью, серой лошадкой.

В этом нет ничего комического. А когда вспомнишь о тех, кто проигрывает на общенациональных выборах, кто не получает наград на конкурсах датских догов или певчих канареек, то тут уже попахивает чуть ли не трагедией.

Они — никто. Несмотря на все свои старания, они — бесцветные существа, недостойные внимания общества.

Сограждане не узнают их на улицах. И в довершение всего в разнообразнейших ассоциациях, на бесчисленных соревнованиях и чемпионатах они осуждены на роль зрителей, роль неудачливых конкурентов. Они — ничтожества, составляющие то, что пренебрежительно называют массами. (Телки, по выражению одного президента республики.)

Однако почти все, кто составляет массы, становятся сперва недовольными, потом озлобленными.

30 ноября 1974

Я вынужден совершить публичное покаяние, верней, обратить на себя смех, который вчера вызывали у меня все эти президенты и чемпионы, а также жажда превосходства, снедающая большинство людей.

Я забыл, что являюсь бельгийским и американским академиком. Естественно, нога моя не ступала в Бельгийскую Академию, за исключением того дня, когда меня возводили в этот сан; то же с Американской Академией: диплом мне вручили в посольстве США в Берне.

У этих академий нет ни мундиров с шитьем, ни треуголок.

Звания эти, как правило, не пишут на визитных карточках, ими не маркируют почтовую бумагу.

Я также стал без всяких, разумеется, стараний и домогательств с моей стороны доктором honoris causa[67] университета в моем родном городе Льеже и Падуанского университета, одного из старейших в Италии. Я ведь тоже, как утверждаю в заглавии первого тома воспоминаний, человек как все!

Почему же должно быть иначе?

Ежегодно ЮНЕСКО публикует в одном из своих бюллетеней список авторов, которых больше всего переводили в истекшем году на другие языки, и приводит количество переводов на каждого.

Я в этом списке шел после Библии, Ленина и Жюля Верна. Что я могу сказать? Я счастлив. И не потому, что это такая уж честь. Нет, я говорю себе, что, видимо, герои моих романов действительно жизненны, раз их признают в Токио и в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе и на Цейлоне.

С тех пор как я не пишу романов, за мною больше не следит недреманное око прессы и заграничных агентств, которые посылают авторам все статьи, где они упоминаются. Стало быть, я не знаю, на каком месте стою сейчас среди наиболее переводимых писателей.

Стал бы я задирать нос? Не думаю: я ведь не добивался никаких почестей, этих игрушек людей моего возраста.

В одном из предыдущих томов я посвятил много места теме отношения младших поколений к старшим. Не помню в точности, что я говорил, но в качестве примера привел моих детей, и, если память мне не изменяет, из надиктованного мною следует, что меня несколько разочаровало их отдаление от меня.

Я был не прав. В эти несколько месяцев все четверо по отдельности, причем не намеренно, доказали мне это; более того, я почувствовал, что трое, живущие отдельно, питают ко мне горячую любовь и по-настоящему доверяют. Даже Пьер, который имеет обыкновение противоречить всем на свете, начиная с учителей, все больше и больше интересуется моей жизнью и, возможно, сохранит обо мне несколько идеализированное представление.

Не стоит рубить сплеча. Не стоит всему противоречить a priori[68]. И лучше, если я не буду создавать теорий, что со мной иногда бывает.

Я отнюдь не мыслитель. И не учитель жизни. Только сегодня я осознал, что я всего лишь внимающий.

А внимающие молчат.

Но это не помешает мне (тут я просто бессилен) продолжать диктовать все, что приходит мне в голову, избавляя тем самым себя от необходимости стучать на машинке в течение нескольких дней, а то и месяцев.

8 декабря 1974

Если не ошибаюсь, первый день рождественского поста. В детстве, особенно когда я прислуживал на шестичасовой мессе в Баварской больнице[69], а по воскресеньям и на двух — в шесть и в восемь утра, — между которыми давали яйца всмятку, время перед пасхой и рождеством было для меня очень знаменательно: в эти дни тщательно соблюдали старинную литургию, а я облачался в стихарь из трехсотлетних кружев, который две монашенки подавали мне с такой осторожностью, словно он был стеклянный.

Вчера я выступал по одной из французских провинциальных радиостанций. Каждую субботу там кто-нибудь, заранее не знаешь кто, комментирует события дня.

Как всегда, вопреки своим благим намерениям я доставил себе удовольствие и говорил все, что у меня на душе. Кое-кого это раздражит: наших правителей, от самых высоких до самых маленьких, от президента до субпрефекта, а также банкиров и крупных дельцов я сравнил с призраками.

Убежден, что теми, кого считают нашими правителями, на самом деле управляют люди, чьих имен мы почти никогда не знаем. Места правителей заняли транснациональные корпорации, а их хозяева предпочитают оставаться за кулисами. О них говорят очень редко.

Но я отнюдь не экономист, не психолог: я не кончал ни Национальной школы управления, ни Школы политических наук, ни университета. Я бросил коллеж в пятнадцать с половиной лет.

И все-таки, когда мне случается, как вчера, выпустить пар, на следующий день я чувствую себя чуточку скверно, словно влез не в свое дело.

Действительно, это не мое дело. Очень красиво говорится, будто в большинстве стран сейчас демократия, но человек с улицы, каковым я являюсь, не имеет права выбора. Конечно, он периодически опускает в урну бюллетень. Но чего стоит этот бюллетень?

Грош ему цена. В сущности, наверху оказываются те, кто цепляется за прошлое и лишь изредка соглашается на уступки ради настоящего и будущего, — призраки, как я только что сказал и, думаю, неоднократно уже говорил в этот микрофон.

Тем не менее я чувствую себя как бы виноватым. Виноватым в

том, что сказал слишком много. В том, что открыл свои сокровенные мысли.

Неужели у всех этих министров, депутатов, важных персон, которые регулярно появляются на телеэкранах, совесть действительно чиста? Или они, как я, немножко стыдятся высказывать мнения, которые в отличие от моего являются не вполне их собственными?

Их утверждения зачастую настолько лживы или тенденциозны, что трудно поверить, будто они искренни. Ну, а если они искренни, то тогда эти люди настолько близоруки, настолько оторваны от действительности, что я даже колеблюсь, как их правильней назвать — слепыми идеалистами или идиотами? Они меня не интересуют, и я почти не общался с ними. Но мог наблюдать довольно близко и потому знаю, что их схватки на трибуне или на маленьком экране — одна видимость: на самом деле они все связаны приятельскими отношениями, а то и сообщничеством.

И если на публике представители двух противоположных партий обмениваются жестокой бранью, то за кулисами они на «ты» и пожимают друг другу руки.

16 декабря 1974

За свою жизнь я держал не только волков, мангуст, гусей, индюков, канареек, кур, экзотических птиц, не считая коров и лошадей, но еще и собак и кошек. Теперь же я не могу себе этого позволить, потому что они будут пугать птиц, которые два-три раза в день прилетают покормиться ко мне в садик.

Много раз я наблюдал за спящей собакой. Нет никакого сомнения, что собаки, так же как мы, видят сны; другие животные, возможно, тоже. Очень трогательно смотреть на спящую собаку, когда она лежит на боку, сучит во сне лапами и радостно взлаивает, словно гонится за дичью. А иногда не шелохнется, не шевельнет лапой, лишь басовито повизгивает, и начинаешь думать, что она испытывает глубочайшее удовольствие. Что ей снится? Еда? Прогулка? Или то, как она была щенком? Все может быть.

Укротители установили, что хищникам — от львов до пантер — тоже снятся сны.

Установлено, кажется, что почти треть жизни у нас проходит в сновидениях и что они нам жизненно необходимы, пусть даже при пробуждении мы порой и не помним их.

Иначе говоря, сновидения являются обязательным дополнением к нашей мыслительной деятельности.

Я опять возвращаюсь к своей старой песне: если животное,

подобно нам, испытывает потребность в сновидениях и видит их, почему у него не может быть того, что является оборотной стороной сновидения, — разума, то есть способности мыслить?

Этот вопрос интересовал меня всю жизнь. Я частенько жалел, что я не медик, особенно, что не психиатр. Но на склоне дней я чаще сожалею, что я не зоолог: уверен, что, изучая животный мир, можно лучше понять животное, именуемое человеком.

Мы думаем, что собака, кошка и многие другие звери зависят от нас. А вдруг у них на этот счет противоположное мнение? Мы считаем себя высшими существами, поскольку кормим их. А не считают ли они высшими себя, потому что в некотором смысле мы их слуги?

Вот еще один термин, придуманный нами: домашнее животное.

Мне вспоминаются две строчки Леконта де Лилля о быках и коровах, в солнечный день жующих жвачку на лугу:

> Глазами вялыми следя неторопливо
> Сон внутренний, тот сон, что тянется всегда[70].

Глаза животных восхищают и внушают великое смирение: мне кажется, будто они меня понимают, а я не способен понять их.

17 декабря 1974

В 1936 или 1937 году мне надо было принимать серьезное решение, важное именно для меня.

До той поры все мои романы, в том числе и не о Мегрэ, сперва печатались с продолжением в тогдашних газетах «Парисуар», «Ле пти паризьен» «Ле жур» и т. д. С финансовой точки зрения это было очень выгодно: газеты давали мне почти столько же, если не больше, сколько я получал от издателя.

Однако от меня при этом требовали небольшой уступки: не ослаблять действие до самого конца.

Из-за всего этого на душе у меня было скверно. Это происходило примерно в ту пору, когда я писал «Долгий путь», «Бургомистр из Фюрна», «Убийца» и др.

Я хотел пойти как можно дальше в познании человека, не заботясь о том, как потрафить вкусу читателей газет.

Каждый день я собирался перестать печатать свои романы в газетах. И каждый день ощущал страх.

Прав я был или не прав, но мне казалось, что, если я буду и дальше углублять мотивацию человеческих поступков, то от этого может пострадать мое психическое равновесие.

Я вспомнил Ницше, который, достигнув философских и человеческих вершин, кончил жизнь сумасшедшим. Приходили на память Ван Гог, Гоген и даже Рембрандт, умершие в нищете.

Примеров я мог бы привести еще много. Год или два они постоянно приходили мне на ум.

Короче говоря, передо мной стоял выбор. Жить так, как живу, или познавать.

Признаюсь, я не рискнул пожертвовать собой, как те, кого называл, и многие другие. У меня непреодолимая тяга к жизни — я хотел прожить несколько жизней, самых разных, а вовсе не уходить по собственной воле в рискованные изыскания.

Собственно говоря, тогда я решился на своего рода компромисс. Писать я буду со всей искренностью. Буду продолжать попытки постичь человека. Но, я бы сказал, до определенного предела, который на жаргоне летчиков называется «the point of no return» — то есть крайняя точка, откуда назад не долететь.

Я всегда старался держаться этого неустойчивого равновесия. Давать максимум себя, максимум испытать, но держать этот максимум под бдительным контролем.

Когда в семьдесят лет я решил перестать писать романы, иначе говоря, прекратить поиски человека, это произошло потому, что я почувствовал: мой лимит исчерпан.

Решился я на это не с легким сердцем, хотя и физически, и духовно мне стало легче. И теперь, размышляя, как некогда, о художниках, дошедших до края — до психиатрической больницы или до последней степени нищеты, — я порой сожалею о том давнем решении.

Мне немного стыдно за компромисс, на который я заставил себя пойти. Я стыжусь, вспоминая судьбу Ван Гога, Гогена, их собратьев, которые считали искусство чем-то вроде священнослужения.

Прав я или нет? Может быть, в противоположность им у меня никогда не было уверенности в значительности своего творчества.

У них такая уверенность была, и, несмотря на внешние обстоятельства, они не ошиблись. Понадобились годы, иной раз четверть, иной раз полвека, чтобы она получила подтверждение.

Гением я себя никогда не считал. Я воспринимаю себя как человека среди людей, может быть, несколько более чуткого, чем многие, но отнюдь не исключительного.

И потому я не только восхищаюсь великими, но и завидую им. Может быть, мне тоже нужно было согласиться на нищету, на вечную борьбу с собой и с окружающими? Может быть, тогда я

чувствовал бы большее удовлетворение?

Не хочу сказать, что, как Исав, выбрал чечевичную похлебку[71].

Деньги меня никогда не интересовали. Повторяю снова: меня всегда влекла жизнь во всех ее проявлениях.

Но разве Верлен, Бодлер, Эдгар По не обнаруживали жизнь в любом ничтожном уголке мира? Какой-то физик сказал, что по капле воды он мог бы воссоздать вселенную.

Мне капли воды недостаточно; на такое я, видимо, не способен и потому хотел видеть мир лицом к лицу.

Однако сейчас мне кажется, что весь мир сосредоточился в моем кабинете, в моем квартале, в небольшом, в сущности, городе, который я выбрал.

К чему же тогда было носиться по всему нашему шарику? К чему было останавливать себя, когда мне показалось, что более глубокое проникновение в жизнь грозит мне потерей душевного равновесия?

Я не могу дать ответ. Но ничего не могу поделать с тоской о судьбах тех, кто никогда не думал о себе, не стремился просто жить, а посвятил все силы творчеству, рискуя в конце концов потерпеть крах.

19 декабря 1974

Друзья порой спрашивают меня, не скучаю ли я на покое. Их удивляет, что я не появляюсь ни в Париже, ни в других городах, не летаю, как раньше, в Лондон, Амстердам, Рим, не раскатываю в поездах, а безвылазно сижу в гнезде, которое, с любовью свил в Лозанне, и ничего не делаю, только гуляю, любуюсь прохожими, деревьями, озером, читаю кое-какие газеты да журналы и живу.

Жить — я только сейчас понял это — вовсе не значит суетиться, мчаться из одного города в другой в группе туристов, где никто друг на друга не смотрит, лишь рассеянно слушают, будь то во Флоренции, Стамбуле или Кении, монотонные объяснения гида — конечно, если группа не слишком большая и ты не оказался в последних рядах.

Для меня же, после того как я долгие годы провел в подобной суете, мир сузился. И лишь теперь я начал по-настоящему понимать его.

Каждому животному необходимо жизненное пространство. И я захотел иметь свое, по моей мерке, то есть очень небольшое, чтобы можно было постоянно наслаждаться им.

Только что мы с Терезой гуляли по Судейской улице, и я обещал себе, что буду говорить совсем о другом, но забыл.

Много, слишком много говорят о первой, второй, третьей и

даже четвертой старости. Я достиг третьей, и это чудесно. Естественно, у меня хуже память на недавние события. Но так ли важно помнить события, которые не задевают сокровенные струны нашего существа?

Зато недавнюю память заменила другая — о детстве, о тех годах, которые обыкновенно зовут счастливыми.

Я не хотел бы заново пережить детство, да и никакой другой период моей жизни тоже. Я хочу лишь, чтобы нынешний длился как можно дольше.

Мне случается, особенно утром, когда я принимаю душ или бреюсь, мурлыкать песни, о которых я год, а то и два не вспоминал, — старые колыбельные, вышедшие из моды народные песенки; я даже припоминаю их слова. Я никогда не говорил на валлонском, который, в сущности, является старофранцузским языком той эпохи, когда латынь мало-помалу стала изменяться. Так вот, многие вспоминающиеся мне песенки оказываются на валлонском, и я вдруг понимаю их.

Может быть, такое случается со всеми людьми? Хотелось бы. Детям я об этом не рассказываю: они не станут объяснять феномен, а решат, и, возможно, не без оснований, что я несу вздор.

Тереза — единственная, кто знает о возвращении в детство, о той полноте жизни, которую я ощущаю теперь, в основном благодаря ей.

Сейчас каждый день, каждый миг я живу в «состоянии благодати».

15 января 1975

«Провести время», «заполнить время», «убить время» и т. д. и т. п.! Эти и многие другие выражения — разговорные, но они все представлены в словаре. Словно люди, которым и так отпущено совсем немного времени для жизни, ожесточились и жаждут его «убить»!

Такая позиция поражает меня. Я диву даюсь, когда вижу, как люди гоняют по улицам на машинах только для того, чтобы просто гонять, чтобы управлять огромным механизмом, с которым человек справляется более или менее удачно, но который при случае может и убить его. Я изумляюсь и тогда, когда вижу, как люди в кафе забавляются раскрашенными квадратиками картона, именуемыми картами. И поражался, когда наблюдал за мультимиллионерами, убивающими время в казино и просаживающими там чудовищные деньги.

Менее часто можно услышать и другое выражение, не зарегистрированное в словаре: «наслаждаться временем», а еще

реже: «смаковать каждый миг и те маленькие радости, которые он может дать».

Человек требует все больше и больше свободного времени. А потом чувствует себя не в своей тарелке и не знает, что с этим свободным временем делать. Он ищет способы «убить время». И порой это слишком дорого обходится, так дорого, что он не колеблясь начинает экономить на куске мяса и для себя, и для детей.

Но просто жить с открытыми глазами, жадно — какое это чудо, какой подарок!

Слово «скука» нужно вычеркнуть не только из словарей — из наших мыслей.

Я не скучаю, даже если из-за гриппа или бронхита оказываюсь в заточении в комнате, которую знаю уже наизусть: и тогда каждая минута мне в радость.

Скуки не существует, и, если даже рассматривать ее как болезнь, лекарства, придуманные против нее, не помогают — вот, вероятно, первое, чему должны учить в школах.

Надо просто нести в себе радость жизни. Ощущение тяжести на душе, верней, чувство опустошенности возникает у меня очень редко. Обычно это случается, когда приходится ждать в приемной дантиста или врача либо стоять в хвосте бесконечной очереди на почте. То есть в моменты, когда время тянется безлико и ты уже не принадлежишь самому себе. Тем не менее я знаю врачей, дантистов и людей других профессий, достигших в своей области достаточно высокого положения, которые чувствуют себя счастливыми только когда их приемные забиты: это внушает им сознание собственной значительности и могущества.

Помнится, я уже говорил:

— Если украдут деньги, их можно как-то восполнить или ужаться, но кража времени — минут ли, часов ли — страшней: оно невосполнимо.

1 февраля 1975

Вчера я чуть было не совершил кражу. Во время нашей короткой прогулки по пустырю Тереза остановилась перед красивым камнем; сегодня утром я его тщательно осмотрел. Продолговатый камень яйцевидной формы, длиной сантиметров тридцать, розовый с чуть более светлыми прожилками.

И мне вдруг захотелось, чтобы этот камень лежал у меня в саду. Я чуть было не утащил его с собой. Но не посмел, хотя через несколько дней его, вероятней всего, закопают: здесь начнут строить.

Один журналист спросил, куда делись принадлежавшие мне

картины. Он удивленно смотрел на голые стены, на которых не висело даже календаря. Я сказал, что картины в мебельном сарае. Журналист покачал головой, словно это его глубоко опечалило.

Вряд ли он знает, что для меня важнее продолговатый камень, который я увидел вчера, а сегодня как следует рассмотрел.

Красота — везде. Жизнь — тоже. И счастье.

3 февраля 1975

Только сегодня я осознал, что почти всю жизнь молчал. Применительно к человеку, написавшему более двухсот романов, из которых два или три наполовину автобиографические, это может показаться парадоксальным. И тем не менее это правда. Я молчал даже тем, что ни разу не опустил в урну избирательный бюллетень. Безусловно, уже в детстве у меня была тенденция к тому, что нынче называется «неприятием». Иначе говоря, я с трудом соглашался с общепринятыми представлениями среднего класса и верующих католиков.

Несколько раз это приводило к ссорам между матерью и мной, но, надо сказать, они длились недолго: я понял, что некоторые истины (или то, что я почитал истинами) высказывать бессмысленно; поэтому я молчал и в бесплатной школе у отцов миноритов, где начал учиться, и у иезуитов, где продолжал учение.

В шестнадцать лет я поступил в «Газетт де Льеж», самую католическую и консервативную льежскую газету. Ко мне там относились как к сорванцу, потому что из моих статей непроизвольно лезло какое-то бунтарство.

Но я знал, пользуясь нынешним выражением, докуда я мог доходить.

Из Льежа я уехал, когда мне еще не исполнилось двадцати, следовательно, до достижения избирательного возраста, и в Бельгии никогда не голосовал.

Обосновавшись во Франции, я должен был бы после совершеннолетия отсылать избирательный бюллетень в Льеж либо по почте, либо через посольство. Но я ничего об этом не знал. Меня не информировали. Официальных бумаг никто не присылал. Короче говоря, я ни разу в жизни не заходил в кабину для тайного голосования и никогда не имел случая выразить свои политические взгляды.

Во Франции я прожил долго. Писал. Накатал, если использовать профессиональный термин, довольно много статей. Но я всегда считал себя гостем в чужой стране. А гость не должен плевать в суп.

Поэтому-то более двадцати лет я не высказывал своих мнений. Не выражал вслух свои взгляды, хотя по романам можно представить их эволюцию.

Так же я вел себя и в Соединенных Штатах. Я не натурализовался там, был всего лишь гостем этой страны и потому не позволял себе, даже в беседах с друзьями, становиться на чью-нибудь сторону.

Что же касается моей частной жизни, я старался — и считал это своим долгом — не огорчать никого из моих близких и друзей.

Могу сказать без преувеличения, что боязнь огорчить, унизить или шокировать — одно из основных правил, которым я руководствуюсь уже долгие годы.

Моим девизом, как и девизом моего друга Мегрэ, всегда было: попытаться понять и не судить.

Сейчас я обосновался в Швейцарии и продолжаю рассматривать себя как гостя этой страны, отчего считаю себя не вправе выносить какие-либо суждения о ней. Это скорей удобно, чем неудобно.

Меня не трогают. И я никого не трогаю.

Но вот, перестав писать романы, я начал диктовать. Что же? Воспоминания, в чем-то точные, в чем-то сомнительные. Впечатления. И наконец, не стану скрывать, я высказал и продолжаю высказывать кое-какие мысли, которые уже долго бурлили во мне, но которые я держал при себе.

Вскоре я обнаружил, что если не хочешь никому причинить зла и намерен быть снисходительным, как и положено вести себя человеку по отношению к себе подобным, то зона свободы оказывается очень ограниченной.

Произведения, которые я диктую в течение уже двух лет и буду продолжать, возможно, кого-то возмутят своей откровенностью. Но откровенность эта обузданная. Обузданная рассудком. Хотя не из боязни ответственности. И не из боязни общественного мнения. И тем паче не из-за подозрительности некоторых моих будущих читателей.

Я снова пытаюсь в разумных пределах и в то же время так, чтобы не выдать полностью свои мысли, высказать наконец некоторые важные истины.

13 февраля 1975

Позавчера был счастливый день. Меня посетили три русских журналиста из агентства ТАСС. Ясное дело, они взяли у меня интервью и попросили сказать несколько слов русским читателям. Я был до сих пор уверен, что меня перевели примерно

на десяток языков народов СССР, но тут узнал, что количество их гораздо больше. Признаюсь, мне было приятно. Приятно знать, что еще в одной стране я нашел людей, которые узнали себя в моих героях и, следовательно, заинтересовались ими.

А вчерашнее утро началось с того, что меня поздравила Тереза. Таков бельгийский обычай: в кругу семьи день рождения отмечается накануне официального и в некотором смысле формального юбилея. Это позволяет близким выразить свои пожелания раньше знакомых и тех, кому ты вообще безразличен.

И еще одна радость вчера утром. Г-жа Шрайбер, исследовательница моего творчества и переводчица моих книг в России, прислала мне очаровательную куклу в наряде русской крестьянки; ее веселыми, цветастыми юбками накрывают чайник или кофейник, чтобы он не остыл. Еще она прислала мне альбом из двух пластинок. На одной — очерк одного из крупных русских критиков о моем творчестве и обо мне. На другой — инсценировка моей повести «Семь крестиков в записной книжке».

Инсценировка сделана и записана с участием известнейших артистов страны.

Я не могу понять запись (она сделана на русском языке), но, должен признаться, она доставила мне огромное удовольствие.

3 марта 1975

У нас есть белка! Нет, разумеется, мы ее не купили. Кстати, а существует ли рынок, где можно купить белку? Думаю, да. Есть же рынки, на которых продается все, вплоть до живых — или мертвых — существ. Белка живет, конечно, не в клетке и тем паче не в колесе, которое она была бы вынуждена крутить днем и ночью.

Однажды утром примерно неделю назад мы наблюдали за птицами, которые кормятся у нас в саду (их, кстати, становится все больше), и вдруг заметили рыжую белку: она спокойно сидела на верхней ветке нашего ливанского кедра.

В разговорах мы называем его не ливанским кедром, а просто Деревом, нашим Деревом; дело в том, что у нас растет сирень, букс, еще какие-то кусты, но дерево это — единственное.

Белочка сразу стала центром внимания. Как она здесь появилась? Где провела зиму? Наверно, в одном из многочисленных дупел нашего Дерева. Некоторые птицы боятся ее и прячутся на верхушке кустов букса и главным образом в сирени; они обычно там собираются. А вот дрозды, например, вообще не обращают на нее внимания.

Белочка ест, но не зернышки, которые мы сыплем для воробьев, а семечки подсолнуха. Сидя на задних лапках, она

несколько лихорадочно хватает передними семечки одно за другим и лущит.

Всякий раз, спустившись, белочка обегает сад и некоторое время рассматривает нас сквозь стеклянную входную дверь. Уверен, оставь мы ее открытой, белочка забежала бы в комнату.

Тереза несколько раз клала под Деревом орехи. Сначала белка несколько штук утаскивает в гнездо, которое, должно быть, находится у верхушки. Но, вероятно, это кажется ей чересчур хлопотным. Всякий раз после этого она уносит орехи в разные углы сада, тщательно закапывает ямку и бежит за следующей порцией.

Больше всего я удивляюсь интересу, чуть ли не восхищению, которое она вызывает у меня, так же как птицы, прилетающие к нам кормиться в определенные часы. В Соединенных Штатах, особенно в Коннектикуте, была тьма серых белок. В Лейквиле они приходили к дверям дома и ели у нас из рук. По ночам разгуливали по крыше, и мы слышали, как они носятся туда-сюда, занятые бог весть какими трудами или исполняя неведомый ритуал.

Тогда я видел их, но специально не наблюдал.

Сейчас я начинаю различать повадки всех наших птиц, которых уже больше двух сотен. Есть воробьи и синицы разных видов. Утром я ищу взглядом нашу единственную малиновку. У нас есть камень с углублением, его облюбовали дрозды. Они из него пьют. Потом тут же купаются, плеская на себя крыльями воду.

Воробьи и синички наблюдают за ними, а когда место освобождается, подлетают по двое, по трое, пьют и, конечно, тоже купаются.

Думаю, через месяц, а может, через два, точно не знаю, мы увидим в саду птенцов, делающих первые шаги.

Сад этот, очень небольшой, стал для нас целым миром, и мы уже изучили все его закоулки.

Это одна из наших радостей — сидя в креслах, наблюдать за его жизнью, ибо он живет собственной жизнью и ни один его уголок не похож на другой, как не похожи друг на друга разные породы наших птиц, и я думаю, что в конце концов мы дадим каждой птице имя, как дали его малиновке.

Это старческий маразм?

Во всяком случае, маразм отрадный, позволяющий передохнуть от все более драматических известий, которые приносят радио, телевидение и газеты.

8 марта 1975

Длинна или коротка человеческая жизнь? Конечно, это зависит от того, кому сколько отпущено. Кто-то прожил несколько минут, а кто-то дожил до ста лет. Но существует так называемая средняя продолжительность жизни, которая сейчас в наших странах близка к семидесяти годам, однако эта средняя продолжительность обманчива, потому что зависит от детской смертности.

Будем считать меня, поскольку я пережил на два года среднюю продолжительность, молодым стариком.

В полдень мы с сыном говорили о музыке. Но с равным успехом могли бы говорить о живописи, о модах и вообще о чем угодно. Это, вероятно, навело бы меня на те же мысли, которые я обдумывал во время сиесты.

Я видел улицы городов, на которых не было автомобилей, а если проезжал фиакр, это значило, что кто-то едет в больницу или с чем-то неотложным к врачу.

Мы играли с волчком (наверно, сейчас было бы трудно найти волчок), в серсо и, разумеется, в шары и в классы, прыгая на одной ноге по квадратам, нарисованным мелом на тротуарах.

Долгие годы я читал книги, датированные прошлым веком, — Стендаля, Шатобриана, Бальзака, Флобера, Дюма, Мопассана, а громозвучные стихи Виктора Гюго брали меня за сердце. Я уже не говорю о русских писателях, таких, как Чехов, Достоевский, Гоголь, Пушкин и другие.

Ванных комнат ни у кого не было. В Польшу Бальзак ехал дилижансом. Сообщение между городами осуществлялось и с помощью судов, которые тащили бечевой.

Большинство мужчин носили бакенбарды и длинные волосы, как сейчас. Женщины считались существами воздушными, чтобы не сказать бесплотными. К мессе ходили в определенную церковь, например в Сен-Дени; одиннадцатичасовая месса считалась «шикарной», после нее прохаживались по главной улице, потом по бульвару направлялись к беседке, где играл военный или гражданский оркестр.

Помню, когда мне было пятнадцать, я, неторопливо прогуливаясь вокруг беседки, держал в руке пару перчаток кремового цвета; перчатки были обязательны и летом, и зимой, не говоря уже о трости с набалдашником или без оного.

В моде была классическая музыка, Дебюсси и Равель считались «молодыми».

В театре давали в основном венские оперетки.

На Елисейских полях в Париже было всего несколько частных особняков и один-два больших кафешантана.

Женщины затягивались в корсеты с китовым усом, которые

мужья им зашнуровывали на спине, но не для того, чтобы добиться мальчишеского силуэта, а, напротив, как можно сильнее выделить грудь и бедра; для этого под платьем из тафты или чаще из ткани, называвшейся тогда «либерти», носили две, а то и три нижние юбки.

Во время войны юбки перестали волочиться по земле. Они стали мало-помалу укорачиваться, а костюмы стали носить несколько военного покроя.

В ту пору можно еще было сделать состояние, покупая по цене в несколько сот франков, а то и дешевле картины Ван Гога, Ренуара, Сезанна и многих других. А фовистам[72], чтобы заработать на еду, случалось рисовать на террасах кафе портреты углем.

Это был мой первый период.

Когда я приехал в Париж, все уже стало меняться. Монпарнас стал центром мира, куда съехались художники со всех концов Европы и даже из Соединенных Штатов. Сперва молодые художники собирались в обычном кафе-баре; оно отличалось от других лишь тем, что в задней комнате на стенах висело несколько картин.

Тижи была художницей, и ей требовались натурщицы. Моей обязанностью было поставлять их. Помню, сколько раз я ходил рано утром в «Ротонду». У стойки, обитой листами из настоящего олова (между прочим, такие стойки были тогда во всех бистро), сидело несколько девушек или молодых женщин, ожидавших нанимателей-художников.

Еще мы ходили на улицу Лапп, улицу кабачков, пользовавшихся дурной славой, и однажды я там видел, как какой-то человек, сидевший за соседним столиком, получил ножом в грудь. Тогда это еще не было шикарным местом для снобов.

Изменились и женщины. Они должны были быть высокими, без груди, без бедер; я много раз слышал, что груди как-то оперируют, уменьшают. Модный роман назывался «Женщина-холостяк»[73]. Исчезли шиньоны. Женские прически стали не длинней мужских. Платья укоротились, а бусы из жемчуга, настоящего или фальшивого, свисали до колен.

Музыка, танцы тоже изменились. Из Америки завезли джаз. На Монпарнасе открылись кабачки вроде «Жокея», где ногой было трудно шевельнуть — так плотно набивался народ, но тем не менее там танцевали чарльстон, блэк-боттем, уанстеп, тустеп, фокстрот, да разве все названия упомнишь.

Вошли в моду жиголо, наемные танцоры, потому что богатые иностранки, а также светские дамы-парижанки считали день

пропавшим, если во второй половине дня час-другой не протанцевали в каком-нибудь ресторане. Танцы устраивались всюду.

Наисовременнейшее кабаре называлось «Бык на крыше», и там можно было встретить Кокто с его неразлучным Радиге[74], модных композиторов вроде Онеггера[75], Орика[76], Пуленка[77].

Художники перебрались на другую сторону улицы и собирались на просторной террасе нового «Кафе дю Дом». Само кафе было не очень большое, и его тогдашний хозяин построил «Куполь»; это кафе существует и до сих пор, но тогда в нем совершенно не ощущался буржуазный дух.

В бар, отделенный дверью от большого зала, заглядывали Вламинк, Дерен, Модильяни, Паскин, дадаисты, позже сюрреалисты.

В театре на Елисейских полях давали «Негритянское ревю», в котором звездою была Жозефина Бекер.

Музыка продолжала меняться, становилась все более дикой. Живопись окончательно стала кубистской, а на правом и левом берегу Сены открывались многочисленные выставочные залы.

У нью-орлеанского джаза были яростные поклонники, к ним принадлежал и я, и мы по телефону оповещали друг друга о новых открытиях в этой области. Армстронг стал нашим кумиром.

А сейчас мой сын считает его робким и скучным.

13 марта 1975

У меня смутное ощущение, что я уже говорил об этом, но все равно: эта проблема тревожит меня. Ежедневно, иногда по нескольку раз в день по радио, по телевидению, в заявлениях министров я слышу одно слово — «хулиганы».

Все чаще и чаще этим словом обозначают молодых людей от пятнадцати до двадцати лет. Все те, кто носит чересчур длинные волосы, кто обеспокоен своим будущим, кто разочарован обществом, которое создано не для них, кто иногда прибегает к той или иной форме протеста, — все они хулиганы.

Им вынесен окончательный приговор. И вот в деревнях, в маленьких городках против них организуют прямо-таки настоящее ополчение, цинично признаваясь, что при малейших волнениях, при малейшем взрыве их возмущения и недовольства вооруженные граждане сперва дают залп в воздух, а следующий уже в толпу демонстрантов.

Однако ученые, будь то биологи, психиатры, психологи или социологи, согласны с тем, что нынешняя молодежь в возрасте пятнадцати-двадцати лет испытывает отвращение к обществу,

которое создали их отцы и деды.

А отцы и деды, которые нынче возмущаются молодежью, похоже, забыли, что именно современный мир, основанный на погоне за выгодой и махинациях, и порождает отвращение в том возрасте, когда начинаешь судить критически и устаешь ходить по струнке.

Волосатые парни (многим их волосы кажутся слишком длинными) на демонстрациях, порой разрушительных, сталкиваются с замкнутым миром; и этот мир вызывает их возмущение.

Где-то я уже рассказывал, какое значение имело слово «хулиган» в ту пору, когда я еще был пай-мальчиком, росшим в старых традициях послушания и претендовавшим на то, чтобы считаться хорошо воспитанным.

Начальное образование я получил в заведении, которым заправляли отцы минориты, державшие бесплатные религиозные школы. В том же, верней, в соседнем доме, отделенном от нашего двором, отцы минориты держали школу для самых бедных; почти все ее ученики ходили не в башмаках, а в деревянных сабо.

Нам было запрещено общаться с ними. И уже тогда употреблялось слово «хулиганы».

— Не смейте водиться с хулиганами из соседней школы!

То же говорила моя мать, когда нечаянно заставала меня играющим с детьми рабочих.

— Я запрещаю тебе якшаться с этими малолетними хулиганами!

Зато почти все пятницы в ту эпоху были отданы на откуп студентам, которые тогда принадлежали к господствующему классу, то есть чаще всего к тем, кого сейчас называют сторонниками христианской демократии.

В пятницу вечером им было дозволено все. Они развлекались тем, что били газовые фонари на улицах, заваливались в публичные дома и издевались над девицами, а потом крушили мебель. Самой невинной их забавой было перетащить столы и стулья с террасы кафе в отдаленный квартал.

У полиции был приказ не вмешиваться: ведь бесчинствовали молодые люди из «хороших семей», будущие судьи, врачи, адвокаты, высокопоставленные чиновники, депутаты, сенаторы.

Не думаю, чтобы подобное положение было особенностью одного Льежа. Так было и в других городах, и в Париже.

Воскресенье же было днем баталий, драк на дубинках между студентами разных университетов. То в Льеж приезжали студенты Лувенского университета и устраивали потасовку, то льежцы с

тем же налетали на Лувен.

Ни жандармерия, ни полиция, ни тем паче отряды республиканской безопасности, которых в то время еще не существовало, не препятствовали этим сражениям, иногда кончавшимся не одними только шишками да синяками.

Сегодня термин «хулиган» используется применительно к другому социальному слою, объединяющему всех тех, кто не желает иметь ничего общего с буржуазией (хотя среди них немало детей из буржуазных семей), кто недоволен и отвергает общество, которое им оставляют старшие.

Видит бог, то, что они оставляют, не может ни показаться прекрасным, ни воодушевить преисполненного энтузиазма молодого человека.

Легко министру или депутату громогласно, с негодованием, прямо-таки в стиле Третьей республики заявлять по адресу молодежи, выражающей желание жить здоровой жизнью, жить не в такой удушливой атмосфере:

— Пора покончить с хулиганами!

Так вот, термин «хулиган» сегодня я не приемлю так же, как в детстве, когда из-за этого у меня происходили ссоры с матерью.

Тем более что те, кто сейчас его употребляет, раньше сами были хулиганами. Но не по причине бедности и безысходности.

— Пусть побесится, пока молод…

Этими вот словами оправдывали сынков из «хороших семей», сынков богачей: дескать, кровь молодая играет, распирает жажда жизни.

Только их не называли хулиганами. Их называли студентами.

А сейчас учащиеся коллежей, лицеев и многие их преподаватели, оказывается, превратились в хулиганов.

Я буду с молодежью, с теми, кого сейчас клеймят именем «хулиган», против подлинных хулиганов, против почтенных хулиганов, — хулиганов, выдающих себя за людей с незапятнанной совестью и присвоивших себе право ежедневно появляться на экранах телевизоров, что мне представляется настоящим вызовом народу.

Из книги «Скамейка на солнышке»

8 апреля 1975

Вчера я просмотрел первый том беспорядочных заметок, которые начал диктовать в тот день, когда ушел на покой. А только что я закончил четвертый том. «Письмо к матери» в счет не идет: оно вкралось между вторым и третьим.

Сегодня я начинаю пятый том. Каким он будет? Не знаю. Во всяком случае, я приступаю к нему с той же безмятежностью, что и к предыдущим.

Несколько недель это будут, вероятней всего, лишь короткие записи. Книга, озаглавленная «Человек как все», еще не появилась в книжных магазинах, но о ней уже заговорило телевидение, и мне все время звонят по телефону.

Сегодня, когда я в ладу с самим собой, я спокойней отношусь к тому, что порой меня бесит. Наедут журналисты. Я выделю им время — столько, насколько у меня хватит духу. Потом еще время для радио и телевидения. Но все это в некотором смысле меня уже не волнует.

У меня чувство, будто наша жизнь кристаллизовалась в розовом домике, ставшем для нас целым миром. Она непроницаема. Люди могут приходить, уходить, говорить или молчать, но это никак не затрагивает наш внутренний мир, нашу жизнь — Терезину и мою.

Сегодня днем из Лондона приехал английский фотограф, чтобы сделать мой портрет для первой страницы какой-то воскресной газеты. Я отношусь к этому так же, как к фотографам на Лазурном берегу или около парижских памятников, которые щелкают вас и суют карточку с адресом, куда надо прийти, чтобы выкупить фотоснимки.

Я только удивляюсь, когда гляжу на книгу, которая вот-вот выйдет в свет и которую я начал в 1973 году. Прошло уже два года, а ощущение такое, будто это было только что и в то же время — страшно давно.

Чувствую я себя в подобные моменты так, словно на мне новый костюм. Но сегодня этот костюм нигде не жмет, и потому настроение у меня хорошее.

Перечитывать книгу я не буду — как и остальные, которые написал. И все же временами у меня возникает желание прочесть ее и понять, как смогло стать мое счастье (слово, которое я когда-то не смел произнести) таким полным и притом спокойным, без грандиозных событий, без громких слов.

Но к чему искать объяснений в надиктованном мной, если

полнота счастья во мне и я наслаждаюсь им ежесекундно?

Пусть приходят фотографы, журналисты, да мало ли кто еще — мне тепло, светло, покойно в моей раковине, в нашей раковине.

После покупки нашего розового домика я лишь однажды поднимался на второй этаж, где у Пьера студия, спальня и ванная комната. Обставил он их по собственному вкусу. Но я сломал бедро на второй день после переселения, и это не позволило мне посмотреть, как устроился сын. Лестница довольно крутая, а у меня после травмы какой-то страх перед лестницами, на которых может закружиться голова.

В это утро я вместе с Пьером поднялся к нему и был восхищен атмосферой, которую он сумел создать в своих владениях. Он устроил собственный уголок так же, как я наш — для Терезы и себя. На всем здесь отпечаток его индивидуальности. Каждая мелочь — по нему.

Как я мечтал в его возрасте о таком вот укрытии. Зимой, чтобы умыться, мне приходилось разбивать лед в кувшине с водой. И была еще одна вещь, вызывавшая у меня отвращение, — ночной горшок. Такое отвращение, что иной раз, бывало, я предпочитал помочиться в окно.

18 апреля 1975

Великолепный день. Думаю, не в первый раз я, начиная диктовать, произношу эти слова. Как-никак примерно с 1965 года все мои дни прекрасны и восхитительны. И достаточно малости, чтобы день, просто прекрасный и восхитительный, стал великолепным.

Вчера был трудовой день, точнее, день, когда я занимался делами. Я испытываю к ним все большее отвращение. Но это необходимо, и приходится покоряться. А вчерашний день оказался для меня труден еще и потому, что все перемешалось: то дружеские визиты, то деловые вопросы, иногда то и другое вместе, а это всегда щекотливо.

Все прошло хорошо, без споров, без нервозности; я доволен. И все-таки встречи такого рода кажутся мне чем-то вроде кражи, словно нарушать гармоничный ритм нашей жизни — значит обворовывать нас с Терезой.

Однако есть и причина радоваться: утреннее письмо Мари-Жо, которая прочла «Человека как все», первый том того, что можно бы назвать моими воспоминаниями.

Чуть ли не на пяти страницах убористым почерком Мари-Жо

дает анализ книги, трезвый и в то же время настолько эмоциональный, что это меня даже поразило, хотя эмоциональности в ее письмах обычно хватает с избытком.

Наконец она поняла, как до нее Пьер и Марк, прочитавшие книгу несколькими днями раньше, мои отношения с Терезой и почему мы с нею при детях соблюдаем такую сдержанность.

Мари-Жо не укоряет меня. Но, кажется, она раньше не совсем понимала, например, почему Тереза держится так незаметно и почему вместо черного платья с кружевным передником и белой шапочки, которые Д. заставляла ее носить в Эпаленже, выбрала простой белый халат и носит его, даже когда я принимаю самых близких друзей, как это было вчера.

Я часто называю Терезу своим ангелом-хранителем. Никакой определенной должности у нее нет; она заботится обо мне, и потому бывает, что я представляю ее не по имени и званию, а как своего ангела-хранителя. Белый халат, больше всего похожий на халат сестры милосердия, для меня конкретизирует ее роль ангела-хранителя: не будь Терезы, я отошел бы в лучший мир еще лет десять назад.

Мари-Жо поняла это. И Пьер понял. Звонил Марк и сказал то же самое. Остался только Джонни; он сейчас в Гарварде, сдает экзамены, и я не стал посылать ему книжку: эти экзамены последние перед выходом в жизнь. Не хочу, чтобы что-то отвлекало его сейчас. Через несколько недель, уверен, он мне напишет то же самое, что его братья и сестра.

Джонни, конечно, останется в Штатах; из множества предложений, которые он получил, как любой другой выпускник Harvard Business School[78], Джонни, вероятней всего, выберет какое-нибудь крупное издательство. Он станет, как там говорят, человеком с Мэдисон-авеню[79].

Ему будет трудно. Конкуренция между фирмами жесточайшая. Но, думаю, Джонни выдержит — у него сильные плечи.

А для меня самое главное — что сегодня первый настоящий день весны. Она разошлась с календарем. В последний зимний месяц к нам пришла ложная весна. И лишь теперь, после долгих дождливых дней, после бронхита, свалившего нас обоих и не дававшего выйти из дому, грянула настоящая весна. Все вокруг в цвету. Одежда, которую мы взяли в конце лета из нашей квартиры в Башне, кажется нам тяжелой и неуклюжей. Надо будет на днях подняться на десятый этаж и поискать что-нибудь полегче.

Мы еще чувствуем слабость и поэтому сегодня днем почти не гуляли. Мы взяли такси и поехали в Уши, посидели там на

террасе ресторана, на что я решаюсь не чаще одного-двух раз в год — не выношу ресторанной обстановки.

Но сегодня я был в восторге. Я глазел на пожилых и даже молодых женщин, которые пили чай и поглощали тарталетки и пирожные, на мужчин, утолявших жажду бочковым пивом.

На озере полно лодок; настроение благодушное — это еще не туристский сезон, а скорей что-то вроде приобщения к солнцу.

Парк в Уши сверкал всеми красками природы: клумбы с разнообразными цветами во всевозможнейших сочетаниях, а вдобавок — огромные часы из цветов. Часы эти показывают время и будут действовать все лето, хотя цветы на них будут меняться.

Нашу поездку можно бы представить как часть того, что я с детства называю маленькими радостями. Нет, это больше. Глубже. Это было полное внутреннее слияние со всем, что нас окружало, с людьми, сидящими на террасе, с пирожными на блюдах, с весельными, моторными, педальными лодками, с солнцем, с теплом, приносимым порывами ветерка, который я назвал бы неощутимым, если бы не боялся прибегнуть к образу, отдающему литературщиной.

Все нам было в радость — чувствовать жизнь, дышать, двигаться, любоваться зеленью, желтыми и синими цветами, наблюдать за прогуливающимися людьми, за малышами в колясках, за воробьями, которые бочком припрыгивали под столы и чуть ли не из-под ног пожилых дам склевывали крошки пирожных.

Когда мы вернулись, наша комната показалась нам еще прекрасней, просто восхитительной, и в ней не осталось никаких следов деловых забот, издательских и гонорарных проблем; наше залитое солнцем жилье, наш сад за стеклянной дверью, наши птицы — все буквально ласкало взгляд.

Что же такое счастье, если не это? Быть вдвоем и жить, чувствуя, что мы живем и мы вместе.

В романах я часто писал о драме одиночества. Это древняя человеческая драма — еще в Евангелии сказано: худо человеку одному[80].

Я долго был одинок и потому отдавал одинокому человеку всю свою жалость; нет, не люблю этого слова, лучше скажу: свою горячую симпатию.

24 апреля 1975

Один из моих лучших друзей, с которым у нас полное взаимопонимание, прислал мне длинную поэму. Я прочел ее и был в восторге. Но меня несколько раз подмывало прервать чтение и отложить на завтра.

Я ведь тоже, как все школьники, писал стихи. Впервые — в третьем классе; учитель всем ученикам давал темы сочинений, но мне позволял выбирать их самому. Я же писал их не прозой, а стихами.

Потом в мансарде, облачившись в халат, сшитый из одеяла, я сочинил два-три стихотворения, не больше.

Это вовсе не значит, что я глух к поэзии. Но, вообще говоря, стараюсь стихи не читать.

Со стихами у меня произошло то же, что с музыкой. Довольно долго у меня было большое собрание пластинок — не только весь Моцарт, Бах, Бетховен, Шуберт, Шуман, но и новоорлеанские блюзы[81].

Тогда мне не было еще тридцати, и я мог слушать их целыми днями.

Стал ли я с возрастом чувствительней или эмоциональней? Несколько месяцев назад я приобрел кассеты с записью моих любимых музыкантов, в том числе первых звезд джаза, которых я с такой страстью коллекционировал в ту пору, когда пластинки выпускались на семьдесят два оборота в минуту (все мое собрание погибло во время войны при бомбардировке).

Я намеревался создавать иногда вокруг себя что-то вроде музыкального фона. И попробовал это сделать. Моцарта или Армстронга я еще мог выдержать минут десять-пятнадцать. Но потом музыка вызывала у меня почти нестерпимый спазм.

То же самое со стихами.

Я все еще пытаюсь понять причину. Пьер так же, как его братья и сестра, выносит музыку в огромных дозах, а поэзия привлекает его куда сильней, чем проза.

Его интересуют также книги, в которых рассказывается о прошлой войне и о животных, особенно морских.

Может быть, это общее явление, и с определенного возраста людям становится трудней настраиваться на поэзию и музыку?

Я ломаю над этим голову, но так и не могу найти удовлетворительный ответ. Автор только что прочитанной поэмы — длинной поэмы, на целый том — в конце недели заедет повидаться со мной; он часто навещает меня в Швейцарии. Кроме того, он еще и критик. Так вот, я собираюсь прямо спросить его об этом.

Жаль, конечно, если окажется, что я, как вообще все люди в старости, стал приземленней. Мне хочется верить, что это не так, что человек с годами обретает нечто вроде сверхчувствительности, которая оберегает его от чересчур сильных эмоций.

Не потому ли когда-то не помню уж кто написал, что поэты

должны умирать молодыми?

Нет, это было бы жестоко и несправедливо. И вот я спрашиваю себя, не остаются ли на всю жизнь поэтами, но поэтами в несколько ином понимании слова, люди, находящие поэзию во всем, что есть вокруг — в любом украшении, в любом силуэте, мелькнувшем на улице, в чуть заметном трепете листвы, — а не только, как в стихах для юных, в туманной грусти.

Поэзия — мне хочется верить в это — повсюду: в нас, вокруг нас, и любая обычная вещь — частица ее. Поэзия проникает в подсознание. И может быть, когда она становится частью нашего существа, человек перестает испытывать желание как-то выразить ее или отыскивать в уже законченной форме в сочинениях других людей?

Словом, суть моих соображений, если только их можно назвать соображениями, такова: поэзия, равно как и музыка, живет в любом из нас, хотим мы того или не хотим; живет почти всегда, даже если мы этого не ощущаем. И, говоря «в любом из нас», я имею в виду не какую-нибудь определенную среду или категорию людей, но любого человека.

По мне, в деревенском музыканте, торжественно шествующем в воскресенье с оркестром, на чем бы он ни играл — на тромбоне или на геликоне, — поэзии ничуть не меньше, чем в Малларме или Валери.

3 мая 1975

Последние четыре-пять дней погода стоит великолепная. Весна везде вступила в силу. Даже в нашем садике зацвела сирень, а на розах уже появились бутоны.

Все это завершилось вчера днем, который был еще чудесней, чем предыдущие. Мы на такси съездили в город, поглазели на витрины, словно деревенские жители, которые лишь изредка позволяют себе прогуляться по городским улицам. Тереза купила себе несколько светлых и веселеньких весенних платьев.

Весь день был сплошное очарование. Правда, во второй половине у меня была встреча, но приятная. Жан Дюмюр со швейцарского телевидения хотел непринужденно побеседовать со мной и подготовиться к серии телепередач, которые в следующем месяце будут здесь записывать.

Но какая там подготовка, когда и подготавливать-то нечего! У нас состоялся дружеский, доверительный разговор, из которого он понял, что может задавать мне любые вопросы, какие придут ему в голову, даже если они могут показаться затруднительными или интимными, — я отвечу на них с полной откровенностью.

Есть журналисты, к которым я с первых же слов испытываю

доверие, но есть и такие, с которыми мне трудно. Первые более или менее знают мое творчество и задают вопросы по существу. Вторые же, получив задание проинтервьюировать меня, в поезде или в самолете наскоро пробегают какую-нибудь мою книжку и беседуют со мной не обо мне или моем творчестве, а пережевывают легенды, которые свились вокруг меня.

Естественно, я не знаю, что им говорить, и такие репортеры для меня хуже пытки.

Я забыл упомянуть, что позавчера мы прокатились, как я сказал Терезе, за границу. То есть вместо того, чтобы, как обычно, прогуляться по нашему кварталу либо вокруг него, по берегу озера или по окрестным улицам, мы взяли такси и съездили в Пюлли.

Пюлли, в сущности, часть Лозанны. На машине туда езды меньше десяти минут. Но поехать в этот пригород, расположенный в противоположной стороне, чтобы пройтись там по набережной, для нас было все равно, что выехать за границу, и мы сразу ощутили себя туристами. Мы даже прошли чуть дальше, в Лютри (это в полукилометре от Пюлли), и погуляли, точно зеваки, по улочкам — некоторые из них шириной не более двух метров, и через каждую сотню метров там либо антикварный магазинчик, либо лавка гончара, как правило, любителя.

Большинство моих визитеров не может взять в толк, почему я больше не путешествую, утратил интерес к поездкам в чужие страны и даже не съезжу в Женеву, до которой поездом двадцать пять минут.

Долгие годы я мотался по свету, жадно пытаясь постичь людей и подлинную их сущность. В ту пору еще не было туристских агентств, кроме почтенного агентства Кука, но я ни разу не обращался к его услугам. Не заказывал ни мест на пакетбот в Австралию или Китай, ни номеров в гостиницах.

В Африке мне случалось ночевать в негритянских хижинах, и бывало, целые отрезки пути меня несли в носилках, которые там называются типу.

Однако даже в тех деревнях, где мужчины и женщины ходили голыми, я видел обычных людей, таких, как везде.

«Живописность» выдумал туризм; правда, он и сам порожден «живописностью». Человек едет посмотреть на людей, одетых иначе, чем он, не подозревая, что кое-где, например в некоторых голландских деревнях, туристские компании платят жителям за то, что они ходят в национальных костюмах и деревянных сабо.

Я видел их еще тогда, когда они одевались именно так, потому что это была их обычная одежда: они сами, их родители и многие поколения предков с детства носили ее.

То же самое — в некоторых швейцарских деревнях, равно как в некоторых районах стран, лежащих дальше к востоку, хотя их никак уж не назовешь традиционалистскими.

Я получаю множество подарков, в частности кукол, и они мне очень нравятся. Но костюмы этих кукол — точная копия тех, что носили лет сто, а то и триста назад.

День сегодня пасмурный, прохладный. Не из-за того ли я слегка захандрил? Во всяком случае, мое воодушевление последних дней несколько увяло.

Правда, я получил, как и ожидал, письмо от Джонни. Через две недели он заканчивает курс в Harvard Business School. И как тысячи молодых людей, завершающих учение, он в некотором сомнении относительно будущей карьеры. Я уверен, все у него будет хорошо. И все-таки беспокоюсь: в письме, как и в моем сегодняшнем настроении, маловато энтузиазма.

И наконец, меня мучают псевдовоспоминания, которые я диктую почти каждый день. Иные критики находят, что я говорю банальные вещи; что ж, согласен: я ведь еще в названии первого тома признался, что я — человек как все. Другие простодушно удивляются моей откровенности, чуть ли не бесстыдству, как будто я нагишом вышел на площадь Святого Франциска.

Но стоит ли писать воспоминания или, если угодно, ежедневные и разнообразные впечатления о прожитой жизни, если не говорить правду, всю правду?

Если ее не напишу я, то напишут другие и, как всегда, все исказят. И если я не опубликую эти книги, то бог знает в каком виде, с какими подчистками и комментариями они выйдут, когда меня уже не будет.

Но зато мне возвращают душевное равновесие письма, которые я получаю, как правило, от незнакомых людей: прочитав мою книгу, они благодарят меня и сообщают, как она помогает им жить. Именно для них я и пишу — для всех тех, кому плохо, кто боится старости, кто страдает от нее, для всех, кто тщетно ищет спокойствия.

Я тяжело пережил приход старости, прошел через хорошие и через скверные, преимущественно скверные, периоды, но хотел бы, чтобы другие люди, такие же, как я, поняли, что жизнь стоит того, чтобы прожить ее всю, и что приходит день, когда начинаешь отличать главное от случайного и преходящего.

Каждый день у любого из нас бывают какие-то радости, которые надо срывать, как цветы. И когда соединишь эти радости вместе, когда постигнешь, что не стоит придавать слишком большого значения неприятностям, вот тогда придет спокойствие,

о котором я так часто говорю.

А моя утренняя хандра? Она уже проходит. Я уже получил добрую порцию маленьких радостей и еще немало ожидаю их до конца дня. Так мой отец обычно кричал от самого порога:

— Чем будут кормить?

Он все утро проводил за работой, втайне предвкушая удовольствие от ожидающего его обеда.

Очевидно, есть люди, которым скучно. Не знаю, как это у них получается. К сожалению, школ, где учили бы радоваться жизни во всех ее проявлениях, еще нет.

11 мая 1975

Недавно, во время моего ежедневного отдыха, когда я пытался задремать, мне на память пришли строчки из старинной песенки:

Ах, дождь пошел, пастушка,
Овечек собери…

И я вспомнил, что эту песенку, наивную, как пасторали Трианона, написал один из вождей Великой Французской революции, голосовавший за казнь Людовика XVI, а вскоре после этого и сам обезглавленный.

И еще мне припомнилась песенка — она всегда у меня в памяти, верней, на устах:

И вот опять пришла пора черешен,
Пора любви…[82]

Эта песенка, такая свежая, расцвеченная, как акварелью, надеждой, написана коммунаром в тюрьме Тампль.

Как большинство людей на свете, я читаю газеты и журналы. Слушаю радио и хотя бы по полчаса в день смотрю телевизор. Так что я вынужденно оказываюсь в курсе того, как популяризируется наука.

Больше всего меня беспокоят открытия в области биологии. Еще несколько лет назад в человеке различали врожденное и приобретенное: одно направление настаивало на примате врожденного, другое — приобретенного.

А не так давно обнаружили, что в каждой нашей клетке находится крохотная спираль ДНК, которая определяет в человеке все — не только внешний облик, но и умственные

способности, и моральные качества.

За исключением близнецов, которые достаточно редки, в мире нет двух людей, имеющих одинаковые спирали ДНК. Эту спираль можно увидеть лишь в электронный микроскоп. Но это не мешает исследователям нё только изучать ее строение, но и пытаться понять влияние каждого из ее отрезков на жизнь человека.

В некоторых случаях это могло бы позволить — в более или менее отдаленном будущем — исправлять некоторые физические недостатки, в том числе предотвращать болезни, которые мы носим в себе со дня рождения и которые в определенный период жизни дают о себе знать.

Эта перспектива на первый взгляд может показаться вполне утешительной и даже вызвать восторг; тем не менее она пугает очень многих биологов, в частности в США, где уже несколько лет сотни ученых отказываются вести исследования спирали ДНК.

К каким чудовищным последствиям могут привести эти исследования! Какую огромную власть над большинством человечества могут дать кучке людей!

И вот результат моих размышлений над проблемами, которые от меня никак не зависят: днем я ни на миг не сомкнул глаз. Придется наверстывать ночью.

Мы с Терезой вышли на большую утреннюю прогулку; солнце пока не очень жаркое, кое-где лежат пятна тени, воздух свежий.

Я продолжаю наблюдать за прохожими. И с содроганием сердца вижу, что все больше и больше одиноких — и мужчин, и женщин — ходит за покупками. К счастью, в нашем квартале еще сохранились лавочки, где, как в прежние времена, все друг друга знают и где в ожидании своей очереди можно побеседовать с людьми. Но долго они не протянут. Еще сегодня утром я читал, что во Франции в течение последних месяцев закрылось пятьдесят тысяч подобных лавок.

А по телевизору идет интенсивная реклама готовых блюд, которые нужно только разогреть, перед тем как подать на стол.

Много говорят о прогрессе. Послать людей на Луну или вертеться на огромной высоте вокруг Земли — это прогресс? Я так не думаю. По мне, подлинный прогресс проявляет себя не в скорости, с какой производятся те или иные предметы, а в душе человека. Слову «душа» я не придаю никакого религиозного смысла, она для меня символ психического равновесия.

Я пережил разные эпохи, разные стадии этого так называемого прогресса. И не жалею об этом. Я не отношусь к тем, кто беспрестанно оглядывается на прошлое и горюет о нем.

Несомненно, в новом образе жизни будет и даже уже есть кое-что, отвечающее моим стремлениям.

Но встает огромный вопрос: как человеку обрести новое равновесие? А равновесие мы утратили — в этом нет никакого сомнения: достаточно посмотреть на мельтешение многочисленных политиков, видеть, как по-дурацки, престижа ради принимаются меры, которые не разрешают никаких проблем.

На основной вопрос не дают ответа никакие правительственные меры.

Процесс распада семьи, бывшей долгие века основой человеческого существования, углубляется. Кажется, этот год объявили Годом женщины. Какой женщины? Той, что жаждет быть матерью семейства, хозяйкой домашнего очага, а зачастую и главой семьи, или той, что жаждет эмансипации, в семь утра оставляет мужа и детей в квартирке дешевого муниципального дома, мчится на железнодорожную станцию, полчаса, если не все сорок пять минут трясется в поезде, пересаживается в метро или автобус и сидит до шести вечера на одном месте как пришитая, совершая однообразные механические движения и не имея все это время никакого контакта со своими близкими?

В шесть вечера поездка в обратном направлении — к тому, что некогда называлось домом, а сейчас дешевой муниципальной квартирой для рабочих. А где были дети все это время? В безымянных яслях под присмотром женщины, которая имеет какой-то диплом, что вовсе не означает наличия материнских чувств, и которая просто не может относиться по-матерински к сорока, а то и пятидесяти детишкам, доверенным ее попечению.

А когда-то существовали бабушки, тетушки, соседки.

Своих соседей люди сейчас не знают. Тетушки работают в городе, расположенном в двухстах или трехстах километрах, и у них те же самые проблемы. Ну, а для бабушек в муниципальных квартирках нет места. Они либо продолжают жить в своем домишке где-нибудь в деревне, либо от них избавились, поместив в дом общественного призрения.

Они тоже одиноки, как их дети и внуки.

Помню, когда я жил в Коннектикуте, владельцы нескольких фабрик, главным образом ткацких, приняли предложение перебазироваться в южные штаты, где им бесплатно отводили необходимые земли под цеха и освобождали то ли на десять, то ли на двадцать лет от налогов.

Буквально со дня на день перед рабочими должен был встать выбор: ехать с фабрикой, то есть оторваться от корней, или остаться без работы.

Через двадцать лет я вижу, как то же самое происходит во Франции. Больше не существует ни родной деревни, ни родного города, ни родной провинции. Все бросается разом — не только старики, не только друзья, но и привычки, и все остальное, что составляло смысл жизни.

И — следом за фабрикой.

Где же сам человек в этом беге вперед? В беге, который не только приводит к загрязнению рек и лесов в самых идиллических местностях, но и разрывает связи, создававшиеся многими веками.

Уверен, что я не заблуждался, когда говорил, что брак — анахроничный институт. Какая может быть семья, какая может быть супружеская пара, если женщина с утра до вечера занята вне дома, если ей приходится выбирать, следовать ли за мужем туда, куда призывает его работа, или ехать туда, куда зовут ее свои собственные обязанности?

А кто занимается детьми?

Вскоре, вероятно, ими будет заниматься, как в Спарте, государство. Ясли — это всего-навсего суррогат семьи. Государство уже берет на себя заботу о детях и руководит юными умами двух- и трехлетних детей.

Это прогресс? Мне хотелось бы, чтобы это слово было вычеркнуто из словаря. Если бы это называли эволюцией, пусть даже необходимой или неизбежной, я, может быть, и согласился бы с таким определением. Но прогрессом я это назвать не могу. Подлинный прогресс может быть только в гармонии человека с его окружением.

Нынче гармонии не существует. Достаточно посмотреть по телевидению или послушать по радио, с какой лихорадочностью наше правительство принимает чуть ли не каждую неделю противоречивые решения, чтобы понять, что никто, я подчеркиваю, *никто* — ни экономисты, ни религиозные деятели, ни люди, высокопарно именующие себя футурологами, — не способен обрести ее.

Нет, я не пессимист. Люди разделились надвое: одни — ярые приверженцы устаревших традиций; другие еще яростней, чтобы не сказать свирепо, привержены наживе.

И неважно, что ради максимальной наживы приходится переселять, отрывая от корней, множество человеческих существ.

Когда на бирже поднимается курс, все прочее — ребячество.

Того же дня, 7 ч 20 м вечера

Кажется, какой-то древний грек или римлянин написал, если только это не из Библии или Евангелия: «Когда бог хочет лишить

человека разума, он наделяет его гордыней».

Впрочем, гордыня зачастую идет от Священного писания: ведь это из-за нее ангел в один прекрасный день стал сатаной.

Вероятно, это одно из оснований, почему к гордецам, которых называют еще и властолюбцами, я отношусь с меньшим снисхождением, чем к прочим людям. В сложных обстоятельствах они идут до конца и, начав с мелких подлостей, могут пожертвовать всем, а иной раз, и даже часто, целыми народами.

Полагаю, я уже приводил чудовищнейшие слова одного государственного деятеля, которые он сказал своему врачу доктору Моренду, а тот процитировал их в своих мемуарах: «Выходит, Моренд, это и есть мир? *Какой тоскливой станет жизнь!*»

Слова эти принадлежат Уинстону Черчиллю. Но их вполне можно приписать пятидесяти, сотне, тысяче государственных деятелей прошлого и настоящего.

В очерке об умонастроении в армии один журналист, который в этом смыслит, заявил, что причиной недовольства офицеров и унтер-офицеров является мир, при котором мы живем уже тридцать лет. Что ж, офицеров и унтер-офицеров натаскивают для войны. Только война может обеспечить им скорое повышение в звании и полную грудь регалий.

О простом солдате говорить не будем: ему под страхом расстрела остается только исполнять приказы.

15 июня 1975

Когда с сорокового или шестидесятого этажа в Нью-Йорке смотришь на толпу, текущую по Пятой авеню, или с девятого этажа в Париже наблюдаешь, как несутся парижане, работая при этом локтями, чтобы быстрее пройти, невольно возникает вопрос: «Куда они несутся?»

Этот вопрос я все время задаю себе и, надо думать, не раз уже повторял, пока диктовал свои заметки. Какой я давал ответ? Вероятно, не тот, который пытаюсь дать сегодня: ведь с годами, в зависимости от погоды, от температуры, от того, солнечно или пасмурно на улице, настроение у человека меняется.

В сущности, вся моя жизнь прошла в переездах. И мне очень хотелось бы знать, что значили эти переезды. Мне принадлежали корабли, дома, замки, комфортабельные ранчо, и любое из этих жилищ, взятое в отдельности, могло считаться идеальным.

И тем не менее через шесть месяцев, два года, пять лет, а если взять Эпаленж, который я отстраивал с такой любовью, через десять лет…

Но возвращаюсь к вопросу, который часто приходит мне в

голову: что было причиной этих побегов, ибо это было не что иное, как побеги. Я оставлял не только некую местность, окружение, какие-то сопутствующие дела или даже страну, но испытывал нечто вроде неясной потребности разрушить то, что недавно построил. Большая часть моей библиотеки, которая была весьма значительной, рассеяна по свету. У меня перебывала мебель всех эпох и всех стилей.

Вчера я был с визитом в замке, похожем на некоторые, где я жил. Меня чуть не бросило в холодный пот, когда я представил себе, что в течение месяцев, а то и лет занимался обстановкой, вплоть до мельчайших безделушек, таких же старых зданий, превращая их в комфортабельные жилища.

От чего же я, собственно, убегал? От того, что стало привычным? Но даже сейчас в убежище, где я наконец обрел покойную пристань, моя жизнь течет размеренно в такт тиканью часов — двух часов, которые, сидя в своем кресле, я вижу на камине. Прогуливаюсь я почти в одно и то же время. Чуть изменяется время, когда я диктую, но и то незначительно.

Так почему же я всю жизнь убегал? Из-за ощущения, которое я могу описать только очень приблизительно. Прожив какое-то время в определенной обстановке, окружении, атмосфере, я вдруг ловил себя на том, что, неподвижно застыв, оглядываю мебель, стены, картины, безделушки — словом, вещи, которые были мне дороги. Чувство было такое, словно невидимые ножницы перерезают узы, соединяющие меня со всеми этими предметами.

Это было так, словно я проснулся один, нагой, в обстановке, которая мне абсолютно чужда, и с каждой минутой одиночество становится все невыносимей и как будто душит меня.

И вот тогда, почти тотчас же, я бежал, бежал все равно куда, не думая о том, что оставляю, даже не оглянувшись на прошлое.

В сущности, если я верно себя понимаю, у меня нет прошлого. Разумеется, я прожил долгую жизнь. Я пытался вести разные образы жизни. Но ни один из них не сумел удержать меня на месте.

И все-таки кто кого отторгал — я свое окружение или мое окружение меня?

Не думаю, что на эту тему следует говорить в романтическом ключе. Разве люди, которые в пятницу вечером или в субботу мчатся в машинах по автострадам, не бегут тоже неведомо куда, чтобы открыть неведомо что? Разве у автомобилистов нет ощущения, что они в эти несколько часов порывают с обычными, будничными условиями существования?

Я порывал не на уик-энд, не на каникулярную неделю. Я уходил на месяцы, на годы, и все это время у меня было

ощущение, будто я живу новой жизнью.

Но это было заблуждением; наступал час, когда я оказывался один, нагой — как выразился выше — в чужой вселенной.

Сейчас, на семьдесят третьем году, я удостоился милости не быть больше одиноким. Я уверен, что мирно кончу свои дни в нашем розовом домике. И хочу этого, зная, что мою руку будет держать рука, которую каждую ночь я инстинктивно ищу под одеялом.

Четвертью часа позже

Вместо P.S.

Есть такие собачьи бега, когда борзые день за днем до изнеможения гонятся за электрическим зайцем. Но им никогда его не поймать: так уж все устроено.

А мне иногда кажется, что я тоже гнался за электрическим зайцем, пока наконец не поймал настоящего, с которым смог улизнуть в уютное логово, как птицы, которые, покормившись у нас в саду, улетают в свои гнезда.

Того же дня, 17 ч 20 м

Сегодня я задавал себе вопрос: «Куда они несутся?»

Но лучше было бы спросить: «За кем они несутся?»

Мне так и хочется ответить: «За самими собой».

Однако тут есть один нюанс. Каждый из них бежит за собой, но не за таким, каков он на самом деле, а за неким существом, кажущимся ему идеальным; человек зачастую принимает себя за идеал, который его вполне удовлетворяет.

Полагаю, каждому из нас необходимо ощущать чувство превосходства — все равно в чем. Я даже осмелился бы сказать: безразлично, в добре или зле, хоть я и не верю в добро и зло.

Глава дома мечтает, чтобы во время обеда, за семейным столом к нему относились почтительно и речи его выслушивали с восторгом и покорностью.

Кажется, такое было когда-то. Но не уверен, что существует сейчас, разве что в регионах, которые мы называем слаборазвитыми.

Рабочий, которого мы не без некоторого самодовольства именуем неквалифицированным, старается заработать как можно больше денег, чтобы отослать их своей семье, оставшейся, как правило, на родине и живущей в относительной нищете.

Чиновник считает, что он гораздо умнее своего столоначальника или начальника отдела, и все старания направляет на то, чтобы как можно скорее занять их место.

Что касается сильных мира сего, обладателей огромных

состояний, то они тоже, иногда совершенно отрываясь от действительности, несутся следом за какими-то призраками, зачастую просто смехотворными.

Инженер, изобретший новый тип универсального карандаша и сразу возведенный в баронское достоинство, тратит миллионы, строя яхты, которые должны выиграть трансатлантическую гонку. Он не моряк. Он даже не страстный любитель парусного спорта. Но он хочет добиться чего-то иного, что для него куда ценнее состояния, которое ему принесла золотая карандашная жила.

Есть несколько десятков владельцев скаковых лошадей, которые, несмотря на свою ответственность перед сотнями тысяч своих рабочих и работниц, не моргнув глазом просаживают миллионы, чтобы выиграть приз на ежегодных крупных скачках.

Но забавно, что все эти банкиры, финансисты, авантюристы высокого полета, все эти более менее честные или более менее бесчестные люди почти всегда оказываются скупердяями.

Я много раз бывал в роскошных отелях и казино. И там я не только видел этих людей, но и слышал, что говорит о них прислуга.

Вот, к примеру, несколько лет назад был такой бородатый человек, которого звали Королем нефти или еще Господином Пять Процентов, потому что он получал пять процентов стоимости всей нефти, продававшейся в мире. Должно быть, он и сам не знал точных размеров своего состояния.

Я раз десять видел, как он, выходя из автомобиля у «Палм-Бич» в Канне или у Муниципального казино, царственным жестом протягивал монету в пятьдесят сантимов служителю, открывшему дверцу машины.

А потом, после игры, где ставил сотни тысяч франков, он также же царственно одаривал рассыльного пятьюдесятью сантимами.

Что ж, он тоже несся за самим собой. Он настолько презирал деньги, я имею в виду деньги других людей и их образ жизни, что считал свою скупость добродетелью. Должно быть, он думал: «Я — Король нефти, и поэтому эти ничтожества надеются, что в те дни, когда я выигрываю, я брошу им жетон в сто, а то и в тысячу франков. Ну уж нет! У меня хватит смелости дать пятьдесят сантимов».

И это не единственный случай. В таких отелях прислуга говорила мне:

— Чем люди богаче, тем они скупее и привередливей. Они будут гонять вас десять раз, потому что чай теплый, или слишком горячий, или слишком холодный, или мартини недостаточно сухое, а потом с королевским видом дадут вам самую мелкую

монетку.

Лишь нувориши, что недавно, как бы сами того не желая, приобрели состояние, испытывают потребность эпатировать себе подобных и отличаются неслыханной щедростью.

Настоящие богачи смотрят на них с презрительной гримасой и не допускают в свое узкое, закрытое общество.

Мы все за чем-то несемся. Я только что говорил о превосходстве. Но превосходство превосходству рознь. Мне больше по сердцу незаметный старичок, ежевечерне посиживающий в кафе, где никто не может обыграть его в белот. Или игроки в шары, которые, сделав «карро», так же отчаянно радуются, как «понтер», положивший шар рядом с «поросенком»[83].

Существует превосходство великих и превосходство малых. И то и другое одинаково суетно, но, вероятно, одинаково необходимо, если уж не обязательно, для внутреннего равновесия.

И я предпочитаю превосходство малых, пусть даже это будет превосходство человека, выпившего определенное количество кружек пива за рекордное время и ставшего чемпионом, или превосходство — нелепо, но так оно и есть — юноши, который вместе с партнершей протанцевал без передышки, ни разу не присев, какое-то время и побил рекорд по танцевальному марафону.

Все это, как я уже говорил, — вопрос человеческого достоинства. Но опять-таки существует разное достоинство, и, когда деньги — честные и нечестные — гребешь лопатой, почему бы не подкрепить свое достоинство, давая тем, кто тебя обслуживает, ничтожные чаевые?

8 июля 1975

Мне случается раз пять-шесть на дню слушать почасовые выпуски новостей. И я констатирую, что коммерсанты все больше удлиняют сроки выплаты при продаже в кредит.

Мне это напоминает время, когда я только приехал в Париж. На Елисейских полях не было еще ни одного магазина. И никаких реклам — ни неоновых, ни иных. Единственным более или менее освещенным по вечерам местом был ресторан «Фуке»; он уже существовал, но предназначался для ультраизбранной публики.

В основном там были частные особняки, а в нескольких домах сдавались квартиры, и жили в них те, кого называют «сливками общества». Во дворах можно было видеть, как шоферы с утра до вечера начищают машины своих хозяев — «испано-сюизы», «даймлеры», «роллс-ройсы», — на кузовах которых стояли

марки одного из двух-трех лучших кузовных мастеров Парижа.

Самый импозантный, хотя и отличающийся дурным вкусом особняк принадлежал пожилому господину по фамилии Дюфейель.

Ему пришла идея открыть универмаги на бульваре Барбес, в густонаселенном и самом бедном районе, и торговать там всякой всячиной — от ниток, готовой одежды, кухонной утвари до мебельных гарнитуров.

В «Галерее Барбес», или, как тогда говорили, «У Дюфейеля», можно было полностью обставить и оборудовать квартиру, уплатив небольшой задаток, а оставшуюся сумму выплачивать ежемесячными взносами, причем рассрочка могла быть дана на несколько лет. Признаюсь, что в те времена и я прибегал к этой системе почти неограниченного кредита.

Ни в каком другом магазине — ни в «Прентан», ни в «Галерее Лафайета» — продажу в кредит еще не ввели. Это была новинка. Журналисты спрашивали у господина Дюфейеля:

— У вас, должно быть, много должников, не платящих взносы?

Месячные взносы собирали инкассаторы в форме. На груди у них висели чернильницы-непроливайки, под левой рукой был зажат портфель. Приходили они в установленное время и, если в квартире никого не оказывалось, оставляли записку, где сообщали, когда придут снова.

Помню ответ Дюфейеля:

— Наша клиентура состоит почти исключительно из простых людей — рабочих, мелких чиновников. Ювелиру вроде Картье приходится ждать по нескольку лет, пока ему заплатят его богатые клиенты, которые даже несколько кокетничают тем, что не оплачивают счета тотчас же. Наши же покупатели в этом смысле самые исправные. В год у нас бывает не больше трех процентов неуплат. Поверьте мне, низшие классы состоят из честных и, более того, щепетильных людей.

Это было в 1923 или 1924 году. Дюфейель, владелец роскошного особняка в дурном вкусе на Елисейских полях, был в апогее своей карьеры.

Его опыт переняли во всем мире. Торговцы мебелью, потом торговцы автомобилями, радиотоварами и, наконец, торговцы всем, чем угодно, ввели кредит для бедняков, все удлиняя сроки выплаты, и смогли убедиться, как и Дюфейель, который был первым, что люди из самых обездоленных социальных классов (ненавижу выражение «социальные классы»!) чувствуют себя скверней всего, когда не могут соблюсти срок платежа.

Радио ежедневно убеждает меня, что вся современная

торговля строится на эксперименте Дюфейеля. То же самое и в Соединенных Штатах. Когда наступает конец месяца, сумма взносов за различные покупки, на страхование и т. д. оказывается такой большой, что от заработка главы семьи на следующий месяц остаются жалкие крохи, и круговорот долгов, то есть покупок в кредит, начинается заново.

Это стало экономической системой. Ее можно бы выразить так: «Тратьте. Остальное сделаем мы».

Но остальное — это вносить деньги как раз тогда, когда их не хватает, поскольку человек, вышедший из определенного бюджета, становится гораздо менее щепетильным, когда наступает час платежа. Это справедливо для всех, вплоть до самых верхов, вплоть до крупных подрядчиков, до… но лучше я не буду заходить так далеко: это уже затрагивает политику, а я не хочу заниматься политикой.

Лучше я закончу выражением, которое может показаться утрированным: «Чем человек бедней, тем честней».

Бедняки ведь не могут рассчитывать, что влиятельные персоны спасут их от распродажи имущества или от тюрьмы.

13 июля 1975

Кое-кто, возможно, удивится, узнав, что с шестнадцати лет моей настольной книгой был Монтень и я читал его по нескольку страниц перед сном. Это продолжалось довольно долго, чуть ли не десять лет, а потом, примерно в сорокалетием возрасте, я опять взялся перечитывать его. Между двумя этими периодами у меня были две настольные книги: во-первых, Ветхий завет, который у меня есть в нескольких переводах; во-вторых, Евангелие, хотя я был и остаюсь так называемым неверующим.

Евангелие пленяло меня куда сильнее, чем Ветхий завет, который кажется мне чересчур жестоким, и я еще долго помнил наизусть целые главы.

У меня были и другие книги для вечернего чтения: медицинские и психиатрические журналы и трактаты, труды по криминалистике (это не имеет никакого отношения к Мегрэ), естествознанию, истории первобытного общества и т. п.

Я сейчас вдруг подумал, что на отдых я брал с собой главным образом труды по естествознанию и первобытной истории. Это дает мне возможность представить себе путь, который прошли обе эти дисциплины за пятьдесят лет. А также констатировать, что чем больше люди меняют свой образ жизни, тем жадней стараются узнать, как произошел человек, и, быть может, тем большую близость чувствуют с братьями нашими меньшими.

Мне пришлось бросить коллеж на шестнадцатом году жизни

после третьего класса, как считают во Франции и в Бельгии, или после шестого, как считают в Германии, Швейцарии и большинстве других стран.

Иначе говоря, все, что я изучал, я изучал бессистемно. Без четкой программы обучения. К примеру, в некоторых статьях из медицинских журналов я почти ничего не понимаю. Я чувствую, что мне недостает солидной базы, и порой страдаю от этого.

С другой стороны, очень часто я мог бы благословлять то обстоятельство, что не сумел получить правильное традиционное образование. Я был бы, конечно, куда более знающим, чем сейчас. Но я не могу запретить себе думать, что это повредило бы моему чувству интуиции.

Интуицию я ставлю выше книжных и университетских знаний.

Сейчас я с головой окунулся в последние открытия, касающиеся чувств животных и эволюции человека с тех времен, когда он был всего-навсего человекообразным и жил рядом с динозаврами.

Будь у меня более основательное образование, я удовлетворился бы старыми, давно оспариваемыми открытиями.

Я же не перестаю восхищаться всем сущим и, более того, чувствую себя братом всего живого вплоть до растений, поскольку убежден, что мы являемся лишь частью общего целого, и отвергаю все и всяческие иерархии.

Для меня все, что живет, связано с нами. И вряд ли я осмелюсь сорвать с куста листок, ибо не знаю, где начинается и где кончается страдание.

19 июля 1975

Как раз напротив нашего дома на берегу озера стоит крохотная церквушка, которой уже около тысячи лет, и неопытный глаз вряд ли сумеет обнаружить в ней следы перестроек. Сперва она была, разумеется, католической, как все церкви в этих краях в пору средневековья. Сейчас она протестантская. Внутри она так же проста, прекрасна и величественна, как снаружи.

Много позже, явно в XV или XVI веке, к ней пристроили длинный дом для священника, который сейчас является частным владением.

Эта церковь навела меня на мысль о церкви в Сиракузах, где я неоднократно бывал, и всякий раз с одним и тем же чувством. Там производились раскопки; были найдены остатки древнегреческого храма, возведенного в эпоху расцвета Эллады. Потом туда пришли римляне. Они не заботились ни об истории,

ни об исторических памятниках, а просто использовали часть тесаного камня и возвели на развалинах греческого римский храм.

Потом настала очередь средних веков и католицизма. Из части камней римского храма, которые римляне позаимствовали из греческого, христиане построили церковь, называющуюся, если память мне не изменяет, Санта-Мария какая-то.

Любопытно, что сейчас человек занят поисками своих предков и их следов, которые еще можно обнаружить. В Африке, в Китае, в Европе, в США археологи целыми неделями, а то и месяцами просеивают несколько кубометров земли, чтобы найти останки скелета или грубо обтесанные куски кремня.

Американцы первыми стали посылать своих профессоров и студентов во все концы света. Но в самом Нью-Йорке, например, торжествует практическая, финансовая сторона. Целые кварталы голландских домов, датирующихся чуть ли не колумбовскими временами и напоминающих гармоничную архитектуру Амстердама, были там снесены, чтобы освободить место для строительства небоскребов.

Во мне переплелись две точки зрения — человека вчерашнего и человека сегодняшнего.

Уже три дня на берегу озера около этой средневековой церкви полуголые мужчины строят большой танцевальный и банкетный зал. Это традиция кантона Во и, думаю, остальных районов Швейцарии. В каждой деревне раз в два-три года устраивают, как тут называется, «аббатство». Заключается это в трехдневном всеобщем веселье, музыке, танцах, питье (это прежде всего), а вокруг павильона работают карусели и ярмарочные тиры.

Три дня мы будем жить, слушая шум этого празднества до глубокой ночи. На всех улицах Сен-Сюльписа уже посадили маленькие пихточки, и девушки увешивают их разноцветными бумажными цветами.

Сегодня вечером состоится большая праздничная процессия. Не знаю пока, будет ли проезд колесниц с мужчинами и женщинами в карнавальных костюмах.

Швейцария — страна традиций. Каждое воскресенье по меньшей мере в десятке деревень устраиваются процессии, и все жители, радостные и гордые, шествуют в них, наряженные в национальные костюмы.

Национальные костюмы? Уместней было бы сказать, костюмы определенной эпохи — ведь и в Болгарии, и в Польше, и в Эльзасе, и в Бретани, и в Голландии они примерно схожи.

Можно утверждать, что тоска людей по прошлому

концентрируется на определенной исторической эпохе, когда женщины носили широкие цветные юбки до земли, бархатные, стянутые в талии корсажи и кружевные чепцы.

Неподалеку от Сан-Франциско я присутствовал на ежегодном празднике, который можно считать специфически американским.

На большом лугу присутствовали все национальности, составляющие американский народ, каким мы его видим сейчас. Каждая национальная группа, даже те, кто обосновался здесь пять-шесть поколений назад, представила фольклорный ансамбль, исполнявший народную музыку.

Шведы, поляки, немцы, испанцы, южноамериканцы бразильского, аргентинского или, скажем, перуанского происхождения, не говоря уж об итальянцах, которые наряду с ирландцами составляют самую значительную группу населения, проходили друг за другом и исполняли национальные танцы, как бы участвуя в своеобразном конкурсе.

С первого же взгляда меня поразило, что костюмы, музыка и танцы разных стран не так уж сильно отличаются друг от друга. Я как бы еще раз убедился, что существовал некий золотой век, и люди мечтают опять оказаться в нем, хотя бы на несколько часов раз в год или в два.

К примеру, у овернской бурре[84] имеются аналогии в народных танцах Черногории или Албании.

В чем же причина этой тоски по прошлому? В тяге к живописности?

Во всяком случае, поскольку костюмы эти крестьянские, не в счастливой жизни, которую вели в ту пору поселяне. То была эпоха феодальной знати. Эпоха, когда горсточка феодалов во главе с королем угнетала крестьян. Эпоха, когда с земледельцами обращались как с рабами, даже если в некоторых странах этот термин был заменен словом виллан, то есть мужик.

Неужели же тогдашняя бедность и зависимость были легче, чем нынешние? Человек был ближе к природе и по крайней мере знал имена своих властелинов. Сегодня же надо объехать чуть ли не весь мир, чтобы отыскать уголок более или менее девственной природы. Да и не всегда еще найдешь. Но зато в любой стране есть почтовые открытки с местными пейзажами, помеченные «made in Japan» или «made in Germany».

То же самое с куколками в мужских и женских национальных костюмах, которые продаются в сувенирных лавках. В большинстве случаев они произведены не в той стране, где продаются, так же как примитивные статуэтки, якобы вырезанные вручную туземцами, делаются вовсе не в Африке и не в Азии. Они прибыли с больших фабрик европейских, американских или

японских городов.

Я думаю, чем неуютней чувствует себя человек в непрерывно меняющемся мире, тем сильней он тоскует по прошлому и страстно тянется к нему.

Сотни антропологов трудятся на всех континентах, отыскивая останки наших предков или, верней, наших родственников. Какой-нибудь найденный зуб передается из университета в университет и становится поводом для написания толстенных трудов. Какой-нибудь череп исследуют тысячи ученых, и у всех них оказываются различные мнения относительно того места, которое занимал обладатель этого черепа на лестнице, ведущей к современному человеку. А наши пра-пра-пра-пращуры, похоже, поступали точно так же, как архитекторы, которые снесли памятники голландской эпохи в Нью-Йорке, чтобы создать новый город.

Повсюду, как в той же Сицилии, открывают слой за слоем различные цивилизации. Думают, что отрыли поселение, возраст которого десять или пятнадцать тысяч лет. Продолжают копать дальше и находят еще одно, которому десять, а то и двадцать пять тысяч лет. Копают дальше и обнаруживают еще более древнее.

По мере увеличения количества раскопок эпоха возникновения человека или человекоподобных уходит все дальше и дальше в глубь прошлого. Не знаю, сколько миллионов лет мы существуем. Но я почти убежден, что те, кого мы сейчас называем предками, на самом деле совсем недавнее прошлое и что наши корни гораздо глубже.

Не столь уж давно так называемая наука не очень-то заботилась о нашем прошлом, даже о самых прославленных его периодах. Разве, захватив Грецию, англичане не устроили в Парфеноне[85] пороховой склад?

И не является ли эта тоска по тому, что можно бы назвать ранним детством человечества, признаком старости и даже дряхлости?

Старики в определенном возрасте начинают интересоваться своими дедами и бабками, тем самым как бы стремясь оживить в памяти мельчайшие подробности раннего детства.

Ныне весь мир, тратя огромные средства, используя все более сложную технику, ищет свои начала.

Из книги «От подпола до чердака»

3 сентября 1975

Метрах в двухстах-трехстах от моего домика находится перекресток, где весь день напролет ревут легковые автомобили, грузовики, громадные машины (я даже названия их не знаю), которые используются при строительстве домов, не говоря уже об автобусах, проносящихся один за другим.

На одном из углов этого перекрестка городу Лозанне принадлежит клочок земли размером чуть больше двух обычных комнат. Там растет одинокое дерево. С одной стороны участок окаймлен живой изгородью, а попасть туда можно по узкой каменной лестнице.

И еще там есть скамья.

В солнечные дни на этой скамейке можно увидеть трех женщин в летах. Старухами их назвать нельзя. Две безостановочно вяжут. Третья, похоже, ничего не делает и только с огромным интересом смотрит на проезжающие машины.

Это неожиданно, это освежает. Женщин, сидящих на скамейке и вяжущих, я не видел, пожалуй, с детских лет, когда играл на площади Конгресса. Только тогда вокруг них не было грохочущей карусели легковых машин и тяжелых грузовиков. Но нынешних вязальщиц это не смущает. Они к этому привычны, совсем как воробьи, которые на террасах ресторанов и кафе клюют под столами крошки хлеба и пирожных.

Немецкий писатель Томас Манн, автор «Волшебной горы», умер двадцать лет назад. После него остались три толстые тетради дневника, который он вел последние годы. В завещании Манн отметил, что эти тетради могут быть прочитаны и, возможно, опубликованы только через двадцать лет после его смерти.

Правда, он добавил, что ничего интересного в тетрадях нет.

Я со своими почти дневниковыми заметками так не поступил. Не запретил публикацию до истечения двадцати лет после своей смерти. Тем не менее мне хочется предуведомить читателя, что эти мои личные заметки представляют очень небольшой интерес.

Бросив писать дешевые романы, что было, в общем-то, моей профессией и кормило меня в первые годы жизни в Париже, и начав серию «Мегрэ», а потом и другие свои книги, я поклялся больше не читать того, что именуется «изящной словесностью».

За свою жизнь я был дружен со многими художниками, но почти не общался с коллегами-писателями; отношений у меня с

ними практически не было.

Нынче, на покое, мне опять случается иногда прочесть роман, и даже из тех, которые в Америке именуют «poplars», то есть с более или менее детективным сюжетом.

Признаюсь, что, читая, бываю удивлен, а то и смущен. Удивляет меня прежде всего высокое качество многих романов, к которым относятся с пренебрежением. Я представляю себе, как автор выстраивает интригу, обрисовывает героев и недели, если не месяцы, сидит за пишущей машинкой.

Я знаю, что значит сидеть за машинкой. А теперь знаю, что значит быть читателем. За несколько часов книга перелистывается или проглатывается, смотря по обстоятельствам. Об авторе при этом не думают. Думают только о сюжете. Не думают также и об усилиях, затраченных на редактирование.

Книга захлопнута, читатель пожимает плечами и, если она издана в дешевой серии, выбрасывает ее в корзину для бумаг.

Во всем мире работают тысячи писателей; я не знал их, не читал изданных ими книг. И если говорить о моих глубинных мыслях, не ставил себя с ними на одну доску.

Теперь я научился смирению. Ведь и мои книги, которые требовали от меня чудовищного напряжения, тоже чаще всего прочитываются наспех и вызывают пожатие плечами: «Не так уж плохо».

Потом их выбрасывают в корзину.

Такое вот примерно чувство возникло у меня после того, как я стал читать книги моих коллег.

И я научился уважению к ним — к большинству из них, поскольку исключаю тех, кто, переняв готовую формулу, бесконечно эксплуатирует ее и печет книги с единственной целью заработать деньги.

Кстати! А есть ли что-то постыдное в желании заработать?

Признаюсь, что, даже если книга не захватывает меня, я считаю своим долгом дочитать ее до конца. И испытываю угрызения совести всякий раз, когда, дочитав, бросаю ее в корзину.

В ней мысли человека, его пот, его тревоги, и у меня чувство, что этим жестом я выражаю к ним пренебрежение.

5 сентября 1975

Утром я получил письмо одного читателя из Парижа. Оно меня позабавило и, надо сказать, привело в восторг. Этот человек прочел большую часть моих книг, а может, даже все и выискал слова, которые чаще всего в них повторяются. Вот начало его списка:

Страх — Дождь — Судьба — Итог — Понять — Служка — Школа — Трубка — Печка — Жалость.

Читатель добавляет, что вместо «служки» он мог бы взять «воскресенье» или «колокольный звон», «настоящее воскресенье с колокольным звоном».

Он дает еще один список как вариант первого:

Дождь — Страх — Судьба — Итог — Понять — Школа — Воскресенье — Трубка — Печка — Солнце.

И наконец, добавляет — несомненно, после чтения моих последних книг — еще одно слово: «Безмятежность».

Эти два небольших списка, в сущности, подводят, и весьма красноречиво, итог работам множества критиков.

Но, по мне, в списках не хватает если не слова «любовь», которое я начал употреблять достаточно поздно, то слова «нежность».

6 сентября 1975

Во мне произошло какое-то чудо, которое, надеюсь, бывает со всеми мужчинами и женщинами моего возраста.

В преддверии пятидесятилетия у меня было ощущение, будто я потихоньку сползаю в старость, и я говорил себе, что в шестьдесят стану совсем старым. Но так не случилось. Напротив, я почувствовал себя помолодевшим, и потому-то заметкам, которые издал несколькими годами позже, дал название «Когда я был старым».

Границу старости я тогда перенес на шестьдесят пять лет.

Потом снова отсрочка — до семидесяти лег.

Я и их перевалил и вновь почувствовал себя ничуть не более старым, чем сегодня, в семьдесят два с половиной года. Старость — готов сказать я сейчас — начинается в восемьдесят лет.

Держу пари, что, перевалив и этот рубеж, я решу: «Старость приходит после восьмидесяти двух».

Но чудо не в этом, верней, не совсем в этом. Я не знаю, каков механизм памяти. Не знаю, открыли ли его ученые. Знаю только, что уже несколько лет ко мне часто приходят образы прошлого, иногда по нескольку раз на дню, хотя я их и не вызываю. Кстати, я называю это моей книжечкой образов.

И все это счастливые, радужные, живительные воспоминания. И на удивление точные.

В жизни у меня, как и у любого другого, были мрачные, даже драматические периоды. Бывает, Тереза отвлекает меня от дум, когда видит, что я вспоминаю о них. Я делаю усилие, и мрачные воспоминания испаряются из моей памяти.

Может быть, память сама постепенно вытесняет неприятные

воспоминания? У меня есть все основания предполагать, что это именно так. И все основания предполагать, что не мне одному ведом этот феномен. Если правда, что в определенный момент у человека возникает стремление заново пережить какие-то периоды своей жизни, то в его подсознании происходит отбор, в результате которого перед ним проходят лишь обрывки лет, заставляющие его поверить, будто вся жизнь была ровной, безмятежной, солнечной.

Хочу добавить, что если у мужчин, которые говорили со мной на эту тему, все происходит, как у меня, то у многих женщин бывает иначе: на память приходят самые тяжелые, самые печальные события их жизни.

Что же это, общее правило? Или случайность?

Не знаю. Но я надеюсь еще долго непроизвольно перелистывать свою книжечку образов, почти столь же лучезарных, как те, что я вижу сейчас в своем розовом домике.

22 сентября 1975

Еще в детстве я начал страдать клаустрофобией. Почти каждое воскресенье во второй половине дня мы ходили к одному из родственников матери. В столовой или в кухне, в зависимости от состоятельности родственника, собирались три-четыре моих тетушки, трое-четверо дядюшек, не считая кузин и кузенов, которые, не шевелясь, сидели на стульях. Через несколько секунд я под каким-нибудь предлогом выскакивал из чересчур людной, на мой взгляд, комнаты.

Тогда же я почти панически стал бояться толпы. Правда, однажды я видел, как тысяч десять забастовщиков столкнулись с конной жандармерией с саблями наголо. У меня возникло ощущение, будто я оказался среди этой массы, я готов был завопить от ужаса и кататься по земле.

Много позже, когда мне случалось пойти в кино или в театр, я оставался там, если только удавалось найти место в первом ряду у запасного выхода или, напротив, где-нибудь в последних рядах неподалеку от входа.

Так продолжалось всю жизнь, еще больше усугубляясь, так что в кино или в театр я стал ходить чрезвычайно редко и после каждого такого похода очень долго там не появлялся.

Похожее произошло, когда в девятнадцать с половиной лет я приехал в Париж. Как все приезжие, города я не знал и предпочитал пользоваться метро; там висели огромные планы Парижа, так что это был самый удобный вид транспорта.

Несколько раз я спускался в него. Потом отказался: меня охватывал страх, казалось, что из этих туннелей не выбраться.

Я полюбил ездить на автобусах: они были с открытыми площадками; я там устраивался, курил трубку и разглядывал шумные улицы и людей.

И наконец, в один из удачных дней, как раз в тот, когда я подписал с Эженом Мерлем контракт на пятьдесят тысяч франков, обязавшись за три дня написать, сидя в стеклянной клетке, роман, я впервые взял такси. Роман так никогда и не был написан по той простой причине, что Мерль обанкротился, прежде чем подошел договорный срок, а стеклянная клетка так и не была сделана.

Нигде, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в одной стране мира, я никогда не пользовался общественным транспортом.

Вот уже двадцать лет, как я живу в Лозанне. И лишь вчера впервые проехался в троллейбусе. Здесь его в разговоре фамильярно именуют «троллей».

Мы с Терезой бодро дошли до Уши. Маленькая и незначительная подробность: в витрине туристского офиса я заметил объявление «Экскурсия по городу». Улыбнувшись, показал ее Терезе.

II этом в гостинице, где жил Байрон, мы выпили по рюмочке на террасе с видом на озеро.

Обыкновенно, возвращаясь из Уши, мы берем такси: дорога туда и обратно слишком длинна для моих, в общем-то, уже стариковских ног. Однако Тереза вдруг встала около великолепного троллейбуса номер четыре, почти совсем пустого, и напомнила мне, что он останавливается метрах в ста от нашего дома.

— Поедем?

Я вошел в троллейбус. Где брать билеты, я не знал. Не знал, кому платить. Спросил у водителя, сидящего в маленькой кабинке, может ли он разменять мне деньги. Он ответил, что нет. Я поинтересовался, как же в таком случае я могу приобрести билет в уличном автомате. И наконец с простодушным видом осведомился, можно ли заплатить ему монетой в два франка. Он выдал мне два картонных билетика и пятьдесят сантимов сдачи.

Вот так я открыл для себя лозаннский «троллей». С 1925 года я ни разу не ездил ни в автобусе, ни в трамвае. Мы страшно удивились, обнаружив, что троллейбус вместо того, чтобы отправиться прямо к нам, полез сперва наверх в центр города до площади Святого Франциска, потом пересек мост, доехав до квартала, расположенного прямо напротив нашего, повернул на юг, пересек еще один мост и только потом снизошел до того, что въехал в наш квартал, где мы, совершив таким образом круг по

всему городу, вышли живые и невредимые.

У нас у обоих было легкомысленное настроение. Я не ощутил никакой тревоги. Моя клаустрофобия не дала о себе знать. Правда, «троллей» оказался почти пустой: был день всенародного поста.

Меня особенно удивило — на это я обратил внимание еще на террасе кафе, — что вокруг нас сидели люди только пожилого возраста. Единственный молодой человек был слепой, в руках он держал белую раздвижную палочку; казалось, глаза у него улыбаются.

Он был хорош собой, лет двадцати пяти, и слепота как будто бы не слишком удручала его. Сосед, пожилой мужчина, спросил у него, как он узнает, где выходить. Слепой, продолжая улыбаться, ответил:

— Это мой секрет.

Тогда пожилой пассажир поведал, что ему тоже грозит слепота; молодой слепец не отреагировал.

За многие годы я убедился в том, что слепцы, хоть мы считаем, что жизнь их обделила, поскольку они живут в вечном мраке, в большинстве своем весельчаки или, во всяком случае, оптимисты. Именно оптимисты, а не люди, смирившиеся с судьбой, ибо выражение их лиц, их поведение говорят отнюдь не о смирении.

Для глухих же, напротив, характерна скорее склонность замыкаться в себе, и у меня такое впечатление, что они испытывают враждебность к миру, полному звуков, которых они не знают и никогда не узнают.

Я люблю, бродя по городу, особенно в бедных кварталах, заходить в маленькие бистро, где можно увидеть и услышать людей, составляющих большую часть нации; я называю их маленькими людьми. Они чаще всего охотно вступают в беседу, не таятся и бывают очень откровенны.

Но даже если этого не случается, по их лицам, поведению, манерам можно догадаться об их весьма скромном образе жизни.

К примеру, почти у всех из них, кто перешагнул за пятьдесят, болят ноги или ступни, и многим приходится пользоваться палкой, словно именно через ноги в человека потихоньку входит старость.

Уже в Париже я познакомился с сотнями бистро. В Нью-Йорке, в Лондоне, в других городах я тоже изучал бары, куда ходят люди скромного достатка.

И все-таки я много потерял — я имею в виду контакты с людьми, — не пользуясь теми же видами транспорта, что они, — метро, трамваем, автобусом.

Сейчас мне даже немножко стыдно, что я столько раскатывал в автомобиле, а в последние десять лет в «роллс-ройсе», который отделял меня от толпы людей, таких же, как я; особенно стыдно за последние пять лет перед уходом на покой, когда меня возил шофер в форме, отработанным жестом открывавший мне дверцу лимузина.

Не стало ли бы ощущение братства сильнее, если бы во всем мире упразднили собственные автомобили и люди встречались бы не только в бистро, но и в так называемом общественном транспорте?

Мы все — существа общественные. Тогда к чему «роллс-ройсы» и прочие лимузины, предназначенные для ничтожной части общества, которая никогда не поймет проблем большинства людей, поскольку лишена контактов с ними?

Во всяком случае, вчерашний опыт был мне полезен, обогатил меня, но прежде всего мы с Терезой неплохо развлеклись, посмотрев с другой точки зрения на мир, дома и даже улицы.

Произошло это случайно. Минуты за три до этого я рассматривал на пристани отличные английские лодки красного дерева; точно на таких же в пору моей молодости мы катали своих подружек. Я предложил взять лодку.

— А кто будет грести? — спросила Тереза. — Я не умею.

— Не беспокойся. Я всю жизнь неплохо греб, — заверил я.

Она ласково дала понять, что, может, так оно и было, но при ушибе нескольких ребер, причем сильном, не говоря уже о совсем недавнем переломе одного из них, от подобного опыта лучше отказаться.

Что ж, одним отказом больше. Я начинаю к этому привыкать и, честно говоря, воспринимать эти периодические отказы как дружеские шутки.

24 сентября 1975

Позавчера я начал вычитку предпоследнего тома «Ветер северный, ветер южный» сразу же после выпуска новостей по французскому телевидению, то есть примерно в восемь двадцать пять. И остановился не в девять, как намеревался, а в девять десять. Вчера после новостей я почти машинально сел за письменный стол. Прочел примерно то же количество страниц. А когда встал со стула, было ровно девять десять.

Несомненно, это назовут манией, но всю жизнь я в одно и то же время был занят одним и тем же, и мне не надо было для этого сверяться с часами.

Эта своеобразная внутренняя дисциплина всегда действовала

в течение определенного времени, в зависимости от моего образа жизни в тот период, а со сменой его менялась и она.

Вчера я заметил, что делаю в тексте куда больше исправлений, чем в предыдущих томах. Я спросил себя: почему? Может быть, когда я диктовал те тома, ум мой был яснее?

По размышлении я понял, что это не так. Три или четыре последних года я страдал головокружениями гораздо сильнее, чем сейчас, и, когда принимался писать что-нибудь, даже посвящение на своей книге, рука у меня дрожала, почерк становился неряшливым, почти неразборчивым.

Почему же последние несколько недель я способен писать от руки письма, пусть даже короткие? Из своего рода суеверия не осмеливаюсь сказать: потому что я стал чувствовать себя лучше.

В предыдущих томах я не решался вычеркивать повторяющиеся слова. Если на странице трижды встречалось «однако», я их оставлял, лишь бы не вписывать вместо них мелкими буковками между двумя машинописными строчками «тем не менее» или «между тем».

Сейчас проделываю это машинально, без всяких усилий. Кто-нибудь, возможно, скажет, что мой стиль улучшился. Но про меня столько раз писали, будто я пишу, как свинья, и плюю на слог, что мне это уже все равно.

У меня много надиктовано о глаголе «любить». В основном это слово я мысленно относил либо к определенному человеку, а именно к Терезе, либо к человеку безымянному — к любому человеку, которого считаю своей ровней, если не братом.

В действительности слово «любить» можно было бы применить и к чувству, которое я испытываю к окружающим меня предметам. Не обязательно редким или дорогим. Напротив, к самым простым вроде моих карандашей, обеих ручек, даже к ластику или к лампам, которые освещают мои недолгие вечера.

Одна из этих ламп с широким абажуром из синтетического материала, когда я ее гашу, укладываясь в постель, некоторое время потрескивает. Я расцениваю это как пожелание доброй ночи и неизменно произношу вполголоса:

— Спокойной ночи, лампа.

Эта болезнь, видимо, заразительна: когда я вечером выхожу из ванной, Тереза открывает большое окно в сторону озера, откуда видны огни на территории Франции, и совершенно естественно, как будто живому существу, говорит:

— Спокойной ночи, ночь. До завтра.

Мне дорого все, что меня окружает, и у меня впечатление, что я чувствую жизнь вещей так же, как жизнь людей.

Я не хотел бы повторяться. Тем не менее это случается,

поскольку я обычно не помню, что диктовал дня три-четыре назад. Уверен, я уже говорил, что так называемой неживой материи для меня не существует.

Я верю в своего рода всеобщую жизнь, в целостность мира, в то, что мы лишь малая его частица. Я с одинаковым уважением отношусь и к человеку, который задел меня в толпе, и к мужчинам и женщинам, идущим по площади Святого Франциска, и, скажем, к своим пепельницам, более десяти лет назад вырезанным из отличного дерева; я их всюду вожу с собой. Вот так же я знаю и уважаю свои трубки.

Очевидно, именно поэтому я не курю сигареты и сигары. Сигареты не являются частью тебя. Вытаскиваешь ее из пачки, прикуриваешь, а окурок небрежно выбрасываешь. То же с сигарами.

А трубка — это вещь подлинная, личная, она как бы часть человека. Не побоюсь сказать, что у меня их почти три сотни, хотя в розовом домике сейчас не больше двадцати. И несмотря на такое количество, я знаю их все — как друзей.

Мне знаком даже здешний воздух — его плотность в разное время дня и при разной погоде. И пусть я не разговариваю с ним, но ощущения, которые я испытываю, когда он меня обволакивает, всякий раз бывают иными.

Короче говоря, мир для меня един, и все, что составляет его, достойно любви.

8 октября 1975

Когда я был маленьким, мать держала постояльцев, которых она впоследствии взяла на пансион; все они были студентами. Но как-то раз одна комната у нас весь учебный год простояла пустой, сдать ее было довольно трудно. Однажды вечером, когда возвратился отец, мать сообщила:

— У нас новый постоялец. Очень хороший человек.

Мать говорила немножко нерешительно, словно чувствовала себя в чем-то виноватой. Отец вздрогнул.

— Студент? — спросил он. — Какой национальности?

Еще больше смешавшись, мать ответила:

— Нет, не студент. Он бельгиец и даже льежец.

— А чем он занимается?

— Я не посмела спросить. Одет с иголочки, учтив, обходителен, и потом у него такие огромные чемоданы.

Отец поинтересовался, взяла ли она, как положено, задаток.

— Такому важному господину я даже заикнуться об этом не решилась.

Нового жильца мы почти не видели. Ранним утром,

прихватив два тяжелых чемодана, он выходил из дому, а возвращался к вечеру и тут же заваливался спать. Через несколько дней, уж не знаю откуда, мать прознала, что жилец, оказывается, чем-то торгует на ярмарках в окрестных деревнях.

— Короче, разносчик, — сделал вывод отец.

Только что не добавил: «В некотором роде жулик».

А еще через несколько дней комната снова была свободна, и, разумеется, платы за нее мать не получила. Жилец, как говорится, смылся.

Эта забавная история припомнилась мне после того, как я послушал по радио и посмотрел по телевизору рекламу так называемых супермаркетов. Они исполняют ту же работу, что некогда ярмарочные разносчики, которые умели красноречиво убедить, будто продают наилучшие товары по баснословно дешевым ценам, и получали при этом неплохие барыши.

Супермаркетами управляют почтенные генеральные директора, финансируются они крупными банкирами, и акции их высоко котируются на бирже.

Я пытался отыскать разницу между ними и тем самым разносчиком, который с двумя чемоданами обходил деревенские рынки. И не нашел. Те и другие пускают пыль в глаза; тем и другим свойственны два главных качества: наглость и бессовестность.

Недавно один молодой адвокат посмел протестовать против чуть ли не непристойного выставления соблазнительных товаров в пределах досягаемости покупателя. Это постоянное искушение, особенно для бедных покупательниц. Они могут часами ходить между стеллажами с самыми высококачественными товарами и класть их не только в тележку, но и прятать под нижнюю юбку.

Оба типа торговцев действуют по одному методу: доказательством служит то, как они приступают к делу.

Разносчик никогда не начинал с того, что предлагал дюжину простыней за якобы ничтожную цену. Нет, он сперва брызгал на своих слушательниц духами или угощал лакомствами.

В супермаркете молодой или не очень пожилой женщине просто невозможно миновать отдел косметики и парфюмерии.

Разносчиков полиция преследовала и сажала на несколько дней в тюрьму. Директора супермаркетов, насколько я знаю, с тюрьмой не знакомы, если только — а это довольно частый случай — они не начинали свою карьеру торговцами вразнос или мелкими воришками.

Респектабельность приобретается количеством жертв. И когда это количество станет весьма значительным, не исключено, что ты получишь орден «За заслуги» или даже орден Почетного

легиона и будешь принят в министерских салонах, а то и в Елисейском дворце.

30 октября 1975

Есть тема, о которой я рассуждаю, пожалуй, больше всего, потому что она не дает мне покоя. Эта тема — мораль.

Я долго верил, что различные эпохи, даже самые отдаленные, разные племена, континенты и, наконец, разные так называемые цивилизации имели разную мораль. Считал, что она меняется, что одна мораль противостоит другой, словно два берега реки, как говорил Паскаль.

Сейчас я склонен верить в то, что мораль одна.

Мораль вовсе не обязательно в нас. Я рискнул бы сказать, основываясь на событиях современной истории и на опыте, вынесенном из наблюдений над негритянскими и азиатскими племенами, что существует только одна мораль — та, с помощью которой сильные порабощают слабых.

Углубляясь в прошлое чуть ли не до первобытных времен, можно видеть, что сыздавна существовали особи, жаждавшие главенствовать над другими; их именовали вождями племени, королями, князьями, диктаторами, главами государств, депутатами, банкирами, да мало ли еще как.

Вот они-то с помощью религии и навязывали народу мораль, варя неверующих в кипятке или сжигая на кострах, изобретая изощреннейшие пытки, часть которых, как, например, гаррота[86], применяется и нынче, по меньшей мере в одной стране.

Иначе говоря, мир разделился на две неравные части, и раздел этот не имеет ничего общего ни с границами, ни с расами, ни с человеческими инстинктами. Он разделен на тех (к счастью, их меньшинство), кто навязывает свою волю и живет, не подчиняясь законам, которые сам же создает, и на тех, кто им верит или подчиняется.

В то же время подлинно человечная мораль неизбежно должна была бы существовать в душе каждого человека, то есть быть личностной. Но история доказывает нам, что такая мораль никогда не существовала.

Не хочу углубляться в современность, в которой ежедневно варюсь. Достаточно открыть учебник истории, по которому учатся в школе или университете, чтобы убедиться: все — сплошное надувательство.

Мы должны быть послушными пай-детками, не доставлять беспокойства полиции, не вынуждать вразумлять себя с помощью виселицы или расстрела, чтобы мораль, как бы она ни варьировалась в иных своих проявлениях в разных странах и на

разных континентах, по-прежнему оставалась в ведении тех, кто правят нами и настолько хорошо понимают друг друга, что, даже посылая свои народы сражаться между собой, продолжают поставлять оружие другой стороне и действуют заодно, как воры на ярмарке.

8 ноября 1975

Постепенно, мало-помалу пришли холода, листья пожелтели, а некоторые стали почти пурпурными.

Сидя в кресле и наблюдая за садом, я установил феномен, которого в прошлом году не замечал; во всяком случае, не помню такого. С начала осени число наших птиц так возросло, что, когда они разом прилетают в наш садик, кажется, будто он весь скрылся под ними.

Эти налеты шумных стай происходят почти всегда одинаково. Незадолго до того времени, когда Тереза обыкновенно выходит бросать им зернышки (а это бывает утром и сразу после полудня), птицы собираются — одни на ветвях нашего старого кедра, другие на очень высоком дереве, стоящем метрах в ста от нашего домика, с которого они, должно быть, видят, что у нас происходит.

Едва Тереза с ведерком птичьего корма показывается в дверях, ветви обоих деревьев начинают шелестеть и раздается щебетанье.

Это птицы с дальнего дерева перелетают на кедр, а некоторые устраиваются на кустах сирени, находящихся метрах в пяти от стеклянной двери нашего домика. Спускаются они не сразу. Тереза уходит, закрывает дверь. Они сидят. Ждут, и, наблюдая за ними, я в конце концов понял, чего они ждут. Одна из птиц, обычно из тех, что устроились на сирени, первая слетает на траву. Может быть, она вожак? Или, напротив, выслана разведчиком, чтобы убедиться, что в кустах не прячется кошка, как это неоднократно бывало? Не знаю.

Не знаю, какой сигнал она подает другим, но внезапно все птицы без различия пород в плавном полете спускаются на газон.

Еще этим летом мы прикинули, что у нас бывает две с половиной — три сотни птиц.

Не скажу, что с начала осени количество их удвоилось, но тем не менее их столько, что они, подобно ковру, покрывают большую часть газона.

Я сделал еще одно наблюдение. Между ними нет никаких, если можно так выразиться, расовых раздоров, хотя несколько дней назад я заметил птиц другого вида, который мне не знаком. Я сказал бы, что борьбы между ними нет. Во всяком случае,

межвидовой. Летом они мирно клевали корм, как куры в курятнике. Сейчас, когда их стало такое множество, я замечаю, как они иногда с вызовом поглядывают друг на друга. Сильный удар крыльев, одна птица взлетает над другой, но не трогает ее, не клюет, и та, что оказалась ниже, уступает место.

Несколько последних дней вполне доказательно продемонстрировали, что, когда определенному количеству особей не хватает места, между ними начинает зарождаться враждебность, во всяком случае, соперничество.

Но я ни разу не видел, чтобы две птицы по-настоящему дрались у нас в саду.

Как я только что рассказывал, борьба сводится к стремительному взмаху крыльями и бреющему полету, видимо, означающему утверждение своего превосходства.

Минуту назад я говорил о породах птиц. Сказал, что все они независимо от вида вместе клюют корм. Так оно и есть, хотя похоже, что среди них существует не то чтобы социальная рознь, но разные отношения друг к другу.

Например, малиновка, которая только что отправилась искупаться, держится ближе всех к окнам дома, но на определенном расстоянии от остальных птиц, и, когда все насытятся, она, словно для своего удовольствия, в одиночестве прогуливается по саду.

А черноголовые синицы, кажется, просто-напросто поселились у нас в саду. Их можно увидеть в любое время дня; они не задиристы, но держатся с достоинством. И когда птиц чересчур много, синицы отлетают с семечками подсолнуха на ближайшие кусты, очищают их там, съедают и незаметно возвращаются за новыми.

Дрозды — большие любители купания; когда в саду воцаряется покой, они прилетают снова, шумно резвятся и забрызгивают водой всю траву вокруг.

Малиновки кокетливей всех; купаются они, хотя вода стала очень холодной, каждый день, а потом перебирают клювом перышки.

Другие прилетают только покормиться. Думаю, мы их не интересуем. Они редко заглядывают к нам в окна в отличие от малиновки, которой обязательно надо знать, чем мы занимаемся и что у нас происходит.

16 ноября 1975

Во французском языке есть слово, которое редко употребляется в одиночку: в восьмидесяти случаях из ста ему сопутствует какое-нибудь прилагательное. Это слово — пьяница.

Чаще всего можно услышать «старый пьяница».

Конечно, пьют все, от мала до велика. В юности — с шестнадцати до двадцати лет — пьют из бравады или чтобы доказать, что ты настоящий мужчина.

Потом наступает очень долгий период, когда пьешь по любому поводу. Встречаешь приятеля — как не пропустить с ним по рюмочке. Заходишь в гости — тебе непременно предложат выпить. Даже на собраниях в верхах, как сейчас называют политические собрания, на нижних ступеньках иерархии рекой льется вино, на верхних — шампанское.

Но в представлении публики настоящий законченный пьяница — это *старый* пьяница, которого постоянно можно встретить в баре: глядя в одну точку, он сидит в уголке либо стоит, опершись о стойку.

Можно утверждать, что в любом бистро, будь то во Франции, Швейцарии или Соединенных Штатах, есть свой пьяница-завсегдатай. Каждый день он появляется в баре в одно и то же время, в одно и то же время уходит, чтобы, вне всякого сомнения, чуть позже зайти еще в один бар, потом еще в один и так далее.

В большинстве такие пьяницы — люди одинокие; во время этого своего турне они делают небольшие покупки, чтобы, вернувшись к себе в пустую комнату, приготовить еду.

Среди них много вдовцов или мужей, от которых ушли жены. Тепла от жизни они уже не ждут. Бистро стало для них той гаванью, где они ржавеют, полные равнодушия к презрительным взглядам иных посетителей.

Им известно, каково быть предоставленным самому себе, влачить дни без привязанностей, не ощущая ничьей любви.

Я знал одного такого. Когда-то он был владельцем процветающего парикмахерского салона. Жена его умерла. От какой-то болезни, подкосившей его, он прямо-таки согнулся. У этого человека была огромная собака, и, когда он сидел в одном из своих излюбленных бистро, она усаживалась у его ног, словно охраняя хозяина.

Говорил он мало. Иногда, но очень редко, кто-нибудь подсаживался за его столик. Этот человек с ухоженной, почти совсем седой бородой держался с достоинством, и только глаза у него слезились.

Это был единственный признак, позволявший на глазок определять, сколько стаканчиков он пропустил. А вообще он вел себя спокойно. Когда я впервые обратил на него внимание, мне и в голову не пришло, что он пьяница и одинок. Это официант мне сказал:

— Сейчас он выйдет от нас и направится в другой бар, где он

тоже завсегдатай, а потом в следующий, и так до ночи.

Пьяным я его никогда не видел. Никогда не видел, чтобы он жестикулировал или цеплялся к соседям. Не могу даже сказать, что у него был печальный вид — это тоже свойственно старым пьяницам.

Они вышли из состояния печали. Стали безразличными. Можно сказать, что они просто ждут конца, с регулярностью метронома совершая ежедневный обход бистро.

Существуют, правда, не в таком большом количестве, и женщины-пьяницы, порой не очень старые, некоторые даже среднего возраста. Почти всегда это вдовы. И не обязательно бедные. Я знаю одну, которая живет в прекрасной квартире и, видимо, имеет неплохую ренту.

Атмосфера кондитерских, где другие женщины проводят вечера, пьют чай и лакомятся пирожными, им не нравится. И вот, как их сотоварищи мужчины, они выбирают бистро, а то и не одно.

Одну такую я вижу каждый день. Она с достоинством усаживается в уголок, причем всегда в один и тот же, и заказывает, к примеру, бутылку красного. Эти женщины не шумят, по ним не видно, что они пьяные. И тем не менее в их взгляде, как и во взгляде мужчин, есть какая-то неподвижность, свидетельствующая, что они уже ничего ни от кого не ждут.

В наше время много говорят о стариках. Но я почти не слышал, чтобы вспоминали о таких вот стариках. Если бы люди знали, каково человеку одному, что такое одинокая комната, покупка пятидесятиграммового бифштекса и двух-трех картофелин, когда бы попытались представить его ночи, неужели они и тогда могли бы негодовать на этих стариков или поглядывать на них с презрительной улыбкой?

Старики ведь страдают от этого. Пусть глаза у них выцвели и слезятся, они все видят, все чувствуют, и я сомневаюсь, что они погрузились в полное безразличие.

Они страдают из-за того, что они сидят здесь, из-за потребности пить. Но где еще им быть и чем заниматься?

Всякий раз, входя в бистро нашего квартала, я машинально ищу взглядом этих людей. Здороваюсь с ними, как с другими посетителями. Иногда спрашиваю о здоровье и понимаю, что этот незначительный вопрос, эти несколько секунд общения дают им на миг иллюзию того, что они такие же люди, как все.

Из книги «Под сенью нашего дерева»

19 декабря 1975

Последние несколько дней, сам того не желая, я ставлю опыт, одновременно печальный и комический, чтобы не сказать — чуть-чуть драматический.

Тут, куда мы сбежали на месяц, большинство гостиниц на праздниках закрыто и единственным местом, где я смог поселиться, оказался фешенебельный отель. Настоящий фешенебельный отель — старомодный, то есть по моде 1900-го, если не 1880 года; несколько таких можно еще найти в Париже, в большинстве столиц мира и на курортах.

В течение многих лет я посещал подобные заведения, был частым пассажиром трансатлантических лайнеров и других крупных пакетботов, бороздящих моря.

В ту пору все это казалось мне естественным. Я не удивлялся тому, что на лайнере сколько угодно черной икры в полукилограммовых банках. В ресторанах меня не поражали меню, в которых перечислялось тридцать-сорок блюд, а в отелях — огромные мраморные холлы с мраморными же колоннами в псевдокоринфском стиле, как не поражало множество суетящихся рассыльных или толпа метрдотелей, старших официантов и официантов, окружающих стол.

Крупные авиакомпании тогда еще не оплели весь мир на потребу клиентов густой сетью гостиниц с небольшими залами для заседаний самых разных конгрессов, участникам которых выдают нагрудные ярлыки с номером и фамилией.

Эти гостиницы комфортабельны без кричащей и бесполезной роскоши, что вовсе не означает недостаточного уровня комфорта.

Та, где я живу сейчас, иного рода — старинная, предназначенная для того слоя общества, который проводил, так сказать, жизнь в отелях и на пакетботах. В наши дни это называется «jet society»[87].

Несколько лет назад мне во время пребывания на курорте довелось жить в одном из таких отелей. Он уже начинал ветшать, но все-таки не утратил некоего очарования минувшей эпохи.

Тот, в котором я живу сейчас, заново отремонтирован, однако давняя обстановка сохранена. У меня впечатление, будто я живу в фильме 20-х или в крайнем случае 30-х годов. Длина облицованных мрамором коридоров, устланных, разумеется, более или менее восточными коврами, составляет метров сто. Ресторан мог бы вместить от двухсот до трехсот человек, в метрдотелях, чтобы обслужить их, недостатка не ощущается.

Но нас здесь всего шестеро. Правда, сейчас мертвый сезон. Я, естественно, не юноша, но ощущение у меня такое, будто я оказался в музее восковых фигур. Это из-за старых дам, увешанных бриллиантами или жемчугами, как правило, одиноких, которые едят каждая в своем углу. Точнее будет сказать, объедаются. Самой младшей лет восемьдесят. Но это не мешает ей с жадностью и редкостным рвением пробовать все до единого блюда. Она разве что добавки не просит.

В сущности, эти недели я живу в мире, уходящем в прошлое.

Если я заговорил о старых дамах, то только потому, что по статистике восемьдесят процентов состояний в Америке находится в руках вдов или женщин, которые несколько раз разводились, а тем временем копили и копили содержание, назначенное им прежними мужьями.

У меня нет злого чувства ни к тем, ни к другим. Я только спрашиваю себя, как я мог тридцать-сорок лет назад считать подобную обстановку естественной.

Но у меня вызывает печаль и возмущение то, что такие отели все еще существуют, а главное, существует их клиентура. Мы живем в мире, где стараются сгладить, по крайней мере уменьшить разницу между развитыми и слаборазвитыми странами, между теми, кто голодает, и теми, кто может выбирать на обед самые изысканные и дорогие кушанья.

Действительно ли сокращается количество фешенебельных отелей? Я задумался об этом. Только на Елисейских полях до сих пор существуют «Клеридж» и «Крийон», а чуть дальше, на улице Камбон, «Ритц». Я уж не говорю о «Георге V», в котором останавливаются в основном кинозвезды и бизнесмены. В Лондоне, кроме «Савоя» и «Клериджа», имеется «Дорчестер», теперь уже последний отель, в который даже с деньгами не всякого пустят.

Я мог бы сказать то же самое о Нью-Йорке и других столицах мира. Это значит, что демократические тенденции, декларируемые правителями разных стран, всего лишь пустые слова, что вне обычного мира существует другой мир и, хотя теперь он кричит о себе не так громко, жизнь его не изменилась. Поэтому мне грустно. Поэтому вопреки моему желанию в душе у меня бунт.

Впрочем, для бунта хватает поводов и кроме обветшалых отелей.

Случается, что, проснувшись утром или возвратясь с прогулки в номер, я спрашиваю себя:

— Что я здесь делаю?

Выражаясь просторечно, чувствую я себя тут не в своей

тарелке.

20 декабря 1975

Вчера я говорил о дорогих гостиницах и их клиентуре — старухах, обладательницах огромных состояний, драгоценностей, которых хватило бы на жизнь целой деревни, и старичках, которые хоть и впадают потихоньку в маразм, тем не менее являются президентами компаний и председателями административных советов, продолжают руководить крупнейшими фирмами мира.

Это напомнило мне о воззрениях другой эпохи, эпохи моей юности. Мы были «людьми искусства». Искусство было для нас главной ценностью. И мы считали, что неприлично ради одного мертвеца, пусть даже фараона, воздвигать пирамиду, которая, конечно, пережила века, но стоила жизни десяткам, если не сотням тысяч людей.

Подобное век за веком происходило чуть ли не на всех континентах. Ацтекские и инкские монументы были воздвигнуты не по желанию большинства, а по воле одного человека или небольшой секты, удерживавшей власть.

То же самое, увы, и с произведениями искусства более близких времен, в частности Ренессанса, когда несколько государей и кондотьеров из чистого тщеславия поддерживали знаменитейших художников.

Когда мне было двадцать лет, я то и дело слышал:

— Уничтожьте торговлю предметами роскоши, и вы тут же уничтожите кустарные промыслы вроде плетения кружев, резьбы по дереву и камню, кожевенного и кузнечного ремесел…

Помню, что тогда я был обеспокоен этим выводом. Конечно, кое-какие кустарные промыслы на некоторое время захирели. Но сейчас они возрождаются. К примеру, почтовые отделения, административные здания теперь не выглядят как тюрьмы или казармы. Для их строительства приглашают лучших архитекторов, для отделки нанимают лучших декораторов, и они выглядят если уж не роскошно, то по крайней мере светло и радостно.

Самое прекрасное в мире метро было создано не бельгийскими финансистами, которые строили парижское метро, а москвичами. Почему бы народным массам, которые в конечном итоге оплачивают все счета, не позволить себе то, что позволяли иные богачи, оплачивая красоту ради славы и личного удовлетворения?

Версаль остается достопримечательностью мирового значения и, вероятно, шедевром гармонии, но возведен он за счет

голодавшего народа.

Я предпочел бы, чтобы Версаль, если он действительно необходим, построили по своей охоте маленькие люди; он служил бы местом гуляний, украшен был бы менее изощренно и зачастую не так безвкусно.

Там мочились на лестницах. Испражнялись за кустами знаменитого Ленотровского парка. Стоило ли обращаться к так называемым прославленным архитекторам и скучивать сотни придворных, мужчин и женщин, вокруг одного-единственного человека?

Это напоминает многотонные каменные глыбы, нагроможденные над трупом фараона, усыпанным драгоценностями и дорогими вещами.

Мэрии теперь не такие мрачные, как некогда. Но осталось еще много общественных зданий, которые каждому дают понять, что в обществе он всего лишь пешка и вступает туда, где обращаться с ним будут как с пешкой.

Не думаю, что огромное состояние — необходимое условие любви к искусству или прекрасному. Напротив. Многие богачи погрязли в своеобразном дурном вкусе: они хорошо себя чувствуют среди кричащей показной роскоши, она дает им ощущение своего отличия от остальных людей.

Не так давно в многочисленные дорогие рестораны и ночные кабаре пускали только во фраке или смокинге.

Как-то в Париже одного из моих сыновей, с которым я договорился пообедать в ресторане при шикарной гостинице, не впустили, потому что он был в «водолазке».

Сейчас в большинство роскошных заведений пускают не только в «водолазках», но даже в джинсах: они стали униформой папенькиных сынков и дочек.

Иначе говоря, искусство зависит от отдельных личностей, но народ восприимчив к нему и готов способствовать его развитию.

Это можно видеть по телевизору чуть ли не ежедневно. Профсоюзы, левые политические группировки уже не собираются в темных, прокуренных помещениях, чуть ли не тайком, как было во времена моего детства; нет, сейчас их собрания проходят в помещениях, ни в чем не уступающих залам казино; разница лишь в том, что большинство казино старомодны, в них слишком много позолоты, но это и естественно, ведь они предназначены для определенной части общества, для которой золото — бог.

4 января 1976

Всю жизнь повсюду, и в городе и в деревне, в любой среде, среди бедных, полубедных, полубогатых и богатых, я слышал

одно и то же слово:

— Папаша Луи — *оригинал.*

Или:

— Маркиза де З.— *оригиналка.*

Существуют оригиналы разного рода. Помню пожилого человека, видимо имевшего небольшую ренту, потому что он не работал, а целыми днями рыбачил на Маасе. Для привады рыб он, прежде чем забросить удочку, набивал рот опарышами и с силой выплевывал их, разбрасывая по воде.

Знал я одну приходящую служанку, отнюдь не бедную. Ходила она всегда в огромных мужских башмаках. Маленькая, почти горбунья, она выглядела в этих чудовищных башмаках совершенно нелепо.

В той же деревне в небольшом домишке жила женщина, державшая с десяток кур. Яйца, которые они несли, она не ела, а продавала. Овощи со своего огорода — тоже. Ни с кем не разговаривала: придет в базарный день на рынок и слова лишнего не произнесет. У нее была ферма, которую она сдавала в аренду, а весь доход от нее копила, хотя наследников у нее не было.

Я знавал всяких оригиналов и вот сейчас думаю, не являемся ли мы все, без исключения, оригиналами.

Возьмем оригиналов стыдливых или, скажем, хорошо вышколенных оригиналов.

С точки зрения биологии двух одинаковых мужчин или женщин не существует. Любой из нас — это прототип, уникальная модель, никто ни в чем не похож на своего соседа.

Разве что в том, что большинство людей, достигших зрелости, — конформисты.

Для большей части приобщение к конформизму начинается с детства. Чуть ребенок поднимается на ножки, его начинают «воспитывать», как молодых зверей в цирке, которые всю жизнь будут показывать один и тот же номер на арене диаметром тринадцать метров, потому что во всех цирках мира арены имеют одинаковый размер.

Конформистами являются и те, кто перенимает жесты, манеру говорить, одеваться и даже цвета галстука какого-нибудь клуба или университета.

В Англии, где оригиналов больше, чем в любой другой стране мира, выпускника Оксфорда или Кембриджа узнают по манере говорить.

С тех пор как во Франции существует Национальная школа управления, очень смешно стало слушать политических деятелей: выступая, они говорят абсолютно одинаково — одни и те же слова, то же произношение.

Существуют целые категории людей, полагающих обязательным одеваться именно так, а не иначе, есть именно так, а не иначе, у них одинаковые жесты, стереотипные улыбки.

Они составляют большинство человечества и, как все, являются оригиналами внутри себя, но их оригинальность скрыта под толстым слоем лака, и порой они сами лакируют себя.

Истинных оригиналов можно найти чаще всего в сельской местности, где еще встречаются старики, а порой и вовсе молодые люди, которые буквально отгородились от всех стеной одиночества и отказываются от элементарнейших контактов с людьми.

А на другом полюсе общества обладатели огромных состояний, чаще всего женщины, полагают, что могут позволить себе любую прихоть, и тоже оказываются оригиналами.

Соскребем слой лака, толстый или прозрачный — как у кого, — и нам откроется человек, такой, какой он есть: уникальный экземпляр, каким он и был создан, со своими маниями, мелкими пристрастиями и тотальным безразличием к мнению других.

К несчастью, первый слой лака наносят родители на совсем еще несмышленого ребенка (надо проситься на горшок!), потом дрессировка продолжается в школе, в казарме, затем с помощью всех средств, которые имеют в своем распоряжении те, кто правит нами или извлекает выгоду из этой лакировки. А средств таких становится все больше.

Помню, было время, когда в Соединенных Штатах все ванные комнаты были белого цвета; белыми же были холодильники, стиральные и сушильные машины и т. д.

Потом вдруг сочли, что белизна монотонна и вообще надо бы заставить покупать новые холодильники или ванны тех, у кого они уже есть.

Я увидел красные холодильники, ванны; расписанные цветочками, разноцветные ванные комнаты; кухни, где белые стены под масло сменились деревянными панелями.

То же с одеждой. Уверен, женщины куда чувствительней к лаку, чем мужчины, и подхватывают любые изменения, навязанные им модой. То их заставляют выставлять напоказ бедра (если не больше), то в разгар лета прогуливаться в длинных, точно у наших бабушек, платьях, подметающих асфальт.

Но если повнимательней присмотреться к окружающим, увидишь, что все они в той или иной степени оригиналы, обуреваемые различными инстинктами, невероятными страстями, забавнейшими комплексами, из-за которых о том или ином

человеке говорят порой как о ненормальном.

Так что в конечном счете мы, возможно, не только все чудаки, но и наполовину сумасшедшие. Вот потому-то мы и прибегаем к лаку, как тот, у кого дурное дыхание, постоянно сосет ароматические пастилки, а тот, кто обильно потеет, применяет парфюмерных средств больше, чем другие.

Исключение составляет меньшинство, которое либо не подвергалось дрессировке, либо сумело воспротивиться ей.

7 марта 1976

Всю свою жизнь я готов был отдать любой из моих романов за одну-единственную песню. Я часто пробовал писать их. За исключением двух раз, у меня ничего не получалось.

Издано мое полное собрание сочинений. Говорят обо всем, что я написал, кроме этих двух песенок, и мне захотелось рассказать их историю.

Было это в 1937 году. Для меня это был период огромной квартиры на бульваре Ричард Уоллес, шикарного гоночного «делажа»[88], вечеров и ночей, проводимых у «Фуке», английских костюмов — короче, период, который я назвал бы периодом подчинения условностям и который меньше всего люблю вспоминать.

Как-то вечером я сидел у «Фуке» с моим старым другом Жаном Пьером Омоном[89]. К нам подошел незнакомый господин, и мне его представили: Фонсон, «Галерея Сент-Юбер» в Брюсселе.

Фамилию Фонсон я знал. Больше пятидесяти лет назад некто Фонсон написал пьесу «Брак мадмуазель Бёльман», очень долго не сходившую с афиш в Бельгии и других франкоязычных странах. Это была своего рода сатира на жизнь брюссельской буржуазии. Пьеса выдержала тысячи представлений, и это позволило ее автору купить театр в Галерее Сент-Юбер, самый большой в ту пору театр в Брюсселе.

Фонсон, которого представил мне Жан Пьер Омон, был сыном того Фонсона и новым владельцем и директором театра в Галерее.

Мы много говорили, еще больше пили. К часу ночи мозги у нас были достаточно затуманены, и тут Фонсон предложил мне написать пьесу.

Я сам назвал ему «Негритянский квартал»? Или он? Не могу вспомнить.

Он попросил метрдотеля принести бумагу и, не сходя с места, продиктовал договор, который я с грехом пополам более или менее разборчиво написал.

В соответствии с договором я обязался в течение месяца

написать пьесу по своему роману «Негритянский квартал», сам поставить ее в «Галерее Сент-Юбер» в Брюсселе и пригласить на главную роль Жана Пьера Омона.

Стоит ли говорить, что на следующий день воспоминания мои были более чем туманны и я не придал никакого значения документу, составленному и подписанному при подобных обстоятельствах.

Но я имел дело с профессионалом не только по части театра, но и по части виски. В одиннадцать утра он, свежий как огурчик, разбудил меня телефонным звонком и напомнил о моем обязательстве. Я доказывал ему, что вчера был не в состоянии принимать какие-либо решения, что никогда не писал пьес и не способен на это, но он стоял на своем.

Чуть позже позвонил Жан Пьер Омон и тоже напомнил мне о моем обещании.

Я не сержусь на них. Я немедленно сел за работу, через десять дней пьеса была готова, и Фонсон горел желанием начать репетиции.

Действие ее происходит в Панаме, почти целиком в негритянском квартале, который я хорошо знал. Героиня, молоденькая негритянка, должна на несколько секунд появиться на сцене в темноте раздетая и сказать:

— Хочешь меня, Пюш?

Фамилия героя пьесы была Дюпюш, и негритянка использует такую вот уменьшительную форму.

Через две недели я был в Брюсселе, и мы занялись изготовлением декораций, подбором исполнителей, короче говоря, постановкой пьесы.

По случайности в это же время в Брюсселе выступала труппа негритянских певцов. А у меня в пьесе была сцена крещения ребенка, которого Пюш сделал негритяночке: он поселился в негритянском квартале и прижился там.

В романе этот эпизод и сцена крещения были только схематически намечены.

Когда я познакомился с негритянской труппой, мне пришла идея воспроизвести сценически атмосферу крещения в негритянском квартале в Панаме.

По другой случайности я встретил на террасе кафе еще молодого, верней, совсем юного композитора, которому все сулили блестящее будущее. Его фамилия была Жобер, он погиб одним из первых в последнюю войну.

Мы с Жобером хорошенько выпили: в ту эпоху я пил с удовольствием. Он убедил меня написать тексты двух песенок. Одну о Панамском канале и его строителях, то есть о неграх (во

всяком случае, о немногих уцелевших), и вторую — чтобы отпраздновать крещение, как это принято на Юге, то есть негритянский спиричуэлс[90].

Так у меня появилась возможность написать песни. Я не знал, как это делается, как сотрудничают автор текста и композитор. Тут же на террасе между двумя бокалами виски Жобер ввел меня в курс.

Черточками и кружочками он изобразил, как это тогда называлось, «рыбу». То есть обозначил сильные и слабые слоги, и я должен был воспроизвести это в тексте, чтобы он совпал с музыкой.

Была еще одна трудность. Негритянская труппа, которую я заставил Фонсона ангажировать, была из Америки, и обе песни надо было написать на английском.

В ту пору мое знание английского языка было в зачаточном состоянии. Мне пришло в голову обратиться в посольство США в Брюсселе и спросить, не может ли кто-нибудь из их сотрудников уделить мне несколько часов.

И вот мы вдвоем взялись за работу. Я писал несколько слов по-английски, затем застревал — гораздо чаще, чем бы мне хотелось, — перед каким-нибудь пробелом. Я просил молодую американку, которая, к счастью, оказалась с Юга, подсказать мне какое-нибудь слово в столько-то слогов или звуков, чтобы заткнуть пробел.

Так мы трудились всю ночь и написали первую из двух песен под названием «Панамский канал».

На следующий вечер мы взялись за вторую, то есть за спиричуэлс.

Цветные актеры через несколько дней подготовили их, и в течение двух месяцев песенки эти звучали не только со сцены, но и во время антрактов за кулисами.

Когда театр поехал с гастролями по франкоязычным странам, я проделал обратную работу: сделал приблизительный французский вариант английского текста.

Совершенно случайно мне пришлось написать и третью песенку, тоже на английском, но в ту пору я уже мог сам управиться с языком.

Это было в Лондоне. Снимали серию фильмов о комиссаре Мегрэ и искали музыкальную тему, которая должна была звучать в начале каждого фильма. Какой-то австралийский композитор написал великолепную музыку, которая долго пользовалась успехом в Англии и многих других странах. Он попросил меня написать к ней слова, чтобы выпустить новую пластинку, но уже в виде песни.

Пластинка о Мегрэ! Я был ошеломлен, мне это казалось невозможным. Тем не менее мы с композитором спустились в подвал отеля «Савой», чтобы попытаться положить слова на музыку. Не знаю, удалась ли мне моя затея или нет, но, по моим сведениям, пластинка эта так никогда и не вышла.

13 апреля 1976

Мне хотелось бы прожить ближайшие дни в полном покое — я имею в виду покой сознания. Какого черта! Едва я начинаю засыпать, будь то во время сиесты или ночью, в памяти буквально теснятся образы, так что приходится изгонять их перед микрофоном.

Причины я не знаю. Я знаю одно — что не могу хранить в себе эти образы дольше двух-трех дней и, когда пытаюсь их подавить, они не дают мне спать.

Когда я писал романы, все было иначе. Обычно я засыпал спокойно. Лишь изредка вставал записать на клочке бумаги слово или фразу, которые, как правило, на следующий день оказывались мне ни к чему.

Пожалуй, моя внутренняя жизнь стала теперь более цельной, но куда более непредсказуемой. Человек, случайно встреченный на улице, луч солнца, пробившийся в дальний угол, телефонный звонок кого-нибудь из детей вызывают у меня потребность высказаться, но не в достаточно искусственном пространстве романа, а просто чтобы восстановить в себе равновесие.

Мне хочется пойти чуть дальше и выразить слово «равновесие» другими терминами. Все дни, когда я был занят работой над романом, у меня не было никакой личной жизни; я походил на средневекового монаха, с утра до ночи занятого рисованием миниатюр в рукописи.

Что бы ни происходило вокруг, я ничего не замечал. Более того, могу признаться: я не отдавал себе отчета в том, что происходит во мне.

Иначе говоря, я не жил.

Теперь я слишком жаден к уходящему времени, к подсмотренным жестам и поступкам, к малейшим изменениям в природе — сейчас, например, я наблюдаю, как рождается весна, — чтобы не ощущать потребности в полной внутренней раскованности.

Нужно чувствовать себя свободным от всех забот, личных и неличных, чтобы в любой миг быть готовым уловить и воспринять жизнь вне тебя, ту, которую я осмеливаюсь называть всеобщей.

Из книги «Пока живу»

19 апреля 1976

Вот уже три вечера подряд я прямо-таки с жадностью хватаюсь за маленькие книжки[91], где собраны мои репортажи, часть которых датирована 1927 или 1928 годом. Эти книжки только что вышли.

Я всегда заявлял журналистам, да и писал, что никогда не перечитываю себя. Это так и не так. Естественно, я ни разу не передавал издателю текст в том виде, в каком он сошел с машинки, равно как сейчас не передаю все, что записано на кассете.

Один раз я всегда перечитывал текст, но только один раз, чтобы произвести, как я говорю, чистку романа, репортажа или того, что надиктовал.

В 1929 году роман, такой, как, например, «Желтый пес», занимал у меня три дня: я работал в две смены — утром и вечером.

Что же касается выверки, если можно так выразиться, то, поскольку я переделывал очень мало, она сначала длилась один полный день, после чего я чувствовал себя совершенно измотанным, потом два, а потом и три дня.

Выверка же репортажей, которые издаются сейчас, проходила еще стремительней, и только теперь я отдаю себе в этом отчет.

Но это не мешает мне читать их, как я только что сказал, третий вечер подряд, забывая, что это мои собственные статьи.

Случается, что иные пассажи, давно мной забытые, ошеломляют меня познаниями, которыми я больше не обладаю.

Ну и кроме того, изумляют даты, поскольку все репортажи, равно как и большинство моих романов, датированы.

Я обнаружил, что в 1933 году написал два больших репортажа по десять-двенадцать статей каждый, для чего мне потребовалось не только дневать и ночевать в уголовной полиции и полицейских участках, но и объехать всю Европу по заданию одного иллюстрированного журнала, задерживаясь на какое-то время в каждой столице.

И вдруг я осознал, что в том же году я написал двенадцать романов о Мегрэ.

А ведь у меня была и личная жизнь.

Не говорю здесь о литературе. Еще начиная диктовать, я дал себе зарок не затрагивать ее. Речь сейчас идет не о литературе, а о физической выносливости и любознательности.

В университете я не учился. Степени бакалавра у меня нет.

По семейным обстоятельствам я бросил лицей в возрасте пятнадцати с половиной лет. Однако я помню, как мы обедали вдвоем с Андре Жидом и в конце обеда он меня спросил:

— Но откуда, черт побери, вы все это знаете?

Никакой моей заслуги тут нет, кроме той, правда, что я не дошел до степени бакалавра и до университета. Теоретическими знаниями я почти не обладал, за исключением тех, которые почерпнул впоследствии благодаря чтению. Но они были и до сих пор остаются беспорядочными.

Познания о людях я приобретал на улице, в бистро, в кабаре, приличных или не совсем, и даже в борделях.

Теперь, когда я уже старик и когда прошлое, о котором я читаю в этих репортажах, как бы вспыхивает передо мной, я заторопился узнать, как говорится, продолжение, узнать, как далеко я зашел в ту пору в познании людей.

Одно меня поражает. В этих репортажах, написанных наспех и правленных еще торопливей, содержатся в зародыше все романы, которые я задумал позже, и, возможно даже, — правда, в другой форме и в гораздо более слабой концентрации — все, что я диктую после семидесяти лет.

24 апреля 1976

Несколько минут назад, когда я закрывал ставни нашего домика, у меня возникла одна мысль, верней, вопрос, касающийся мыслей.

Я спросил себя, а что бы это дало, если бы человек всю жизнь, каждый день, минута за минутой, мог выражать все, что ему приходит в голову. Я имею в виду и осознанное и неосознанное, то есть то зыбкое, что на мгновение мелькает в мозгу.

И решил, что в малом масштабе последние три года я как раз к этому и стремлюсь.

Этим утром, например, попросив Терезу передать мне микрофон, я хотел только как бы отметить для памяти, что в конце апреля мы проснулись и увидели снег. Понемногу откуда-то стали приходить мысли, одна тянула за собой другую, и я почувствовал необходимость высказать их.

Согласно астрономии, миры в нашей вселенной начинались со своего рода туманностей, которые мало-помалу приобретали форму.

Не так ли происходит и с мыслями? У меня, во всяком случае, если брать в качестве примера себя, все начинается с более или менее расплывчатого образа, возникающего, когда я ночью или после обеда засыпаю.

Требуется несколько часов, а то и дней, чтобы этот образ стал

четким. Он вызывает во мне воспоминания. Воспоминания заставляют меня бессознательно размышлять. Два эти слова — «бессознательно» и «размышлять» — как бы противоречат друг другу. И все же так оно и происходит.

В противоположность тому, что я называю мозговым механизмом «интеллектуала», у меня никогда не было ощущения, будто я думаю или размышляю.

Например, «Мыслитель» Родена представляется мне самым неестественным произведением в мире. Человек, сидящий на камне, подперевший щеку рукой и уставившийся взглядом в пространство, никак не ассоциируется у меня с образом того, кто думает.

Я предпочитаю, чтобы мысль рождалась из туманности. Постепенно в центре ее в соответствии с химическими и физическими законами возникают и постепенно растут крохотные ядра, которые затем становятся звездами — теми, которые мы теперь наблюдаем, и теми, которых не видим.

Почему так не может быть и с мыслями? Разве человеческий мозг не подобен туманности, на которую мы почти не обращаем внимания и где по причинам, неведомым нам, образуется нечто вроде ядер, что становятся мыслями?

Я не верю во внезапную гениальную мысль и в человека, на которого вдруг нашло вдохновение.

Вдохновение вызревает постепенно, подспудно, и, только когда оно оформится, осознаешь, что совершил открытие, не обязательно важное для всего человечества, не обязательно научное, просто маленькое открытие в себе и для себя.

Потому-то я и продолжаю уже три года диктовать, хотя в том, что я диктую, нет ничего сенсационного и это не ведет ни к какому открытию, разве только к постепенному, страшно медленному, быть может, скучному для других открытию самого себя.

Но не к открытию себя как человека, записанного в актах гражданского состояния под моей фамилией, а к открытию некоторых проблем, общих для всех людей. Именно поэтому первый том этой серии я озаглавил «Человек как все» и, если бы не боязнь совершить неблагоразумный поступок, отдал бы предпочтение этому неопределенному названию перед всеми остальными.

Лет двадцать, а то и больше назад вышла одна книга, извлеченная из забвения. Это дневник обычного англичанина Сэмюэла Пэписа[92], который тихо, без каких бы то ни было литературных амбиций, без малейшего заблуждения насчет действительной значимости описываемого отмечал день за днем

любые свои дела, поступки, мысли и самые незначительные расходы.

Происходило это за много веков до нас, не скажу даже точно — за сколько, в эпоху, когда у англичан было обыкновение обезглавливать своих королей и королев.

Эпоха эта описана у знаменитейших авторов, в многочисленных философских и научных трудах.

Но дневник человека по имени Сэмюэл Пэпис дает мне куда более полное ощущение знакомства с жизнью Англии того времени.

Значит, я на склоне дней собираюсь сыграть роль Сэмюэла Пэписа? Если только заметки, которые я почти ежедневно наговариваю в микрофон, не будут достойны мусорного ящика.

Но в любом случае я с подозрением отношусь к старательно отработанным анализам интеллектуалов. Жизнь интеллектуалов протекает в узком кругу. И читают они друг друга. И пишут друг для друга.

А моя цель — дать свидетельство о человеке с улицы, то есть просто человеке, каким я считаю и себя.

24 мая 1976

Если память не изменяет мне, последняя из прямых потомков Мольера умерла в нищете — среди статуй предка и под звуки посвященных ему речей.

В то же время потомки торговца пушками Шнейдера входят в состав так называемых «больших семей» — промышленных, оружейных, банковских, коммерческих. Еще один пример: Ротшильды, которые благодаря поддельной телеграмме первенствуют в Европе и даже в Америке[93].

Продолжать перечень подобных династий я мог бы до бесконечности. Барон Ампен соперничает сегодня со Шнейдером только потому, что король Леопольд II взял его прадеда компаньоном в разные международные компании, в частности орудовавшие в Бельгийском Конго.

Дрейфусы благодаря спекуляциям на зерне смогли перекупить «Энтрансижан», газету, созданную журналистом Леоном Байби, и тот не сегодня-завтра найдет дверь собственного кабинета закрытой.

Законом установлено, что после смерти автора права на его произведения переходят к его семье на срок всего в пятьдесят лет.

Почему то же самое не относится к Ротшильдам, Дрейфусам, Шнейдерам, которые царствуют уже больше чем сто пятьдесят лет?

Возьмем Мопассана: во Франции он считался

второразрядным писателем, в большинстве же стран мира был знаменит куда больше, чем десятки других французских авторов, таких, как Поль Бурже[94], Баррес[95] и прочие им подобные, кто кукарекал по команде.

Где сейчас наследники Мопассана? На что они живут? Пятьдесят лет прошло. Несомненно, они не являются членами правления тридцати-сорока компаний сразу, как хозяева металлургических заводов или банкиры. Они впали в безвестность и, возможно, стыдятся своей фамилии.

Какое же приводится оправдание этому закону о пятидесяти годах, который касается писателей, но не сомнительных дельцов и фабрикантов, бог знает что производящих?

А вот какое: произведения писателя принадлежат национальной культуре.

Значит, по истечении пятидесяти лет можно законно прикарманить его наследство, непрерывность которого для людей других профессий соблюдается, и оставить его потомков ни с чем?

Говорят, что книгу можно продавать дешевле и сделать ее доступней для народа.

Однако на этом выигрывают только издатели. Книги покойного писателя начинают идти лавиной, чуть только истекает срок авторского права.

29 мая 1976

Вчера состоялось закрытие Каннского фестиваля. Все как обычно: свистки, аплодисменты, давка чуть не до драки. Как всегда, журналисты несогласны с большей частью присужденных жюри премий.

Я тут же вспомнил одну старую историю. После возвращения из Штатов я временно обосновался в Канне и присутствовал на двух фестивалях, но без исполнения каких-либо официальных функций, просто как зритель. Генеральный директор фестиваля спросил, не смогу ли я быть председателем жюри в один из ближайших годов, на что я ответил, что у меня не получится.

Тогда я еще не знал, что то ли на будущий год, то ли года через два бельгийское правительство обратится ко мне с просьбой председательствовать в жюри кинопоказа на Брюссельской международной выставке. Я пытался уклониться, но в конце концов вынужден был дать согласие.

На нас не оказывали никакого давления ни организаторы, ни продюсеры.

Через несколько недель после этого мне нанес визит генеральный директор Каннского фестиваля.

— После того как вы согласились стать председателем жюри в Брюсселе, вам уже нельзя отказаться от председательства в Каннах.

Его доводы, хотя несколько демагогические, были достаточно убедительны, и я в конце концов согласился.

Тогда я и познакомился с закулисной стороной фестиваля. У жюри была небольшая комната во дворце, где оно собиралось почти каждое утро. На первом же нашем заседании, увидев, как к нам входит генеральный директор, я удивился и по простоте душевной поинтересовался:

— А что вы собираетесь у нас делать?

Я указал ему, что жюри *в принципе* абсолютно независимо в решениях и на наших совещаниях присутствовать никому не положено, а потому попросил оставить нас.

Человек он был высокопорядочный, прекрасно воспитанный, деликатный в обхождении и во всех отношениях симпатичный. Но жюри есть жюри, и оно должно быть полностью независимо.

Мои слова вызвали некоторое замешательство. Генеральный директор сообщил мне с глазу на глаз, что над ним стоит высшая инстанция: министерство иностранных дел.

Он разъяснил, что страна, которая устраивает львиную долю крупных приемов, званых обедов, коктейлей, парадов кинозвезд, имеет, как минимум, решающее влияние на распределение призов.

Я, помнится, сказал ему, что мне на это наплевать: я, как и мои сотоварищи, нахожусь здесь, чтобы просматривать фильмы; мы не дипломаты.

С этого времени он стал проявлять тревогу. Почти каждый день в отеле «Карлтон» я видел его, а также представителя министерства иностранных дел, уполномоченного наблюдать за процедурой. Последний был тоже чрезвычайно симпатичный. Он делал свое дело.

А я упорно старался делать свое: мне доверили председательствовать в жюри, и я не желал слушать подсказок ни того, ни другого.

Мой старый друг Жан Кокто, который был председателем жюри, если не ошибаюсь, не то дважды, не то трижды, нашел способ удовлетворить всех. Каждый год он учреждал несколько специальных премий, что строго-настрого запрещено федерацией фестивалей; такая федерация существует и имеет устав, который, естественно, нарушать не положено.

В день последнего совещания, когда жюри в комнате с роскошным набором холодных закусок и коробками не менее роскошных сигар должно завершить свою работу, генеральный

директор умолял разрешить ему присутствовать при обсуждении фильмов. Я отказал.

Не стану называть кандидатуры, которые мне подсовывали. Распределение премий было очень ловко состряпано прямо в министерстве иностранных дел.

Благодаря содействию нескольких моих коллег жюри удалось присудить «Золотую пальмовую ветвь» тому, у кого было меньше всего шансов получить ее, — Феллини за фильм «Сладкая жизнь», который до сих пор остается вершиной кинематографического искусства.

30 мая 1976

Когда виконт
Встречается с виконтом,
Они беседуют, конечно, не о ком-то,
А о виконтах[96].

Дня два-три назад я смотрел один из «круглых столов», которые телевидение стало устраивать все чаще и чаще. В нем участвовали только важные птицы: бывший министр, многолетний генеральный секретарь одной из правых партий, два профессора из Сорбонны и еще несколько человек того же ранга.

Все они в равной степени отличались умением владеть собой, приобретенным в привилегированных учебных заведениях, в частности в Национальной школе управления, откуда вышли все нынешние министры, замминистры и высокопоставленные чиновники.

Что касается темы этого «круглого стола», обсуждались экономические и политические проблемы, встающие сейчас перед Францией. Участники придерживались противоположных позиций.

Однако дискуссия, если только можно говорить о дискуссии, шла в очень благопристойной манере — ни дать, ни взять поединок на шпагах с предохранительными наконечниками.

Все участники, каковы бы ни были их взгляды, принадлежали к одному социальному классу, и невольно возникало впечатление, будто они между собой сговорились и перемигиваются.

Один из них — это была единственная бестактность за все время беседы — заявил примерно так:

— Высокопоставленный чиновник, министр, короче говоря, любое лицо, стоящее на определенной ступеньке власти, может себе позволить все. К нему может быть применена единственная

санкция — перевод на более высокую ступень, скажем назначение послом.

В старом фильме Саша Гитри «Желанный», который я вчера смотрел, тоже есть подобная фраза, хотя снят он в 1928 году.

В Индии существуют неприкасаемые, самый низший класс общества, презираемые до такой степени, что даже коснуться их пальцем или обратиться к ним — непростительный грех.

У нас тоже есть свои неприкасаемые. Но на другом полюсе общества, то есть наверху: это все люди, близкие к власти, если уже не обладающие ею.

Нам постоянно твердят о демократии, новом обществе, равенстве — это слово высечено на фронтонах всех мэрий Франции. Тем не менее остается фактом, что на несколько сотен или тысяч человек, которые занимаются политикой, управлением, владеют банками, крупными предприятиями, общий закон не распространяется.

Часто говорят, что Франция разделена надвое: 51 процент — центр и правые, 49 процентов — левые.

На мой взгляд, это неверно. Да, она разделена на две части, но та часть, которая захватила ключевые позиции, составляет не 51 процент, а небольшую группу молодых карьеристов, вскормленных в серале власти, и они, даже если смертельно ненавидят друг друга, хранят верность своему клану, который правит.

Во времена Третьей республики вышла книга, вызвавшая скандал: «Республика приятелей»[97].

Эта более или менее «республика» осталась такой же и теперь: ее отличает стремление пропускать наверх только тех, у кого есть туда пропуск либо в виде наследственного титула, пусть даже фальшивого, либо в виде образования, которое вдолблено с начального класса школы.

Школы правителей и спекулянтов.

Когда виконт
Встречается с виконтом…

4 июня 1976

Смешно! Вчера вечером, засыпая, я думал о точных часах и радиоаппаратуре. Я знаю, как их производят.

Множество женщин сидят в ряд и восемь часов в день без передышки работают с микроскопическими деталями. Года два-три назад в серьезном документированном исследовании я прочел, что большинство этих женщин, чтобы прийти в себя после

получаса или даже четверти часа работы, глотают аспирин; иные принимают за день до тридцати-сорока таблеток.

Представляю себе, как они, внимательные и одновременно нервозные — они ведь рискуют заработком! — пытаются сосредоточится на крохотных колесиках, которые должны изготавливать или устанавливать.

Я уже не говорю о шахтерах и представителях других профессий, проводящих жизнь под землей; я хочу сказать обо всех, кто обречен на труд, который не оставляет ни времени, ни сил быть самим собой.

Я не занимаюсь политикой. Не принадлежу ни к одной партии, ни к одной организации, даже к Обществу литераторов.

Но мне, когда я пользуюсь какой-нибудь хозяйственной новинкой, которые в таком обилии выпускает современная промышленность, часто случается вспоминать о тех, кто ее изготовил, взбадривая себя аспирином или другими лекарствами.

И мне становится стыдно. Я пользуюсь этими новинками, как и все остальные, но с внутренним сопротивлением.

Кажется, теперь это называется прогрессом.

Мне известно, что в прошлом веке двенадцатилетние дети работали на фабриках. В окрестностях Льежа я видел, как старухи ползали по откосам шахтных терриконов, этих гор пустой породы, чтобы выбрать хоть несколько кусочков угля, которые при сортировке случайно попали в нее.

Этим утром я прочел в «Газетт де Лозанн», что некая графиня — газета не преминула отметить, что это была графиня, — стала жертвой кражи в Париже: у нее похитили драгоценности, в том числе бриллиант в пятьдесят три карата (это большая редкость) и браслет, прошу прощения, ножной, весь усыпанный бриллиантами.

Этой даме семьдесят лет.

Не проходит дня, чтобы нам не сообщили чего-нибудь новенького о людях этой категории, которых, как считается, упразднила сначала американская, а затем и французская революция, во всяком случае, упразднила их привилегии.

Вчера вечером я к тому же закончил книгу мэтра Изорни о Французской Академии. У него трезвый взгляд. И он, несомненно, порядочный человек. Но почему его тон сразу же меняется, когда речь заходит о герцоге Кастри и графе Ормессоне, благородством и — вопреки себе — древностью рода которых Изорни так восхищен?

При чем тут тогда слово «демократия»? По отношению к этим двоим мэтр Изорни весьма некритичен. В них для него в некотором смысле вся история Франции, начиная со

средневековья; ими он восхищается, перед ними преклоняется. Вот одно из выражений, которым он пользуется, чтобы определить человека, стоящего по происхождению выше его:

«Это поистине благородный человек!»

Может быть, мы возвращаемся к д'Артаньяну и к истории Франции, какой ее писал Александр Дюма? Такой вопрос часто возникает, когда читаешь газеты и в особенности иллюстрированные журналы.

Интересно, восприимчивы ли к этой лживой поэтизации прошлого девушки и молодые женщины, работающие с хрупкими колесиками современных часов и радиоаппаратурой?

Я позволил бы себе в этом усомниться и послал бы герцога Кастри, графа Ормессона и всех старцев-академиков, забавляющихся, как детишки, устройством жульнических выборов, в цеха, где они были бы гораздо полезнее.

И я спрашиваю себя, что же мэтр Изорни, которого я почитаю, собирался найти во Французской Академии, которая энергично отклонила его кандидатуру? Неужто он рассчитывал встретить там мудрецов и гениев, какие бывали членами Академии в прошлом веке? И сможет ли он назвать хотя бы двадцать пять фамилий академиков той эпохи?

Во всяком случае, в ее списках нет ни Бальзака, ни Стендаля — они туда пройти не смогли.

И еще одно потрясение вчера вечером — можно сказать, валом повалили. Сыздавна при республике — а мы вроде бы живем при республике — французское знамя было сине-бело-красным без каких бы то ни было дополнительных эмблем.

Де Голль первый изменил знамя государства, принадлежавшего ему ничуть не в большей степени, чем любому из пятидесяти миллионов французов, добавив на белое поле лотарингский крест, ставший его личным гербом, хотя никакого герба у него нет.

Помпиду не захотел или не нашел времени учредить себе герб, а Ротшильды, которых он представлял, такового тоже не имеют.

Жискар д'Эстен только что налепил на знамя, прекрасное своей наготой и трехцветностью, герб, в котором нет ничего ни от истории, ни от республики, ни даже от Франции.

По-моему, я уже цитировал старый афоризм, автора которого позабыл: «Когда боги хотят отнять у человека разум, они наделяют его властью».

5 июня 1976

Вчера меня удивило, что мэтр Изорни употребляет слово

«благородный» применительно к нескольким герцогам, недогерцогам и недонедогерцогам из Французской Академии.

Это мне напомнило одну историю, которая чуть не кончилась скандалом. Пьер Лазарев, как большинство редакторов газет, имел обыкновение принимать за завтраком в своем поместье в Лувесьенне человек двадцать-тридцать, после чего туда прибывали еще многие важные персоны, которых угощали ликерами и другими спиртными напитками.

В то воскресенье у него был гость, которому, право, подошло бы сидеть на двух стульях сразу — так он был огромен и с такой важностью изрекал каждое слово. Это был префект. Самоуверенность, безапелляционность, с какой он высказывал свои суждения, бесила меня.

Он был огромный, толстый, с багровым лицом; видно было, что он ощущает себя и почетным гостем, и представителем так называемых «правящих классов».

Говорили о разных людях, и некоторых, в основном тех, кто владел замком и охотничьими угодьями, префект авторитетно характеризовал:

— Выдающийся человек.

Не знаю, что меня толкнуло, но я обратился к нему с невинным вопросом:

— Чем выдающийся? И почему остальные — не выдающиеся?

Префект поперхнулся, стал не то что красным, а фиолетовым, так что я даже испугался, не хватит ли его из-за меня апоплексический удар.

Всю жизнь у меня было отвращение к этому слову — «выдающийся», а также к делению людей на социальные классы. Я уж не говорю еще об одном, куда более постыдном, выражении: «Человек из хорошей семьи».

Оно подразумевает, что все остальные — из плохих.

Правящие классы, благородные, выдающиеся люди, социальные классы — все это слова, которые я ненавижу с детства, потому что с детства не могу их понять.

Верней, не могу понять, как это при республиканском строе, при демократии существует нечто вроде Версальского двора, где положение каждого определяется в зависимости от благосклонности властей предержащих.

В итоге в правительство или в высшую администрацию идут, как постригаются в монахи, отказываясь от собственных мыслей и становясь рабами богатства.

А народ, о котором говорят все больше, — это безмолвные, безответные избиратели.

У них нет права думать. Нет права иметь собственное

мнение. А уж решать что бы то ни было — и подавно.

P.S. Кое-кто сочтет, что моя суровость вызвана тем обстоятельством, что я не член Академии. Начну с того, что Франсуа Мориак в «Фигаро» предложил предоставить мне двойное гражданство, после чего я мог бы — без выдвижения собственной кандидатуры и без визитов к академикам — быть избран в это, так сказать, сообщество прославленных.

Однако я уже состою в Американской Академии, где нет ни выдвижения собственной кандидатуры, ни визитов, ни интриг, ни треуголок и куда я был кооптирован ее членами, которые даже не знали меня в лицо.

Разумеется, я состою и в Бельгийской Академии, которую посетил всего один раз — в день приема; меня буквально обязали стать ее членом.

И наконец (а это стоит академического кресла), я являюсь доктором honoris causa университетов в Падуе и Льеже, моем родном городе; только что один из главнейших университетов Англии попросил у меня согласия на присвоение мне того же почетного звания.

Так что это не зависть. Это всего лишь трезвый взгляд.

Из книги «Вынужденные каникулы»

19 июня 1976

В конце войны мне представился случай прочесть несколько переплетенных томов «Судебной газеты» за прошлый век, которые дал мне один судья, мой друг.

В XIX веке большая часть преступлений, в том числе родственных, совершалась в деревне. Жизнь в ней была далеко не столь идиллическая, как мы пытаемся представить ее сейчас. В основном жертвами были старики, ставшие бесполезными на ферме.

Дело в том, что наследникам хотелось поскорей поделить землю: она была самым драгоценным достоянием. Даже дети, работавшие в городе, а чаще на железной дороге, с нетерпением ждали своей доли наследства.

Старик, прикованный к креслу или едва способный пройти по двору, оказывался бесполезен, и зачастую — гораздо чаще, чем регистрирует статистика, — именно жена, особенно если она была моложе, подсыпала ему мышьяка, чтобы выйти за молодого работника.

Это мне напомнило историю, которую нам рассказывали в школе, когда мне было лет шесть-семь. Дело происходит на ферме. Отец лет тридцати, а то и больше как-то видит, что его десятилетний сын вырезает из куска дерева тарелку. Отец удивляется и спрашивает сына, что он делает.

Ребенок простодушно отвечает:

— Делаю тарелку, чтобы кормить тебя, когда ты станешь стареньким, как дедушка.

А у дедушки дрожали руки, и, так как он иногда ронял посуду, его заставляли есть с деревянной тарелки.

Сейчас все — президент республики, министры, депутаты, телевидение, радио, газеты — все больше занимаются судьбой стариков. Почитав и послушав их, можно подумать, что старики уже не являются частью человечества и составляют какой-то особый класс, над которым «с заботой склоняются» остальные люди.

Забота же эта состоит в том, чтобы избавиться от ненужных людей и в то же время сохранить чистую совесть.

Нет, в деревне и сейчас происходят драмы, особенно среди крестьян, владеющих земельными угодьями или значительным поголовьем скота. Когда они достигают определенного возраста, молодые, особенно те, кто зарабатывает на жизнь тяжелым трудом, начинают, как и в прошлом веке, проявлять нетерпение.

То же случается и с обладателями состояния, пусть оно даже и не очень значительно.

Врачи всеми способами стараются продлить человеческую жизнь. Нетерпение тех, кто займет место стариков, они во внимание не принимают.

Для стариков строят квартиры, в которые они могут попадать на инвалидных колясках. Их посещают работники службы социального призрения. Но пробовал ли кто-нибудь проникнуть в мысли старого человека?

Старики ведь мало говорят, разве что в своем кругу, да и то стыдливо. Тем не менее они чувствуют, что стали лишними, что молодое поколение уже сучит ногами в ожидании желанного наследства, все равно какого — огромного или относительно небольшого.

Мой дед Сименон (уверен, я уже об этом говорил) полной чашей хлебнул всего этого. Кто-то из его зятьев, может быть, даже детей считал чуть ли не неприличным, что дед, уже совсем седой и с огромными седыми усами, продолжает держать шляпную мастерскую на улице Пюиз-ан-Сок. Они предложили ему при жизни разделить свое имущество и все точили и точили его потихоньку.

Кончилось тем, что старый Кретьен Сименон сдался. Его место занял зять. Дед захотел остаться у дочери. Но она умерла молодой, оставив двоих детей. Зять женился на этакой старой грымзе, у которой, правда, тоже были деньги.

Поэтому чуть ли не каждый день дедушка проводил с утра до вечера у моей матери.

Я не сетую на молодых. И не осуждаю их. Но надо покончить с лживым состраданием к старикам. Надо относиться к ним как к людям, даже если они не способны уже водить трактор и за ними приходится ухаживать.

Я сейчас примерно в том возрасте, в каком мой дед разделил свое имущество между детьми, и расцениваю нынешнее отношение к старикам как лицемерие.

Люди, которые тяжело трудились целую жизнь, вырастили детей, зачастую потратив на это все средства, имеют право спокойно жить на склоне лет, не прибегая к услугам общественной благотворительности.

Они имеют право и на то, чтобы дети потерпели со вступлением во владение имуществом, заработанным родителями, сколько бы его ни было.

Всякий раз, слыша разговор о старости, о помощи старикам, я едва сдерживаю возмущение.

На мой взгляд, этих самых стариков больше всего беспокоит

не то, что у них убавится власти, и даже не более или менее значительное понижение уровня жизни. Их беспокоит топот ног за спиной; это им на пятки наступают те, ради кого они буквально жертвовали собой, помогая им вскарабкаться по ненавистной мне социальной лестнице, это торопятся наследники, перешептываясь при этом:

— Когда же наконец они решатся освободить для нас местечко?

Думаю, что эта проблема, если взглянуть на нее чисто по-человечески, не менее важна, чем проблема молодежи и проблема образования. Да, существует молодежная преступность. Из «Судебной газеты» я узнал, что в прошлом веке она тоже существовала, и не только в предместьях Парижа, которые еще не были городами, застроенными бетонными домами, но и в крошечных деревушках. Она существовала даже в среде буржуазии в крупных городах, поскольку богатство вовсе не отрицает алчности, скорей наоборот.

Политиков, психологов и филантропов надо было бы заставить почитать «Судебную газету» за прошлый век; может быть, тогда они перестанут болтать о якобы безвозвратно ушедшей идиллической поре и о неурядицах нашего времени.

Может быть, они осознают, что, невзирая на некоторый внешний прогресс, более или менее искусственный — во всяком случае, он не слишком проник в душу людей, — мы вовсе не продвинулись вперед, и хорошо еще, если не подались назад.

1 шюля 1976

Думаю, я уже рассказывал о вопросах, которые обыкновенно, если не по привычке, задают мне журналисты газет и еженедельников, телевидения и радио, и отмечал постоянство этих вопросов.

Один, во всяком случае, повторяется чуть ли не автоматически:

— Каков ваш распорядок дня теперь, когда вы на покое?

Я отвечаю, что он практически неизменен. Поднимаюсь я каждый день в один и тот же час, причем без будильника; прослушав выпуск новостей, принимаю душ и иду на прогулку.

Всю жизнь, начиная с шести лет, у меня была потребность как можно скорей после пробуждения окунуться в жизнь, очутиться на свежем воздухе. Я ведь был певчим в церковном хоре и прислуживал на первой шестичасовой заутрене. А впоследствии летом и зимой каждое утро перед школой вместе с дедом купался в Маасе.

В сущности, я следую своему распорядку дня почти

механически, словно запрограммированный. Наш розовый домик полон часов. У меня на этот счет пунктик. Однако я никогда не смотрю, который час. Мне это не нужно. Я инстинктивно чувствую время.

Примерно в пол-одиннадцатого-одиннадцать я диктую. Но перед этим звоню в секретариат и разбираюсь с корреспонденцией.

Затем беглый просмотр местной газеты «Трибюн». Завтрак. Отдых. Опять прогулка. Иногда снова диктовка. Чтение журналов, ровно в семь обед, чтение более серьезных трудов, а в половине десятого отход ко сну.

Большинство журналистов, когда я им сообщаю свой распорядок дня, смотрят на меня с некоторой жалостью: видно, что они сочувствуют монотонности моей жизни.

А ведь у миллионов, сотен миллионов людей распорядок изо дня в день один и тот же. Не только рабочие и служащие садятся в автобус, поезд или метро, чтобы точно к началу работы прибыть на завод или в канцелярию. То же приходится делать крупным предпринимателям. И даже адвокатам, которые открывают кабинеты в определенное время и к определенному времени едут в суд. То же можно сказать и о врачах, с той лишь разницей, что в некоторых местностях им зачастую приходится вставать по нескольку раз за ночь, чтобы оказать срочную помощь.

Журналистов сбивает с толку образ жизни, который ведут некоторые писатели. Чтобы написать роман, им необходимо несколько недель или месяцев поразмыслить над ним в Венеции или где-нибудь еще, а в Париже они бегают по коктейлям и приемам. Кроме того, они как можно чаще являются к издателю, чтобы узнать тираж последней своей книги или — что тоже бывает нередко — повозмущаться тем, что их творения недостаточно рекламируют.

Эти писатели, в сущности, живут вне общества, что, очевидно, и мешает им понять его. Все большее число писателей, художников, актеров привлекает этот род кажущейся свободы.

Я же чувствую себя нормальным человеком, живущим той же жизнью, что все люди. В семьдесят три года я еще диктую, но уже не чувствую в себе сил нянчиться с героями книг.

Не надо говорить мне о монотонности! Жизнь журналистов, которые приходят ко мне, куда монотонней моей. Дело ведь не в том, чтобы выкроить время из перенасыщенного дня. И не в мгновенных прихотях, коктейлях, приемах, визитах к издателю, чтобы вырвать какой-нибудь заработок. Дело в том, чтобы жить жизнью, как можно более близкой к жизни большинства современников.

7 июля 1976, в пять часов пополудни

В Швейцарии среднее образование получают в две ступени. Сначала идут в коллеж, обучение в нем длится шесть лет. Затем поступают в гимназию, где программа почти полууниверситетская, и через два-три года получают степень бакалавра.

В коллеже Пьер был скорее бунтарем. Учителей своих он считал старыми увальнями, погрязшими в идеях пятидесятилетней давности. А все его однокашники, по его словам, были сынками буржуа — приверженцев отсталого социального строя.

Когда я спросил, есть ли у них в классе дети рабочих или крестьян, он ответил:

— Есть один.

Я очень хорошо это помню. Это было года два-три назад. Пьер подписывал все антиконформистские воззвания и участвовал в демонстрациях протеста.

Сегодня я был потрясен, обнаружив перед собой семнадцатилетнего парня, отрекшегося от своих недавних взглядов; он с неохотой признает, что когда-то исповедовал их.

Мы немного поговорили о политике, в том числе международной. Я заметил, что Пьер превратился в благонамеренного и, хотя еще носит джинсы, готов надеть обычный костюм, пристежной воротничок и галстук. Он уже коротко постригся.

Большинство людей сочувствуют буржуазным семьям, чьи дети бунтуют против законов своей среды. У меня же сжимается сердце при виде того, что мой совсем еще юный сын перешел во вражеский стан.

Кто-то, не помню, в прошлом веке сказал: «Кто в двадцать не был анархистом, не достоин стать в пятьдесят преуспевающим буржуа».

Не желаю, чтобы один из моих детей стал преуспевающим буржуа. Я предпочел бы чувствовать в нем свойственное молодости бунтарство, по крайней мере насмешливость по отношению к общепринятым взглядам и кипение новых идей, каковы бы они ни были.

Я чувствую себя чуть ли не виноватым, а ведь я пытался учить детей нонконформизму с раннего детства. Нет, я не давал им так называемого буржуазного воспитания. Их не обучали правилам хорошего тона.

Впрочем, дети сами отвергали эти правила, когда они их стесняли или хоть капельку ограничивали их свободу. Маленьких

людей, которые их окружают, мои дети, разумеется, не презирали, но, что гораздо хуже, не знали.

Они, дети, сосредоточены на себе, на своей будущности, на своем нынешнем и грядущем преуспеянии.

В их лексиконе отсутствует одно слово, и это слово — великодушие.

Я мог бы добавить и второе, но его они смогут постичь гораздо позже — понимание.

Я совершил ошибку, преуспев, как говорится, в жизни. Бывают моменты, и очень часто, когда я об этом жалею. Если бы мои дети росли в более скромных условиях или даже в бедности, они были бы бунтарями, каким я был в их возрасте и остаюсь в семьдесят три года.

10 июля 1976

История, которую мне хочется рассказать, банальна. Я, вероятно, рассказывал ее сотни раз, отвечая на вопросы журналистов всех национальностей. Но, насколько я помню, мои ответы ни разу не были точно воспроизведены. Я сказал бы даже, что чем интеллигентней журналист, чем он больше личность, тем сильней он искажает мои слова, что, впрочем, естественно. Он влезает в шкуру романиста, и, надо сказать, некоторые из таких журналистов впоследствии становятся писателями.

— Господин Сименон, как вы пишете роман?

Прежде всего надо уточнить дату, когда задавался вопрос: хотя мой механизм написания романов не очень изменился, все-таки между разными периодами существуют более или менее серьезные различия.

Я попытаюсь искренне и чистосердечно ответить раз и навсегда на этот вопрос, не имеющий, в общем-то, никакого значения.

Приехав в Париж, я начал писать рассказики для газет. Выходили они и во «Фру-фру», и в «Матен», в то время самой популярной парижской газете.

Вставал я всегда рано. Жили мы на Вогезской площади, и я слышал пение фонтанов. Некоторое время в красной шелковой пижаме я прохаживался по комнате, потом бросался к пишущей машинке и писал рассказ строк на сто — сто пятьдесят.

Потом подкреплялся стаканчиком-другим вина, усаживался в кресло, а примерно через полчаса вскакивал, кидался к машинке и принимался за следующий рассказ.

Сперва у меня была только большая комната на первом этаже. Мое кресло стояло у окна во двор, и я посиживал в нем, положив ноги на подоконник. Жильцы, проходя, с любопытством

посматривали на меня, пытаясь понять, чем может заниматься человек, просиживающий большую часть дня в красной пижаме, положив ноги на окно, а остальное время бешено печатающий на старой машинке.

Впоследствии я смог снять еще одну комнату на третьем этаже того же дома и стал работать в ней. Меня уже не устраивало сочинение галантных и негалантных рассказиков. Я купил с десяток популярных романов и справился, как платят за них издатели. Первый романчик, сочиненный мной, назывался «Роман машинистки»; писал я его на террасе кафе неподалеку от площади Константен-Пекер на Монмартре.

Роман был не очень длинный. Заплатили за него неплохо. Строчил я его в ускоренном темпе. А потом начал сочинять романы и потолще: приключенческие — для молодежи, о любви — для швеек, о любви же, но с любовниками и любовницами — для чувствительных привратниц.

Так я работал в самом начале. Мой распорядок дня почти не менялся. Печатать я начинал в шесть утра. Около двенадцати прерывался, давая себе небольшой отдых, потом еще несколько часов работал до изнеможения.

Бывало, что за день я вырабатывал восемьдесят четыре машинописные страницы. И так тянулось довольно долго. Роман в десять тысяч строк занимал у меня примерно три дня, в двадцать тысяч — неделю.

Меня спрашивают, зачем мне нужны были чуть ли не семнадцать псевдонимов, причем все зарегистрированные в Обществе литераторов. Дело в том, что я поставлял романы для нескольких серий и в некоторых был практически единственным автором. Фамилия автора продукции подобного сорта (позволю себе этот термин) никакого значения не имеет, но неприлично каждую неделю выдавать книги под одним и тем же именем. Поэтому я подписывал их как Гом Гю, Жан дю Перри, Кристиан Брюль, Жорж-Мартен Жорж, не говоря уже о моем основном псевдониме Жорж Сим.

Когда мы плавали по рекам и каналам на пятиметровой яхте «Жинетта», мне приходилось писать во время стоянок.

В сельской местности поставить палатку на берегу канала не составляло труда. В других местах, например в Лионе, это оказывалось сложнее. Вспоминаю, как в пять утра я устанавливал на набережной, где мы пришвартовывались, складной стол и принимался печатать. Постепенно из окон ближних домов начинали выглядывать люди, и бог весть что думали они, видя, как чуть ли не в центре города я, полуголый, в одних шортах, стучу на машинке.

Первый роман о Мегрэ, который назывался «Питер-латыш», я написал на борту рыболовной шхуны «Остгот», которую построил в Фекане. «Остгот» тогда стоял на якоре в Делфзейле, где сейчас высится двухметровая бронзовая статуя Мегрэ, который в ту пору знал о своей судьбе не больше меня. Успех практически не изменил мой распорядок дня. В шесть утра я был уже на ногах. Несколько минут прохаживался, затем садился печатать — главу утром и главу днем, так что первые романы о Мегрэ я писал за три дня.

Лениться я стал гораздо позднее. Прекратил писать вечерами, и сочинение романа стало занимать у меня семь-восемь дней.

После возвращения в Париж я пошел еще дальше. Я превратился в маньяка. Прежде я выпивал в постели кашку кофе и принимался за работу, а теперь запретил домашним вставать раньше меня. Будильник, который практически был мне не нужен, поднимал меня примерно в шесть. Я натягивал брюки, рубашку, чистил зубы, наскоро причесывался и спускался в кухню, где варил себе кофе.

Вечером я заранее подготавливал кабинет с той же тщательностью, с какой воздушные гимнасты в цирке перед выходом на арену проверяют упругость канатов, на которых держится их аппаратура.

Я подготавливал столик, стоящий справа от машинки, пачку чистой бумаги, желтые папки, куда совал отпечатанные страницы, набивал пять-шесть трубок.

Глава бывала готова часов в десять-пол-одиннадцатого, иногда чуть раньше, причем безразлично, писал я о Мегрэ или не о Мегрэ. Каждая глава неизменно содержала двадцать страниц. Клянусь, что я делал это не специально. Я не нагонял, пользуясь профессиональным жаргоном, строчки. С другой стороны, не пытался ужимать главы.

Так вот и получилось, что большинство моих романов примерно одинаковой длины, за исключением четырех или пяти, написанных для газет, которые требовали продолжений для определенного количества номеров.

Не думаю, что это самые мои удачные романы. Я просто должен был дать столько-то страниц — и все тут.

Почти все журналисты задают мне и второй вопрос:

— А как же вдохновение?

На этот вопрос ответить гораздо трудней, хотя сам процесс оставался неизменным. К вечеру я выходил прогуляться по полям (я почти все время жил в деревне), или по соседним улицам, когда жил в городе, или по берегу моря, если это было в Марсийи, потом в Ниёле. Я прогуливался в одиночестве,

беззаботно — и не только с виду, но и на самом деле.

Не скажу, что я размышлял о завтрашней главе или о романе в целом. Я дышал воздухом. Наблюдал, что происходит вокруг. При случае заглядывал в бистро выпить стаканчик белого вина. Но всякая поразившая меня деталь пейзажа или обстановки откладывалась в памяти.

Оставалось только выбирать из воспоминаний — местность, дом, семейство, типаж.

Воспоминания служили мне отправной точкой. Вернувшись домой, я брал желтый конверт коммерческого формата (это из чистого суеверия — так я начинал «Питера-латыша») и по моему собранию телефонных книг чуть ли не всего мира выискивал фамилии и имена, потом оживлял эти абстракции, давая им возраст, профессию, адрес, настоящее и прошлое, иной раз до десятого колена, хотя для романа это было абсолютно не нужно. Частенько я записывал даже фамилию учителя начальной школы, где учился мой герой, и его одноклассников, которые никак не упоминались в романе.

Подробности эти — вплоть до номера телефона, — которые я использовал чрезвычайно редко, необходимы были мне, а не читателю.

Шесть утра. В доме тишина. Буль, наша кухарка, прохаживается по своей комнате, ожидая, когда освободится кухня. Я готовлю кофе. Понадобилось время, чтобы кофе сменился чаем. А еще раньше вместо кофе была бутылка красного вина, которая оказывалась пустой к тому времени, когда я кончал главу.

Летом в Поркероле я работал в башенке вроде минарета, которую построил какой-то чудак и где было невыносимо жарко. И к тому же в семь часов утра на всех лодках разом заводили двигатели.

Поскольку привычки владельцев лодок я изменить не мог, пришлось менять свои. Я начал работать с четырех утра вместо шести. В пижаме взбирался на второй этаж башни и начинал печатать. Примерно через четверть часа сбрасывал пижамную куртку. А еще через час с небольшим оказывался совершенно голый; к счастью, моя пишущая машинка не умела краснеть.

Только в последнее время, в последние годы, я изменил метод работы. Во второй половине дня я тщательно затачивал несколько карандашей и записывал начало следующей главы. Сперва это был десяток строчек, потом страница, потом две, а то и три. В конце концов я дошел до того, что писал своим мелким, почти неразборчивым почерком главу целиком, на следующее утро находил ее на столе и отпечатывал на машинке.

Часто я даже не заглядывал в то, что было написано накануне. Пишущая машинка не допускает украшательств и того, что иные именуют «хорошим стилем». Когда работаешь на ней, назад не возвращаешься. Хочешь или нет, а подчиняешься ее ритму. Но однажды я заметил, что у меня наметилась склонность к «литературности». Это послужило концом карандашных черновиков и вечерних сеансов.

Тем не менее все то время, пока я писал роман, а оно становилось все короче, поскольку короче становились романы, я целые дни напролет жил со своими героями, верней, с главным героем, с которым постепенно начал отождествлять себя.

Я настолько сживался с ним, что после первой или второй главы мои дети говорили между собой:

— Это будет трудный роман.

Само собой разумеется, одни романы бывают трудней, чем другие. И вот вступало в действие что-то вроде мимикрии: мой облик и настроение менялись в соответствии с тем, что я писал. Иногда я становился, хоть мне еще не было сорока или пятидесяти, старым, сгорбленным брюзгой; иногда, напротив, снисходительным и благодушным.

Этого не замечал я один. Открыли мне на это глаза мои близкие.

Короче говоря, я мог бы повторить знаменитую фразу Флобера: «Госпожа Бовари — это я».

Я последовательно был, не сознавая этого, более чем двумястами героями, поскольку линию поведения они выбирали себе сами, а не я им.

С течением времени это становилось все более утомительным. Не всем это, возможно, понятно, но, скажем, актеры меня поймут. Устаешь переходить из образа в образ. Я мог бы еще писать романы. Со мной это бывает иногда во сне. Я стучу на пишущей машинке. Создаю героев. Заставляю их действовать, потом вдруг просыпаюсь, вижу, что лежу в постели, и облегченно вздыхаю.

Сейчас мой распорядок дня почти такой же, как во времена, когда я писал романы.

Просыпаюсь я, как всегда, без пяти восемь, вижу улыбку и слышу ласковый голос Терезы, а в восемь уже слушаю последние известия и пью утренний кофе.

После возвращения с утренней прогулки, почти всегда в одно и то же время, я прошу дать мне микрофон и начинаю диктовать, сам еще не зная, что буду говорить. Я вовсе не хочу высказывать плоды глубокомысленных размышлений, на что я, кстати, и не способен; я хочу дать правдивый и искренний дневник *человека*

как все, как я определил себя в первом томе.

4 августа 1976

Будь я поэтом, я написал бы «Жалобу пожилой женщины». В стихах это могло бы выйти прелестно, но в прозе, боюсь, окажется жестоко, а в моем отношении к пожилым дамам нет ничего жестокого.

Сейчас я живу в гостинице, здесь несколько десятков, если не больше, пожилых дам. Я на ходу рассматриваю их. В общем-то, они вызывают у меня трогательное чувство.

Есть здесь и мужчины, но их гораздо меньше, чем женщин, в соотношении примерно один к трем. В большинстве своем это люди влиятельные: одни благодаря происхождению, другие сами выбились в важные персоны. Они не красивы и не уродливы, но элегантны — во всяком случае, одеваются у лучших портных. И все исполнены самодовольства.

С пожилыми дамами все иначе. Когда-то, уверен, они были молоды, красивы, окружены поклонниками, в них влюблялись мужчины.

Некоторые из них преждевременно постарели; другие, как мне представляется, еще сохраняют очарование.

Но в любом случае пожилые дамы, за редким исключением, не похожи и никогда не были похожи на добрых и снисходительных бабушек из наших детских книжек с картинками, всегда готовых жертвовать собой ради внуков, больных односельчан и вообще первого встречного.

Может быть, это происходит оттого, что у женщины внешняя привлекательность стоит на первом месте? Она похожа на плод, который каждому хочется сорвать. Но плоды ведь тоже недолго сохраняют свежесть.

Работающая женщина, перевалив за средний возраст, мало заботится о своей внешности и о впечатлении, которое производит на встречных мужчин.

В обществе богатых бездельников и бездельниц, с которыми я соприкоснулся здесь и понемногу соприкасался раньше в других шикарных местах, женщина борется за себя до конца, проводя значительную часть времени в салонах у массажисток, парикмахеров, на курортах, где клиентам обещают, к примеру, возвратить молодость грязевыми ваннами.

Женщины в конце концов начинают верить этому и толпами ездят туда. Кроме того, они выставляют напоказ свое богатство, щеголяют платьями, сшитыми у знаменитых модельеров, и прежде всего драгоценностями, компенсируя тем самым утрату молодости.

Мне они не кажутся смешными. Я их понимаю. Всем нам, мужчинам и женщинам, и в молодости и в старости хочется жить.

С другой стороны, добрая бабушка с лубочной картинки не миф. Она существует. Такие бабушки составляют незначительную часть женщин, не стареющих потому, что не стареют их душа и ум, и мысли их не занимает в отличие от большинства женщин, которых я вижу здесь, проблема положения в обществе.

Я мог бы сказать и о спеси. О ложном чувстве достоинства. Женщины тут одеваются и держатся так, словно они существа из другого мира.

Когда-то они были, повторяю еще раз, прекрасны или по крайней мере очаровательны; их любили. Прекрасными остались те, кто покорился закону природы и примирился со старостью. Другие же — думаю, их большинство — озлобились и относятся с какой-то ненавистью к миру, где они царствуют только благодаря туалетам и драгоценностям.

Мне их жаль. Если бы я написал поэму, я бы смог лучше выразить свои чувства. Эти женщины несчастны, но они надменно задирают нос, и, если кто-то осмелится вдруг обратиться к ним просто как к пожилым людям, он рискует тем, что ему выцарапают глаза или в лучшем случае грубо поставят на место.

Почему так стыдятся старости? Ведь это привилегия, которая дается не всем и которой надо тихо радоваться, а не бороться с ней до последнего часа.

Мне жаль их, жаль всех, кто пытается заменить блеск ушедшей молодости деньгами, драгоценностями, спесью и фальшью сословных различий, которые эти дамы именуют положением в обществе.

10 августа 1976

Есть слово, от которого я до сих пор содрогаюсь, верней, оно потрясает меня до глубины души. Это слово — одиночество. Одиноких я распознаю всюду, где бы ни встретил, — на улице, в бистро.

Я говорю о совершенно одиноких. Не знаю, смог ли бы я вынести такое. Думаю, нет.

Но существует другое одиночество, и я считаю его живительным и сладостным. Это одиночество вдвоем.

Мы с Терезой были очень счастливы в маленькой гостинице в Сен-Сюльпис. Но это была гостиница семейная, нас там все знали, так что говорить о настоящем одиночестве не приходилось.

Вопреки тому, что можно подумать, здесь, в отеле на двести пятьдесят номеров, где не прекращается хождение, мы познали подлинное одиночество.

В день приезда мы завтракали и обедали в ресторанном зале, где было полно народу и все довольно громко говорили, а прислуга оказалась столь многочисленной, что невозможно было распознать, кто метрдотель, кто «капитан», как на гостиничном жаргоне называют старшего по ряду столов, кто официант. Все суетились, а поскольку я писатель, многие обедающие наблюдали за каждым нашим жестом и ловили любое слово.

Мы решили замкнуться в номере, где проводим дни, обедаем, любуясь великолепным видом на озеро Леман.

Мы разом оборвали всякое общение с людьми. Дважды в день выходим на традиционную прогулку. Остальное время живем «в четырех стенах». Заходят к нам в номер только официант, который приносит еду, да по утрам, когда мы на прогулке, горничная и коридорный, чтобы сделать уборку.

Иначе говоря, большую часть дня мы проводим одни, она и я. Однако не скучаем. Мы спокойны и счастливы.

Дирекция изо всех сил старается развлекать клиентов, и каждый вечер мы засыпаем под звуки арфы, исполняющей старинные мелодии времен Людовика XIV или Людовика XV. Но ни это, ни приезд звезд вроде Сильви Вартан или Жильбера Беко не могут заставить нас выйти из номера.

В роскошных караван-сараях почему-то считается обязательным любой ценой развлекать клиента. Но какие бы развлечения нам ни предлагали, они не стоят нашего одиночества вдвоем.

За три недели мы всего лишь два раза были в казино. Я даже играл — впервые с довоенных времен. Правда, играл по маленькой, потому что мне все равно — выиграть или проиграть.

И все-таки мне было стыдно становиться участником этой огромной машины азарта, захватившей весь мир. Ощущение было такое, будто я стал марионеткой, управляемой крупье и дирекцией казино.

Мне хотелось, чтобы Тереза тоже поставила несколько жетонов, еще более мелких, чем я, и она тут же начала выигрывать.

У меня есть еще несколько жетонов: они теперь имеют вид билетов. Из-за них я испытываю угрызения совести; уезжая из Эвиана, я поставлю их все разом на какой-нибудь номер и почти уверен, что проиграю. Зато почувствую, что не принадлежу к системе, которую ненавижу и элементом которой не желаю быть.

Что касается остальных двухсот сорока восьми постояльцев, они целые дни, за исключением сегодняшнего, когда идет дождь, проводят, развалившись в креслах — либо в гостиной, либо в парке. Некоторые идут к бассейну, но не плавать, потому что он

еще не подготовлен, а загорать.

Только что меня прервал коридорный, который каждый день приходит спросить, что мы хотим на обед и на ужин. Опять похолодало. Вчера я узнал, что мой друг Феллини, человек, которым я безгранично восхищаюсь, находится недалеко от нас, но на другой стороне озера, и, вероятно, я не смогу повидаться с ним.

Того же дня, семь сорок пять вечера

Сегодня мне тревожно, я пытаюсь представить, что думают обычные люди вроде меня, которых я называю маленькими людьми, о буре, которая постепенно разражается во всем мире.

Можно сосчитать на пальцах одной руки страны любого континента, живущие относительно мирно.

Конечно, ни одна эпоха так называемой цивилизации не обходилась без горячих точек — мест, где воевали племя против племени, король против короля, император против других императоров или претендентов на престол.

Но по моему мнению, возможно и неверному, никогда еще волнение на нашем крошечном земном шаре не достигало подобной интенсивности.

Между собой враждуют и вооружаются, рискуя взорвать всю землю и всех нас, не только государства; в каждом государстве борются друг с другом разные группировки.

Всех опасней, разумеется, военные. В прежние времена сочиняли оперетки о южноамериканских генералах, ежегодно, а в иных странах чуть ли не каждый месяц замышлявших государственные перевороты.

Это смахивало на игру в рулетку. Генералам хотелось набить карманы и уйти на «заслуженный отдых», местом которого они чаще всего выбирали Париж или Лондон.

Метод этот нашел новых последователей и завоевал новые континенты. Но теперь становятся диктаторами не только военные (генералы или, как минимум, полковники).

Не удивительно ли, что в 1976 году, когда весь мир лихорадит и мы являемся свидетелями чудовищных катастроф, я продолжаю говорить о маленьком человеке.

Но для меня он важнее всего, ведь именно он расплачивается за амбиции так называемых сильных мира сего, именно он, в какой бы стране он ни жил, ежедневно страдает из-за ситуации, создавшейся в мире.

Кроме того, им так ловко манипулируют, что он даже не подозревает об этом. Казалось бы, наша эпоха является эпохой средств массовой информации. В старину до восьмидесяти

процентов населения были неграмотны, и газеты, которые имели всего четыре-шесть полос, читали только учителя, кюре и те немногие, кого именовали интеллигенцией. Потом появилось радио, вслед за ним телевидение, что позволяет донести новости со всего мира до самых глухих деревушек.

Находясь на покое, я читаю множество журналов и газет, в том числе иностранных. Несколько раз в день слушаю радио и смотрю телевизор.

Однако это привело к тому, что в мозгу у меня возник настоящий хаос. В сообщениях радиовещания, субсидируемого государством, но не принадлежащего ему целиком, в передачах телевидения, также зависящего от государства, зачастую совпадают только слова: противоречия между этими сообщениями бросаются в глаза.

В США много говорят о свободной прессе. Но эта свобода, как все в мире, относительна. Она зависит не от законов, а от владельца газеты или газетного треста: некоторые владеют пятнадцатью — двадцатью газетами, не считая радио- и телестанций.

Естественно, что у какого-нибудь мелкого «разгребателя грязи», затевающего скандал, мало шансов заставить тех, кто зависит от крупного капитала, выслушать себя.

Все это тревожит меня, и потому я диктую без обычной радости. Когда в Ливане совершается грубое нападение на персонал Красного Креста, пытающийся спасать раненых, в том числе женщин и детей; когда безумец или полубезумец Амин Дада[98] беспрепятственно учиняет массовые убийства противников своего режима; когда западные страны вопреки решениям ООН дерутся между собой за поставки оружия в ЮАР, где к неграм до сих пор относятся как к скоту; когда президент, а вслед за ним премьер-министр Франции ездят, точно нищие, из страны в страну, домогаясь заказов на поставку подводных лодок, танков, атомных энергетических установок, — меня переполняет такое отвращение, что я чуть не силой заставляю себя диктовать в часы, когда обычно этого не делаю, вот как сегодня вечером.

Я вовсе не пессимист. Напротив, я сохранил веру в человека, но, в моих глазах, все эти высокопоставленные особы, невзирая на все их дипломы, утратили право называться людьми.

12 августа 1976

Я сознаю, что с некоторого времени становлюсь в своих заметках все более желчным и сердитым. Но кто еще, кроме стариков, располагает возможностью говорить свободно? Им терять нечего. Если они не претендуют на академическое кресло

или на ленточку Почетного легиона, они вольны в своих поступках.

Те, кто моложе, рискуют испортить неловким словом карьеру и, как следствие, нарушить благополучие своей семьи.

Я мог бы вырезать из газет сотни статей с примерами подобного рода. Я не делал этого, хотя они существуют.

Сейчас миром правят крупные финансисты, имен которых мы не знаем, но которые, подобно генералам, ничем не рискуют. Они обделывают свои делишки, сохраняя анонимность, и используют законы разных стран, позволяющие им, как в казино, играть на черном и на красном, ставить на отдельные номера и на комбинации номеров, на чет и нечет, короче, заниматься тем, что является для них — обычно это крупные игроки — сутью бытия.

Стало трудно узнать, кому принадлежит та или иная компания. Швейцария сегодня объявила, что на ее территории нет ни одного предприятия, загрязняющего окружающую среду. Другие, как сейчас говорят, богатые страны — поскольку теперь есть не только богатые и бедные люди, но также богатые и бедные страны, уровень жизни в которых очень различен, — тоже следят у себя за чистотой окружающей среды. Загрязняющие ее предприятия они размещают в бедных странах. При этом они не только качают оттуда прибыли, но утверждают, будто способствуют развитию этих стран.

Сегодня утром меня потрясло и возмутило официальное заявление Гофман-Лароша в Базеле. В широковещательном коммюнике он сообщает, что компания покроет *материальные* потери катастрофы в Севезо[99] в течение десяти лет. Не знаю, хорошо ли вы поняли — *ма-те-ри-аль-ны-е* потери. Компания позаботится о домах, о землях, потому что не может поступить иначе.

Но в коммюнике нет ни слова о людях — мужчинах, женщинах, детях.

С неделю назад компания заявила, что она была застрахована от несчастных случаев подобного рода.

Имеются в виду убытки. Деньги. Только деньги. Единственная цель и единственный кумир транснациональных компаний.

То, что население страдает и в течение многих лет будет испытывать на себе последствия катастрофы, компаниям все равно. Они застраховались от материальных последствий всего того, что давно уже продолжается, хотя и держится пока в тайне, в некоторых «бедных странах» и приносит прибыли компаниям.

Мне нечего добавить. Это коммюнике — приговор политике денег, но это вовсе не значит, что господ финансистов гильотинируют и Жискар д'Эстен откажется их помиловать.

Из века в век одно и то же, и просто удивительно (не чудо ли это?), что маленький человек все еще живет.

15 августа 1976

Можно сказать, что я начал так называемую профессиональную деятельность с шестнадцати лет. Я тогда только что получил в наследство одежду богатого кузена, погибшего, но не на войне, хотя он был человек отважный, а от «испанки»! И вот я впервые надел длинные брюки, а в ту пору это означало переход от детства к юности.

Я поступил репортером в «Газетт де Льеж». Через несколько месяцев я уже вел там ежедневную рубрику «За пределами курятника» и хочу отметить, что взгляды, которые я высказывал, не обязательно совпадали с направлением газеты.

В день я прочитывал дюжину газет, и нередко мои фельетоны были посвящены текущим событиям.

Сейчас я нахожусь на другом краю жизни, чтобы не сказать карьеры, потому что я не люблю этого слова. И замечаю, что мои устные заметки, посвященные злобе дня, почти столь же гневные и негодующие, как статьи шестнадцатилетнего юнца.

Возможно, кто-нибудь решит, что я нагнетаю в них пыл, а то и ярость. И кое-кто отнесет мой гнев на счет старческого маразма.

Но то же было и в шестнадцать лет. Правда, тогда я выражал свои взгляды несколько осторожней, чтобы не вылететь из газеты. Я сохранил их на всю жизнь, и тот, кто умеет читать, обнаружит их в каждом моем романе.

С тех пор как я стал диктовать и говорить без обиняков, я все чаще позволяю себе вспыхивать от негодования. Семидесятитрехлетний старик узнает в себе горячего юного репортера, каким он был в шестнадцать.

И если я сегодня говорю об этом — могут, конечно, сказать, что я твержу все об одном и том же, — то лишь потому, что позавчера прочел одну статью в газете, выходящей огромным тиражом; газета эта стремится быть, да и на самом деле является самой популярной во Франции, рассчитана на широкого читателя и уже много лет старается приладиться к его вкусам.

Статья посвящена вовсе не звезде кино или эстрады и не богатой наследнице.

Речь в ней идет о раке. Не стоит говорить, сколь популярна статья, но источником ее являются непроверенные выводы отдельных исследователей.

В ней приводятся статистические данные, которые малосведущим читателям газеты должны казаться неоспоримыми.

Кто-нибудь из ваших родителей умер от рака? Если умер только один, ваши шансы заболеть равны стольким-то процентам. Если оба, процент пропорционально возрастает.

Но надо еще учесть дедов и прадедов. Не говоря уже о более отдаленных предках. Ведь болезнь может пребывать в латентном состоянии многие годы, если не века, и вдруг ожить в теле современного младенца.

Я уже неоднократно говорил об опасностях популяризации медицины, даже если этим занимаются прославленные профессора.

Когда газета, выходящая огромным тиражом, кичащаяся тем, что является самой читаемой во Франции, рассчитанная на наименее образованные слои населения, печатает статистику подобного рода, к тому же научно не подтвержденную, это, на мой взгляд, уже граничит с преступлением.

В скольких сотнях тысяч людей эта статья породит тревогу? Многие ли из нас знают, отчего умерли их деды, прадеды и прапрадеды?

Да ведь еще пятьдесят лет назад о раке говорилось не так уж много и не всякий врач был способен обнаружить его.

К тому же теперь мы знаем: возбудить беспокойство, неуверенность или страх зачастую означает привести к болезни.

Вот почему сегодня я вновь возмущаюсь, как неоднократно и, может быть, слишком часто возмущался в последнее время. Я живу бок о бок с человеком с улицы и знаю: статьи вроде этой воздействуют на людей и могут погасить в них радость жизни.

Да, я за свободу печати и информации, но иную информацию следует распространять только через специальные журналы, а кое-какие сообщения ограничивать медицинскими конгрессами.

По моему мнению, эти сенсационные статьи, мало того что они преследуют чисто коммерческие цели — являются бесчестными и даже — я отвечаю за свои слова — преступными.

Перед войной существовали газеты, о которых говорили, что они эксплуатируют «кровь на первой полосе». Им каждый день требовалась кровавая драма, и чем бесчеловечней, тем лучше. Я надеялся, что эта мода канет в вечность. Но я ошибся. Конечно, в мире происходят схватки. Они происходили всегда. Но нам услужливо не демонстрировали по телевизору заколотых ребятишек и разорванных на куски взрослых. Правда, телевидения тогда еще не было, но газеты уже публиковали фотографии.

И чем они были чудовищней, тем довольней были фотографы. Все это продолжается и разрастается, а сейчас нашли новый способ возбуждать публику: опасностью болезни.

Вот почему нынче утром я так взбешен.

Неужели в человеке от природы заложен садизм? Во всяком случае, маркиз де Сад[100] никогда не имел такого успеха и столько приверженцев, чтобы не сказать страстных поклонников, как теперь.

17 августа 1976

Я часто задаю себе вопрос, может ли человек, даже призвав на помощь самую добрую волю, понять других людей. Будь это так, не существовало бы, наверно, ни войн, ни революций.

Каждый считает себя исключительным и не желает равняться с обыкновенными смертными.

Я делаю исключение для некоторых супружеских пар, но ведь мужчина и женщина, как правило, встречаются случайно и заранее не предопределено, что они составят единство. Да и много ли таких пар?

Если я думаю об этом, то потому, что не считаю, будто я единственный в моем возрасте испытываю потребность подвести итог своей жизни. Уверен, другие начинают испытывать ее гораздо раньше, и я спрашиваю себя, чем объяснить нетерпение и тревоги молодых, как не желанием начать подбивать итог уже с юных лет.

В сущности, я всегда был дилетантом — и в первые годы жизни, и в зрелом возрасте, дилетантом во всем. Например, в спорте: я занимался чуть ли не всеми видами спорта, но, поскольку то менял их, то тренировался одновременно в нескольких, не блеснул ни в одном. Олимпийские игры показывают, что это обычное явление. Нельзя одновременно быть чемпионом в плавании и в барьерном беге на четыреста метров или в верховой езде и в прыжках с шестом.

Мне хотелось попробовать все, но вовсе не от суетности, а потому что с детства я был одержим желанием все изведать.

Я восхищаюсь водопроводчиком, делающим ремонт моей ванной, монтером, который мгновенно устраняет неисправность проводки. Их я считаю профессионалами.

У них основательные знания, многолетний опыт.

В чем же можно считать профессионалом меня? Вероятно, мне ответят: в романе, несмотря на то что я не являюсь членом Общества литераторов (термин, которого я не выношу), но вот критики, даже наилучшие среди них, колеблются, к какой категории меня отнести.

Для одних я создатель Мегрэ, и не больше. Для других Мегрэ — это всего лишь пятно на моей репутации серьезного романиста.

Что же я могу им сказать? Романы о Мегрэ, я имею в виду самые первые, я писал как развлекательные, учился на них, чтобы постепенно прийти к настоящей, простой и чистой литературе.

И пришел к ней. Но на каком основании я говорю так? Похоже, кое-кто интересуется этим. В отличие от большинства современных романистов я не закончил университета. Я не стал бакалавром и не сидел в тюрьме.

Я — профан в физике, химии и других науках, поименованных в дипломе.

Согласившись по настоянию правительства стать членом Бельгийской Академии, я оказался не среди писателей (их в ней было человека два-три), а среди филологов, университетских профессоров.

Короче, я был дилетант, и мне давали это понять.

Началось это еще раньше. Американцы без какой бы то ни было инициативы с моей стороны приняли меня в свою Академию искусства и литературы. Падуанский университет, с которым я не поддерживал никаких отношений, присудил мне звание, соответствующее в Италии доктору honoris causa. Чуть позже Льежский университет, опять же без моей инициативы, тоже сделал меня своим почетным доктором.

Это ли не дилетантство? У меня ведь нет никакого диплома, более того, нет даже аттестата. У водопроводчика множество всяких свидетельств. Профессионалы — это монтер, маляр, не говоря уже о велогонщике.

Я ни в чем не профессионал. Я ничему не учился. Не сдавал никакого экзамена. Я прожил жизнь, как все, наблюдая за людьми вокруг и занимаясь более или менее активной деятельностью.

Разве не так живет большинство? Думаю, что так. И даже сочинение романов не стало моей настоящей профессией. Я писал, когда у меня появлялась потребность высказаться; вот так же карточный игрок, сидя в компании односельчан в трактире, испытывает вдруг потребность рассказать анекдот.

Раньше, чтобы освободиться от того, что у меня на душе, я создавал придуманных героев. Видимо, на душе у меня накапливалось многое, поскольку продолжалось это пятьдесят лет, и моих персонажей надо, вероятно, считать не на сотни, а на тысячи.

А потом я вдруг взбунтовался. Мне показалось малодушием высказываться посредством придуманных героев, и вот, поскольку я не мог молчать, я стал говорить от первого лица.

Не писать! Использование пишущей машинки или карандаша казалось мне искусственным, и за неимением других способов я стал диктовать.

Для меня это способ избавиться от призраков. Но ведь именно так и избавляются от них, разговаривая в кафе, в гостиной или в уголке бистро.

Я не хотел бы заново прожить ни одного года своей прошлой жизни. Если бы мне предложили снова стать тридцатилетним или сорокалетним, я бы с негодованием отказался.

Это вовсе не значит, что я считаю, будто сейчас я лучше, чем тогда. Видимо, это означает, что я достиг некоего равновесия и ни за что не хочу вернуться в прошлое. Я постепенно и мирно добился свободы.

Даже если мне и случается возмущаться по тому или иному поводу, рядом с Терезой я наконец-то обрел покой.

Из книги «Рука в руке»

6 сентября 1976

В один из моих наездов в Париж одна моя знакомая задумала собрать несколько наших старых друзей.

Было это не так уж давно. Вероятно, друзья нашли, что после долгого пребывания в Соединенных Штатах я сильно изменился: с некоторыми я не виделся больше двадцати лет.

Я был рад повидаться с ними: наша дружба начиналась еще тогда, когда мы все были бедны.

Они преуспели в жизни. Стали чуть ли не официальными лицами: одни — членами Французской Академии, другие — командорами ордена Почетного легиона, а кое-кто даже совместил оба звания.

В среднем все они лет на пять-шесть старше меня. Я дебютировал очень рано, и все мои друзья вроде Вламинка, Дерена[101] и многих других были старше, иной раз лет на двадцать.

В тот вечер я был потрясен, видя, как один из моих старинных приятелей с трудом управляется со вставной челюстью. Лицо у него было в морщинах, но глаза сверкали той же радостью жизни, что и прежде. Другой приятель, несколько моложе, страшно разжирел и страдал от одышки.

Но не это поразило меня больше всего. Само собой, после обеда мы поболтали. Говорили о жизни и о старости: одних она уже настигла, к другим только подкрадывалась.

Я был удивлен, когда то один, то другой принимался рассказывать анекдоты и воспоминания тридцатилетней давности, которые я слышал от них уже сотни раз.

И теперь, беря в руки микрофон, я со страхом думаю: а вдруг я тоже живу несколькими воспоминаниями, несколькими анекдотами и без конца их пересказываю.

Вспоминаю, между прочим, Саша Гитри (думаю, что теперь могу назвать его имя), который считался самым остроумным человеком в Париже; хозяйки салонов рвали его на части. Но я неоднократно слышал, как он с одинаковыми интонациями, с одинаковыми жестами рассказывал одни и те же истории.

А ведь, ей-богу, за свою жизнь он имел случай общаться с самыми разными людьми. Но удержал, казалось, в памяти всего несколько историй, которые рассказывал до бесконечности.

Жан Кокто, которого я знал много лет (думаю, я имею право упомянуть и его) и который всю жизнь слыл этаким озорным ребенком — вспышкопускателем, признавался мне, что перед

выходом в свет, как это тогда называлось и до чего Кокто был очень падок, он долгие часы валялся в постели, репетируя номер, который собирался показать вечером.

Могу то же самое сказать и про Андре Жида; он как-то признался мне, что в ожидании светской или иной встречи репетирует перед зеркалом фразы, которые произнесет.

Другой мой хороший друг — его я тоже вправе упомянуть, поскольку он вошел в историю, — мэтр Морис Гарсон[102], имел репертуар относительно ограниченный, но настолько тщательно отработанный, что весомым было буквально каждое его слово.

Эти туманные воспоминания перед дневным сном навеяли на меня грусть. Только что я упомянул, правда, не всегда называя фамилии, несколько очень известных людей, у которых была репутация редких умников. Я часто видел и слышал их. Мы были дружны и откровенны.

Однако, вспоминая наши беседы, я нахожу в них только искусственность.

Каждый, и это ужасно, за всю жизнь скопил несколько историек, забавных или трагических, и носился с ними до самой смерти.

Можно бы сформулировать проблему иначе: до какого предела доходят возможности нашего восприятия, наша способность к контакту с другими людьми?

Знаю только, что от того вечера, устроенного специально, чтобы дать мне возможность встретиться со старыми друзьями, у меня осталось горестное ощущение. Никого из этих людей я больше не видел. Они умерли один за другим, как умерло большинство тех, кого я когда-то знал. Каким же в итоге оказывается наш капитал восприятия, наш капитал памяти? Сегодня я задаю себе этот вопрос, и, надо сказать, с некоторым пессимизмом. Если те, кто считался самыми умными и остроумными людьми своего времени, помнили всего несколько историй и не сознавали, что без конца повторяются, что же говорить о простых смертных?

Над болтливыми стариками смеются. Но так ли уж отличается фермер, ремесленник, любой другой простой человек, который после третьего или четвертого стаканчика заводит одну и ту же историю, вызывая насмешки окружающих, от тех, кто фигурирует на первых полосах газет?

Уверен, не очень. Напротив, я убежден, что наша жизнь в конечном счете складывается из нескольких редкостных воспоминаний, которыми мы живем и которые беспрерывно повторяем.

Поэтому всякий раз, когда я беру в руки микрофон, во мне

возникает чувство смирения, и я спрашиваю себя, а не забалтываюсь ли я. Не далее как вчера мне пришла в голову мысль окрестить мои заметки болтовней.

Предвижу, что журналисты из кожи вон вылезут, но обыграют и даже осмеют то, что я с таким удовольствием диктую.

Тем не менее я с глубоким волнением констатирую, к чему в конечном счете сводится жизнь каждого из нас.

13 сентября 1976

Я часто рассказывал о своей мечте быть патриархом. Последние три дня я в некотором смысле был им. Три, а то и четыре раза я усаживался за стол со всеми моими детьми и внуками, то есть со всеми Сименонами.

Когда дети приезжают по отдельности, между нами возникают некоторые трения. Я боялся общего съезда. И зря.

Четверо моих детей и двое внуков, которых я почти не знал, но с которыми, должен признаться, с удовольствием познакомился поближе, вели себя неподражаемо.

Я не пессимист. Я никогда не отчаивался из-за детей, даже если мне случалось говорить о них довольно горькие вещи.

Сегодня они все один за другим уехали, и наш домик обрел свой привычный облик и атмосферу. Я благодарен детям за те часы, которые они мне посвятили, а вчера вечером, например, у меня даже возникло чувство, будто я помолодел.

Я получил урок. Такие уроки получаешь всю жизнь. Мечта об исполненном мудрости патриархе оказалась ошибочной. Я понял, что, подобно всем родителям, волнующимся из-за кори или расстройства желудка, я беспокоился из-за пустяков.

Это вовсе не значит, что жизнь пойдет теперь гладко, без сучка без задоринки. Появятся новые осложнения, но я знаю, что в случае необходимости все Сименоны от мала до велика могут жить дружно.

Тереза присутствовала при этом и неизменно поддерживала меня. Когда я бывал в нерешительности, мне достаточно было поймать ее взгляд.

Все прошло хорошо, даже отлично, и я надеюсь, я верю, что все остались довольны. Я частенько настроен пессимистически или сдержанно оптимистически, и поэтому сегодня с большим удовлетворением говорю об этой семейной встрече, продолжавшейся целых три дня впервые за много лет.

20 сентября 1976

В США, да и в других странах, нередко бывает, что человек шестидесяти-семидесяти лет третьим или четвертым браком

женится на двадцатилетней девушке. Такое происходит не только в Голливуде, а повсюду, где есть богатые старики и честолюбивые девицы.

Такой старик не колеблясь заводит ребенка, а то и двух, несмотря на то что у него уже есть дети от предыдущих жен.

Удачных браков подобного рода мало. Очень редко все идет счастливо, гораздо чаще кончается судебным процессом (не всегда мирным), а иногда и драмой.

Когда я женился на Тижи, мне было двадцать, ей двадцать три. Обручился я в семнадцать. Сейчас Тижи семьдесят шесть, здоровье у нее, к счастью, превосходное, и я рад этому. Мы прожили вместе двадцать два года, но завести ребенка, моего старшего сына Марка, она согласилась, только когда ей исполнилось тридцать девять.

С Д. я встретился в 1945 году. Ей было двадцать пять, мне — сорок два, так что разница между нами была, если я правильно считаю, в семнадцать лет.

Мы уже давно живем отдельно и много лет не виделись. Боюсь даже, что, встретившись на улице, не узнаю Д. Я только мельком издали видел ее в суде, и теперь, пытаясь вспомнить, как она выглядела, морщу лоб.

Мне понадобилось дожить до седьмого десятка, чтобы узнать, что такое любовь. Все началось в кабинете моего издателя Мондадори. Не могу сказать, что меня как громом поразило. Просто, увидев Терезу впервые, я смутно ощутил, что она сыграет важную роль в моей жизни.

И не ошибся. Она сыграла самую важную роль: позволила мне познать любовь и сделала меня счастливым.

Тем не менее различие в возрасте между нами весьма значительно. Мне семьдесят три с половиной. Ей всего пятьдесят. Так что разница составляет двадцать три с половиной года.

Но мы оба уже давно забыли о ней. Я по крайней мере надеюсь на это и даже уверен, что так оно и есть.

Как начинается любовь? Я говорю о любви глубокой, как у нас, а не о той, что длится несколько лет, а порой и двадцать два года, но при этом не является настоящей.

Естественно, наши отношения начались, как обычно, то есть очень скоро мы вступили в связь.

Но еще долго, в течение месяцев, если не первых лет, мы узнавали друг друга. И старательно избегали слова «любовь» и не говорили о нежности.

Но именно нежность с самого начала притягивала меня к Терезе. Я присматривался к ней. Следовал за нею взглядом. Если она случайно отсутствовала, я чувствовал, что мне чего-то

недостает, и начинал нервничать.

Мне трудно говорить от ее имени, но я был бы удивлен, если бы оказалось, что эволюция наших чувств была не синхронной.

В Эпаленже бывали моменты, когда я спускался на первый этаж, чтобы написать очередную главу романа, а Тереза оставалась на втором, прислушиваясь к стрекоту моей пишущей машинки.

Я подыскиваю определение для нашей любви, которую называю просто любовью; мне понадобилось столько лет, чтобы открыть ее.

Для нее нет другого определения, кроме одного: любовь — это такое слияние двоих, при котором общение днем и, добавлю, даже ночью происходит безмолвно, без слов.

Часто, когда мы ложимся спать, Тереза блаженно вздыхает:

— Наконец-то в постель!

И мы рука в руке, не двигаясь, молча засыпаем, каждый прислушивается к дыханию другого, чтобы определить, когда тот уснул.

Нет, мы не держимся всю ночь за руки; нередко бывает, что, когда мы просыпаемся, наши пальцы переплетены или моя рука лежит на бедре Терезы.

Пробуждение, хотя нам приходится сразу же расстаться на полчаса, чтобы Тереза привела себя в порядок, для нас как бы обретение друг друга заново, и мы радостно и с нежностью приветствуем новый день, отпущенный нам.

Эта любовь — ежеминутный подарок. Нам вполне достаточно друг друга, мы живем в полном согласии, для которого во все часы, отделяющие нас от ночи, требуется совсем мало слов.

И каждый час отмечен ощущением полноты жизни.

Нет, мы с Терезой живем не одни. На втором этаже обитает Пьер, он обедает с нами, так же как кухарка и горничная. Это как бы внешнее кольцо, внутри которого заключено наше кольцо, то есть мы с Терезой, и оно, хотим мы того или нет, остается, в общем-то, чуждо внешнему.

В магазинах, в бистро, куда мы часто заходим, мы беседуем с незнакомыми людьми или с теми, кого знаем, но все это как дождь, капли которого быстро скатываются по непромокаемой ткани.

Пожалуй, мы больше похожи на двух животных, чем на людей. Нам не нужно ни кино, ни, театра, ни так называемых развлечений. Мы построили гнездо или, если угодно, вырыли нору; нам хорошо, и мы счастливы вместе.

Язык наш, как у животных, ограничен. Не помню, когда мы в последний раз долго говорили по какому-нибудь поводу.

Мне уже неоднократно случалось говорить о непосредственной коммуникации между живыми существами. У людей это бывает куда реже, чем у животных; именно поэтому я только что сравнил нас с двумя существами, устроившими логово на лоне природы.

Бывает, что один из нас открывает рот, чтобы что-то сказать, и видит, что второй тоже открыл рот, собираясь произнести то же самое. Нам случается видеть одинаковые сны в одни и те же часы, и если ночью я просыпаюсь и лежу с открытыми глазами, то тут же слышу, как Тереза, только что спавшая глубоким сном, спрашивает:

— Не спишь?

И почти всегда добавляет:

— О чем ты думаешь?

Или:

— Тебя что-то беспокоит?

Много ли супружеских пар способно быть вместе двадцать четыре часа в сутки, ничего друг от друга не тая, потому что нечего таить, и которым достаточно только взгляда, чтобы понять друг друга?

Мне понадобилось дожить до шестидесяти лет, чтобы познать такую любовь, но она стоит этих лет. С каждым днем она становится сильней, и каждый новый день приносит чуть больше радости и душевного покоя, чем предыдущий.

25 сентября 1976

Вчера вечером я засыпал, и перед глазами у меня стояли картины Таити, таитяне, таитянки. Не нынешний Таити, которого я не знаю. Таити, каким я его увидел почти сорок лет назад, до того, как там построили аэропорт, что привело к нашествию туристов, появлению там французской атомной бомбы и господ военных.

В мое время, как говорят старики, чтобы из Бордо через Панамский канал доплыть до Таити, требовалось пять недель.

Четыре недели плавания отделяли Таити от Австралии.

Однако на острове регулярно получали почту и кипу газет, в большинстве трех- или четырехдневной давности.

Маорийцы, и мужчины, и женщины, очень красивы, но тогда они не понимали ценности денег.

В Папеэте была всего одна дорога, которая огибала весь остров; поскольку мостов в ту пору не было, в период дождей приходилось переезжать через потоки воды на машине. Вдоль

дороги примерно через каждые десять километров стояли деревни.

Домов из долговечных материалов было немного. Такие дома строились колониальными властями по всему свету. Зато было много хижин из травы и мало домов, верней, домиков, поскольку они были маленькими, из бетона.

Налоги, назначенные французским губернатором, взимались не деньгами, так как денег у таитян не было и ценности их они не понимали. Жители должны были определенное количество дней в году провести на дорожных работах, благодаря чему и была построена кольцевая дорога.

В Папеэте был большой магазин, где продавалось все, в том числе входившие в Европе в моду пляжные юбочки, которые ткали в Гамбурге.

Основным средством передвижения был велосипед. Очень немногие таитяне, несмотря на расстояния, имели повозки. И на дороге нечасто можно было встретить повозку.

В деревнях, образовывающих вокруг острова что-то вроде четок, лавок не было. На тележках, запряженных лошадьми, от дома к дому ездили торговцы и продавали или обменивали товары. Все они были китайцами, давно уже обосновавшимися на Таити, и почти вся торговля в Папеэте, за исключением торговли рыбой и моллюсками, была сосредоточена в их руках. Папеэте тоже был в руках китайцев.

Между китайцами и таитянами появилась враждебность, и однажды губернатор, учитывая это, решил создать на рынке лавку и доверить ее таитянам, которые более или менее умели считать. Он снабдил их разными товарами.

Через месяц губернатор решил полюбопытствовать, как идут дела.

Войдя в лавку, он торжествовал. Полки были пусты. Губернатор обратился к человеку, которого назначил управляющим. Тот тоже торжествовал.

— Видите, все разошлось.

Уходя, губернатор поинтересовался, как обстоит дело с отчетностью. И услышал краткий ответ:

— С какой?

Мало того, что не было никакой бухгалтерии: все товары оказались просто розданы.

У таитян не было ни малейшего понятия о деньгах. У их женщин тоже.

Это единственная страна, где красивые девушки, с которыми я встречался, а они действительно очень красивы, особенно те, в чьих жилах смешалась маорийская и китайская кровь, были

совершенно бескорыстны.

Ни одна из них никогда не заговаривала со мной о подарке; первое время я пытался расплатиться за их ласки банковским билетом и вызывал у них гнев.

С гостеприимством обстояло так же. Останавливаешься, к примеру, перед хижиной или домиком. Спрашиваешь, на каком расстоянии соседняя деревня. Ответ всегда одинаков:

— В трех пуншах.

Или в четырех, или в пяти.

Таитянский пунш, так же как мартиникский, представляет собой смесь белого рома, небольшого количества сахарного сиропа и фруктов. Из-за рома он очень крепок, но это как раз неплохо.

Собеседник с удовольствием усаживается в машину, чтобы проводить вас в соседнюю деревню и познакомить с друзьями, и там рекой льется пунш.

На Таити не было необходимости в бистро. Таитяне, как и таитянки, не брали денег и рассердились бы, если бы вы стали настаивать.

Но судя по тому, что я читаю, сейчас все изменилось. Туристы, а в особенности солдаты приохотили к деньгам не только девушек, но и деревенских жителей, и очень жаль.

Раньше по крайней мере один остров ускользал от власти общества потребления. Несколько тысяч человек относились к деньгам не только безразлично, но даже с презрением.

Я много раз объехал остров на машине. Всякий раз я вез с собой несколько хорошеньких девушек, а они требовали, чтобы я захватил еще нескольких гитаристов.

И все это было бесплатно. Гитаристы всю дорогу играли старинные таитянские песни, а девушки хором подхватывали их. Не было и ревности, и, если вдруг кому-то хотелось девушку, машина останавливалась, и все парочками разбредались по кустам.

Бродяжничая по свету, я иногда встречался с подобным складом мышления. Но постепенно во всех странах, на всех островах образ мыслей менялся, и теперь, хотим мы того или нет, мы все достигли равенства в отношении к деньгам.

5 октября 1976

В воскресенье я совершенно случайно присутствовал — по телевизору — на празднике виноградарей в Лугано. В этот день подобные празднества проходили по всей Швейцарии.

В них участвовали обильно, а зачастую и изощренно украшенные колесницы, девушки в форме, которым в течение

недель, если не месяцев, пришлось, видимо, репетировать, и, наконец, духовые оркестры, которые тоже все воскресенья готовились к тому, чтобы, как в воскресенье в Лугано, пройти в процессии, пусть даже под проливным дождем, и сыграть, не «киксанув».

В некоторых странах мира еще существует традиция народных празднеств. Но участвует в них очень небольшая часть населения, они являются скорей приманкой для туристов, что толпятся на тротуарах вдоль пути следования процессии. Это навело меня на раздумья о людях, путешествующих по железной дороге или самолетами. Похоже, что в более или менее отдаленном будущем (а сейчас все идет чрезвычайно быстро) человеческая речь исчезнет или сведется к самым примитивным выражениям.

Мне редко доводилось слышать между людьми в поезде настоящую беседу; кроме того, шум заглушает человеческий голос. То же в автобусах, где множество людей, отправляющихся из пригородов на работу в город, проводят час, а то и два в день.

Когда же мужчины и женщины добираются до своих дешевых муниципальных квартир, то они уже настолько измотаны, что им не до бесед. Думаю, что их дети чаще всего слышат: «Замолчи!»

Люди молчат потому, что слушают радио или смотрят телевизор, или, возможно, еще потому, что можно сказать такое, что разрушит семейный покой.

Входишь в кафе, а там обязательно есть либо телевизор, либо громыхающий музыкальный автомат, который не дает расслышать собеседника. На улице ревут машины, так что вести сколько-нибудь продолжительный разговор невозможно.

Дай бог, если последние фанатики кафе, проводящие там почти весь вечер, обмениваются несколькими таинственными словами: они играют в карты — в белот, жас или в какую-нибудь другую игру (в каждой стране популярны свои игры), — а это тоже мешает общению.

Я уже не говорю о чтении — жена поглощает журналы мод, муж пожирает газеты или политические журналы, хотя они во всех смыслах неудобоваримы.

Так же обстоит дело и среди представителей так называемых высших классов. В гости приглашают не ради содержательного, остроумного разговора, а сыграть в бридж или канасту.

Зачем в таком случае сохранять дар речи, приобретенный миллионы лет назад?

Сейчас уже почти не пишут писем в стиле г-жи де Севинье[103]: при наличии телефона и телеграфа в них отпала необходимость.

Люди больше не беседуют. И возможно, не потому, что им нечего сказать друг другу, а потому, что наше время занимают другие средства информации.

И почему бы не представить себе, что через сколько-то там лет или столетий не упражняющий органы речи человек станет немым.

Мы с Терезой ежедневно познаем это на опыте. Когда нам нужно побеседовать, мы отправляемся на долгую прогулку, например на берег озера, где запрещено ездить на машинах и мотоциклах и можно не вздрагивать через каждые десять шагов.

В сущности, именно там и проявляется по-настоящему наша духовная близость. Дома то телефон звонит, то надо прочесть газету, то посмотреть передачу, хотя телевизор мы смотрим крайне редко.

Эпистолярное искусство исчезло уже давно.

Чувствую, что искусство вести беседу тоже находится на пути к исчезновению, и уверен, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

И если мы дойдем, как некоторые животные, до прямого межмозгового общения без помощи слов, то не окажемся ли, как при разговоре по телефону, во взаимодействии и в контакте с людьми, которым нам нечего сказать? Сначала нам пришлось с трудом научиться говорить. Теперь понадобится учиться молчать.

За исключением, разумеется, профессиональных говорунов, то есть политических деятелей.

6 октября 1976

Последнее время много говорят о спорте. А начались эти разговоры давно. Что значит любитель? Что значит профессионал? Уход из спорта единственного французского спортсмена, получившего золотую медаль на Олимпийских играх в Монреале, еще больше оживил споры[104].

Кого называть спортсменом? По моему, естественно, простецкому мнению, того, кто занимается спортом, все равно каким, можно даже несколькими видами, но при этом продолжает вести нормальный образ жизни.

Стадионы сейчас становятся все больших размеров, в некоторых странах есть такие, что вмещают по сто тысяч зрителей. Можно ли назвать спортсменами тех, кто приходит туда, рассаживается и смотрит матч? Разумеется, нет. Большинство из них даже не утруждает себя ежедневной зарядкой.

Но от тех, на кого они приходят смотреть, они требуют отнюдь не обычных результатов, а результатов

сверхъестественных, подобно тому как в миланской «Ла Скала», в парижской «Гранд-опера», в нью-йоркской «Метрополитен-опера», где требуются вокальные способности намного выше средних, зрители ожидают, что певцы возьмут какое-нибудь невероятное «до».

То же в цирке, где ни один зритель не может сделать сальто-мортале, перелететь под куполом с трапеции на трапецию и уж тем более вложить голову в пасть льва.

Эти профессии требуют непрерывной, упорной тренировки с детства. Ну и конечно, знаменитостям необходимо самоотречение.

Свой титул звезды, то есть профессионала, они зарабатывают волей и ежедневными упражнениями.

Но есть и другие звезды — в театре, на эстраде, в кино. Почти все они начинали как любители. Даже великий Ремю[105] сделал свои первые шаги на провинциальной сцене в Марселе, где был на выходных ролях. Это не помешало ему стать величайшим актером современности.

Его упрекали в скупости. Но это потому, что до сорока лет он не мог по-настоящему заработать себе на жизнь.

В спорте все иначе. Спортсмен должен быть молодым, и Пулидор[106] — исключение. Он должен пять-шесть часов в день, если не больше, посвящать тренировкам. Когда в эпоху, весьма отличную от нашей, барон де Кубертен возродил Олимпийские игры[107], спорт предназначался, как тогда говорили, для элиты, то есть для состоятельных людей. Ни рабочий, ни чиновник, ни средний служащий не мог купить чистокровную лошадь для игры в поло или уделять несколько часов в день интенсивным тренировкам в каком-либо виде спорта.

Отсюда и пошло определение «любитель», который не получает никакой материальной компенсации за занятия спортом.

Тогда не было ни стадионов на сто тысяч мест, ни предпринимателей, организующих спортивные зрелища. Не было и ожесточенного соперничества между разными странами.

Но вот начали образовывать министерства спорта, располагающие средствами, отчисленными от налогов. Многообещающих спортсменов стали назначать на должности, которые являются всего лишь синекурами и позволяют им готовиться к соревнованиям.

Впоследствии, как признается Ги Дрю, этот вид вспомоществования дополнили еще «конвертами». В конце концов Ги Дрю стало стыдно тайно получать эти «конверты», и он решился бросить так называемый любительский спорт.

А дают ли «конверты» певцам, выступающим в мюзик-холле или на телевидении? Не требуют ли от них не брать денег во время подготовки к выступлению, которая иногда бывает столь же длительной, как у спортсменов?

Естественно, при системе интенсивных тренировок мировые рекорды почти ежегодно побиваются. Целые группы специалистов изучают каждое движение, каждый рефлекс рекордсменов.

Но для чего все это? По улице человек ходит не быстрей и не медленней, чем когда-то. В бассейнах, которые только теперь начали строить в наших странах, дети плавают ничуть не с большей скоростью, чем плавал в детстве я. Значит, это спорт ради спорта. И еще: спорт ради зрелища, что практиковали уже древние римляне, иногда со львами в качестве соперников людей.

Мы не заставляем наших атлетов выходить с голыми руками против диких зверей. Сейчас атлетизм гораздо чаще проявляют тогда, когда нужно достать билет на какой-нибудь матч, а это ничуть не легче.

Кроме того, победитель соревнования восходит на пьедестал почета, исполняется национальный гимн и поднимается не менее национальный флаг.

Но при этом спортсменов продают из страны в страну. К примеру, медали для Франции может добыть эфиоп или бразилец, и так водится почти всюду.

Что же касается футбола, то тут на покупку игрока, никогда не бывавшего в стране, одним из героев которой он должен стать, выкладываются порой миллионы.

Нет слов, я наивен. Но уж позволю себе пошутить. Когда я смотрю телевизор, мне хочется, чтобы роли переменились, то есть чтобы десятки тысяч сидящих на скамейках, вопящих, свистящих, размахивающих флагами и вымпелами, вышли на поле, а те, кого обвиняют в том, что они профессионалы, спокойно сидели на их местах и аплодировали им.

9 октября 1976

В торговле и в банковском деле как минимум раз в год подводят баланс. Вот и у меня время от времени возникает потребность составить что-то вроде баланса.

Думаю, я уже говорил о диссертации одного английского профессора; в ней почти тысяча страниц. Я заставил себя пробежать несколько отрывков. В общем, эта диссертация содержит огромное количество цитат достаточно знаменитых людей, об интересе которых к моему творчеству я даже не знал, причем частенько они доходят до дифирамбов.

У меня возникло чувство неловкости. Вместо того чтобы

радовать, меня это скорей угнетает, во всяком случае, смущает.

Это ощущение восходит к моему далекому прошлому: я никогда не именовал себя литератором или писателем. В документах я писал «романист», что для меня является эквивалентом слова «ремесленник».

Так было до тех пор, пока в своем паспорте и в мэрии я не обозначил себя: «без профессии». В сущности, диктовать почти ежедневно свои мимолетные впечатления, безотчетные воспоминания, а иногда размышления, не претендующие на актуальность, — это ведь никакая не профессия.

Я уже давно перестал быть абонентом служб, высылающих профессионалам вырезки из тех газет, которые упомянули о них. Сохранил абонемент лишь во Франции, где в первую очередь выходят мои книги, и чувствую одинаковую неловкость, когда читаю хвалебную критическую статью или просматриваю диссертацию, защищенную в каком-нибудь иностранном университете; таких диссертаций становится все больше. Чаще всего я не знаю языка, на котором они написаны. Перевести я отдал по определенным причинам всего одну или две.

Значит ли это, что я предпочитаю суровую критику или даже брань по поводу моих произведений? Нет, но такие статьи по крайней мере меня забавляют.

Издавна писателя считали неким сверхчеловеком, да он и сам считает себя таковым. Я не хочу говорить о своих современниках, поэтому возьмем не очень давнее прошлое: к Стендалю, Гюго, Бальзаку, Золя отношение было не как к обычным людям; то же было в в начале века с Полем Бурже, Жоржем Порто-Ришем[108], Морисом Барресом.

Они были полубоги и соответственно вели себя в обыденной жизни.

Несколько таких — не стану их называть — есть и теперь.

Начав на следующий день после семидесятилетия, которое я назначил себе днем ухода на покой, диктовать книгу «Человек как все», я был совершенно искренен и остаюсь таким же на протяжении девяти или десяти последующих томов.

Никогда я не считал, что в человеческом обществе существуют ступеньки, по которым поднимаются или спускаются в зависимости от обстоятельств или от происхождения. Мы все являемся частью единого рода людского — от ходящих нагишом жителей Экваториальной Африки или острова Борнео до напыщенных профессоров, членов Академии медицинских наук, Академии гуманитарных и политических наук и бог весть каких еще, вплоть до той, которой дано, не знаю почему, исключительное наименование — Французская Академия, как

если бы она являлась вершиной пирамиды.

Вот, кстати, доказательство того, что так оно и есть: знаменитые ученые, уже являющиеся членами Академии медицинских наук, месяцами, если не годами, интригуют, чтобы попасть во Французскую Академию.

Я не считаю себя в чем-то обездоленным. Но не могу перестать думать, что я такой же человек, как они, только уже не нуждающийся в подобных игрушках и во всяких там кознях.

Потому-то, читая посвященные мне диссертации или статьи, я испытываю подлинное смущение. У меня возникает впечатление, будто меня выделяют из людской массы или ставят вне ее. Однако моя внутренняя сущность велит мне быть частью этой массы: такова моя жизненная потребность.

Уверен, что не смогу прочесть последнюю присланную мне диссертацию, как бы ни была она дотошна и скрупулезно честна. Мне как-то неудобно, что человек посвятил более пяти лет жизни изучению всяких моих писаний, поступков, углубился на несколько поколений в историю моей семьи и неоднократно беседовал не только с моей матерью, но и со многими моими знакомыми.

Вот так же неловко мне, что другой профессор, американец, более пяти лет трудился над составлением полной библиографии моих произведений, которые я и сам-то хорошенько не помню.

Я уже говорил о своем отвращении к термину «социальные классы». Такое же отвращение я испытываю к различиям, которые делают — даже руководители государств — между работниками умственного и физического труда.

Разве, когда я писал свои романы, я не был и работником физического труда, печатающим на машинке почти с рекордной скоростью: девяносто два удара в минуту. Разве я не посвящал этому ежедневно по нескольку часов в день?

Так продолжалось пятьдесят лет. И от этого на мне остались отметины, как у рабочих. Каждая профессия оставляет свой след. В криминологии и в судебной медицине профессию человека определяют по мозолям, по деформациям отдельных органов.

Если понадобится проделать это со мной, нужно будет осматривать не мозг, а отбитые подушечки пальцев и сутулую спину, которую я так долго гнул над машинкой.

Но это не дает мне права на звание рабочего, которым бы я чрезвычайно гордился. Поэтому я читаю посвященные мне труды наспех, пропуская по нескольку страниц, они вызывают у меня какую-то грусть.

Я — частица людской массы. И не желаю, чтобы эстеты меня из нее вырывали.

Я всего лишь человек. Человек как все, — так я заявил на обложке первого тома. И надеюсь оставаться им до конца жизни, не поддаваясь влиянию интеллектуалов, какие бы мнения они обо мне ни высказывали.

Разумеется, я благодарен им за доброжелательное отношение. Но никоим образом не хочу уверовать в то, что они мне внушают.

14 октября 1976

Когда я был ребенком, город Льеж, где я родился и прожил до девятнадцати с половиной лет, был, можно сказать, разделен на три части.

Первая — это район бульваров д'Авруа и Пьерко, сплошь застроенный большими частными особняками из тесаного камня. Об их обитателях почти ничего не было известно: они проводили жизнь взаперти.

Много позже я узнал, кто жил в этих особняках. Хозяева, управляющие и крупные акционеры заводов, окружавших город.

Но их и рабочих с их заводов разделяли районы вроде того, в котором родился и провел детство я, где проживали те, кого американцы называют «белыми воротничками», то есть мелкие служащие, всегда тщательно одетые и стремившиеся жить как «достойные люди». Там же жили и немногие пенсионеры: в ту пору пенсия полагалась только чиновникам и железнодорожным служащим.

Третью часть города я знал плохо, потому что мать не разрешала мне туда ходить, и открывать ее для себя мне пришлось гораздо позже.

В те времена, подъезжая днем или ночью на поезде к Льежу, пассажир видел только высокие трубы, извергающие пламя, и печи для выплавки цинка, меди и бог весть чего еще; голые до пояса рабы, такие же льежцы, как и мы, швыряли лопатами уголь в жерла этих печей, дыхание которых превращало их в инвалидов к сорока или сорока пяти годам.

Стоит ли говорить о моей симпатии к этим рабам и о том, что я мечтал о революции, желательно мировой, чтобы отнять у стариков с бульваров д'Авруа и Пьерко их право распоряжаться жизнью и смертью чуть ли не всего народа.

Особняки на бульваре Пьерко и прилегающих улицах снесли, а на их месте построили большие жилые дома, разумеется роскошные, потому что всегда существуют люди богатые и даже очень богатые…

Мой старый замааский квартал почти не изменился. Это все те же прямые улицы, за исключением улицы Пюиз-ан-Сок, с

чистенькими, непритязательными домами на одно лицо, как правило, без удобств.

Ну а в третьей зоне, в шахтерских поселках, — длинные ряды почерневших от угольной пыли домов, настолько похожих, что удивляешься, как жильцы различают их. Об удобствах и говорить не приходится. Пейзаж такой: огромные черные терриконы, которые словно угрожают обрушиться на приютившиеся у их подножия домики, и высоченные трубы, непрерывно извергающие дым — желтоватый или зеленоватый в зависимости от того, какой выплавляется металл.

Конечно, с того времени под давлением народных масс кое-что изменилось к лучшему. Повсюду уже «третья зона» не так резко отделена от других, но это отнюдь не значит, что перейти из нее в другие стало легче.

Изменения к лучшему не мешают мне оставаться бунтарем, каким я был в детстве. Я всегда радовался любым успехам народа.

Теперь весь мир дрожит перед народом. На биржах паника. Валютный курс падает. Никто не знает, что делать со своими деньгами, если они еще есть.

Я давно предвидел, что настанет день, когда политическая экономия встанет во главе всех наук. Помню, лет в семнадцать я писал: «Грядущий Христос будет не богом, а экономистом».

К сожалению, у крупных собственников и буржуазии долгая жизнь. Если христианство и другие религии сдают позиции, то остается еще одна религия, куда более живучая, — религия денег.

Доказательством тому служат речи правителей большинства стран, а зачастую, увы, и голоса избирателей.

И все-таки революция неизбежно совершается; можете называть ее, если угодно, эволюцией, но я отношусь недоверчиво к слову «эволюция»: оно только искажает и затуманивает реальность.

Я не политик, не экономист. И в глубине души горячо желаю, чтобы Льеж (называю Льеж, потому что это мой родной город, хотя мог бы назвать любой другой) не был больше разделен на три зоны, чтобы эволюция не оказалась чисто внешней и не привела к замене давних всемогущих хозяев сталелитейных заводов, обитавших на бульваре Пьерко, предпринимателями, которые с благословения правительства стремятся заменить чистые и скромные домики замаасского квартала бетонными домами.

Самое забавное, что в этом квартале имеется единственный дом-башня, названный, словно в насмешку, башней Жоржа Сименона.

У меня нет ни одной акции компании, владеющей этим

домом. Мне не принадлежит в нем ни единой комнаты. Тем не менее я получаю письма, в которых люди спрашивают, не могу ли я присмотреть им там квартиру.

Мир кипит. И я счастлив этим. Без кипятка не сваришь обеда.

От всего сердца надеюсь, что обед получится хороший и настанет день, когда не будет ни земного рая для власть имущих, ни ада для рабов.

Того же дня, двадцать минут шестого

Каждый день, чтобы не сказать каждый час, случаются драмы. Статистики на этот счет не существует, но я уверен, что большинство происходящих драм — семейные.

Я много занимался криминологией. Являюсь членом Международного общества криминологов, которое высылает мне свои ежемесячные бюллетени.

Конечно, существуют драмы вроде убийства с целью ограбления, начиная с тех, когда из-за двадцати франков нападают на шофера такси, до убийства, в результате которого завладевают драгоценностями на несколько миллионов.

Но такие преступления не дают нам никакой информации о поведении среднего человека или просто человека. В природе тоже существуют агрессивные животные, теперь, правда, не столь агрессивные, как мы думаем или как нас стараются уверить.

Подлинные человеческие драмы происходят чаще всего в рамках семьи, хотя нам пытаются представить ее как некий идеал, на котором все держится.

У этих драм не всегда бывает кровавый исход, при котором погибает один или несколько человек. Есть драмы, которые я назвал бы глухими, неразразившимися.

Но от этого они не легче и не менее жестоки, доказательством чему служит список адвокатов в телефонном справочнике. Если бы они занимались только защитой преступников, он был бы куда как короток. А чем занимаются остальные? Сотни, тысячи адвокатов, имеющие собственные дома, но почти никогда не упоминающиеся в газетах? Это своеобразная аристократия. Они и вправду прекрасно воспитаны, благомыслящи, строго одеты; их призывают, когда нужно урегулировать семейную драму.

Употребив термин «семейная драма», я несколько преувеличил. Эти же адвокаты занимаются тяжбами между крупнейшими промышленными или торговыми компаниями, как национальными, так и транснациональными.

Но если чуть поскрести фасад такой тяжбы, то окажется, что на самом деле она является прежде всего семейной тяжбой.

Все связано. Когда умирает владелец какой-нибудь крупной компании, в тяжбу о наследстве вступают сыновья, внуки, двоюродные братья и сестры, зачастую вплоть до четвертого или пятого колена. Все они в той или иной степени оказываются противниками, но слишком хорошо воспитанными или слишком трусливыми, чтобы воспользоваться оружием.

Револьвером, которым потрясают перед противником, служит знаменитый адвокат. На этой стадии родственные связи учитываются уже не в частной жизни, а только в административных советах.

Пусть-ка любой так называемый адвокат по коммерческим делам заявит мне, что он никогда не вмешивался в жестокую борьбу между прямыми и непрямыми наследниками какого-нибудь крупного промышленника или землевладельца.

В давние времена, когда семья еще считалась божественным установлением, пятилетний младенец получал иногда отцовскую корону. Королевы приказывали умерщвлять своих детей, дабы поскорей воцариться самим, и их ничуть не клеймили за это позором.

Почему же сейчас должно быть по-другому?

Иной раз проходило два или три века, а то и больше, чтобы открылись преступления в царствующих семействах.

Может быть, понадобится столько же времени, чтобы обнаружились махинации, мерзости, бесчеловечность того слоя, который называют сейчас крупной буржуазией, слоя столь же наднационального, как в эпоху королей, когда достаточно было двоюродного родства или женитьбы десятилетнего мальчика, чтобы захватить чужую страну.

18 октября 1976

Вчера утром температура упала с пятнадцати градусов до пяти. И мне пришла на память строчка, кажется, Виктора Гюго, произведшая на меня в детстве сильное впечатление: «Зима, убийца бедняков». В те времена так оно и было.

И еще припомнился писатель Гектор Мало, главную книгу которого читали все люди моего поколения. Я пытаюсь вспомнить, как она называется. В точности названия я не уверен. Что-то вроде «Путешествия маленького савояра по Франции»[109].

Маленький савояр был нищим музыкантом. У него не было никого, кто бы его приютил. Детских домов тогда не существовало. Но ему повезло, и он встретился с человеком, которого я тогда считал стариком, потому что на картинках у него была седая борода, а основным занятием его было, если можно так выразиться, бродяжничество.

Вместе с мальчиком, которого он взял с собой, старик брел от фермы к ферме. Спали они чаще всего на сеновале. Иногда он находил на несколько дней работу: ремонтировал что-нибудь или следил за скотиной, но платили ему не деньгами, а миской похлебки для него и его маленького товарища и позволением ночевать на сеновале.

Разумеется, сейчас все изменилось. Но, на мой взгляд, недостаточно.

Как раз в эти дни в газетах, по радио и телевидению много говорят об одном самом крупном французском капиталисте. Даются свидетельские показания его личного бухгалтера, поскольку у этого капиталиста столько разных предприятий, что, помимо их бухгалтерий, ему понадобился бухгалтер для личного состояния и проведения негласных операций.

Бухгалтер, который изобличил своего хозяина в уклонении от уплаты налогов и других махинациях, находится в тюрьме.

А сам промышленник чуть ли не каждый день разглагольствует по радио и телевидению, утверждая, что стал жертвой преступного сговора.

Но его поведение, голос и манера говорить не убеждают. Более того, он вполне мог бы играть бандита в полицейском фильме.

И я невольно думаю о маленьком савояре Гектора Мало и о старике, которые брели от деревни к деревне, разумеется, пешком, потому что машин тогда не было.

«Зима, убийца бедняков».

От всей души надеюсь, что придет день, когда этот стих будет казаться чудовищным преувеличением или шуткой.

Народная литература прошлого века от Эжена Сю до Виктора Гюго и Золя старалась вызвать слезы сочувствия к судьбе бедняков. Еще немного, и литература, а также речи нынешних политиков будут заставлять читателя лить слезы над судьбой крупных собственников и промышленных заправил.

19 октября 1976

Мне вспомнился мой самый сенсационный репортаж. Не знаю, рассказывал ли я уже о нем. Если да, тем хуже.

В то воскресенье утром мне позвонил мой главный редактор и сообщил, что в Брюсселе проездом находится маршал Фош, который направляется через Льеж на восток. Я должен был отправиться в Брюссель и взять у маршала интервью. Но я ничего тогда не понимал в международной политике, и маршал Фош представлялся мне этакой бронзовой статуей, а не человеком во плоти. Я поинтересовался у главного редактора:

— А какие вопросы мне ему задать?

К моему великому изумлению, он ответил:

— Спросите-ка его, не в Польшу ли он едет.

Я не представлял себе ни значения этого вопроса, ни тем более последствий ответа.

Шел дождь, и в Брюссель я помчался в старом макинтоше. Вместе с другими журналистами я дождался на перроне прибытия поезда маршала. Коллеги кинулись к дверям, но офицеры оттолкнули их. Я же, выждав, когда поезд тронулся и начал набирать скорость, вскочил в личный вагон маршала. Впрочем, не совсем в вагон: я прыгнул на ступеньку, но держался вполне устойчиво. Один из офицеров свиты маршала заметил меня в окно. Мы уже отъехали от вокзала, и поезд мчался полным ходом.

Сжалившись надо мной, офицер открыл дверь, и вот я оказался в коридоре; стою, молчу, потому что не знаю, что сказать.

Офицер приказал:

— Стойте здесь.

Я стою в макинтоше и в мокрой шляпе. В вагоне шушукаются. Выглянул маршал.

Не знаю, может, он тоже сжалился надо мной. Во всяком случае, через несколько минут появился адъютант и объявил:

— Маршал уделит вам две минуты.

Едва я оказался перед маршалом, он оглядел меня с головы до ног. Лицо его было бесстрастно, как на всех фотографиях и даже на конной статуе. Он осведомился:

— Что вам нужно?

Шагах в трех-четырех стоял адъютант, готовый выхватить пистолет, если я вдруг окажусь, как тогда говорили, опасным нигилистом.

Я выдавил из себя вопрос, подсказанный главным редактором:

— Господин маршал, вы едете в Варшаву?

Поколебавшись секунду, Фош односложно ответил:

— Да.

Таково было мое первое интервью с одним из великих людей. Вернувшись в Льеж, я не чувствовал гордости. Столько акробатики ради одного слова! И как же я удивился восторгу нашего издателя г-на Демарто! Еще больше я поразился, когда он воскликнул:

— Это же сенсация!

Срочно отпечатали экстренный выпуск. А на следующий день газеты всего мира взахлеб повторяли ответ маршала.

Дело в том, что надо было узнать (но я-то представления об

этом не имел), поддержит ли Франция Польшу в любом возникшем конфликте.

Нынешние молодые журналисты куда сообразительней по части вопросов. Я же тогда всего лишь совершил акробатический номер, вскочив на ступеньку вагона, когда поезд набирал ход, и, вероятно, выглядел достаточно безобидно и наивно, так как маршал, в руках которого была в ту пору европейская политика, бросил мне «да», изменившее облик Европы.

6 ноября 1976

Чувствую, что снова буду злиться; за последнее время со мной это случается все чаще. Как всегда, причина в какой-нибудь возмутительной новости, которую приносят мне газеты, радио или телевидение.

Я никогда ничего не понимал в финансовых делах. Не занимаюсь спекуляциями. И тем не менее оказываюсь в курсе всех происшествий, по крайней мере тех, о которых решаются сообщить публике, то есть, по моему определению, «маленькому человеку».

Сейчас, как и когда-то, существуют крупные финансовые и промышленные компании, от которых берут свое начало капиталистические династии.

Предположим, лет сто назад жил да был человек, у которого возникла полезная, а то и гениальная идея. Он помаленьку начал претворять ее в жизнь. Добился успеха. Его предприятие постепенно выдвинулось в ряд крупнейших для своего времени.

С этого и начинается история. Понятно, что у него есть родственники. Его сыновья, зятья, внуки и правнуки получают в наследство не только часть акций, но и посты, для которых они совершенно не подготовлены.

Таким образом, через пятьдесят-шестьдесят лет мы уже видим целый клан, живущий за счет дела, созданного дедом.

Но несмотря на это, а в каком-то смысле и за счет инерции предприятие продолжает расти, пока клан не становится настолько многочисленным, что вместе с двоюродными братьями, сестрами и их супругами состоит уже из огромного количества одних только паразитов.

Такова примерно, на мой взгляд, история всех крупных фирм. Когда же дело начинает близиться к краху, владельцы обращаются к банкам.

Потом — ведь эти фирмы так значительны! — приходит время поживиться за счет правительства: оно считает себя обязанным поддержать их за счет налогоплательщиков.

У меня четверо детей. Я не создал династии и — заранее

прошу у них прощения — признаюсь, был бы счастлив, если бы наследование наконец было отменено.

Я недавно уже говорил об этом. Я задался вопросом, почему из всех видов наследства литературные права ограничены пятьюдесятью годами и под предлогом, что художественные произведения имеют национальное значение, вам ставят памятник и в то же время грабят.

Я счел бы логичным, если бы с наследованием было покончено раз и навсегда, особенно в эпоху, когда политики с пафосом утверждают, что все люди должны иметь равные шансы.

Предпочитаю не входить в подробности и не называть фирмы, которым правительство вынуждено помогать, освобождая их от налогов или давая дотации. Мне известны такие среди самых старинных; они содержат штук по сорок наследников и наследниц, которые якобы работают, но никто, даже председатель административного совета, не представляет, в чем состоит их работа и где находятся их кабинеты.

Я уж не говорю про вдов, которые никогда в глаза не видали не то что прапрадедушку, но и дедушку, а тем не менее сохраняют не только право на дивиденды, но и голос в совете.

Словом, как сказал бы мой сын Пьер, это мир маразматиков. Мир, напоминающий тот, в котором старший сын герцога автоматически становился маркизом, сын маркиза — графом, не считая виконтов, которых была тьма-тьмущая в каждом поколении.

В ту эпоху за все расплачивался простой народ. Неужто же он должен расплачиваться вечно, в том числе и за новую — промышленную и денежную — аристократию?

Я поймал себя на том, что вовсе не злюсь, как предполагал. Я удовлетворен констатацией факта, и все те, кому, как говорится, ведомы тайны богов, знают, что я ничуть не преувеличил.

7 ноября 1976

Сегодня утром я задумался над вопросом, который мне часто задают журналисты — из газет, с радио и телевидения. Вот он:

— У вас есть хобби?

Я неизменно отвечаю:

— Человек.

Разумеется, я имею в виду познание человека. И вероятно, именно поэтому я в течение десятков лет столько колесил по свету, жил среди совершенно разных людей.

Боюсь, что уже затрагивал эту тему. Но поскольку это для меня своего рода потребность, если не навязчивая идея, рискну повториться.

Иногда мне бывало необходимо познать какого-то человека до мельчайших подробностей. Я старался все узнать о его детстве, юности, зрелых годах, старости.

Я хотел знать, какое влияние оказали на него учитель, мать, отец, первые приятели, первые друзья, первые девушки. Пытался понять, почему к пятидесяти годам он стал именно таким — то ли бесцветным, то ли, напротив, знаменитым и самоупоенным.

Важным показателем для меня служил неудачный брак, объяснявшийся чаще всего превосходством одного над другим.

Еще немного, и я мог бы по этим данным составить статистику; в сущности, я примерно это и делал в своих двухстах с небольшим романах.

Когда я произношу слово «человек», то не для того, чтобы делить человечество на категории, а напротив, чтобы выявить общее, то есть открыть сильные и слабые стороны каждого из нас.

Жизнь научила меня важной и внешне примитивной истине: *Человек остается человеком, что бы он ни мнил о себе и кем бы ни стал.*

И сегодня я безотчетно продолжаю наблюдать своих современников. Я встречаю их на улицах, в бистро, куда изредка захожу передохнуть после долгой прогулки или выпить стаканчик белого вина. Я не беседую с ними о политике и уж тем более о философии.

Меня в них интересуют, пожалуй, даже притягивают глаза. Их одежда, машины и манера произносить слова не говорят мне о них самого главного, и, естественно, по ним ничего не поймешь.

Напротив, по глазам человека, даже если он не знает, вернее, когда он не знает, что за ним наблюдают, видно, что он такой же, как все, со всеми человеческими слабостями, которые с годами кажутся мне все более и более трогательными.

Наверное, если углубиться в историю, окажется, что именно из-за своей слабости человек почувствовал необходимость творить героев. Героев, с которыми он мог бы отождествить себя и поверить, что он тоже способен стать одним из них.

Но о чем говорят глаза мужчин и женщин, которых мы встречаем на улицах, в конторах, на фабриках?

Чаще всего о покорности, а то и разочаровании. Психиатрические клиники забиты пациентами, а психоаналитики сейчас самые занятые люди; безработных среди них я не знаю.

Возможно, дело тут в больших городах, дешевых многоквартирных домах, в работе на конвейере, в тревоге за завтрашний день. Лично я не вижу здесь существенных поводов для тревоги и покорности, которые, как только что сказал, читаю в глазах людей.

Тревогу и покорность я повидал в большинстве стран Африки и Южной Америки, да еще в Индии.

Там это та врожденная тревога, причина которой — колдуны, диктаторы, все и всяческие религии.

Отменно начищенные туфли, сшитые в Лондоне костюмы, драгоценности, купленные на Вандомской площади, никого успокоить не могут.

Обмануть на время — вот самое большее, на что они способны.

Человек всего лишь человек. Ученые признаются, что бессильны изменить его, хоть и научились излечивать кое-какие болезни. Они тоже люди. Ученого терзают те же тревожные мысли, что и прочих людей, пусть он даже лауреат Нобелевской премии.

Я не пессимист, напротив. Но может быть, пора забыть о тех образах человека, которые мы себе рисуем из поколения в поколение, и смиренно взглянуть в лицо друг другу.

Из книги «За стеклянной дверью дома»

14 ноября 1976

Думаю, что это наш разговор с Терезой одним пасмурным утром навел меня на вопрос: почему люди, мужчины и женщины, выбирают ту или иную профессию, а следовательно, тот или иной образ жизни?

Со мной все было просто. В тот день, когда врач сообщил мне, пятнадцатилетнему юнцу, что у отца грудная жаба, я вынужден был бросить учебу. Меньше чем через три года отец умер от сердечного приступа у себя в кабинете, один.

Как бы сложилась моя судьба, не заболей он? Мегрэ два года учился на медицинском факультете, но, когда его отец умер от той же болезни, что и мой, выбрал профессию полицейского. И я знаю, почему он так сделал: стремился так или иначе общаться с людьми и по-настоящему познать их.

Не решусь заявить, что, поступая в «Газетт де Льеж», я сознавал эту потребность. В конце концов я стал романистом. Я тоже, как Мегрэ, но только в другой плоскости, пытался познать своих современников.

Жалею ли я об этом? Я, старик, отвечаю: да.

Мы живем в эру биологии. Хотим мы того или нет, это влияет на всю нашу жизнь. Кроме того, нашу эпоху можно определить как эру, скажем, не психологии, но психиатрии, которая является авангардом психологии.

Психолог, психиатр, биолог работают, как правило, в группе, исходят из более или менее точных данных, имеют возможность проводить эксперименты. Свои выводы они должны представить на обсуждение коллег. Кроме того, к ним относятся как к ученым, поэтому идеи, которые они высказывают, получают широкую аудиторию, и это внутренне поддерживает их.

А романист — ни рыба ни мясо, даже если он полвека пытается изучать людей. Зачастую у него тоже есть какие-то идейки, но их воспринимают как причуды. И если профессиональные ученые одобряют его выводы, это ничуть не мешает ему сомневаться в себе.

Он нечто вроде человека вне закона, партизана, солдата тех времен, когда еще не было ни мундиров, ни погон.

Но ведь когда противник захватывает партизан, их тут же вешают или расстреливают.

Вот почему, если бы я выбирал свое будущее, я остановился

бы, скорее всего, на лаборатории или на исповедальне.

И то и другое дает человеку уверенность в себе: он следует определенным путем и работает во имя Науки или Религии с большой буквы, которые через него провозглашают свои истины, хотя это не всегда обязательно истины.

Это ободряет. Дает веру в себя. Партизан вроде меня лишен этого и всю жизнь пребывает в сомнении.

Может быть, в этом причина того, почему я с такой нерешительностью употребляю слово «ученый». Не от зависти, как можно было бы подумать, а потому что сомнение, о котором я только что говорил, должно быть присуще всякому человеку, который ищет истину.

Кролики, морские свинки, крысы, которых изучают в лабораториях, вне всякого сомнения, дают ученым ценный материал. Но не надо забывать, что нас прежде всего интересует человек с его слабостями, низостью, героизмом.

Я не стал биологом, как мог бы мечтать.

Мне всегда не хватает то ли спокойствия, то ли уверенности. Как я часто говорил, я был и буду любителем, которого читают, иногда веря ему, а чаще — пожимая плечами или с легкой скептической улыбкой. Как-то я использовал слово, которое мне казалось адекватным: «Я — художник-любитель». К несчастью, мне не хватает наивности художников-любителей. И не хватает их уверенности в своем таланте. За долгие годы я стал в конце концов профессиональным романистом. И тем не менее — всего лишь психологом-любителем. Тысячи старых крестьян куда большие психологи, чем я.

15 ноября 1976, пять часов дня

Сегодня утром, около одиннадцати, когда я диктовал письма, позвонили из Парижа и спросили, можно ли будет несколько позже взять по телефону интервью о Жане Габене. Тереза была потрясена и, естественно, поинтересовалась:

— Надеюсь, с ним ничего не случилось?

Журналист, однажды как-то интервьюировавший меня и сегодня вынырнувший опять, человек вполне радиофоничный и телегеничный, ответил, что нет, что все в порядке.

Я ждал минут десять. Он снова позвонил, и я в свой черед спросил:

— У Жана все в порядке?

И снова ответили, что все прекрасно. Я дал короткое интервью по телефону. Мне сказали, что имеется в виду фестиваль фильмов с участием Жана Габена.

В три часа, как обычно, я включил радио и услышал, что,

если не ошибаюсь, около пяти утра Жана Габена не стало.

Журналист совершил не просто профессиональный проступок. Я такие вещи называю мошенничеством. Смерть Габена, которого я знал более сорока лет и считал своим большим другом, потрясла меня. Я считал его одним из столпов французского кино; их не так много, а точней, всего три, и все трое были моими ближайшими друзьями: Жан, снявшийся больше чем в десяти фильмах по моим романам, Мишель Симон, умерший в прошлом году, и великий Ремю.

Не знаю, сможет ли кто-нибудь их заменить. Не думаю. Все трое были актерами от бога; перед камерой или на сцене они инстинктивно перевоплощались в своих героев.

Я познакомился с Габеном задолго до войны, когда он играл первых любовников и снимался у Жана Ренуара, тоже моего давнего друга. Ренуар всегда поражался, как естественно Габен проводит любую сцену во время съемки.

Однажды, отсняв особо драматический эпизод, Ренуар несмело спросил:

— О чем ты думал, пока снимался эпизод?

Габен искренне, без всякой рисовки ответил:

— О большом бифштексе, который я сожру, когда закончим сцену.

Он был один из тех, кого я зову актерами от бога. Они не играют по каким-то там правилам. В каждом фильме или пьесе они влезают внутрь своего героя, так что им не составляет большого труда играть естественно и убедительно.

Я не собираюсь диктовать надгробную речь. Мы с Жаном ровесники, разница между нами в полгода. Однажды мы заспорили с ним, кто старше, и чуть было не выложили на стол свои паспорта.

Ты был младше. У тебя была любимая жена и двое детей, которые играли с моими в Канне и в Жуан-ле-Пен.

Ты ушел, и мир опустел для них, но не только для них — для всех твоих друзей.

Ты был и останешься, благодаря телевидению и кино, великим добряком. Но ты был человеком в полном смысле слова, ты никогда не шел на обман, не соглашался на компромисс.

Мы любили тебя.

P.S. Наверно, с тобой и с теми двумя-тремя, которых я назвал, придет конец вашей породе актеров.

21 ноября 1976

Сегодня, как вчера и много дней подряд, я был погружен в

семейные проблемы. Перед обедом я на минутку прилег отдохнуть. И поймал себя на мысли, что думаю о «Вопроснике Марселя Пруста».

Я всегда восхищался Марселем Прустом и был одним из первых его читателей. Потому-го я и задумался, для чего он составил этот вопросник — ради шутки или чтобы исследовать блестящее общество титулованных особ, бывать в котором ему так нравилось.

Вопросник содержит почти классические вопросы, которые можно задавать и ученику, и любой важной особе.

— Ваш любимый цветок?

— Ваш любимый запах?

— Ваш любимый цвет?

— Ваш любимый герой?

И так две страницы. Я, как и все, ответил на них, но меньше, чем за пять минут, причем не задумываясь, говорю правду или лгу. В общем, это смахивает на игру для девиц, зараженных снобизмом.

Кажется, я забыл любимую черту характера? Это не заслуживает того, чтобы остаться в памяти.

Если Пруст рассчитывал с помощью своего вопросника сразу раскрыть психологию человека, то это ему не удалось.

Однако именно он натолкнул меня на вопрос, которого у него нет: «Ваш любимый недостаток?»

Я хотел бы ответить на этот вопрос, немножко видоизменив его:

— Что вы ненавидите больше всего в мире?

Много ответов теснятся у меня в голове:

— Во-первых, нравственную непорядочность.

И тут же просится еще один:

— Снисходительность к себе.

Много ответов приходило мне на ум, пока я, отдыхая, лежал на диване. Все они тянулись к слову, куда более выразительному. Не суетность, не гордыня, хотя эти слова занимают достойное место в моем перечне. Я пытался вспомнить это слово. Я знал его. Но память была бессильна, и, промучавшись четверть часа, я так и не смог его найти.

Нет, это не самодовольство. У этих недостатков все-таки есть более или менее уважительные оправдания. У потерянного слова — нет. Может быть, я все-таки отыщу его.

Впрочем, это не имеет никакого смысла; я полагаю, что вопросник ничего не прибавляет к значению и славе Пруста.

P.S. Секунду назад я был готов заменить недостающее мне

слово словом «трусость». Но у трусости тоже иногда бывают оправдания. Предпочту пока слово «слабоволие».

Того же дня после отдыха

Только я лег отдохнуть после обеда, только положил голову на подушку, как тут же нашел слово, которое так искал все утро, — желчность.

Мне понадобилось столько времени на поиски лишь потому, что оно практически отсутствует в моем словаре и еще менее свойственно мне самому.

Теперь мне полегчало. Это все.

26 ноября 1976

Сейчас существуют профессии, которые еще пятьдесят лет назад и представить себе было невозможно. Причиной этого являются как научные открытия, так и развитие техники.

Но одна профессия, мне кажется, исчезает. Она пока еще существует, но уже отошла на задний план.

Я имею в виду так называемых профессиональных «стрелков», любителей занимать в долг. В 30-е годы их было очень много. Их можно было встретить и в шикарных заведениях вроде «Фуке», и на Елисейских полях, и в барах при крупных гостиницах, и на скачках. Я их прекрасно знал, и порой они бывали весьма колоритны. Чтобы вращаться в обществе, им первым делом было необходимо одеваться у лучших портных Парижа. Во-вторых, им требовалась несокрушимая самоуверенность, веселый нрав и неизменная сердечность. В-третьих (необязательно, но весьма полезно), неплохо было иметь громкую фамилию, быть бароном, графом или виконтом, пусть даже титул будет и фальшивым, как у большинства обладателей частицы «де».

Особенно запомнился один из них, который заявлялся в «Фуке» часам к десяти-одиннадцати утра. «Фуке» в ту пору был Меккой киношников, где встречались продюсеры, актеры, тузы, финансирующие фильмы, и красотки.

Мой герой, человек между сорока и пятьюдесятью, был настоящим бароном; его так и звали Барон. Был он толстый, выглядел оживленным, преуспевающим, безукоризненно одевался и отличался непробиваемой наглостью.

Начинал он обычно так: посидев несколько минут в баре, вдруг замечал ваше присутствие.

— О, такой-то? Вот не ожидал встретить тебя здесь!

Его ничуть не останавливало то, что вы никогда не встречались, более того, никогда в глаза его не видели. Он вспоминал о своих встречах с вами в Стамбуле, о безумной ночи,

проведенной вместе в Афинах или Мадриде, и все это так убедительно, что вам начинало казаться, что это действительно было.

Он тут же приказывал бармену налить, выпивал с вами, перечислял разных людей, якобы ваших общих друзей, и только после этого приступал к операции в собственном смысле слова.

Он сообщал, что вчера у него выдался на редкость неудачный день: он проиграл десять тысяч франков на скачках, всю ночь не везло в покер или что-нибудь в том же роде. А сейчас ему грозят неприятности в клубе и поэтому позарез необходимы десять-двадцать тысяч франков. Сумма называлась в зависимости от личности собеседника.

Все это произносилось так небрежно, как если бы у вас просили прикурить. Вопреки здравому смыслу дело у него нередко выгорало. И вот доказательство: Барон постоянно крутился в фешенебельных местах, все такой же толстый, элегантный, улыбчивый.

На категорический отказ он нарывался редко. Конечно, кое-кто торговался. Вместо десяти-двадцати тысяч франков предлагал тысячу, а то и двести франков.

Барон тоже торговался, и, бывало, дело доходило до ничтожной суммы — ему просто оставляли на стойке стофранковый билет.

Разумеется, выпивка, которую он предлагал вам, шла за ваш счет. И вот, перейдя улицу, он отправлялся «работать» в бар «Клериджа», «Крийона» или «Ритца».

Жизнь тогда была не такая трудная, как сейчас. Каждый понимал, что Барон проходимец, но ни у кого не хватало духу сказать ему это в лицо.

В ту пору таких «стрелков» было множество, да и сейчас они еще не перевелись. Многие из них подробно излагали вам сногсшибательные проекты, как при ничтожном первоначальном капиталовложении заработать одним махом сто-двести тысяч.

В братство «стрелков» входили не только те, кто нацеливался на крупный куш. Как во всякой профессии, были среди них и скромные побирушки. Такие рассказывали о своей семье, о куче детей, которых надо кормить и которые сейчас в связи с непредвиденными затруднениями умирают с голоду.

С этими было проще: им достаточно было сунуть десятифранковую монету.

Думаю, что эта профессия существовала во все времена, но сейчас она становится все более и более трудной. Профессиональные «стрелки» были на заметке у персонала фешенебельных гостиниц и баров и при попытке пройти получали

от ворот поворот. Разумеется, за исключением, как я уже говорил, «стрелков» высокого полета, обладателей титулов и частицы «де».

Да и за вход в «Фуке», в бары «Ритца» или «Крийона» нужно было сунуть десятифранковую монету, а это не по карману мелкому «стрелку».

Поскольку я завел речь о сливках общества, хочу рассказать еще одну историю, но в отличие от предыдущих трогательную.

В тридцатые годы жила-была прославленная в прошлом певица, давно состарившаяся и разорившаяся. Когда-то она закатывала приемы у «Максима»[110], в полдень и по вечерам у нее был забронирован столик у «Фуке». А теперь деньги у нее перевелись, осталось только черное платье, сшитое у знаменитого парижского портного.

В течение пятнадцати лет я видел ее у «Фуке»: она сидела за одним и тем же столом — своим столом! — и любой ее заказ беспрекословно выполнялся. Так решила дирекция ресторана в память о том времени, когда она была одной из самых щедрых клиенток.

Она усаживалась в своем углу, делала заказ, ни к кому, кроме метрдотеля, не обращалась, потом незаметно уходила, и занятые собой посетители, за исключением некоторых, знававших ее в дни славы, даже не подозревали, что рядом находится одна из ярчайших звезд эстрады, которой Фуке из деликатности никогда не подавал счет.

Это правдивая история. Даже те, кто узнавал певицу, из вежливости старались не показывать этого и избегали подходить к ней, чтобы засвидетельствовать свое уважение.

Сам того не желая, я только что воскресил в памяти два полюса так называемой парижской жизни. С одной стороны, циники-профессионалы. С другой, худенькая маленькая женщина в черном, которая ест за «своим» столом.

Или вот еще русские послереволюционные эмигранты. Среди них были князья, великие князья, бывшие гвардейские полковники. За исключением тех, кто бежал из своей страны, сумев прихватить кое-какие драгоценности, они работали шоферами такси или швейцарами ночных кабаре на Монмартре. Я хорошо знал их.

Они образовали нечто вроде небольшой колонии и в будние дни брались за самую унизительную работу.

В квартале Пасси их колония снимала две комнаты. Четыре раза в месяц после работы эмигранты облачались в смокинги и мундиры с орденами и отправлялись в некое подобие клуба, которое они там создали. Здесь они пользовались тем лексиконом, что и во времена своего процветания; обращаясь

друг к другу, присовокупляли титул. Был у них там и карточный стол: ведь в прежние времена эти люди были завсегдатаями игорных домов в Мариенбаде, Монте-Карло, Канне и Довиле.

Четыре раза в месяц они играли, но уже в соответствии с новыми возможностями: теперь ва-банк они могли пойти на однофранковую монету или десятифранковый билет.

Я вовсе не стараюсь кого-то разжалобить. Я просто констатирую.

28 ноября 1976

Издавна, можно сказать с детства, я придаю огромное значение так называемым ключевым словам. Первое такое слово, поразившее меня, я услышал от матери, которая произносила его по любому поводу:

— У меня есть самое необходимое для жизни.

Это странно трогало меня и вызывало, нет, не отчаянье, а жалость.

Ни психология, ни психиатрия, ни могучий аппарат юстиции пока еще не занимаются ключевыми словами.

Однако у каждого из нас есть свои ключевые слова, и они раскрывают человека куда больше, чем любые наблюдения за ним.

Я понял это, когда занимался собственными детьми. У них тоже были свои ключевые слова, которые они употребляли по всякому поводу. Эти-то слова как раз и определяли разницу между ними.

Самые обиходные ключевые слова сейчас: работа, усталость, мрачный, неинтересно, отчаяние, а самое частое — депрессия.

Редко встречаются: радость (я имею в виду радость жизни), удовлетворение собой, а еще реже — спокойствие.

Есть еще одно слово, которое как бы исчезло из языка. Это слово — *усилие.*

Усилие в радости. Связанное с усталостью, иногда трудное, но благодетельное. Так вот, я никогда не слышал, чтобы это слово произносили мои дети или люди, с которыми я встречаюсь.

Они предпочитают слово усталость; видимо, оно в данный момент в моде. Все устали. Впечатление такое, будто все едва ноги волочат, а жизнь — всего лишь тяжкий труд.

В общем-то, для некоторых так оно и есть. Я имею в виду рабочих и людей других специальностей, где человек вынужден тысячу раз на дню производить одни и те же движения, стоя у безликой машины и не общаясь с другими людьми.

Не знаю, каково соотношение между рабочими и людьми, ведущими жизнь куда более свободную. Когда рабочие выражают

недовольство и протестуют, я полностью с ними согласен. Когда, чтобы поставить на ноги одного или двоих детей, мужчине приходится работать на одном конце города, а женщине на другом, отчего в их отношениях появляются горечь и утомление, я могу понять и это.

Но об усталости и унынии говорят как раз не они. Об этом говорят люди, которые, несмотря на более чем достаточные финансовые возможности, не знают ни куда кинуться, ни чем заняться, кроме как гонять по автострадам на сверкающих мощных автомобилях.

Так вот, есть слово, которое я хотел бы возвратить в наш разговорный язык. Это слово *усилие.*

Не то усилие, что необходимо, чтобы пойти на воскресную мессу, не наделать долгов, не угодить в тюрьму за какое-нибудь преступление, но усилие ради усилия, потому что, по моему мнению, для нас это самый лучший эталон и самый верный источник счастья.

Слово *труд* стало чуть ли не синонимом проклятья. Приходится трудиться, потому что нужны деньги, но делается это без радости, угрюмо. Исключения встречаются только в глухих деревнях да иногда среди ремесленников.

Правда, восходит такое отношение к глубокой древности, к Библии: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой»[111].

Опять повторяю слово *усилие.* По мне, это самое лучшее, что может найти человек, чтобы сделать свою жизнь интересной и придать ей подлинную ценность.

Я хотел бы видеть слово *усилие* напечатанным в словарях самым крупным шрифтом.

По моему мнению, только оно дает человеку чувство собственного достоинства.

5 декабря 1976

Почему я, с тех пор как проснулся, думаю о своем друге Феллини? Вероятно потому, что вчера в Италии состоялась премьера его нового фильма «Казанова».

Я думал и сейчас еще думаю о нем потому, что на свете мало людей, с которыми у меня было бы столько общего. Феллини не был на премьере своего фильма. Вопреки тому, что можно предположить, этот крупный, сильный человек, похожий на атланта, очень робок. Немногие догадываются об этом. Его считают высокомерным и самоуверенным.

Я никогда не видел, как он работает в созданных им декорациях с актерами, которых терпеливо выискивает, не желая связываться со звездами.

Но я-то знаю, что он вовсе не самоуверен, не считает себя выше других; он неспокойный, неуравновешенный, всегда недовольный собой человек, не способный использовать кинематографические приемы, гарантирующие безусловный успех.

Успеха он добивается благодаря тому, что кое-кто назвал бы вдохновением, а я, скорей, определил бы как одержимость.

Поэтому отношение у меня к нему братское. Наверно, многие удивляются моему признанию в том, что я человек робкий, старающийся никому, даже незнакомым людям, не причинять огорчений.

У меня тоже есть свои мании, в частности я тоже всегда неспокоен, что частенько противоречит тому, как изображает меня пресса.

По правде сказать, я, как и Феллини, человек без кожи.

Уже больше двадцати лет, как я знаю его и его чудесную жену Джульетту Мазину. Встречаемся мы редко: мы ведь работаем каждый в своем углу. Мы довольствуемся перепиской, но могли бы обойтись и без нее, столько между нами сходства, столько общего, не поддающегося определению.

Я думаю, Федерико Феллини настолько опередил свое время, что по-настоящему значение и пафос его творчества поймут только через много лет. Он безусловно самый великий режиссер нашей эпохи, потому что его творчество — не от техники, не от личных амбиций, а от внутренней потребности.

Я написал более двухсот романов, и если, решительно уйдя на покой, с таким упорством продолжаю диктовать, это тоже идет от потребности. Потребности в чем? Может быть, от потребности избавиться от призраков; то же делает и Феллини, который много моложе меня.

Не верю, чтобы в хорошо сделанном произведении с тщательно обдуманным планом при создании более или менее стереотипных героев они не выходили бы из автора, пусть даже он и не хочет этого.

Сегодня я много думал об этом. Не сомневаюсь, что «Казанова» еще один шедевр Феллини. Но кто из зрителей отдает себе отчет, какой ценой он расплатился за это?

Избавление от навязчивой идеи, возможно, принесет потом облегчение. Но сама эта операция, с которой никак нельзя медлить, — чрезвычайно тяжкое испытание.

Конечно, сравнивать себя с таким великим творцом, как Феллини, — это чересчур. Но всей жизнью, которая была посвящена постепенному избавлению от унаследованных страхов, я получил право судить о нем и восхищаться им, поскольку

чувствую, что его судьба схожа с моей.

Я не создал великих произведений, ни одного шедевра не вышло из-под моего пера. Он — автор величайших фильмов нашего поколения. Но в своей маленькой сфере я занимаю место, позволяющее мне понять его. И если у меня есть моя Тереза, у него есть его Мазина.

10 декабря 1976

Лет в шестнадцать я входил в компанию молодых людей, старшему из которых едва исполнилось двадцать; называлась наша компания «Бочонок» — по бочонку, битком набитому сельдями.

Нас, конечно, было не так много. В основном художники, обучавшиеся в Льежской художественной академии, несколько поэтов и несколько человек без определенных наклонностей.

Ночи напролет мы проводили в беседах то у одного, то у другого, пили много красного вина и закусывали немногими пирожными.

Обо всем этом я уже рассказывал, но с расстояния в шестьдесят лет события приобретают иной смысл.

Целыми ночами мы со страстью, словно от этого зависели судьбы мира, говорили о философии.

Мы глотали труды философов и каждую ночь обсуждали их идеи, иной раз одно-единственное выражение. Например, самое популярное изречение Сократа: «Познай самого себя».

В ту ночь меня понесло. Я доказывал, что часть не может познать целое. А человек — всего лишь малая часть человечества и т. д. и т. п.

Ничуть не ласковей я был и с Платоном, предпочитая ему Эпикура.

Все это я говорю, чтобы перейти к современным проблемам. Я прочел чуть ли не всех философов, за исключением нескольких наиновейших, а они сейчас размножаются, как микробы.

Признаюсь, я им завидую. Они могут позволить себе выдвигать самые фантастические гипотезы, которые невозможно опровергнуть. Для этого нужны были бы философские противоградовые пушки вроде тех, что используют для разгона градовых туч над полями и виноградниками.

Им дозволено все. Философ, будь он немец, американец, француз, вправе создать собственный словарь, чтобы придать своим бредням наукообразность.

Одна-единственная книга может принести ему мировую известность, и чем она темней, тем меньше ее будут оспаривать.

Философы — счастливые люди: им никто не противоречит.

Такие счастливые, что большинство из них доживает до глубокой старости, и до последнего часа у них есть ученики.

Они изучили все религии, каждый, разумеется, в зависимости от своей направленности. У некоторых из них заметны гуманные наклонности, но большинство в них не слишком верит. В основном они предпочитают пребывать в сфере абстракций, так сказать, в космосе, в пространстве, о котором они тоже спорят.

Стало модой (мода существует на все) философам — я имею в виду преподавателей философии — через какое-то время приниматься за романы. В США не такая уж редкость профессор философии, для разнообразия и, по всей видимости, ради улучшения своего материального положения сочиняющий детективные романы.

Надо сказать, эти детективы, равно как и романы французских философов, самого низкого пошиба.

Они привыкли, что им никто не противоречит, и считают себя единственными носителями истины чуть ли не в космическом масштабе.

У меня есть такие знакомые. Признаюсь, я никогда с ними не спорил, поскольку их аргументы таковы, что без раздражения отвечать на них невозможно.

Не так давно романы писали романисты. Сейчас же, говоря коммерческим языком, рынок наводняют профессора Сорбонны и даже преподаватели лицеев.

Остальным остается халтура вроде черной работы над воспоминаниями какого-нибудь певца или певички.

Я не верю в философию. Мы слишком ничтожны и средства наши чересчур ограничены, чтобы иметь целостное представление о мире. Даже при помощи физиков, биологов и всех, кто пытается его постичь.

Иной раз мы делаем шаг вперед, но только для того, чтобы тут же сделать два или три шага назад.

Как могут ничтожные черви вроде нас судить о чем бы то ни было перед лицом Вселенной, которую мы не в состоянии измерить и которая, возможно, бесконечна?

Я снова возвращаюсь к спору в «Бочонке» и к знаменитому изречению Сократа: «Познай самого себя».

Сейчас я уже не спорю с ним. В сущности, единственное, что как-то может познать человек — да и то с риском ошибиться, — это он сам, его личность.

Ну а откуда мы пришли, кто мы и куда идем, это нас не касается. Нам достаточно того, что мы живем. Все прочее — это мелкая, ничего не значащая интеллектуальная игра философов.

8 февраля 1977

Если я не ошибаюсь, а память у меня становится все слабей, Буало изрек: «Когда вы хотите сказать, что идет дождь, пишите: *идет дождь*».

Вот как сегодня. А вчера по-весеннему светило солнце. И мне все время вспоминается это изречение Буало.

В начале своей карьеры я писал рассказы для «Матен»; Колетт, ставшая потом моим другом, была там редактором и систематически отвергала мои первые рассказы, приговаривая:

— Слишком много литературы, дорогой Сим. Не надо стремиться к литературности.

И сейчас, и тогда мне это казалось парадоксальным, потому что уж если у кого во французской литературе и был изысканный стиль, так это у нее.

Со времени появления моих первых романов кое-кто из критиков, особенно почему-то бельгийцы, обвиняли меня не только в отсутствии стиля, но и в неправильном французском языке. Вполне возможно. Я жил в Париже. Они в Брюсселе.

В ту пору наибольшую поддержку оказал мне Андре Жид: он считал мой стиль не только правильным, но даже образцовым.

Мы много раз встречались с ним. Вопросы стиля — единственное, чего я не решался с ним обсуждать: тогда мне пришлось бы говорить о его книгах и сказать, что, за исключением «Дневника», я не смог ни одну из них дочитать до конца. Именно из-за стиля — слишком правильного и слишком элегантного.

То же с Анатолем Франсом, против которого я бунтовал с шестнадцати лет. Ни одного его романа я тоже не смог дочитать до конца.

Кто-то сказал: «Стиль — это человек»[112].

Это могло бы объяснить мое безразличие, если не отталкивание от прекрасно выделанного, блестящего и предельно элегантного стиля.

Я вовсе не за шероховатый и неотделанный стиль. Мне трудно читать Селина[113], которым я восхищаюсь именно из-за того, что у него перейдена мера антистиля.

Новый стиль не создается употреблением чуть ли не в каждой фразе слов вроде «дерьмо», «задница», «черт подери!» и других.

Наверное, по причине возраста я почти не употребляю подобных выражений — разве что когда они решительно необходимы.

У Жида было сознание, что он пишет для потомства, и он с любовью отделывал свой синтаксис. Ни одно письмо, даже интимное, не выходило из его кабинета, не пройдя стадию

черновика; копии писем тщательно сохранялись.

Не знаю почему, я, испытывающий отвращение ко всему литературному, заговорил сегодня о литературе. Возможно, из-за Буало.

Идет дождь!

Из книги «Я остался мальчиком из хора»

17 марта 1977

За несколько лет (назову их годами ученичества) я написал кучу развлекательных романов как для сентиментальных девушек, так и для молодых людей, мечтающих о приключениях, а также сотни так называемых «галантных» рассказов, которые сейчас показались бы совершенно невинными, а однажды утром на борту моей яхты «Остгот», стоящей в гавани Делфзейла, попробовал писать детективный роман. Это была как бы ступенька к литературе, хоть я и ненавижу это слово. В сущности, нет ничего легче, чем написать детективный роман. Прежде всего необходим, особенно в американских романах, хотя бы один труп. Затем необходим инспектор или комиссар полиции, который ведет расследование и имеет право рыться в прошлом и настоящем любого человека. И наконец, необходимы подозреваемые, которых автор ради финального сюрприза более или менее удачно замаскировал.

Инспектор или комиссар как бы играет роль перил на крутой лестнице. Читатель идет следом за ним. Вместе с ним подозревает, порой делит с ним опасности. И вот на последних страницах раскрывается правда.

Даже если роман плох, редко бывает, чтобы читатель отшвырнул его после нескольких первых глав: хочется знать, чем он кончится. С обычным романом все не так: если он не трогает, его бросают после второй или третьей главы.

Итак, в Делфзейле на севере Голландии я написал на борту «Остгота» свой первый детективный роман. Тогда я не знал, что за ним последует целая серия романов с одними и теми же героями. Даже внешность Мегрэ в нем была едва обрисована.

Это был крупный человек; он много ел, много пил, терпеливо выслеживал подозреваемых и в конце концов, как положено, выявлял истину.

Основные развлекательные романы я публиковал у Фейара, ему же я послал и рукопись о Мегрэ.

Фейар был красивым мужчиной с серебристыми висками. В кино его ждал бы грандиозный успех. Однако он был еще и издателем, имевшим нюх. Это он создал «Кандида», первый еженедельник большого формата, вокруг которого собрал самых блистательных журналистов той поры. Немного позже, разумеется до войны, он же создал «Я везде». Он также выпускал

«Вольные сочинения» и «Завтрашнюю книгу», последнее было относительно дешевым изданием среди тех, что пользовались тогда спросом.

Успех сделал Фейара самоуверенным, и он свысока и категорически высказывался по вопросам журналистики и литературы.

Послав ему рукопись, я ждал в Делфзейле, где мне каждое утро приходилось колоть лед вокруг яхты: дело было зимой. Ждать пришлось недолго. Меня телеграммой вызвали в Париж, и на столе у Фейара я увидел свою рукопись.

— Сколько времени потребовалось вам, чтобы написать этот роман?

— Неделя.

И благосклонно, словно Зевс, он попросил меня за месяц написать для него роман такого же рода с тем же героем.

Вслед за этим я полтора года писал такие романы. Успех превзошел все ожидания. Пошли переводы: четыре, шесть, потом десять.

Только я, как нынче говорят, уже обожрался этим. Вернувшись в Париж, я заявил, что бросаю эту серию, ибо чувствую себя способным написать роман без трупов и полицейских. До сих пор помню реакцию Фейара. Человек он был чрезвычайно учтивый, и я впервые видел его в бешенстве.

— Вы — как все. Успех вскружил вам голову, и вы вообразили, что снова добьетесь его, если станете писать не детективные романы.

И привел мне в пример Конан Дойла, который не мог больше и слышать о Шерлоке Холмсе, а ведь остальные его романы были чуть ли не катастрофой. Называл и других, но их фамилий я уже не помню. А закончил так:

— Вас ждет именно такое будущее.

Я выстоял. О Мегрэ я писал лишь в промежутках между развлекательными романами и теми, которые тогда называл «просто романами», потому что терпеть не мог термина «психологический роман».

Папаша Фейар смирился и опубликовал «Дом на канале», «Лунный удар», «Красный осел» и некоторые другие.

Как раз тогда Гастон Галлимар, белые обложки которого были чрезвычайно престижны, решил через одного нашего общего знакомого сблизиться со мной. Между нами состоялся разговор, который мне хочется передать в подробностях. Гастон Галлимар тоже был красавец мужчина и поразительно учтив. Горячо пожав мне руку, он провозгласил:

— Сейчас не будем говорить о делах. Пообедаем в ресторане

(разумеется, он имел в виду самый знаменитый ресторан в Париже), там и поболтаем.

На что я ответил ему примерно так:

— Господин Галлимар, прежде всего хочу вас предупредить, что никогда не стану звать вас Гастоном. (Все издательство на улице Себастьен-Боттен вплоть до телефонисток и машинисток звало его по имени.) Я не намерен ни обедать, ни ужинать с вами. Наш деловой разговор состоится либо в этом кабинете, либо у меня, и ни секретарша, ни телефонные звонки не должны нам мешать.

Гастон Галлимар, в сущности, был человек робкий, и потому я позволил себе говорить с ним весьма решительно. В результате через час был подписан наш первый договор, и с тех пор я только в исключительных случаях появлялся на улице Себастьен-Боттен. Ежегодно, когда приходил срок возобновления договора, Галлимар сам приезжал ко мне в Ниёль-сюр-Мер.

Потом между нами завязалась прочная дружба. Сейчас я дружу с его сыном Клодом, который тогда был еще подростком.

В течение пяти лет я не написал ни одного детективного романа, оставив Мегрэ в его кабинете на набережной Орфевр. У моих недетективных романов вопреки пророчествам Артема Фейара оказалась та же судьба, что и у детективных.

Почему же время от времени я снова возвращался к Мегрэ? Дело в том, что я получал массу писем, авторы которых предполагали, будто я стыжусь Мегрэ и потому оставил его. Примерно то же писали некоторые критики. В то время я сочинял по шесть романов в год и решил по крайней мере один из них посвящать Мегрэ. Для меня это был отдых. Я отвлекался от романов, которые теперь называю «трудными».

Я так и продолжал писать; этим объясняется, почему у меня больше романов без Мегрэ, чем с ним.

2 апреля 1977

Порой у меня возникает желание изобразить человечество как огромную колбасу, разрезанную на тонкие ломтики: каждый ломтик считает себя лучше и больше, чем прочие, и всячески старается продемонстрировать свое превосходство.

За свою жизнь я встречался с десятками тысяч людей. Не припоминаю ни одного мужчины, ни одной женщины, у которых не было бы потребности в чем-то проявить свое превосходство, иной раз в весьма нелепых сферах. Однако по концам колбасы имеются кусочки (они называются горбушками), статус которых совершенно отличен от статуса остальных ломтиков.

Во-первых, дети, в том числе младенцы. Считается, будто они

не способны мыслить, потому что не умеют говорить или говорят плохо; поэтому раз и навсегда было решено, что у них нет права на свободу воли.

Так называемые взрослые, склоняясь над колыбелькой, тут же изрекают:

— Какой очаровательный ребенок!

Даже если он уродлив или, более того, кретин и таким останется на всю жизнь.

В течение многих веков отвесить ребенку затрещину считалось наилучшим воспитательным средством, сейчас этот обычай исчезает. Раздачу оплеух родители почитали своим долгом, и при этом были весьма довольны собой. А для тех, кто оплеух не получал, существовало пренебрежительное определение «балованное дитя».

В детском саду шаловливого и непослушного ребенка ставят в угол; в пору моего детства в углу нужно было стоять с поднятыми руками.

Единственное, что вбивают в головы будущим мужчинам, которые понадобятся для грядущих войн, это, с позволения сказать, чувство, определяемое мерзким словом «почтение».

Непочтительный ребенок считается чуть ли не преступником. Хорошими слывут дети, почитающие папу и маму, дедушку и бабушку и вообще всех родственников, почтительные с учителем или учительницей, не говоря уже о директоре школы, а также кюре, который рассказывает им о восседающем на розовом облаке боженьке, добром, бородатом, но с молнией в руке.

Сколькие осмеливаются бунтовать? Немногие, а если я все это и выдержал, то потому, что не был одним из тех, кто бунтует, и по причине, которая не ясна мне самому, был, что называется, примерным учеником.

Это не осталось без последствий. Долгие годы я не желал говорить о некоторых вещах и не мог решиться на многие поступки.

Лет в восемнадцать-девятнадцать бывший розовенький младенец в соответствии с законом все еще остается рабом. Юридически он еще не является личностью; только в нескольких странах восемнадцать лет считаются совершеннолетием.

Исключение делается лишь для войны. Тут уж его объявляют мужчиной и посылают убивать и умирать.

Но вот приходит свобода, то есть пресловутые двадцать один год. Однако человек в этом возрасте ходит в подмастерьях; он ниже всех и в конторе, и в цехе.

Помню, как-то (мне еще не было тридцати) я написал: «В прошлом веке романы, как правило, кончались свадьбой и

сакраментальными словами: они жили счастливо и имели много детей».

И добавил:

«Вот тут-то и начинается драма».

Люди, мужчины и женщины, начинают вести борьбу за место в жизни, жестокую, безжалостную борьбу, и это относится не только к политикам.

За двухкомнатную квартиру? За трехкомнатную? За дешевую муниципальную? Или за яхту, замок, роскошный загородный дом? Самое любопытное, что те, кто к определенному возрасту не добился положения, с завистью и уважением смотрят на тех, кто, по их мнению, достиг его, пусть даже нечестным путем, и довольны, если удается потереться среди удачников.

Человек, встречающий пятидесятилетие без ордена на лацкане пиджака, — неудачник, ничтожество.

Такие люди спиваются, озлобляются, становятся желчными.

Но я забыл о втором конце колбасы. Мы шли от колыбели. И дошли до старости. Для стариков создана масса благотворительных учреждений, сотрудницы ведомства общественного призрения навещают самых неблагополучных или стараются устроить их в больницу, откуда им уже нет выхода. Я всегда присматривался к глазам стариков и старух. В них уже нет возмущения ребенка, которого учительница поставила в угол. В них читается скорее покорность, а то и безразличие.

Среди стариков встречаются брюзги, капризники или просто вздорные болтуны. Но ведь никто не пытается узнать, о чем они думают. Теперь их не заставляют влезать на кокосовую пальму, как было заведено когда-то, да и теперь еще в обычае некоторых племен. Общество попросту терпит их, забывая, что они, невзирая на немощь, такие же люди, как все.

Им тоже необходимо положение в жизни. У американских индейцев и у некоторых других племен старики — самые почитаемые люди, с ними всегда советуются.

У нас, на Западе, стариков уважают только в случае, если они носят зеленый сюртук и треуголку[114], являются министрами или миллиардерами.

Меня беспокоит одна вещь. Конечно, иногда крестьяне, порой неграмотные, доживают до ста лет, а в деревне, где я жил, было целых три столетних старика.

Подобных долгожителей так мало, что о них пишут в газетах.

Но что же тогда говорить, например, об академиках, доживающих, как правило, до весьма преклонного возраста благодаря той мишуре, которую они имеют возможность нацепить на себя.

Так же дело обстоит и с политиками. Можно бы сказать, что положение, если еще раз употребить это слово, помогает стать долгожителем.

В то время как рабочий выходит на пенсию в шестьдесят или шестьдесят пять лет (в пятьдесят пять на пенсию выходят только женщины и те, кто занимался опасной или вредной для здоровья работой), эти, как их еще называют, добившиеся всего люди продолжают свою деятельность и, уж во всяком случае, окружены почетом, хотя и впали в маразм.

Я не люблю этого слова. Только что я говорил, что пытался читать в глазах стариков. И никогда не мог понять, о чем они думают долгими днями, но я убежден, что они думают, хотя, по правде говоря, предпочитаю не знать, о чем. Глядя на них, мы можем составить себе чересчур удручающее представление о жизни.

Средняя часть колбасы весьма обыкновенна. Для одних жизнь состоит в том, чтобы любой ценой заработать семье на хлеб. Для других — влезть на крышу автомобиля и, воздев руки, благословить толпу у Триумфальной арки.

Что же определяет судьбу одних и других и что создает миллионы пропастей разной ширины между людьми? Воздержусь от ответа на этот вопрос, над которым столько лет бьются биологи всего мира, да так и не находят убедительного ответа.

6 апреля 1977

Этой ночью я вдруг нашел название для серии моих новых книг. Та, которую я сейчас диктую, двенадцатая с той поры, как я ушел на покой. Уже вышло несколько томов, но каждый под своим заглавием. Было бы неплохо, когда их будут переиздавать все вместе, дать им какое-то общее название. Я много думал над этим в часы, как я их называю, наибольшей ясности ума. Ничего удовлетворительного не находил. «Мемуары» слишком затаскано и к тому же предполагает некую последовательность во времени.

«Смесь» — в этом для меня есть что-то слишком философское. В конце концов я остановился на самом простом и невзыскательном общем названии: «Я диктую».

11 мая 1977

С тех пор как я начал подрастать, меня больше всего удивляло, что жизнь как мира, так и отдельного человека идет вовсе не по прямой линии, нисходящей или восходящей, скорей уж ее можно представить в виде зигзага.

Мы считаем, что делаем открытие, но однажды узнаем, что оно было сделано еще за сотни, а то и тысячи лет до рождества

христова. Мы говорим о шуме, а в мире не было города более шумного, чем древний Рим. Пробки были и тогда, когда люди ездили в каретах, запряженных лошадьми. Мы говорим о преступности. Но ведь по обеим сторонам кареты скакали всадники, готовые в случае необходимости защитить ее пассажира.

Если не ошибаюсь, первым позаботился об обеспечении хотя бы относительной безопасности парижан и учредил ночную стражу г-н де Сартин[115].

А до того каждый должен был сам себя защищать; потому вельможи и дворяне всегда ходили со шпагой на боку.

С той поры мало что изменилось. Сейчас нет бретеров, убивающих ради собственного удовольствия, зато есть профессиональные убийцы, и подчас избавиться от конкурента стоит очень недорого.

Пришлось создать банки, причем некоторые мирового значения и весьма респектабельные, но не проходит недели, чтобы не лопнул еще один банк и его клиенты не превратились в нищих.

Возбуждается судебное дело. Но ввиду наличия национальных границ и различий в законодательстве разных стран банкирам-мошенникам в конце концов всегда удается выпутаться.

Некоторые, таких немного, в миг катастрофы предпочитают пустить себе пулю в лоб, но это нисколько не облегчает положения мелких и даже крупных вкладчиков.

Сегодня утром я провел опыт. Купил один из тех чудесных аппаратов, что ежегодно изобретаются заново. Купил в солидной фирме, размещающейся в собственном здании. Клиентура у нее уменьшается, потому что появилось множество магазинов «умеренных цен», где товары продаются на двадцать-тридцать процентов дешевле.

Простофили клюют на это. Их не предупреждают, что не предусмотрено обслуживание купленных вещей и не дается никаких гарантий. Мне известно, что для магазинов «умеренных цен» специально производится аппаратура, которую внешне ни за что не отличишь от аппаратуры солидных фирм. Это приносит прибыль. Максимально возможную.

Разве в Библии Исав не продал первородство за чечевичную похлебку? Он был голоден.

Люди по-прежнему испытывают голод, особенно на деньги. В тех, кто за малый срок сколотил большое состояние, кто наиболее жаден (а это зачастую должностные лица), видят чуть ли не святых.

Делается все для того, чтобы соблазнить малых сих, простаков. Я имею в виду не только жульнические распродажи или сомнительные дела, в которые их втягивают и в которых они в конечном счете всегда остаются в дураках.

Я имею в виду объявления, заполняющие страницы газет. Они бывают двух сортов. Во-первых, предложение кредита. Кто угодно или почти кто угодно может получить в банке или в специальной кассе крупную ссуду, причем в объявлении иногда оговаривается: «Никаких вопросов не задавать».

В этом промысле участвуют даже правительства. Вам сулят 10, 12, чуть ли не 20 процентов на ваш маленький капитал.

Это не ново. В средние века не раз развязывали кровавую, беспощадную войну, заманивая на нее крестьян дармовой землей, которая их якобы ждет.

Во времена монархии и аристократии ни один брак не заключался без долгих торгов, и большинство так называемых титулованных дворян, сохранившихся до сей поры, брачными узами оплатили остающиеся в их владении замки.

На прошлой неделе крупная и популярная парижская газета обнародовала соображения некоего герцога на этот счет. Род его восходит, по его словам, к XIII веку. По простоте душевной он заявил: «Если бы не браки с дочерьми крупных торговцев, не осталось бы ни герцогов, ни вообще дворянства».

При других обстоятельствах такой герцог, вероятно, попал бы в исправительный дом или по меньшей мере заслуживал бы этого.

Другой герцог (а во Франции их больше сорока) был убит прямо на улице, и это весьма смахивало на сведение счетов между жульем[116].

Действительно, эволюция идет зигзагами. Но вылезают наверх, сколачивают состояния и добиваются почестей всегда одни и те же.

Богатые, те, у кого нет совести, остаются богатыми. Бедные, те, кто наивно верит в читаемую им мораль, на всю жизнь остаются бедными.

После всех этих размышлений я вдруг с удивлением подумал, что со всеобщим образованием, с расширением торговли и ее возможностей исчезла та знать, что была при Людовике XIV. Нет, она, конечно, еще имеется, но время теперь другое, и называется она по-другому. К примеру, Ставиский[117] или Синдония[118] могли бы быть по меньшей мере герцогами, а то и князьями.

Ах, если бы завтра или послезавтра не стало больше герцогов… то есть прохвостов!

19 мая 1977

Сегодня я коснусь вопроса, который мне столько раз задавали профессионалы, хотя не уверен, удавалось ли мне на него ответить.

Вопрос этот мне всегда казался весьма наивным, и я попытаюсь ответить на него столь же наивно.

— Господин Сименон, вы знаменитость. Как вы это воспринимаете?

Слово «знаменитость» меня несколько раздражает: слишком уж ко многим оно прилагается — и к Мирей Матьё, и к Джонни Холлидею, и благодаря рекламе ко всяким девицам, нашедшим себе импресарио, и к «кошечкам», выступающим по телевидению, хотя, признаюсь, я не в силах отличить их друг от друга.

А если говорить серьезно, от того, что я знаменит, я получаю сомнительное удовольствие, чтобы не сказать — прихожу в уныние. Да, конечно, мне пишут со всего мира — от прославленных медиков до десятилетних детей. И трудно сказать, чьи письма трогают меня больше.

Мой старинный друг Морис Гарсон, человек исключительного ума и к тому же обладающий обостренным чувством юмора, однажды вечером доверительно сказал мне: «Медали и почести — вот единственное, что можно предложить старикам».

В конце концов он тоже оказался членом Французской Академии.

Другой мой друг, профессор Потрие, один из самых крупных французских дерматологов, рассказал мне то ли латинскую, то ли древнегреческую (точно не помню) басню про осла, который переправлялся через реку и утонул, потому что был перегружен медалями.

Что значит быть знаменитым?

За исключением певцов и певиц (имена трех или четырех из них по чистой случайности мне известны), знаменитыми становятся под конец жизни. Это как в армии: с годами повышаешься в звании и в должности. Получаешь множество орденов, и, надо признать, в официальных учреждениях тебя принимают с почтением.

Я являюсь членом двух академий, одна из которых — американская. Льежский университет организовал «Центр по изучению творчества Жоржа Сименона», куда я передал все свои книги, рукописи и архив, в том числе корреспонденцию. Во всем мире пишут все больше диссертаций о моем творчестве, да только я никак не соберусь почитать их.

Воспользуюсь словом, которое, похоже, я часто повторяю и которое все время передразнивает Тереза:

— Зачем?

Все это ничуть не прибавляет и не убавляет мне уверенности в себе. Скорей уж, сравнивая себя с теми, кто занимает в нашей профессии ведущее положение, я мог бы от всего этого почувствовать себя униженным.

Часто говорят о неблагодарном возрасте. Существуют разные мнения на этот счет, но теперь я полагаю, что подлинно неблагодарный возраст — это старость.

В старости теряешь всякие иллюзии, если они еще сохранились. Прекращаешь бороться и за материальные блага, и за карьеру. Перестаешь доверять отзывам и славе.

Я говорю не о себе: я отнюдь не прославлен.

Тем не менее я остаюсь верен жизни и как никогда хочу жить долго-долго. Но ни награды, ни официальные почести не прибавят мне ни года жизни, чтобы я подольше мог любоваться сквозь стеклянную дверь листвой, освещенной солнцем и трепещущей от легкого ветерка.

22 мая 1977

Еще до войны я получал предложения от молодых, уже признанных составителей родословных провести разыскания корней моего рода как по отцовской, так и по материнской линии. Я не ответил на них. Но неделю назад я вдруг бесплатно получил свою генеалогию и просмотрел ее.

Не стану говорить, что прочел все целиком. До 1650 года я обнаруживаю там только фламандские, голландские или немецкие фамилии, и притом их трудно прочитать: с документов, если это было возможно, то есть если они не сгорели, были сделаны фотокопии.

Я спрашивал себя, почему я, родившийся в Льеже, проведший детство на улицах довольно большого города, очень рано стал удирать из городов, и прежде всего из Парижа, где мне приходилось в связи с моей профессией проводить часть года, но все-таки не самую большую. У меня были две страсти: деревня и море.

Путешествие на «Жинетте» по рекам и каналам Франции оказалось первым проявлением этой моей склонности. Потом настал, если можно так сказать, этап «Остгота», десятиметровой, построенной из прочного дуба яхты, на борту которой я отправился в северные моря.

А в тридцать два года я держал больше полутора сотен кур, пятьсот уток (в моих владениях был большой пруд) — словом, всех обитателей птичьего двора, а кроме того, трех волков, которых вывез… из Турции.

Не говорю уже о коровах, о возне в огороде, о рубке леса, которую я освоил в своем поместье.

Два профессора порознь, не будучи знакомы друг с другом, перерыли архивы всех деревень, где жили мои предки, и дали мне объяснение моих склонностей.

Я, например, не знал, что мой дед, которого я называл шляпником, поскольку это стало его профессией после того, как он бродячим подмастерьем обошел всю Францию и большую часть Европы, родился на маленькой ферме. Иначе говоря, он был человеком от земли. То же можно сказать и о других моих предках, следы которых обнаружены и в бельгийском Лимбурге, и в голландском Лимбурге, и в немецком Лимбурге[119].

Фамилии, которые я открыл в этих документах, мне ничего не говорят, а кроме того, они искажены печатниками, поскольку все это сложные фамилии с трудным написанием.

Моя семейная фамилия, прежде чем была вписана в акты гражданского состояния, претерпела такие изменения, что потребуется чуть ли не целый словарь, чтобы перебрать все ее варианты. Есть Симини, Симони, Симононы, Семеноны, да все не перечислить.

Но меня поразило то, что все мои предки трудились на земле: иные владели небольшими фермами, иные нанимались на фермы работниками, то есть были, по официальной терминологии, поденщиками.

Мой род насчитывает многие поколения маленьких людей, мужиков, как когда-то говорили, и поэтому я перестал удивляться тому, что меня так интересуют сегодняшние маленькие люди.

Правда, были два исключения. Мой дед Брюлль, отец матери, начавший как мелкий фермер во Влейтингене, понемножечку скопил состояние и стал владельцем нескольких барж, плававших по каналам, но потом все потерял и умер, когда моей матери было шесть лет.

Был еще второй, фамилию которого мне трудно воспроизвести; он имел более чем достаточное состояние, но канул в забвение.

Я убедился в своей тесной связи с землей и с простым людом. Мне приходит на ум еще одна гипотеза, и, как всегда, она связана с детством.

Частенько я бывал не слишком снисходителен к братьям миноритам из христианской школы. Школа находилась на улице Закона, как раз напротив дома, где мы жили. Мне надо было только перейти улицу.

Перемены мы проводили в обширном дворе. Но позади главного здания находился большой огород, где нам в награду

позволяли поработать во время перемены. Огород был разделен грушевыми деревьями на несколько участков. Грядки и проходы между ними шли по шнурку. Выстроившись в ряд, коленями на земле, прохладной или теплой в зависимости от сезона, но всегда влажной, мы выпалывали сорняки и лишние ростки овощей, чтобы они не забивали друг друга.

Это одно из лучших воспоминаний моей жизни. Я ощущал непосредственный контакт с землей и следил, как растут овощи, словно это было для меня безумно важно.

За свою жизнь я сменил тридцать два дома, и к каждому примыкал сад и угодья. В доме в Эпаленже, где я больше не живу, но который был, кажется, моим тридцать вторым домом (я так и не хочу с ним расстаться), сад был копией сада братьев миноритов. Грядки были примерно такого же размера. И так же кусты малины отделяли одни овощи от других. И имелась такая же маленькая оранжерея для выращивания рассады и сохранения некоторых видов растений зимой.

Все мои предки, насколько я могу заглянуть в прошлое, были связаны с землей. Что же удивительного в том, что для меня гораздо важнее вести наблюдение за моим садиком и птицами, чем отправиться завтракать или обедать в город — чего я никогда не делаю — или сходить вечером в кино?

Я благодарен тем людям, что без моей просьбы объехали множество деревень и пересняли документы. Им пришлось проделать большой путь, получать разрешения у официальных лиц.

Благодаря им получила подтверждение моя догадка: я — крестьянин.

11 июня 1977

Вчера днем я дал большое интервью симпатичному и весьма интеллигентному сотруднику «Юманите». Насколько я понял, оно будет первым в серии статей о городах Франции. Когда меня попросили выбрать город, я почти не раздумывал. Я мог бы взять Ла-Рошель: я досконально знаю ее.

Я же предпочел написать о всей Франции, но малоизвестной — Франции рек и каналов. В 1924 году я прошел чуть не через тысячу девятьсот пятьдесят шлюзов. Плавал я не на яхте. Мое суденышко было простой шлюпкой; такая, как правило, имеется на борту яхты и служит прогулочной или спасательной лодкой.

На буксире мы тащили лодку, в которой лежала пишущая машинка, спальные принадлежности, палатка вроде тех, которыми пользуются бойскауты, и т. п.

Все это я уже рассказывал. Я попытался представить

подлинный облик Франции, открывающийся с воды. Ведь когда-то самые уютные районы деревень и городов были обращены к рекам или каналам. Так было и в Париже, великолепные набережные которого теперь превращены в чудовищные автодромы.

Мое плавание с севера на юг и с востока на запад продолжалось почти год, поэтому в интервью мне пришлось говорить только о самом интересном и ужиматься.

Я как бы пытался нарисовать книгу картинок и представить в ней психологию и образ жизни жителей каждой местности.

А вчера перед сном задумался над вопросами, которые уже, пусть смутно, ставил перед собой.

Почему в моей памяти столько места занимают прачки из такой-то деревни или города? Почему я вижу их как наяву? Я продолжал размышлять, и какое-то время это не давало мне уснуть.

Я не ученый, скорее наоборот, и кое-кто улыбнется моей наивности. Утверждают, что в человеческом мозгу миллиарды клеток и у каждой своя функция. Может быть, функцией некоторых клеток является улавливать мимолетные образы и происходит это безотчетно?

Меня это наводит на мысль о фотографах, что снимают на пляже: они делают это незаметно, а потом насильно суют вам талон, по которому по такому-то адресу вы сможете выкупить свою фотографию. Довольно долго это было профессией моего старинного друга Мишеля Симона.

Мы не знаем, какие образы в течение жизни моментально запечатлеваются в нас. Потери, наверно, огромны, иначе, уверен, мозг засорился бы и образы были бы черны, как испорченные фотографии.

Мы живем, не сознавая, что важно, а что нет, что оставит, а что не оставит в нас следа. Каким-то моментам жизни мы придаем огромное значение, но они зачастую уходят потом в небытие. Может быть, потому что какие-то клетки мозга погибли или поражены склерозом? Не знаю. Как не знаю и того, почему, когда мы заняты делами, кажущимися нам в этот миг главными, вдруг выплывает и становится навязчивой картинка из прошлого, хотя мы были убеждены, что забыли ее.

Я имею в виду не только зримые образы. Это касается и света — скажем, бликов на мебели или того, как переливается в лучах солнца хлебное поле, — и запахов, и порывов ветра, о которых, казалось, мы навсегда забыли, а также шумов, например гула голосов в кафе или пивной.

Не помню, кто из специалистов по рекламе придумал

формулу: каждая капля в счет. Кажется, она касалась какого-то фармацевтического продукта.

В нашей краткой жизни тоже каждая капля в счет: мы ведь никогда не знаем, в какой момент воскреснет в нас та или иная и окажется самой главной.

И все-таки я убежден, что наше умонастроение, просто настроение, даже наше будущее зависит от этих неосознанных образов, этих нематериальных капель, которые мало-помалу, без нашего ведома, творят нашу личность, несут счастье или несчастье.

На этот вопрос должны ответить ученые. Может быть, они уже ответили на него, но мне это неизвестно.

Мы живем в эпоху биологии. Но не думаю, чтобы в ближайшем будущем она дала объяснение феномену памяти, а также растолковала, почему мы иногда снова переживаем прошлое и почему только какой-то определенный период этого прошлого вдруг так воздействует на нас.

12 июня 1977

Эта серия, считая книгу, которую я сегодня заканчиваю, будет включать двенадцать больших томов. Начиная ее, я не ставил себе никакого предела. Верней, я предполагал написать три-четыре книги: я не надеялся, что жизнь будет настолько милостива ко мне и позволит продолжать диктовать.

Однако, несмотря на свои семьдесят четыре с половиной года, я надеюсь продолжать, то есть надеюсь диктовать и дальше.

Что? Не знаю. Если бы сейчас кто-нибудь заявил, что я буду диктовать стихи, я по простоте душевной позволил бы убедить себя в этом, хотя никогда в жизни стихов не писал.

Не стану впредь высказывать свое мнение о недавних и сегодняшних событиях. На это есть сотни специалистов, и у них больше возможностей, чем у меня.

Я не хочу писать только ради того, чтобы писать, чтобы к книгам, заполонившим книжный рынок, добавлять новые.

Поэтому у меня ощущение, как у беременной женщины. Я знаю, что, закончив двенадцать томов, я вновь почувствую потребность — почти физическую — диктовать, но вовсе не от необходимости чем-то занять пустые часы своего стариковского существования.

У меня потребность — и так было всю жизнь, начиная с шестнадцати лет, — что-то сказать. Важно ли это что-то или, может, мне следовало бы заниматься коневодством, а не пытаться понять людей? И тут ответ зависит от критиков, а возможно, и от детей или преемников нынешних критиков.

Во мне нет мелочного тщеславия, стремления блеснуть. Я скорей склонен затаиться в своем углу, бежать официальных и светских сборищ.

С меня достаточно женщины, являющейся моим вторым «я», с которой я чувствую себя в полном симбиозе (прошу прощения за это педантское слово, но другого я не нашел). Я отыскал эту женщину. За пятнадцать лет ни одного разногласия между нами. И если, бывает, я вдруг не сдержусь (правда, я вовремя останавливаюсь), то тут же начинаю объясняться в любви, что не очень оригинально.

Я еще додиктую эту кассету, завершающую первую серию книг. Интуиция подсказывает мне, что кассеты второй серии будут очень непохожи на эти.

Но в конце концов, человек — всего лишь человек, крохотная частица среди миллиардов людей. Я знавал многих, хотя в сравнении с миллиардами это капля в море, но не ведаю, с какого конца за них взяться.

Теперь все пишут мемуары.

Кое-какие я читал; они напичканы подлинными либо вымышленными анекдотами, злыми или дружественными портретами людей, чьи фамилии встречаешь в газетах.

Никаких анекдотов! Никаких друзей!

Я еще не представляю, что мне останется, но, кажется, пришло время кончать говорить лишь о себе.

Если я занимался этим так долго, то лишь потому, что я — единственный человек, которого я действительно знаю.

Возвращаясь к ощущению беременной женщины, могу сказать: я пока не знаю, каким окажется ребенок; не знаю даже, девочка это будет или мальчик. Знаю только, что он будет, а в ближайшие недели я вновь почувствую то же беспокойство, ту же тревогу, как тогда, когда готовился писать роман.

Из книги «К чему зарекаться?»

22 июня 1977

С полчаса назад очаровательная медицинская сестра сообщила мне, что всегда мечтала писать и вот уже десять лет ежедневно ведет дневник. Если учесть ее профессию и то, что она по большей части имеет дело с людьми, когда они беспомощны, то, надо думать, в ее дневнике есть безумно интересные вещи.

Слово «писать» для десятков тысяч людей звучит гипнотически. Я получаю массу писем от мужчин и женщин, от молодых и пожилых; они сообщают, что неоднократно пытались писать рассказы, и спрашивают, с чего начинать. Некоторые присылают мне толстые рукописи, но я, к сожалению, тут же отправляю их назад, даже не распечатав.

Я вспоминаю случай с одним известным писателем начала века. Он распечатал пакет. Прочел несколько бездарных страниц. Написал письмо с традиционными извинениями и отослал рукопись.

Через несколько лет, когда вышла его очередная книга, он получил гербовую бумагу с обвинением в плагиате.

С тех пор как я узнал про эту историю, я не распечатываю конверты с рукописями.

Впрочем, прочту я или нет, не имеет никакого значения. Каждый издатель держит целый штат профессиональных читчиков и в зависимости от их отзыва о пришедшей в издательство рукописи решает, печатать ее или нет.

Но у меня часто возникает вопрос:

«Что заставляет людей всех возрастов, из всех социальных слоев склоняться над белым листом бумаги?»

Относительно некоторых ответ прост, даже слишком прост: деньги.

В газетах они читают, что такой-то автор вышел в стольких-то миллионах экземпляров и получил целое состояние. Вот им и приходит мысль: «А почему не я?»

Каждый ведь считает себя пупом земли и уверен, что события, происходившие с ним, или даже просто его мысли достойны всеобщего восхищения.

Другие пишут от тоски. Сознавая пустоту и заурядность своей жизни, они испытывают вполне законное желание превратить ее в роман, сделать бесцветное существование увлекательным.

Но возвращаюсь к потребности писать. И даже к потребности в потребности писать. Она встречается в другом слое — среди людей образованных, чаще всего профессоров.

Как, почему становятся писателями? Трудов на эту тему, трактующих ее весьма возвышенно, выходит предостаточно. Создана даже специальная наука, оперирующая абстрактными терминами и цитатами из философских произведений.

Почему становятся романистом? А почему становятся художником или музыкантом? Должен сказать, что очевидных мотивов тут нет. Я, как и все прочие, не знаю, какие клетки мозга включаются при этом в игру, и могу только задать не менее загадочный вопрос: почему становятся мошенником или убийцей?

Но, поразмыслив как следует, я ответил бы с полной искренностью: «Люди пишут потому, что ощущают необходимость писать».

Однако это отнюдь не объясняет, почему люди вроде тех, о которых я только что говорил, посвящают чуть ли не всю жизнь изложению на бумаге историй, которые никогда не увидят свет.

Меня не удовлетворяет и такой ответ: «Романистом становятся потому, что им рождаются».

Еще менее удовлетворительное объяснение: потому что ходил в ту, а не иную школу, учился у такого-то учителя или потому что ходил в школе в первых.

Кажется, когда-то я это уже говорил, но повторюсь:

«Романистами становятся потому, что ничего другого делать не умеют».

Иначе говоря, большая часть тех, кто пишет романы, — неудачники.

Естественно, что они знают, да и то плохо, только самих себя. И вот они описывают в романах свой крохотный опыт, и вопреки ожиданиям из этого иногда получаются шедевры.

Чаще, разумеется, неудачи, чем шедевры, но разве в жизни любого человека поражений не больше, чем дней торжества?

Что же касается брака, отходов, то их, должно быть, здесь не больше, чем в других сферах человеческой деятельности. Сколько на одного Эйнштейна приходится физиков, проведших всю жизнь в поисках новых формул и оставшихся неизвестными?

Я плохо помню, о чем уже говорил, о чем нет. Тем не менее позволю себе повторить историю деда моей первой жены.

Он служил на заводе, производившем паровые машины. И однажды придумал простой и эффективный способ очищать паровые котлы от накипи, причем гораздо дешевле, чем это делалось в то время.

Его система была принята. Он получил за нее вознаграждение, но состояния на этом не сделал. Купил себе кресло и засел в него. Когда его спрашивали, что он делает, он

коротко отвечал:

— Изобретаю.

Долгие годы он просидел в кресле, окруженный кучей детей, которых наделал, и беспрерывно изобретал, добывая скудное пропитание семье тем, что пел в церкви; кажется, у него был красивый бас.

Видимо, таких изобретателей много. Писателей тоже. И художников.

Мне это кажется не смешным, а возвышенным. Это доказывает, что в каждом живет потребность не только делать детей, но и творить.

Каждый, осознанно или нет, испытывает желание придать жизни смысл, если не продлить ее в своих творениях.

Не знаю, остался ли сейчас хоть один певец, или певица, или киношник, пусть даже самый заурядный, который не написал бы мемуаров. Я уже не говорю о полицейских, хулиганах и даже убийцах. Политики не составляют исключения. Киссинджер, в течение многих лет бывший правой рукой — если не обеими сразу — Никсона, а теперь получивший отставку, строчит без остановки, отхватывая гонорары, которые нам кажутся сказочными; он всегда готов за соответствующее вознаграждение поведать с телевизионного экрана о маленьких тайнах Белого дома. Будь он токарем или официантом в кафе, его воспоминания не принесли бы ему ни гроша, хотя воспоминания токаря или официанта, весьма возможно, оказались бы куда интереснее и уж, во всяком случае, человечнее.

29 июня 1977

Он поправляет судейскую мантию в кабинете перед зеркалом; оно висит здесь уже десятки лет и все так же искажает изображение. Вид у него утомленный. Правда, он работал до двух ночи: до вчерашнего дня все не было времени изучить дело, которое он ведет сегодня в суде.

Его беспокоит старший сын. Сын — адвокат, четыре года назад женился, сейчас намерен разводиться, а в его профессии на такие вещи смотрят косо. Жена больше озабочена дочкой, и как раз сегодня за завтраком они говорили о ней. Дочка ведет свободный, а по мнению многих, скандальный образ жизни, и образумить ее невозможно никакими силами.

Второй сын гораздо серьезнее: учится в Национальной школе управления — намерен делать политическую карьеру.

До суда он доехал в своей малолитражке и всю дорогу боролся с искушением войти в первое попавшееся бистро и съесть рогалик: в доме рогаликов не держат — врач запретил. А для него

съесть рогалик превратилось прямо-таки в навязчивую идею.

Взглянув на стенные часы в деревянном футляре, он направляется к двери, проходит через раздевалку для судей, кивает заседателям и приставу; тот, поняв намек, распахивает двери в зал суда.

Просторный зал тонет в полумраке, выделяются только головы, как на рисунке Домье.

Пристав громко и торжественно объявляет:

— Суд идет!

Как всегда, на скамьях поднимается легкий шум, перешептывания.

Подсудимый, на которого он бросает рассеянный взгляд, — человек великанского роста с огромными усами, принадлежащий к той среде, с которой у судьи никогда не было никаких контактов. Он грузчик и, судя по внешнему виду, вполне способен в одиночку перенести на спине рояль.

Через несколько минут председательствующий, обращаясь к первому свидетелю, произнесет сакраментальную формулу:

— Поклянитесь говорить правду, только правду, всю правду.

Произнося эти слова, он всегда испытывает легкое смущение, но в конце концов за тридцать лет службы привык.

Звучит ответное: «Клянусь». Веком раньше все было просто: тогда клялись на распятии. В Америке, хотя там больше восьми десятков сект, все — без различия религиозных убеждений — клянутся на Библии.

А на чем может клясться этот свидетель? Да ни на чем. И эта пустота входит в противоречие с торжественной обстановкой зала суда.

— … говорить правду…

Он часто раздумывал об этом. Какую правду? Кто может похвастаться, что знает правду и способен высказать ее?

Вот бы удивились присутствующие, если бы он признался, что каждое утро его преследует навязчивая идея: войти в первое попавшееся бистро и съесть рогалик.

Он не может признаться и в том, что озабочен будущим разводом старшего сына, похождениями дочери, проводящей чуть ли не каждую ночь в Сен-Жермен-де-Пре, и даже успехами младшего сына в Школе управления: он понял, что у того левые взгляды и карьеру свою он намерен делать в рядах левой партии.

Есть и другие «правды», о которых он никогда никому не говорил, как, например, та, что он женат на женщине, которую разлюбил после двух лет совместной жизни, которая родила ему троих детей, а сейчас страшно растолстела. Кстати, это из-за нее у них в доме не бывает рогаликов.

— Поклянитесь говорить правду, всю правду…

За тридцать лет у него было время подумать над этим «всю». Как будто правду можно растягивать или делить! Отдает ли свидетель — любой свидетель — себе отчет, насколько важно это маленькое слово, которое иногда может решить судьбу человека.

— … только правду…

С момента совершения преступления прошел год. Люди зачастую дают волю воображению. Кроме того, большинство тщеславны и склонны приукрашивать показания, чтобы выигрышно выглядеть в глазах публики.

Он достиг возраста, когда не строят иллюзий даже на счет своей профессии.

Он не выносит запаха чеснока, а заседатель справа, как всегда, плотно позавтракал чем-то перечесноченным.

Заседатель слева, высокий худой человек с разочарованием на лице, принялся рисовать человечков на листе, вынутом из папки. Человечки эти, нарисованные очень неумело, смахивают на героев комиксов, которые печатаются в газетах.

— Поклянитесь говорить правду, всю правду, только правду…

Эта формула даже не вызывает у него улыбки. Он рассеянно скользит глазами по рядам голов: все взгляды обращены к нему. Давно уже прошли времена, когда он чувствовал себя этаким Саваофом[120]. Слишком многое он видел, слишком многое понял.

Теперь он уже понимает, что участвует в комедии, и ход ее до малейших деталей, включая его импозантное облачение, установлен раз и навсегда.

Взгляд его падает на огромные ручищи грузчика, скользит по усищам образца 1900-х годов, затем он незаметно кивает адвокату, который в обыденной жизни является его другом, но здесь находится по другую сторону судейского барьера.

Будь у него чувство юмора, он счел бы картину забавной, но чувства юмора у него нет. Он человек серьезный, несколько даже, хотя и бессознательно, напыщенный и свою роль играет как можно добросовестней.

Он слывет суровым судьей — такова у него репутация во Дворце правосудия. Но в то же время считается, что ему никогда не изменяют выдержка и вежливость.

Не правда ли, идеальный судья?

Тут не место думать о крупных и мелких ошибках, которые он совершил в жизни. Он всего лишь человек, и ему приходилось делать мелкие подлости и даже, раза два или три как минимум, чуть-чуть сжульничать.

Окажись он на месте свидетельницы, женщины из народа, не

лезущей за словом в карман, а она на его, разве он чуть-чуть не трусил бы, произнося сакраментальную формулу: «Клянусь говорить правду, всю правду, только правду»?

У каждого человека есть что-то, о чем лучше умолчать. Особенно в таком мрачном и торжественном месте, как зал уголовного суда.

Еще раз обежав глазами ряды голов — выглядят они так, словно отражаются в кривом зеркале его кабинета, — он вдруг отдает себе отчет, что самый-то невиновный находится, вероятней всего, не среди них, а на скамье подсудимых между двумя безучастными жандармами.

Он гордится и всегда гордился своей профессией, и тем больше, чем выше поднимался по иерархической лестнице. Если он и не покраснел от пришедшей ему в голову мысли, то лишь потому, что при седых, почти белых волосах кожа у него чрезвычайно бледная.

По служебной лестнице не подняться без некоторых уступок. И ему, как всем прочим, пришлось подчиниться этому условию.

Нет, от него не требовалось совершать преступления. В пьяном виде в бистро он не разбивал бутылкой голову приятелю, как подсудимый грузчик. Приятель умер, а этот усатый детина ждет, не понимая всей тяжести своего проступка и возможных его последствий.

— … правду… только правду… всю правду…

Его приговорят на десять, а то и на двадцать лет, в зависимости от настроения присяжных. Ну а вот его защитника, хотя тот и член коллегии адвокатов, председательствующий видел на одном официальном приеме, где шампанское лилось рекой, и почтенный мэтр шел нетвердой походкой, поддерживаемый кем-то из приглашенных.

Правда, о личной жизни присяжных судья ничего не знает. Не знает, кто из них женат, кто нет, есть ли у них дети и умеют ли они противостоять бесчисленным жизненным соблазнам.

Однако сейчас все они соберутся вместе и, прежде чем вынести приговор, станут задавать ему как председательствующему достаточно затруднительные вопросы.

Пока же они слушают, словно прилежные школьники, и по их лицам не прочесть, о чем они думают. Может быть, у кого-то из них тоже есть сын, который губит разводом свою карьеру, или дочка, которая шляется по ночным кабакам Сен-Жермен-де-Пре, или младший сын, что однажды может решиться стать депутатом от коммунистов, если только не пойдет еще дальше и не свяжется с гошистами?

— … всю правду…

Это «всю» звенело у него в ушах, как назойливая муха. Но ведь это же не он сидит между двумя жандармами. Не он раскроил бутылкой голову одному из посетителей бистро.

За исключением мелких грешков, его единственным преступлением, хотя оно и не упомянуто в уголовном кодексе, является непреодолимое желание съесть рогалик, и он знает, что когда-нибудь поддастся ему, войдет в бистро и вытащит рогалик из корзинки, стоящей на краю стойки.

Пока еще он не смеет сделать вывод: правды не существует.

Но можно быть уверенным, что в старости, уйдя на пенсию, он будет саркастически улыбаться, когда кто-нибудь произнесет при нем это слово, а проходя случайно мимо Дворца правосудия, будет ощущать что-то вроде стыда.

30 июня 1977

— Ваше имя, фамилия, профессия.

Подсудимый оглядывается, словно не уверенный, что обращаются именно к нему. Потом, не вставая с места, открывает рот.

— Встаньте.

Он неловко поднимается. В нем нет робости, он как будто не понимает того, что происходит, и недоуменно поглядывает то на председательствующего и заседателей, то на публику, заполняющую этот несколько сумрачный зал.

— Теодор. Все зовут меня Тео.

У этого великана нерешительный тонкий голос.

— Фамилия?

— Вине. Все это должно быть в ваших бумагах.

И он кивает на толстую папку, лежащую перед судьями.

— Женаты?

Подсудимый в нерешительности обводит глазами зал. Его взгляд останавливается на маленькой белобрысой женщине в розовом ситцевом платье, которая сидит между двумя подругами, словно ей необходима защита.

— Потому-то я и оказался здесь, что женат.

И, указав на женщину в розовом платье, добавляет:

— Да вон она сидит.

Женщина вскакивает и визгливо начинает:

— Вранье все это…

— Сядьте и замолчите.

Она недовольно усаживается, председательствующий поворачивается к скамье для свидетелей, на которой все еще сидит хозяйка кафе, невозмутимая, словно происходящее ее не касается.

— Вы замужем?

Свидетельница молчит, словно не решаясь ни на правду, ни на ложь.

— И замужем, и не замужем: больше четырех лет назад я выставила своего муженька за дверь.

— На вашем заведении висит вывеска «У Ольги».

— Ольга — это я, и я единственная владелица кафе. Его основал мой дед. Перед смертью он отказал его мне, потому как мой отец давно умер, а мать пропала неизвестно куда. Дед, пусть земля ему будет пухом, был образованный и заставил меня поклясться, что замуж я выйду только на условии раздельного владения имуществом.

Свидетельница — женщина высокая, мощного телосложения — хотя ей все равно далеко до обвиняемого, — с грубыми чертами лица, с темным пушком на верхней губе. Во всем черном, словно на похоронах. Платье ее сшито из блестящей материи — такие раньше носили торговки с Центрального рынка и до сих пор носят торговки рыбой в Сабль-д'Олони.

— Расскажите нам, что вы видели, но только то, что видели.

— Он схватил со стойки бутылку и ударил Мимиля.

— Кто такой Мимиль?

— Покойный.

— Кто он был по профессии?

— Маляр. Тщедушный человечек. Всякий раз, когда работал в нашем квартале, заходил ко мне выпить аперитив. У него все время была такая ухмылка, будто он насмехается над людьми или презирает их.

— Я не прошу вас комментировать.

— А тогда и не стоит рассказывать, потому что вы ничего не поймете.

— Подсудимый и человек, которого вы называете Мимиль, ссорились?

— В тот момент нет. Сперва они распили бутылочку божоле и вроде были настроены мирно.

— Как и когда все переменилось?

Свидетельница задумалась. Чувствовалось, что к своим показаниям она относится ответственно и говорить что попало не собирается.

— Они говорили о перевозках. Господин, который тут сидит, — она кивнула в сторону обвиняемого, — сказал, что почти все время находится в разъездах, объездил всю Францию и, бывает, сопровождает грузы за границу…

— Вы действительно слышали их разговор?

— Как вас слышу, господин судья.

— Называйте меня господин председательствующий и не забывайте, что вы должны обращаться к присяжным.

Она взглянула на двенадцать человек, сидящих, словно манекены в ярмарочном тире, в которые надо попасть шаром, чтобы выиграть приз — куклу.

— Так кому я все-таки должна рассказывать?

Да, баба она строптивая и сумеет за себя постоять.

— Вы должны отвечать только на вопросы, которые задам вам я или через меня защита.

— От чего это еще защита? Надеюсь, вы не собираетесь обвинять меня и заставлять рассказывать о муже?

— Почему вы не хотите говорить о муже?

— Я обязана отвечать?

— Вы поклялись говорить правду, всю правду, только правду.

— Лодырь он был. Чуть ли не целый день просиживал за белотом.

— И вы разошлись с ним, потому что он играл в белот?

— Ладно уж. Раз я не знаю, где он сейчас, и полиции небось тоже известно не больше моего, я расскажу все.

Ей необходима была поддержка председательствующего.

— Он любил маленьких девочек.

— Девочек какого возраста?

— Сказать — и то стыдно. Была у него одна лет тринадцати, дочка сапожника из нашего квартала. Да у него хватало и других, лишь бы они были хоть капельку миловидны и позволяли делать с собой это.

Слова «хоть капельку миловидны» странно прозвучали в устах этой женщины гренадерского роста и почти такого же могучего сложения, как обвиняемый.

— Короче, вы прогнали его из вашего общего дома из ревности?

— Никакого общего дома не было!

— Вы хотите сказать, что не жили вместе с мужем?

— Нет, этого я не хочу сказать. Но кафе и квартира над ним принадлежат только мне, над входом так и написано: «У Ольги».

— Вернемся к событиям четырнадцатого июня прошлого года.

— Я уже больше десяти раз рассказывала эту историю следователю, очень вежливому и терпеливому господину, и его секретарша все записала.

Председательствующий держится спокойно, но вокруг него возникает какой-то ореол нереальности. Он добросовестно исполняет свои обязанности, не чувствуя, однако, ни вкуса к ним, ни подлинной заинтересованности. Все эти люди вокруг ему

чужды, как антиподы.

— Вы говорили о бутылке вина.

— Вовсе не о бутылке, господин судья, простите, господин председательствующий, а о полбутылке.

— А какая разница?

— Бутылка вмещает литр, а полбутылка — пол-литра.

— Судя по материалам дела, оба были пьяны.

— Несколько полбутылок выпили.

— Однако настроены оба были дружелюбно, во всяком случае, мирно.

— Не стану утверждать, но и отрицать тоже не стану.

— Почему?

— Потому что потом они стали задираться. Начал Мимиль, который со смехом дернул этого господина за усы.

— И тут они поругались?

— Нет еще. Это происходило как раз, когда шел разговор о перевозках грузов.

— Не понимаю.

— Узнав, что этот господин большую часть времени проводит в разъездах по Франции и даже за границу выезжает и что он женат, Мимиль начал, как обычно, ехидно ухмыляться, а его ухмылка страшно действует на нервы.

Из глубины зала раздается пронзительный голос:

— Я ни разу ему не изменила.

Женщину в розовом платье усаживают на место.

Председательствующий с сомнением спрашивает:

— Значит, тот, кого вы называете Мимиль, то есть Эмиль Андико, утверждал, что жена его приятеля изменяет ему?

— Нет, просто намекнул.

Свидетельница подыскивает слова. Она хочет быть правдивой и точной.

— Мимиль сказал: «Да ты с твоей комплекцией и усищами просто создан быть рогоносцем».

Сидящий между двумя жандармами обвиняемый, казалось, ничуть не интересуется тем, что говорит свидетельница. Создается впечатление, будто он с восторгом любуется залом, а ее даже не слышит. Порой он, не решаясь посмотреть в упор, искоса поглядывает на председательствующего, потом переводит взгляд на заседателей, на сидящих в два ряда присяжных, на скамьи для публики, где собрался самый разный народ, но, очевидно, больше всего жителей квартала и клиентов Ольги.

— В какой именно момент отношения обострились?

— А вы считаете, что обозвать рогоносцем — это недостаточно?

— Значит, сразу после этого обвиняемый и ударил?

— Нет. Они выпили еще полбутылку, но у этого человека, которого вы называете обвиняемым, было грустное, ничего не выражающее лицо. Если хотите знать мое мнение, то скажу: у него был такой вид, словно он что-то обдумывает.

— То, что услышал минуту назад?

— А может, что-то припоминает. А Мимиль, все так же ухмыляясь, зудел, как назойливая муха: «Ты такой большой, толстый, глупый, что я просто уверен: не найти тебе жены, которая не наставила бы тебе рога».

— Вы точно слышали эти слова?

— Как вас слышу.

— Почему же вы, видя, что они оба пьяны, продолжали их обслуживать? Это нарушение правил.

— А как прикажете определять, пьян человек или нет? Иной клиент опрокидывает стаканчик за стаканчиком, а по нему ничего не видно. А потом вдруг достаточно глотка, чтобы он расклеился. Нас ведь не снабжают этими потешными приборами, в которые велит дуть дорожная полиция. Представляете, как я перед каждым стаканчиком заставляю клиентов надувать какой-то дурацкий пузырь?

Свидетельница явно довольна собой. Она выложила судье то, что решила выложить, и теперь желает одного — продолжать. Порой она поворачивается к публике и сообщнически подмигивает. Вид у нее такой, словно она ждет, что вот-вот раздадутся аплодисменты.

— Каким образом было совершено убийство, поскольку это убийство? Расскажите о последних минутах, предшествовавших ему.

— С радостью бы, да получилось так, что тут пришел Альфред, сосед-булочник, выпить пастиса[121]: он изо дня в день заходит всегда в одно и то же время.

— И вы, занявшись булочником, отвлеклись от них и не слышали, что они говорят?

— По правде сказать, глаз-то я с них не спускала, отвлеклась только на минутку, пока наливала пастис. Булочник дружил еще с моим отцом, но тот, бедняга, умер молодым. А булочник два раза в день заходит выпить пастиса, но никогда ни с кем не вступает в разговор и в белот тоже не играет.

— И что же вы видели и слышали?

— Ничего не слышала, потому что они не разговаривали. На тощем, болезненном лице Мимиля была все та же ухмылочка. А этот усатый верзила, который тут сидит, взял в руки полбутылку, которую я им только что откупорила. Как раз в этот момент я

снова стала наблюдать за ними. У меня было предчувствие, что добром это не кончится. У усатого был такой вид, словно он вдруг принял решение; тут-то он и разбил бутылку о череп Мимиля. Народу в кафе почти не было: четыре человека играли в карты, да сидела еще одна женщина, она у нас каждый день бывает.

— Проститутка?

— Не знаю, меня это не касается.

— Человек, которого вы называете Мимилем, упал сразу?

— Он широко раскрыл глаза, я никогда не видела его таким, но губы все равно кривились в ухмылке. Попытался схватиться за стойку, однако пальцы у него разжались, и он рухнул на спину. При этом он ударился головой о каменный пол, и, если хотите знать мое мнение, хоть вы его и не спрашиваете, от этого-то удара он и умер.

Обвиняемый нахмурил брови, словно услышал новость, которой не знал, но все с тем же отрешенным видом продолжал разглядывать зал.

— Короче говоря, по-вашему, это был скорее несчастный случай?

Задавая вопрос, председательствующий не сумел скрыть иронию.

— Будь я на вашем месте, господин судья…

— Господин председательствующий. И не забывайте, что вы должны обращаться к присяжным.

— Ладно. Но будь я на вашем месте или на месте этих господ… Глянь-ка! Среди них женщина!.. Так вот, повторяю, будь я на вашем месте или на месте этих господ, я решила бы, что это обычная история, какие случаются каждый день.

— Но вы же видели, как обвиняемый ударил бутылкой.

— Если начать считать все бутылки, которые разбивают о головы во всех бистро Парижа, жизни не хватит.

— Что вы можете сказать о его теперешнем поведении?

— У него туповатый вид.

— Он выглядел так же, когда сидел у вас в кафе?

— Я извиняюсь, но думаю, что вид у него всегда такой. Человек он, убеждена, хороший, но, если и вправду любил свою жену, ему не надо было надолго отлучаться из Парижа.

Женщина в розовом платье вскакивает с места и начинает вопить. Подруги пытаются заставить ее умолкнуть, но она, размахивая руками, продолжает протестовать. Весь зал не сводит с нее глаз. Председательствующий хмурится. Обвиняемый как будто еще больше оторопел; он то скрещивает огромные ручищи, то снова опускает их на колени. Председательствующий наконец

решается стукнуть молотком по столу и знаком приказывает жандармам, стоящим у двери, навести порядок.

Блондинка визжит, вырывается, но в конце концов ее удается вывести.

— Благодарю вас за показания. Благоволите пройти в комнату для свидетелей: возможно, вы мне еще понадобитесь.

Массивная женщина с пышной прической, одетая во все черное, шествует через весь зал; для нее это час торжества, как для актрисы, только что выбившейся в премьерши.

— Введите следующего свидетеля…

Уже достаточно поздно. Спектакль закончился. Интересно, удастся ли когда-нибудь узнать правду, всю правду, только правду?

Огромного грузчика, способного в одиночку перенести рояль, приговорили к пяти годам тюремного заключения с зачетом двух лет, так как убийство произошло год назад и весь этот год он провел, ожидая суда, в камере тюрьмы Сайте.

Очень некстати на процессе упомянули булочника, а также пастис: председательствующему захотелось не только рогаликов, но и пастиса, и поэтому домой он возвратился с горьким осадком в душе.

1 июля 1977

Вчера днем я диктовал целых два часа. Но диктовал совсем не то, что обычно. Не знаю, почему я решаю выбрать ту или иную тему. На этот раз, вероятно, сыграло роль чувство вины, а может быть, слова Терезы, которые она произнесла — просто так, не придав им никакого значения, — как-то во время прогулки: «Почему бы тебе сейчас, когда ты в полной форме, не написать роман?»

Нет, по роману я не тоскую. И все-таки, невзирая на определенное напряжение сил, ощутил нечто вроде эйфории, хотя это и грозило мне переутомлением.

Я попробовал надиктовать не полноформатный, а, по моему определению, мини-роман.

Мне интересно было узнать, способен ли я еще обрисовать героев и, наподобие карикатуриста, придать им жизнь несколькими штрихами.

Это было чрезвычайно забавно. В мозгу роились образы. Сейчас эта надиктованная история уже меня не занимает, так же было с двумя с небольшим сотнями моих романов. Я не стал прослушивать еще раз этот текст; его сперва отпечатает Эткен[122], а я просмотрю только через несколько недель, когда буду «причесывать» весь том.

У меня было чувство, будто я играю с куклами, заставляя их вести себя как живые люди.

Этой безделице на полях своей книги я не приписываю никакого литературного значения. Скорей, она имеет значение лично для меня, потому что после нескольких лет, которые я прожил, не написав ни строчки того, что американцы называют «fiction»[123], я инстинктивно считал, что уже не способен на это, тем более что привык небрежно диктовать, удобно устроившись в кресле и покуривая трубку, в то время как напротив сидит Тереза и время от времени встает, чтобы проверить или подрегулировать магнитофон.

И если бы нужно было дать определение тому, что я вчера надиктовал, то я сказал бы: «виньетка»; это будет куда точнее, чем определение «мини-роман», которое первым подвернулось мне на язык.

Только бы мне теперь не пристраститься рисовать виньетки! Это так забавно! Теперь я понимаю страсть моего друга, врача, который коллекционирует оловянных солдатиков и по вечерам, чтобы прийти в себя после изнурительного дня, воспроизводит с ними сражения при Мадженте[124] или Аустерлице.

Я никогда не коллекционировал оловянных солдатиков, да и вообще ничего, что можно бы назвать объектами коллекционирования.

Всю жизнь я стремился коллекционировать таких вот воображаемых кукол. Оттого у меня и возникало желание воспроизводить с их помощью события, пусть не исторические, но тем не менее достаточно драматичные, свидетелями которых мы порой волей-неволей бываем.

Романов писать я больше не буду: у меня не хватает дыхания, да я и не уверен, что смогу работать за пишущей машинкой. Но как знать, может быть, мне опять случится несколько дней диктовать новый мини-роман. Признаюсь, слово это пришлось мне по вкусу.

Когда, приехав в Париж, я пробовал свои силы в жанре развлекательного романа, то как бешеный в рекордном темпе печатал книги по десять-двенадцать тысяч строк. Первые романы о Мегрэ содержали более двухсот страниц машинописного текста.

Объем последующих романов, за исключением двух или трех, уменьшился сперва страниц до ста сорока, потом доходил иной раз до ста пятнадцати — ста двадцати страниц.

Вчера я диктовал не меньше двух часов (не знаю, сколько это получится в страницах), и к концу у меня появилось не то чтобы чувство усталости от напряженной работы, а скорей ощущение, что рассеивается внимание, но это, думаю, в моем возрасте

простительно.

11 июля 1977

Во время нашей прогулки мне пришла в голову фраза, которая уже лет двадцать повторяется чуть ли не всеми газетами:

— Роман умирает. Роман мертв.

Да, так оно и есть. Если заняться статистикой литературной продукции, окажется, что в списке книг, пользующихся успехом, романов мало: их вытеснили биографии.

Меня так и подмывает заявить, что Марсель Пруст был нашим последним великим романистом, хотя идет он скорее от герцога Сен-Симона, чем от Стендаля, Флобера, Золя и других.

У романа, в котором писатель создает героев, таких же достоверных, как в жизни, а может быть, и еще достовернее, нет больше ни сторонников, ни читателей. Так же как сейчас в моде бифштексы с кровью, люди хотят иметь дело с персонажами в натуральном виде.

С чем это связано? Вероятно — подчеркиваю, вероятно, — с развитием кино, радио, телевидения и даже комиксов.

Некоторые из биографий — подлинные; написаны они самим автором, обозначенным на обложке, будь то автогонщик, красавчик певец или одна из бесчисленных звездочек мюзик-холла.

Людям хочется подлинности, жизненности.

И они верят, хотя большинство биографий написаны мужчинами или женщинами, которые на профессиональном языке называются «неграми».

Если журналиста, который всю жизнь только и делал, что строчил репортажи, посылают в Бангкок или в Танзанию, можно быть стопроцентно уверенным, что он возвратится с книгой. С книгой, объявят нам, правдивой, жизненной, и в нее непременно войдет несколько фотографий, долженствующих удостоверить ее правдивость.

А что происходит в кино? Стоит где-нибудь в мире случиться катастрофе, как тут же объявляются кинодеятели, чтобы снять о ней фильм, не важно, плохой или хороший, но зато, насколько это возможно, воспроизводящий ее до самых мельчайших подробностей.

Роман умирает? Роман мертв?

На мой взгляд, это скорей коммерческая проблема. Ясно, что фильм, называющийся «Уотергейт», или фильм, рассказывающий об интимной жизни экс-президента Никсона, скорей вызовет интерес, чем фильм с дурацким названием «Зеленые глаза» или, скажем, «На пляже».

Книгу, озаглавленную «На пляже», покупать не станут, но добавьте одно-два слова, и сразу появятся шансы, что она выбьется в бестселлеры:

«На пляже в Сен-Тропезе».

«Тайны Сен-Тропеза».

«Закулисная жизнь Сен-Тропеза»[125].

Подобные книги как раз и заказывают издатели: сообщают в общих чертах, чего бы им хотелось, а потом тщательно просматривают написанное.

Нам теперь недостает только «Воспоминаний приговоренного к смерти», разумеется, с гильотиной на обложке.

Книга обязана стать бестселлером, а бестселлера не получится, если не раздразнить любопытство публики.

Нет, умирает не роман. У нас просто-напросто начинает ощущаться недостаток настоящих романистов. Несколько еще осталось, но в кабинетах издателей их встречают с куда меньшим радушием, чем бывшего каторжника или бывшую содержательницу публичного дома.

Каковы последствия? А таковы, что эти немногие оставшиеся романисты проституируют себя и послушно пишут то, что им заказывают.

Всего лишь горсточка романистов живет за счет своего пера. Но им еще приходится соглашаться на унизительные турне по книжным магазинам Франции, Швейцарии и Бельгии.

Я вижу, как это происходит в Лозанне. Точнее, не вижу. Но я регулярно получаю открытки, в которых до моего сведения доводится, что такого-то числа в таком-то часу такой-то автор (даже если он министр или уже знаменитый писатель) в таком-то книжном магазине подписывает свои книги.

Этот рекламный фокус уже усовершенствован. Та же открытка уведомляет, что, если вы не желаете утруждать себя приходом в магазин, вам за такую-то сумму вышлют книгу с автографом на дом.

Я не верю в смерть романа. Роман возродится, как только появятся молодые люди, испытывающие непреодолимое желание писать и заведомо знающие, что они на долгие годы обрекают себя на голодное существование и будут приняты во Французскую Академию только на склоне лет, когда утратят иллюзии и примирятся с унизительными правилами литературной машины.

Но тогда они уже будут писать не романы, а то, что им закажут.

Из книги «Точка с запятой»

7 августа 1977

В 1930 году я купил радиоприемник чрезвычайно сложной конструкции, однако при некотором навыке на нем можно было поймать Сидней, мощную нью-йоркскую станцию Скенектади, Берлин, Москву, Лондон — короче, весь мир. Большинство радиостанций тогда были частными. Вспоминаю чарующий голос дикторши из Рима, в которую я прямо-таки влюбился, пленительный южный акцент дикторши «Радио Андорра» и, конечно, бархатистый голос диктора «Радио Тулуза» — женщины от него млели.

Не знаю, сколько радиостанций работало в ту пору во Франции, однако частных было много, и все они конкурировали между собой из-за певиц и из-за доктора Пикара[126], который как раз в это время поднялся выше всех в небо, а потом глубже всех опустился в море.

Конечно, приходилось слушать и рекламу, но объявления были короткими и, как правило, с выдумкой. Что же касается последних известий, то их передавали прямо с места событий.

Я целыми часами ловил какую-нибудь станцию, например слушал джаз и трубу Армстронга прямо из Нью-Орлеана.

Одни станции поймать было трудней, другие легче, и поэтому, когда удавалось поймать трудную, об этом с гордостью сообщалось приятелям.

Потом появилось телевидение. Впервые я смотрел телепередачи в США, там на каждый день недели была определенная программа. Преобладала эстрада, но приходилось глотать и рекламу.

Одну слезливую историю растянули более чем на две тысячи серий, то есть передавали ее (точно я не подсчитывал) почти двадцать лет.

Я ее видел только отрывками. Время после полудня на всех станциях Соединенных Штатов было зарезервировано для так называемых, если пользоваться профессиональным жаргоном, «мыльных опер»: эти слезовыжимательные, сентиментальные истории финансировались крупными фирмами моющих средств.

Я оторопел, сообразив, что со времени покупки того приемника промелькнуло сорок шесть лет. Телевидение стало цветным; сперва цвета были слишком яркими, но теперь стали более естественными. Всюду продаются пока еще дороговатые, но в принципе доступные приемники, которые ловят весь мир.

Но зачем? Радио я практически не слушаю. Разве что раза два

в день включаю «Радио Швейцарии», которое кратко, без комментариев передает новости со всего света.

Мне пришлось отказаться от того, чтобы слушать и смотреть другие радио- и телестанции: это было чревато приступами ярости или скуки. В одной стране уже год на всех волнах передают сплошь выступления политиков и урезанные последние известия, и объясняется это тем, что, дескать, весной должны состояться выборы. Но ведь предвыборные плакаты имеют право оскорблять ваш взгляд только в течение нескольких недель перед открытием урн.

Можно утверждать, что во Франции избирательная кампания началась сразу же после смерти де Голля.

Кандидаты на самые высокие посты уже давно стали готовиться к выборам. И если они находятся по соответствующую сторону барьера, то чуть ли не ежедневно разглагольствуют по телевидению или участвуют в дискуссиях, причем их противников я, скорей, назвал бы сообщниками: так и кажется, будто они фехтуют рапирами с предохранительными наконечниками.

При этом события за рубежом, даже если они не имеют никакого касательства ни к политике, ни к социальным, ни к энергетическим, ни к финансовым проблемам, подаются так, словно Париж всегда оказывается в выигрыше.

Наполовину обесценился франк — победа. Упал курс доллара — еще одна победа Франции, и последствия ее будут самыми благоприятными. Пока в Испании правил Франко, он защищал религию и цивилизацию. Теперь, когда Франко нет, о демократии в Испании отзываются весьма сдержанно.

И так во всем. Длинные волосы — признак революционных смутьянов, стремящихся разрушить общество, короткие — законопослушных добрых граждан, их не найдешь во французских тюрьмах.

Фальсифицируются даже валютный и биржевой курсы. Глядишь, однажды объявят революционером дождь или солнце: ведь и засуха, и излишняя мокрядь ведут к неурожаю.

Хуже всего, что, несмотря на ежедневный парад кандидатов, телезритель или радиослушатель скоро вынужден будет положить зубы на полку.

Уже несколько лет, как под давлением общественности ведется реорганизация. Разумеется, реорганизация с теми же самыми людьми и, естественно, в сторону ухудшения.

Не утверждаю, что такое свойственно только Франции. Придирчивый надзор за радио и телевидением осуществляют и другие правительства. Там тоже каждый вечер предоставляют

слово горсточке честолюбцев, которые после ближайших выборов усядутся на парламентские скамьи.

Стала ли суровей цензура? В некоторых государствах — да. Людей, пропагандирующих определенные идеи, там даже арестовывают, держат в тюрьмах, более того, подвергают пыткам.

Но разве наши теле- и радиооратоpы ежедневно не мечут громы и молнии против этих стран?

Скажу так: было время, когда я отдыхал перед телевизором или радиоприемником; теперь я не переношу их.

Те, кто их изобрел, не представляли, что их детища чуть ли не повсюду дадут власть имущим почти королевские прерогативы.

Политики делают свое дело. Вроде бы так и должно быть. Но пусть они лучше заткнутся — ради собственного блага, пока против них не поднялась волна скуки, равнодушия, а то и озлобления.

То же самое могу сказать о песенках, о хронике и даже о последних известиях.

Примерно так же обстоит дело и с газетами, и, чтобы не превратиться в идиота, которого пичкают чушью, я перестал их читать.

Бывает, что я по целой неделе не раскрываю скромную «Трибюн де Лозанн», разве что ознакомлюсь с прогнозом погоды.

Я брюзжу, потому что у меня отняли игрушку. Было время, когда я в день прочитывал по четыре-пять газет из разных стран, не считая международных еженедельников. Это объяснялось булимией[127] и наивностью. Но в конце концов я все понял.

Пять часов вечера того же дня

Никто не хочет войны. Все — пацифисты. Насилие осуждают, добросовестно борются с ним, но ни одно промышленное государство не отказывается и впредь не откажется поставлять усовершенствованное оружие и сверхскоростные самолеты слаборазвитым странам, чтобы те перевооружали свои армии. Об Африке говорят так, словно речь там идет о межплеменных раздорах. О Ближнем Востоке — словно дело там только в нефти и в том, что Западу и Америке необходимо получать ее по дешевой цене.

Организуются конференции самых богатых стран мира (этот термин употребляется официально!). Иной раз намекают на необходимость собирать для слаборазвитых стран пожертвования, как при окончании церковной службы.

При этом у вас просят не пушку, не танк, не самолет и не тем более ракету.

Получить неограниченный кредит на секретнейшее оружие бедной стране куда проще, чем безработному выпросить в долг двадцать франков. Обо всем этом нам, разумеется, сообщают в самых целомудренных выражениях. Разве наши страны не являются благодетельницами всего мира, разве не они вытаскивают из нищеты слаборазвитые страны?

Что из того, что г-н Дассо, член французского парламента, авиапромышленник по роду деятельности, с помощью правительства, члены которого служат ему в качестве коммивояжеров, заполонил весь мир своими смертоубийственными механизмами?

Должно быть, у него есть противоатомное убежище, а может быть, и не одно, и все они столь же надежны и комфортабельны, как убежища глав государств.

15 августа 1977

Мне подумалось, что сегодняшний день у меня в некотором смысле памятный. Когда я представил два первых романа о Мегрэ папаше Фейару, он сказал:

— Напишите мне штук десять-двенадцать таких, чтобы мы могли их выпускать по томику в месяц.

Он, должно быть, боялся, что я стану простаивать.

Меньше чем за год до этого я вернулся из Голландии, где написал первый роман о Мегрэ «Питер-латыш», а перед этим плавал по Северному морю на «Остготе» и тоже бешено работал.

По возвращении во Францию я не знал, куда податься, и искал спокойный уголок, где можно было бы работать без помех.

Я нашел его между Морсаном, где в крохотном ресторанчике встречались Бальзак, Александр Дюма и их друзья, и Сен-Пором, неподалеку от шлюза Ситангет — рыбачьего рая.

Став на якорь, что называется на лоне природы, примерно посредине между обеими деревнями, я то в каюте, то на палубе печатал один за другим романы о Мегрэ.

В то время, в 1931 году, когда мне исполнилось 28 лет, Довиль был самым модным летним курортом, где собиралось избранное общество. Там беспрестанно приземлялись аэропланы богатых англичан. На мощных автомобилях приезжали люди из самых отдаленных стран.

Гостиниц в Довиле было мало, и поэтому многие из сильных мира сего были счастливы заполучить для ночлега хотя бы ванную комнату.

Светские встречи происходили в «Баре Солнца», и человеку неизвестному проникнуть в него было трудно. Существовала такая традиция: в двух шагах от «Бара Солнца», на сходнях, как

говорили тогда и, может быть, говорят до сих пор, находился книжный магазин, где каждый год 15 августа какой-нибудь писатель, стоя перед магазином за столом из некрашеного дерева, прямо на свежем воздухе подписывал свои книги.

За несколько дней Фейар предупредил меня, что в этом году раздавать автографы буду я. Я был никому не известен, потому что до того писал только развлекательные романы под псевдонимами. Все мои предшественники были знаменитостями, авторами бестселлеров.

«Остгот» стоял тогда на Сене много выше Корбейля, и я решил плыть в Довиль на нем. Ярко, мой шофер, сопровождал нас по прибрежному шоссе на «крайслере» шоколадного цвета.

Шлюзы, расширенные с того времени, когда я плавал на «Жинетте», отняли у меня гораздо больше времени, чем я предполагал. На борту находились Тижи, Буль, старина Олаф и наш приятель, которого называли Зиза.

Большую часть дня и почти всю ночь я простоял за штурвалом. Стоило мне ощутить усталость, как я подкреплялся стопкой водки. Видимо, поэтому я и не заглянул в находившийся под рукой годовой справочник по приливам и отливам.

В Довиль мы приплыли на рассвете. К причалу для яхт нельзя было подойти из-за отлива. Я спустился по реке, которая впадает в море в Трувиле, чуть ниже этого знаменитого причала, у которого стояли самые шикарные в мире яхты.

Я поискал, где бы пристроиться у набережной, но свободного места не было. Увидев рыбачье судно раза в два больше «Остгота», я пришвартовался к нему двумя канатами, ушел в каюту и уснул сном праведника.

Но долго спать не пришлось. Когда отлив достиг самой низкой точки, меня вдруг вышвырнуло из койки, а тарелки, супницы, чашки, рюмки посыпались на пол.

А случилось вот что. Рыбачье судно было пришвартовано к набережной ветхими канатами. «Остгот» повис у него на борту, и из-за этой дополнительной нагрузки канаты лопнули. Рыбачье судно по праву сильного повалило «Остгот» бортом на почти сухое дно реки и придавило. Понадобился подъемный кран, чтобы поставить их вертикально. Но вопреки ожиданиям гораздо сильнее пострадало большое рыбачье судно: оно было старое и получило сквозную пробоину в правом борту.

В Довиле 15 августа начинается не 15 августа, а несколькими днями раньше. Все, кто фланировал по набережной, сбились вокруг жертв кораблекрушения, так что кран, не такой совершенный, как нынешние, с трудом пробился сквозь толпу, чтобы вернуть суда в нормальное положение.

У меня как раз началось похмелье. До сих пор помню жесты рыбаков, их угрозы и откровенно враждебное поведение.

Здесь я должен сделать отступление. За несколько дней до отплытия из Морсана ко мне явился агент страховой компании, чтобы застраховать меня от всех опасностей плавания.

Я не проявлял энтузиазма. Но он так настаивал, что в конце концов я подписал страховой полис сроком на пятнадцать дней. Тут агент увидел Олафа и поинтересовался:

— А пес застрахован?

Я ответил, что это тишайшее из животных и нет никакой надобности его страховать. Агент ответил, что за десять или двадцать франков, точно не помню, он оформит страховку на собаку и на ущерб, который она может кому-либо причинить.

Короче, я подписал оба полиса. А ведь я три года плавал в куда более опасных условиях, и никаких неприятностей со мной не случалось.

Не помню, сколько рыбаков с судна, к которому я пришвартовался, предъявили иск о возмещении убытков, но сумма была достаточно большая.

И вдруг посреди нудных объяснений с рыбаками раздался вопль Буль:

— Олаф исчез!

Пес испугался, я его понимаю. Поиски велись во всех направлениях от виллы к вилле, которыми в основном застроен Трувиль, и только к часу дня в одной из них полиция обнаружила дрожащего Олафа.

На следующий день в одиннадцать я под ярким солнцем в нескольких метрах от сходен подписывал читателям первые романы о Мегрэ. Автографы я давал впервые и, окруженный толпой, писал в качестве посвящений бог знает что. Помню, как один человек, владелец ближнего поместья, подал мне на подпись восемь книг о Мегрэ в роскошных переплетах.

Этот день оказался куда удачней, чем предыдущий. На стоянке для яхт «Остгот» выглядел простовато. Разглядывали его с любопытством. Кое-кто из владельцев яхт даже решился подойти и рассмотреть этот феномен вблизи.

В Довиле я пробыл недолго, дня два-три, и вышел в море с надеждой отыскать тихую гавань, чтобы продолжать сочинение не то десяти, не то двенадцати романов о Мегрэ, которые должен был написать по контракту.

Я открыл порт Уистреам, еще не ставший туристским; он соединялся каналом с городом Кан. Там я и бросил якорь. Олаф опять был с нами. Все было прекрасно.

Оба берега порта соединял мост, верней, мостки. Как-то один

спортсмен, тренер по плаванию, забрался на перила и нырнул.

Добряк Олаф, оказавшийся неподалеку, кинулся его спасать и своими мощными челюстями схватил за лодыжку. Не представляю, во сколько бы мне вскочил поступок нашего доброго самаритянина[128] Олафа, если бы не милейший человек, приходивший ко мне за несколько дней до отплытия и вынудивший меня подписать те два полиса. Насколько я помню, тренер по плаванию предъявил иск на оплату вынужденного месячного перерыва в работе, медицинского обслуживания и бесконечных массажей. Но спасибо агенту страховой компании за настойчивость: ни рыбацкое судно, ни спортсмен не стоили мне ни гроша.

Потом я многократно надписывал свои книги. Делать это заставляло меня одно соображение: когда в Довиле я отошел от деревянного стола, ни одного экземпляра на нем не оставалось.

О рождении Мегрэ я уже рассказывал. В Довиле 15 августа не то 1930-го, не то 1931 года состоялось что-то вроде его крещения.

Оба те дня невольно остались у меня в памяти, и потому в этот, но уже куда более спокойный день 15 августа я припомнил все до мельчайших подробностей. При продаже книг с автографами писатели по традиции облачались в очень корректный летний костюм. Я же обратился к моему другу Аэтцу, в ту пору портному-авангардисту. Он изготовил мне рубашку канареечно-желтого цвета с почти неразличимыми голубыми полосками.

Тот же Аэтц соорудил мне вместо брюк нечто, чего еще никто не носил, но что позже получило название пляжной пижамы.

Кое-кто из богатых завсегдатаев Довиля, если не большинство, в тот день 15 августа был, должно быть, шокирован моим видом, тем более что все два часа, пока продолжалась раздача автографов, я вынимал трубку изо рта только для того, чтобы набить ее снова.

Но уже с давних, очень давних пор я потерял интерес к подобным играм. Это теперь настолько вошло в моду, что по выходе книги автор, даже если он, как я недавно говорил, министр или епископ, совершает турне по книжным магазинам Франции, Швейцарии, Бельгии и других стран, которые теперь называются франкоязычными — слово, напоминающее мне первые фонографы на колесиках и с огромным раструбом.

17 августа 1977

Я начинаю новую кассету, но пока еще не собираюсь расставаться с Уистреамом, потому что пребывание на нормандском побережье наложило сильный отпечаток на мою

последующую жизнь.

В кабельтове от порта там был деревянный домик — пивная, которую посещали в основном рыбаки и матросы. Выглядели они все силачами. Я подружился с ними.

Мы потягивали кальвадос и развлекались нашей любимой игрой «железная рука». Мне тогда было не семьдесят четыре, а двадцать восемь, руки у меня были исключительно сильные, и я почти всегда выигрывал у нормандцев, чьи мозолистые лапищи были привычны к обращению с жесткими канатами, фалами, вантами. Это их удивляло. Как-то вечером, изрядно выпив, я предложил:

— А ну, кто кулаком расколет дверь с одного удара?

Двое или трое попробовали, но у них ничего не вышло. Настала моя очередь. Я изо всей силы ударил кулаком по двери: она раскололась сверху донизу.

Стоит ли говорить, что сейчас я на такое уже не способен. Но рыбаки и матросы с того дня прониклись ко мне большим уважением.

Однажды утром, закончив очередную главу, я стоял на мостике «Остгота» и вдруг вижу: на бешеной скорости вылетает гоночный «бугатти» и, яростно взвизгнув тормозами, останавливается у самого края мостков. Я никого не ждал. Из «бугатти» выскакивает мужчина моего возраста и направляется ко мне. У него ангельское, я бы даже сказал, немножко кукольное лицо, и весь он лучится добротой. Подходит ко мне, целует в обе щеки и восклицает:

— Сименон!.. Наконец-то!

Это был Жан Ренуар, ставший с той поры моим, пожалуй, лучшим другом; я виделся с ним всякий раз, когда он бывал во Франции, а с тех пор, как Жан построил очаровательный дом на тихоокеанском побережье северней Голливуда, мы постоянно переписываемся; в этом доме была и, вероятно, до сих пор есть печь для выпечки хлеба: Жан не смог привыкнуть к американскому хлебу и стал выпекать его сам.

Не знаю, почему он так экспромтом решил навестить меня. Я видел все его фильмы, начиная с «Девочки со спичками»[129], где играла его первая жена Катрин Хесслинг.

Первым делом Жан спросил:

— Никому еще не уступили права на экранизацию «Ночи на перекрестке»?

Тогда вышли только первые романы о Мегрэ. Никто еще не предлагал мне делать по ним фильмы. Сердце у меня застучало в ускоренном темпе.

Я ответил, что еще никому. Да я бы даром уступил права,

лишь бы кинокартину по моей книге снял Жан Ренуар, которого я любил больше всех режиссеров той эпохи и фильмы которого ходил смотреть в кинотеатр «Урсулинки», где тогда проходили показы авангардистов и где сеансы иногда завершались потасовками.

Каюта «Остгота» была слишком тесной, чтобы принимать в ней даже одного-единственного гостя, и я пригласил Жана в мое любимое бистро-ресторан, построенное из выкрашенных в красный цвет досок. Беседа наша длилась долго. И чем больше мы говорили, тем большую близость ощущали. Там и родилась дружба или, точней, привязанность, которая сохраняется уже почти пятьдесят лет.

Именно Жан Ренуар снял первый фильм о Мегрэ. Финансировала съемку вовсе не одна из существовавших в ту эпоху крупных кинокомпаний, а продюсер с фамилией на «ски», с которым у нас сразу же начались столкновения.

За право на экранизацию я, хоть сам никаких требований не выдвигал, получил очень недурно: пятьдесят тысяч, и это в те времена, когда франк был ни тяжелым, ни легким, а просто франком. И тогда еще не считали на сантимы!

Жан вызвал из Ниццы своего оператора — в натурных съемках тот был несравненен!

В роли Мегрэ снимался Пьер Ренуар, старший брат Жана, и, по моему мнению, лучший из Мегрэ. Пьер Ренуар, правая рука Жуве[130], сумел понять, что главный комиссар уголовной полиции — это чиновник.

Он и одет был и вел себя с достоинством, как подобает чиновнику; взгляд у него был пристальный, испытующий.

Как удалось все-таки довести фильм до конца? Не знаю. Наш продюсер с фамилией на «ски» говорил то о миллионах, то о десятках тысяч франков.

Из-за отсутствия денег неоднократно приходилось прерывать съемки. Наступила зима, а многие эпизоды надо было отснять заново.

Ну и необходимо учесть, что у Жана была привычка, сохранившаяся на всю жизнь, — импровизировать во время съемок. Это и придает его фильмам столько жизни. И отчасти поэтому в Соединенных Штатах его считают главой новейшего кинематографа.

Через несколько месяцев монтаж закончился — в смысле денег это оказался период, что называется, отлива — и был устроен показ фильма. Немногочисленные зрители, в том числе и я, были в восторге. Но после демонстрации ко мне стали подходить киношники с просьбой объяснить сюжет фильма.

Детективный фильм обязан следовать железной логике. А на экране сменялись эпизоды, и понять сюжет, в общем-то, было довольно трудно.

Провалы в развитии интриги совпадали с периодами финансовых отливов у господина на «ски». И вот, пригласив меня к себе в кабинет, он заявил:

— Кажется, зрители не все понимают. Я нашел способ, как поправить дело. После титров на экране крупным планом появляетесь вы и рассказываете, в чем суть. Потом вы будете появляться еще несколько раз и объяснять тот или иной эпизод.

Этот господин, во время съемок оказавшийся то ли скаредным, то ли безденежным, проявил вдруг непомерную щедрость, предложив мне за эту работу пятьдесят тысяч франков. Эти пятьдесят тысяч были бы мне выданы, вероятно, в виде чека и, разумеется, без обеспечения, поскольку в те времена в мире кино имели хождение главным образом чеки без обеспечения.

Я, естественно, отказался.

Разговор этот происходил в Париже. Я возвратился в Уистреам и решил продать «Остгот». Явился щегольски одетый молодой человек и поинтересовался ценой, но видно было, что для него она не имеет никакого значения. Это был альфонс одной богатой старухи, она покупала ему для забавы мой корабль.

Старуха и молодой человек оказались ревностными католиками. Начали они с того, что перекрестили «Остгот»: для их чувствительных носов от него попахивало ересью. Назвали они его «Богоматерь». Я видел, как корабль выходил из гавани с новым хозяином и священником на борту, но старой дамы не разглядел.

Мне там больше нечего было делать. Мой шофер югослав Ярко прижился тут и вскоре собирался жениться на дочери владельца единственной крупной гостиницы. Больше я его не видел и известий от него не получал. Когда при поездках на «крайслере» мы останавливались перекусить в каком-нибудь городке или деревне, Ярко подходил и торжествующе сообщал:

— Везде *наши* романы!

В предложениях на съемку фильмов о Мегрэ недостатка не было. Через несколько месяцев в производстве были еще три картины, не считая той, что снимал Жан Ренуар. «Желтого пса» сделал Жан Таррид, который больше ничего с тех пор не снял, на главную роль он пригласил очаровательную девушку Розину Дореан. Новым Мегрэ стал Абель Таррид, симпатичный толстяк, игравший примерно так, как когда-то играли в «Порт-Сен-Мартен»[131].

Затем снимали «Цену головы», и Мегрэ там был Гарри

Бор[132].

Я бежал из Парижа, куда приехал из Нормандии, и на своей машине добрался до Лазурного берега. Мыс Антиб был почти необитаем. Возле залива Ангелов расположилось лишь поместье престарелого Ага-Хана[133]. И все-таки я нашел огромную красную виллу, куда и перенес свои пенаты.

Но это уже совсем другая история, как говорил Киплинг.

В пять часов вечера того же дня

Как прекрасен был в те времена Лазурный берег! Гостиницы открывались только на зимний сезон, никто еще не приезжал сюда валяться чуть ли не нагишом на пляжах, где сейчас на человека приходится, дай бог, два квадратных метра песка и где все время надо следить за тем, чтобы твои ноги не перепутались с ногами соседа или соседки.

Гостиничный персонал почти в полном составе перебирался на лето в Бретань или в Нормандию — там находились филиалы гостиниц. Никому и в голову не приходило в августе отправиться в Канн или Ниццу, за исключением нескольких пар молодоженов, впервые оказавшихся на море и бродивших по пустынным пляжам.

Культ солнца родился вскоре. И только тогда вопреки старинным традициям гостиницы стали работать в летние месяцы. Началось строительство самых разных домов, квартиры в которых раскупались, как горячие пирожки.

Это было, что называется, надежное вложение капитала. Лет пятнадцать назад я был в Канне, и один мой знакомый по секрету сообщил мне: можно приобрести несколько квартир в новых домах недалеко от Палм-Бич. Продаются они пока по смехотворно низкой цене. Не надо вносить денег, достаточно подписи, а меньше чем через полгода стоимость их удвоится или утроится.

Я никогда не занимался спекуляциями и отказался. Действительно, два месяца спустя эти квартиры были проданы вдвое дороже того, что мне якобы надо было внести, не прикасаясь даже к банковскому счету. Сейчас, если не ошибаюсь, стоимость этих квартир возросла раз в десять.

Я счастлив, что пожил на Лазурном берегу, в частности на мысе Антиб, в идиллическую эпоху, когда, как я уже говорил, там почти никого не было, за исключением постояльцев отеля «Эден Рок», уже тогда бывшего отелем супер-люкс. Единственным человеком, которого я встречал по дороге через сосновый лес, был престарелый Ага-Хан; мы с ним учтиво раскланивались, но ни разу не обменялись ни словом.

Короче, мыс Антиб, особенно берег бухты Ангелов, то есть находящийся против Ниццы, был совершенно пустынным.

Гордый успехом романов о Мегрэ и продажей прав на экранизацию трех фильмов, я снял огромную виллу, выкрашенную в красный цвет и потому называвшуюся «Красные камни».

Но работал я не меньше, чем прежде; я был чужд праздности.

Троица киношников продолжала преследовать меня. Первым явился Жан Ренуар и попросил написать сценарий и диалоги к «Ночи на перекрестке». На эту работу ушел почти месяц, но занимался я не только ею. Встав рано утром, я первым делом писал главу очередного романа о Мегрэ, поскольку договор с Фейаром вынуждал меня без перерыва выдавать продукцию.

Я нашел молоденькую секретаршу из местных, и в ожидании Жана Ренуара мы с нею занимались любовью.

Когда он приходил, я начинал диктовать сценарий и диалоги, и мы с секретаршей спорили с Жаном. Он считал, что она только начинает рабочий день. Я же доказывал: она уже израсходовала столько энергии, что с точки зрения порядочного мужчины вполне отработала свой дневной заработок.

Жан оставался обедать, а потом мы снова принимались за работу. Как раз в то время он выпустил фильм «Сука»; я его смотрел не меньше трех раз. Я вообще склонен считать этот фильм лучшим у Ренуара.

Частенько во второй половине дня проведать старшего брата заходил Клод Ренуар, а то мы отправлялись повидаться с ним в Антиб, где он строил большой кинотеатр, заручившись обещанием должностных лиц, что по окончании строительства ему будет дано разрешение на проведение там азартных игр. Клод был и остался честнейшим человеком в мире, но в каком-то смысле он идеалист, если не наивен. Кстати, портреты толстощекого малыша Огюст Ренуар писал именно с него.

День обычно кончался ожесточенной схваткой в пинг-понг.

Что же касается Клода, то, когда огромное здание было закончено и кинотеатр открылся, он попытался вырвать обещанную лицензию на азартные игры. Но везде наталкивался на глухую стену. А в строительство этого здания им было вложено тринадцать полотен отца.

Когда же он оказался на грани разорения (он к тому же подписал несколько векселей), ему предложили продать кинотеатр под игорный дом, но продать за сумму куда меньшую, чем та, в которую обошлось строительство.

Какое-то время Клод боролся, но перед политиканами, стоявшими за спиной его противников, был бессилен. Как только

он подписал купчую, покупателю мгновенно была выдана лицензия на проведение азартных игр.

Свой день я нередко завершал в казино Канна или Ниццы. По крупной я не играл. Я не игрок. Для меня это была просто еще одна возможность наблюдать за людьми.

После такого дня я все-таки имел право на несколько часов сна — тогда я был в гораздо меньшей степени, чем теперь, любителем поспать, — а в шесть часов начинался новый день, во всем, вплоть до недолгих забав с моей юной секретаршей, напоминающий вчерашний.

После Жана Ренуара явился Жан Таррид и предложил мне написать сценарий и диалоги к «Желтому псу». В отличие от предыдущего Жана его нельзя было назвать «головой», и работать с ним было трудно, особенно если учесть, что говорил он страшно медленно и был снобом до мозга костей.

На роль Мегрэ он навязал своего отца Абеля Таррида, игравшего в театре роли «толстяков». С огромным брюхом и свисающими брылами он скорей должен был вызывать смех, а не представлять уголовную полицию.

Третий сценарий, включая и диалоги, я писал сам, в одиночку, следуя установившемуся распорядку дня. Это была «Цена головы» — один крупный кинопродюсер попросил, чтобы я сам снял эту картину.

Закончив сценарий, я должен был «подняться», как говорят на юге, в Париж, выбрать актеров и начать съемки.

Поселился я в великолепном номере «Карлтона», фешенебельной гостиницы, которой теперь уже нет на Елисейских полях, и однажды ко мне в номер постучался совсем еще юноша, стриженный бобриком, чуть ли не наголо. Мне показалось, что его глаза горят фанатичным блеском. Он мне тут же выпалил:

— Я тот, кто вам нужен на роль доктора. Видите, я уже и постригся почти наголо.

Что тут ответишь? Впрочем, он стал прекрасным комиком, но наголо уже не стрижется.

Недоставало только Мегрэ. Я не очень часто бывал в театрах и кино. Кончилось тем, что я остановился на Гарри Боре.

Продюсеры мне сказали: «Вам предоставляется полная свобода в выборе актеров и назначении гонораров». Я по наивности поверил. Продюсеры беспрекословно подписывали подготовленные мною договоры и выдавали в качестве аванса чеки.

И тут-то обнаружилась нехитрая механика. Каждый день ко мне врывался кто-нибудь из артистов и возмущенно совал под

нос полученный чек без обеспечения. Я попытался уладить недоразумения, но добиться обеспечения чеков не мог и тогда в ярости (я был в возрасте, когда еще люди способны приходить в ярость) объявил продюсеру, что отказываюсь режиссировать фильм, съемки которого вот-вот должны были начаться, сел вместе с Тижи на корабль и отправился в Экваториальную Африку.

За «Цену головы» решил взяться мой покойный друг Жюльен Дювивье[134], он вернул часть из упавших духом исполнителей, в том числе и Гарри Бора, который, таким образом, стал третьим Мегрэ.

Для непосвященных открою маленькую тайну. Я, в ту пору новичок в кино, страшно поразился, увидев, как преступник, поднявшись по лестнице в свою меблированную комнату, подходит к распахнутой настежь двери, за которой на неряшливой постели лежит Дамиа[135] (она потом стала моей большой приятельницей) и распевает песню.

Зачем в фильме, не комедийном, не сентиментальном, песня? Удивлялся я до тех пор, пока один знающий человек не просветил меня. Кроме гонораров от продюсера, режиссер-постановщик получает после каждой демонстрации фильма какой-то процент от S.A.C.E.M.[136], организации, защищающей интересы в основном музыкантов и певцов.

Вот почему почти в каждом фильме того времени исполнялись одна-две песни, не имеющие никакого отношения к сюжету. Да, я был наивен, как говорил Поль Гют[137], но быстро сообразил, что в парижском киномире мне делать нечего, и выбрал тропические джунгли. Тогда-то я и принял решение, которому оставался верен более пяти лет: сколько бы мне ни предлагали продюсеры, какими бы заманчивыми ни были суммы, никому не передавать прав на экранизации моих книг.

Из книги «Цена человека»

13 декабря 1977

С час назад меня спросили — скорее из дружеских чувств, чем из любопытства, — как на меня подействовало «преуспеяние» после бедного детства и трудных лет, когда я не каждый день ел досыта и мой рацион нередко состоял из хлеба и сыра камамбер, который я старался растянуть подольше.

Этот вопрос часто задают, и мне иногда хочется ответить, не слишком погрешив против истины:

— Никак.

Потому что, в сущности, никакого преуспеяния не было. Конечно, мне было приятно, что потихоньку и даже довольно скоро стало сбываться то, о чем я мечтал в тринадцать или семнадцать лет, и что для этого мне не надо идти на компромиссы, ловчить, кого-то обижать.

Особенно меня радовал растущий успех моих книг в самых разных странах: для меня это служило доказательством, что я не ошибся, изображая человека так, а не иначе.

Ведь если бы мои герои не были человечными, вряд ли они заинтересовали бы японцев, сначала северо-, а потом южноамериканцев, скандинавов, итальянцев, исландцев, русских и вообще европейцев.

Сейчас о своем бедном детстве и трудных годах я думаю со все большей ностальгией. Приближается рождество, и мне вспоминаются детские годы и день святого Николая.

В Бельгии и некоторых других странах 6 декабря, день святого Николая, — эквивалент рождества; раньше это был нередко единственный день в году, когда дети получали подарки.

Готовя рождественские подарки детям и близким, я стал припоминать, что в этот день получал в подарок сам вплоть до шестнадцати лет: игрушки, пряники, апельсины, финики, инжир, и все это вместе не стоило двадцати франков.

А вот теперь из-за детей я почти жалею о том, что оказался в числе «Преуспевающих», как выразился мой утренний собеседник.

Для детей, несомненно, было бы полезнее, если бы я на всю жизнь остался бедным. Им пришлось бы иной раз довольствоваться хлебом и куском камамбера, а то и поголодать, как голодал я во время войны и немецкой оккупации 1914 года, когда все продукты питания были жестко нормированы.

Как я только что сказал, это, пожалуй, мои лучшие воспоминания — воспоминания, которых у них никогда не будет.

Вот почему мне порой случается мечтать, без всякой, впрочем, политической или философской подоплеки, о том, чтобы наследование было упразднено.

Мне хотелось бы — возможно, это и ни к чему — наполнить память своих детей приятными воспоминаниями, потому что я знаю: память о детстве остается с человеком на всю жизнь.

О чем будут вспоминать они? О легкой жизни, о роскоши? О собственных комнатах и ванных, о няньках или гувернантках, которые занимались с ними с утра до вечера? О шофере, который ждал внизу за рулем предназначенной для них машины, чтобы отвезти — сначала в детский сад, потом в начальную школу и, наконец, в коллеж?

Сам я добирался в коллеж пешком. До него было полчаса ходу, и я всеми порами впитывал жизнь начинавшегося дня: в лавках и пивных моют полы, люди с глазами, еще затуманенными сном, идут на работу, занимается рассвет; иногда я видел, как на горизонте весело поднимается солнце.

Уже за одно это я должен просить у детей прощения. Им неведомо, как радостно вставать в половине шестого утра или бежать зимой в темноте, дрожа от страха, в Баварский госпиталь: там я прислуживал на мессе; им не знакомы ранние утренние походы в общественные купальни, где я нырял в Маас.

Перечень того, чего я их лишил, будет слишком длинным. В Великобритании и Соединенных Штатах есть такое выражение: «родиться с серебряной ложкой во рту», что равнозначно нашему «родиться в сорочке». В общем, это применимо и к Марку, и к Джонни, и к Мари-Жо, и к Пьеру. Они не пользовались железными вилками, которыми портишь зубы, но вместе с тем и не отдавали себе отчета, что пользуются дорогими столовыми приборами.

Им не приходилось, войдя в магазин и спросив, сколько стоит какой-нибудь товар — игрушка, книга, лакомство, — услышать от приказчика цену, пересчитать в кармане медяки и выйти, бормоча: «Сейчас вернусь», заранее зная, что они туда не вернутся. Это воспоминание так засело в моей памяти, что, начав «преуспевать», я перестал, заходя в магазин, спрашивать цену вещи, которую собирался купить. Это не было чванством нувориша. Просто я радовался, что наконец-то не надо считать гроши и шарить по карманам в поисках медяков.

Прошу у детей прощения за то, что похитил у них и эту радость.

Еще в детстве они объездили чуть ли не весь мир; я в этом возрасте ни разу не ездил даже в поезде, а самые дальние свои поездки совершал на трамвае; по-настоящему путешествовать я

смог только в зрелые годы.

Интересно, как бы они отреагировали на рождественский подарок, состоящий из традиционного апельсина и небольшой горки сухих фруктов на блюдечке, а из несъедобного — коробочки с акварелью или — но это уже позже — нескольких тюбиков масляных красок?

И все-таки я должен не только просить у детей прощения, но и поздравить их. Никто из них не стал ни папенькиным сынком, ни так называемым плейбоем, что часто случается с молодыми людьми из состоятельных семейств. Я знаю много таких: они бездельничают, или ведут пустую светскую жизнь, или — того хуже — из любопытства либо бравады впутываются в дела, которые приводят их на скамью подсудимых.

Такое часто случается с детьми кинозвезд. А пресловутые хиппи, наркоманы, аутсайдеры нередко являются выходцами из семей, принадлежащих к крупной буржуазии; они ведут подобный образ жизни как бы в отместку своим родителям.

Я не только никогда не жалел, что родился в бедности и рос в семье скудного достатка, но даже благословляю за это судьбу.

Уверен, что у людей — уж так мы созданы! — есть потребность в соперничестве, а что может быть лучшим стимулом, чем бедность в начале пути? Конечно, существуют некоторые роды деятельности, для которых полезней иметь «хорошее» происхождение, например политика или банковское дело. В иных семьях, перед фамилиями которых стоит частичка «де» или даже титул, состояния передаются по наследству уже восьмому или девятому поколению. К крупной буржуазии, равно как и к мелкой, я отношусь с ненавистью и жалостью: там в семье человека с юных лет учат жить так, чтобы сохранить свое положение.

Я уже рассказывал, что сыновьям и дочерям американских миллиардеров случается на каникулы наниматься работать в гостиницы на побережье или в горах — горничными, официантами.

И я представил себе закон, обязывающий всех поступать таким же образом. Действительно, почему бы не обязать каждого время от времени поупражняться в бедности?

Расистов же я посылал бы на некоторое время поработать в Алжир, Центральную Африку или Латинскую Америку, коренное население которых они так презирают.

И пусть закон обяжет хозяев крупных заводов несколько месяцев в году работать на конвейере.

Но пора остановиться: боюсь, что перечень будет долгим и утомительным.

А закончить хочу шуткой: почему бы не вменить Жану Дютуру[138] в обязанность по вечерам перечитывать вслух свои статьи?

Того же дня, четыре часа пополудни

В воскресенье я случайно прочел в швейцарской газете большую статью об Индии; написана она журналистом, прожившим там больше года, а поскольку он собирается пробыть там еще какое-то время, то предпочитает остаться инкогнито.

Жил он в основном к югу от Мадраса, был свидетелем цунами, приведшего, по его словам, к гибели более шестидесяти тысяч человек, не считая полного разрушения нескольких деревень.

Индийские источники, говоря о числе жертв, называют цифру пятнадцать-двадцать тысяч. Они умалчивают о том, что цунами было предсказано за сорок восемь часов, но никто не удосужился предупредить об этом население.

Правда, деревни в этом регионе населяют главным образом неприкасаемые. Помощь, заведомо недостаточную, и ту готовились послать целых несколько дней.

Но опять же речь идет о неприкасаемых.

Я был убежден, что в Индии уже давно нет каст — главным образом благодаря политике Ганди.

Оказывается, они продолжают существовать, создавая барьеры между различными слоями населения.

Однако прогресс все-таки налицо: кое-кому удалось преодолеть эти барьеры, что сорок лет назад было бы немыслимо.

Относится это, как правило, к высшим и средним слоям, но не к неприкасаемым, составляющим сейчас весьма значительную часть населения Индии.

Читая эту статью, автор которой хорошо знает то, о чем пишет, я возмущался, как возмущался бы любой другой на моем месте.

Но потом, сам того не сознавая, я потихоньку начал сравнивать и сопоставлять и вынужден был прийти к такому выводу: в западных, особенно латинских, странах тоже существуют социальные классы — они не называются кастами, как в Индии, и о них предпочитают поменьше говорить.

Браминов, отличающихся культурой и образованностью, здесь заменяет аристократия, подлинная или фальшивая. Казалось бы, она должна была исчезнуть после Великой Французской революции, но Наполеон, детище этой революции, дополнил старую аристократию новой.

Многие ли из простых людей знают, что в Париже ежегодно

выходит справочник по замкам?

Взяв список тех, кто правит страной, начиная с президента республики и кончая дипломатами низшего ранга, депутатами, высокопоставленными чиновниками, видишь, что значительная часть их пишется с частицей «де», а то и обладает звучными титулами, хотя, если верить специалистам по геральдике, восемьдесят процентов из них фальшивые.

Появилась тьма-тьмущая римских графов. Не меньше и людей, приобретающих замок с историческим прошлым, а потом добивающихся у властей права присоединить к собственной плебейской фамилии название этого замка или деревни.

Финансисты и промышленные воротилы происходят по большей части из этого класса; в брак представители высшего, как говорится, общества вступают только между собой.

Этажом ниже, как в Индии, располагается крупная буржуазия, то есть те, чьи состояния были созданы два-три поколения назад; это, пожалуй, наиболее замкнутый класс, которому свойственны наглое высокомерие, ложное достоинство, ложный патриотизм и свои особые табу.

Крупная буржуазия, включающая виноторговцев, шелковых и шерстяных фабрикантов, владельцев текстильных фабрик на Севере или в Мюлузе, а также потомков тех, кто, к примеру, первым произвел какой-нибудь аперитив или ликер, живет изолированно: эти люди предпочитают селиться, будь то в провинции или в Париже, на определенной улице, набережной, бульваре.

У них у всех тоже есть замки или обширные поместья с охотничьими угодьями где-нибудь в районе Солони.

В Бордо династии виноторговцев издавна живут на Шартрской набережной, их так и называют шартрцами. В Нанте потомки торговцев неграми образовали практически закрытое общество, попасть в которое исключительно трудно.

В Париже крупная буржуазия проживает в XVI округе, тогда как Сен-Жерменское предместье остается во владении так называемой аристократии. Но сейчас они потихоньку захватывают новые районы: Марэ, Вогезскую площадь, остров Сен-Луи.

В Рубэ выходит ежегодный справочник, печатающий родословные всех крупных шерстяных фабрикантов, которые не смешивались с остальным населением, подобно тому как брамины не смешиваются с неприкасаемыми.

В Ла-Рошели, Марселе, Нанте, Булони хозяева судовых компаний или сухих доков свысока посматривают на живущих неподалеку владельцев больших суперсовременных рыболовных

флотилий.

Эти сообщества окружают себя прочными барьерами наподобие проволочных заграждений или частокола, чтобы никто чужой не мог видеть, что у них творится.

В Бордо детям с Шартрской набережной охотно дают английские имена и в домах считается хорошим тоном говорить по-английски — чтобы прислуга не понимала.

В Лотарингии существует около десятка семейств, владеющих металлургическими заводами и угольными шахтами.

Когда-то, довольно давно, я жил в окрестностях Ла-Рошели, и больше года ко мне присматривались, прежде чем стали приглашать, нет, не на обед или ужин, а просто на аперитив.

Я дружил с сыном крупного судовладельца, и он часто бывал у меня. Мы были достаточно близки, во всяком случае, к моему шампанскому, которое мы вместе попивали, он относился с большим расположением.

Как-то, сговариваясь о встрече в городе, я простодушно предложил:

— Встретимся в пять, скажем, в «Кафе де ля пэ».

Это отнюдь не матросский кабачок, а весьма респектабельное уютное заведение. Каково же было мое удивление, когда мой приятель ответил:

— К сожалению, туда я прийти не смогу.

— Почему?

— Отец не велит. А вдруг за соседним столом окажется его бухгалтер или кто-нибудь из служащих.

После того как я получил «зеленую улицу», люди из круга ларошельской крупной буржуазии стали часто бывать у меня в доме. Они даже вынудили меня приобрести все необходимое для игры в железку, вплоть до лопатки крупье.

Только потом я понял, почему они признали меня. Они предпочитали не показываться в казино, которых было множество между Ла-Рошелью и Руаном. Положение обязывает! Иные из моих гостей ни разу не пригласили меня к себе с ответным визитом, и я так и не узнал, как они живут. Они просто заезжали ко мне поиграть.

Существуют и другие крепости, столь же незыблемые, как индийские касты. Например, для владельцев скаковых лошадей на трибунах ипподрома отведены и даже отгорожены специальные места, которые могут занимать только они. У них существует нечто вроде формы, приличествующей их положению: жемчужно-серый котелок или цилиндр, визитка и брюки в полоску.

Дискриминация существует даже в спорте. Не всякий может

играть на некоторых площадках для гольфа: для этого нужно доказать, что ты не принадлежишь к обычным смертным. Такое же положение в теннисных и прочих клубах. Сколько людей, даже весьма высокопоставленных, получили от ворот поворот, когда пытались вступить в Жокей-клуб!

Когда я был секретарем маркиза де Траси, потомственного члена Жокей-клуба, он с удовольствием, которое я назвал бы простодушным или, еще лучше, наглым, рассказывал мне:

— Однажды на обеде я оказался рядом с толстяком, фамилия которого мне ничего не говорила.

Этот человек был не из неприкасаемых, раз сидел за одним столом с маркизом, но явно из другого круга, поскольку маркиз даже не слышал его фамилии.

— Господин маркиз, вы позволите задать вам вопрос?

— Слушаю вас.

— Правда ли, что во время обеда разрешается есть салат руками?

На что де Траси ответил:

— Это зависит от того, давно ли вы и ваше семейство перестали месить руками навоз.

Мне нравился де Траси. И все же я был возмущен тем, с каким торжеством он рассказал мне эту историю.

А несколькими неделями позже он поведал еще одну. Некий мужлан задал ему вопрос, не менее нелепый, чем вопрос о салате:

— Сколько раз в неделю вы бреетесь?

Де Траси ответствовал с благородной простотой:

— Джентльмен бреется каждое утро.

Но спустимся этажом или двумя ниже и окажемся среди генеральных директоров, которые либо унаследовали фирмы, либо создали их своими руками.

Порой их принимают в высшем обществе, но тогда они уже не общаются с теми, кто рангом ниже, то есть с ведущими служащими своих фирм.

Ведущие служащие, разумеется, общаются со своими помощниками только у себя в кабинетах, отдавая распоряжения.

Ну а те в свою очередь сверху вниз смотрят на простых служащих, именуемых «белыми воротничками». Стоит ли говорить, что «белые воротнички» не водятся с теми, кто зарабатывает на жизнь физическим трудом, и что мастера на заводах, обращаясь к рабочим, лают как собаки.

Но и это еще не неприкасаемые. Остается класс людей, не относящихся ни к какому классу: рабочие, приехавшие на заработки из слаборазвитых стран — из Северной Африки, Турции, а также из Испании, Португалии и т. п.

А есть еще, если продолжить спуск, старьевщики, роющиеся по ночам в мусорных ящиках, и клошары. Помню, в давние времена, когда зимние холода выгоняли клошаров из-под мостов, они приходили спать за десять или двадцать сантимов в своеобразную ночлежку. Там не было ни кроватей, ни перегородок, не было даже скамеек вроде тех, что стоят на вокзалах в зале ожидания третьего класса. Ночлежники сидели на стульях, положив руки на натянутую веревку, а голову на руки.

В шесть утра хозяин ночлежки, здоровенный верзила со зверской физиономией, отвязывал один конец веревки, и спящие ряд за рядом валились на пол. Те, кто похитрей, приладились ночевать в легавке, то есть в полицейском участке, — для этого достаточно было совершить мелкую кражу или обругать полицейского.

Завсегдатаи знали все полицейские участки Парижа, но чтобы не менять еженощно место ночлега, предпочитали порой совершить преступление посерьезней и получить месяцев четыре-пять кутузки, то есть сесть до конца зимы.

Мы возмущаемся кастовой системой, возникшей в Индии около трех с половиной тысяч лет назад. А у нас на Западе был долгий период рабства, когда дворяне пользовались правом первой ночи.

У нас, как в Индии, продолжают существовать касты, и единственное, что мы смогли сделать, это окрестить их социальными классами.

14 декабря 1977

Если бы я имел обыкновение давать названия тому, что диктую почти каждый день, то этот кусок назвал бы «Склочницы».

Склочниц, о которых мне хочется поговорить, я встречал во Франции повсюду — в деревнях, поселках, городах, где каждый день бывают рынки. Мужчины пригоняют на них крупный рогатый скот — коров, быков, телят, а их жены выставляют деревянные клетки или накрытые мешковиной корзины, где сидят куры, петушки, кролики, а иной раз и молочный поросенок: обычно в деревнях птичий двор — во владении фермерши.

В крупных поселках народ толпится весь день не только в бистро, там имеется еще один дом, у которого образуют очередь склочницы. Здесь живет, как они выражаются, законник: это не обязательно нотариус или адвокат, зачастую это просто человек, разбирающийся в законах, который за умеренную плату может дать клиенту юридический совет.

Как правило, склочницы — пожилые вдовы, затянутые в корсеты и одетые всегда в черное. После мужей они унаследовали

либо дом с тремя-четырьмя гектарами земли, либо большую ферму, а то и несколько старых домов, которые они сдают внаем.

Не стану утверждать, что в каждой деревне или поселке живет по многу таких вдов. Но одна-то обязательно найдется — не подступишься, взгляд злой, лицо жесткое, седые волосы собраны пучком на затылке.

Склочницы — лучшие клиенты законников, которые в отдельных местностях до сих пор работают с песочными часами: когда приходит клиент, ставятся песочные часы, и оплата зависит от того, сколько раз они будут перевернуты.

А в иных провинциях все еще практикуются торги под свечу, то есть продажа с аукциона домов, земель или движимого имущества, когда при открытии торгов зажигают свечку, а как только она догорит и погаснет, это означает конец аукциона и, соответственно, конец набавлению цены. Склочницам отлично знакомы эти обычаи, равно как и обшарпанные стены мировых судов.

Склочницей движет страсть, столь же неодолимая, как страсть других к игре или к спиртному.

Если соседское дерево бросает тень на ее луг, склочница не преминет затеять судебный процесс и заставит соседа срубить дерево.

Если соседская лошадь порвала недоуздок и вторглась во владения склочницы, последняя тут же отправляется к законнику, который, с удовлетворением поглядывая на песочные часы, вряд ли станет отговаривать ее от новой тяжбы.

Чтобы вызвать ближнего, а частенько и родственника к мировому судье, годится любой повод. Но излюбленный, конечно, споры из-за наследства. Свекор, умирая, оставил сыну, покойному мужу склочницы, четыре луга, а остальные отказал двум своим замужним дочерям.

Великолепно! Один луг, тот, что внизу, каждую весну и осень заливает, зато трава там самая сочная в округе. А нижний луг достался зятю Артюру, бездельнику, любителю заложить за воротник; склочница видеть его не может.

И вот, предъявив копию завещания, она советуется с законником. Имел ли старик право поставить в неблагоприятные условия своего единственного сына? Процесс может затянуться на месяцы, на годы, потому что сутяжничество у склочницы в крови: она чувствует себя несчастной, если не ведет хотя бы одной завалящей тяжбы.

А жильцы, которым она сдала полученную в наследство ветхую хибару, ведать не ведают, что они, оказывается, скверные люди! Ох уж эти безродные бродяги! Муж на мотоцикле ездит в

соседний город и бог знает чем там занимается. А его жена, длинная тощая дрянь, вечно дерет нос, хотя не способна даже воспитать троих детей.

За домом они не следят — им только в свинарнике жить; ни мужу, ни жене в голову не придет подкрасить стены, двери, оконные рамы.

Экое бесстыдство! А с той поры, как она попыталась выкинуть их на улицу, хотя арендный договор не истек и будет в силе еще десять лет, жильцы, встретив склочницу на улице, не здороваются. Смотрят холодно в глаза, а их выродки до того обнаглели, что показывают ей язык, родители же хоть бы что.

И последняя капля: съемщики живут всего в полукилометре от нее, но не утруждают себя передачей квартирной платы из рук в руки, а позволяют себе переводить ее по почте. Законник ставит песочные часы, каждые три минуты переворачивает их и, сонливо глядя на клиентку, покачивает головой.

— Щекотливое дельце. Оно требует тщательного изучения: надо ведь истолковать текст арендного договора в нашу пользу.

Прекрасно. Это будет тянуться долго, но старуха не ослабит своей бульдожьей мертвой хватки.

Упомянул ли я, что в рыночные дни по причине визита к законнику склочница надевает шляпку, как будто направляется на воскресную мессу?

Она вся — воплощенная добродетель и справедливость. Как вызывающе она улыбается, звоня к законнику и усаживаясь в приемной, где дожидаются клиенты!

Эта радость обходится ей недешево: после каждого переворота песочных часов количество крестиков растет.

Но ей на это плевать. Игрокам тоже гораздо чаще случается проигрывать, чем выигрывать. За удовлетворение страсти к сутяжничеству стоит платить, и успокоится склочница только тогда, когда, высохшая, превратившаяся в собственную тень, всеми брошенная, испустит последний вздох на широкой кровати орехового дерева.

Психиатрам склочницы превосходно известны: кое-кто из этих особ настолько поддается снедающей их страсти, что не останавливается даже перед использованием крысиного яда, лишь бы только одержать верх над противником.

В феврале луга покрываются маргаритками, потом калужницами, превращаясь в великолепный цветочный ковер.

Но склочница не видит цветов, не слышит звонкого журчания протекающего по *ее* земле ручья, где водятся раки.

Ручей тоже представляет собой прекрасную зацепку для судебного процесса: по вечерам мальчишки прямо на ее глазах

сачками ловят в нем раков.

Склочница раков не ест. Она считает их нечистыми тварями, которые питаются падалью и тухлым мясом, к тому же у них такие страшные клешни.

Но она старательно записывает фамилии мальчишек, дни и часы, когда они ловили раков. Законник просит указать и возраст преступников.

Увы, большинство из них младше десяти лет, самому старшему — двенадцать. Это значит, что привлечь их к суду будет сложно.

— Но ведь они не только вторгаются в частное владение, но и совершают кражу, — настаивает склочница.

— Все равно они несовершеннолетние.

— А родители? Они тоже несовершеннолетние? Или они не несут ответственности за преступления своих детей?

Ведь всякое покушение на частную собственность, особенно на собственность склочницы, должно почитаться преступлением. Почему же тогда нельзя подать в суд на родителей преступников?

Законник ничего не имеет против: пусть все это бессмысленно, но гонорар-то свой он все равно получит.

Склочницы встречаются не только в деревнях. И не только в маленьких городках они дежурят у окон, прячась за шторами. Склочницы существуют во всех слоях общества, с той лишь разницей, что в высших классах они оспаривают завещание не с целью получить лужок, а чтобы обскакать брата или золовку и прибрать к рукам бабушкины бриллианты либо пакеты акций и облигаций.

И тут уж борьба ведется не на жизнь, а на смерть. Только вместо законника действует настоящий адвокат да порой еще с помощью нотариуса.

Франсуа Мориак показал семейство, окружившее себя сворой адвокатов, все члены которого под защитой юристов ведут беспощадную борьбу между собой. Возможно, я не буквально точно передал то, что написал Мориак, но смысл сохранил.

Андре Жид пошел гораздо дальше, написав лапидарно: «Семьи, я вас ненавижу!»

Чуть ли не те же слова бросил палате депутатов Леон Блюм, когда был премьер-министром[139]: «Буржуа, я вас ненавижу!»

В конце двадцатых годов один комиссар полиции признался мне, что существует категория преступлений, число которых установить невозможно, но, по всей вероятности, оно достаточно велико.

Эти преступления действительно никогда не раскрываются, потому что по большей части совершаются в сельской местности

и главным образом женами. Я имею в виду отравления.

Часто фермеры женятся на женщинах гораздо моложе себя и куда более агрессивных. У некоторых из них, как говорят в народе, в заднице свербит.

На ярмарке батраков — они существуют так же, как конские или птичьи, — фермерши на год нанимают работника, предварительно пощупав у него мускулы.

Среди батраков не редкость молодые, крепко сложенные парни, ни дать ни взять жеребцы, и через некоторое время склочница невольно принимается сравнивать его со стареющим пузатым мужем.

Сперва работник и хозяйка переглядываются, потом начинают тайком встречаться и заниматься любовью.

Вступают ли они в сговор? Как бы то ни было, в итоге муж становится лишним. Обычно склочница сама подсыпает ему в похлебку небольшими порциями мышьяк — яд, который прежде имелся на каждой ферме.

Через месяц, иногда позже — такое дело надо обделывать осторожно, — муж начинает жаловаться на желудок, на боли в области сердца. Деревенского врача это не удивляет: известно, что фермер имеет обыкновение выпивать в день четыре-пять литров вина, не считая нескольких стопок водки. И когда тот наконец, к великой радости склочницы, умирает, врач со спокойной душой подписывает свидетельство о смерти.

Комиссар утверждал, что из десяти, если не из ста подобных преступлений раскрывается одно, да и то случайно. Так что статистику установить весьма трудно.

А в заключение комиссар сказал:

— Пожалуй, наряду с убийствами из ревности это самое распространенное преступление.

Склочница никогда не торопится. Она выжидает, сколько положено, и только тогда выходит замуж за своего сожителя; даже если злые языки и пустят по округе слушок, доказательств-то нет. Известно, что в земле всех кладбищ содержится некоторое количество мышьяка.

А вот убийства из ревности гораздо чаще совершают мужчины, нежели женщины, и в каждом случае это происходит по-разному.

Эзоп, когда его спросили, что в мире лучше всего, ответил:

— Язык.

А когда его тут же спросили, что хуже всего, ответил столь же лаконично:

— Язык.

То же можно сказать и о любви.

Любовь, как майонез, либо удается, либо нет. К несчастью, любовь, которая не удалась, нельзя в отличие от майонеза подправить, добавив капельку прованского масла или еще один желток.

Любовь или чувство, которое за нее принимают, прокисает, портится все сильней и наконец, окончательно прогоркнув, превращается в ненависть.

И тут уж до трагедии всего один шаг.

В трагедиях на почве ревности убийца, будь то мужчина или женщина, редко пользуется отравой. Чаще всего орудием убийства становится дамский револьвер с перламутровой рукояткой калибра шесть миллиметров или кухонный нож.

Я знаю множество случаев, когда охваченный яростью мужчина хватал подвернувшийся под руку нож и наносил десять, двадцать, а то и тридцать или тридцать пять ударов.

Для таких у присяжных никогда не находится смягчающих обстоятельств. Один удар ножом, пожалуйста. Это вполне приемлемо и не настолько уж сенсационно. Но тридцать — это скорей смахивает на бойню; такое никак не укладывается в голове у нормального человека.

По закону для признания человека виновным необходимо, чтобы в момент совершения преступления, на которое его толкает *непреодолимое* побуждение, он находился в здравом уме.

Отравительница действует в течение долгого времени: она наблюдает, как страдает и чахнет ее жертва, но это не мешает ей подсыпать мужу новые порции яда.

И человек, пустивший пулю в жену или любовницу, скорей всего, действовал в здравом уме, равно как и тот, кто прикончил ее одним-единственным ударом в сердце.

Но для того, чтобы нанести двадцать или тридцать ударов, надо поистине не владеть собой, впасть в состояние предельного ожесточения.

Однако именно такой убийца дороже всего и расплачивается, хотя зачастую жертва в течение долгих лет доводила его до отчаяния, так что в конце концов он не выдержал.

Так наряду со стервами существуют и стервецы.

Среди тех и других имеются подлинные профессионалы, для которых убить все равно что выкурить сигарету. За свое полнейшее безразличие к чужой жизни они получили у газетчиков кличку «монстры». Но психиатры высказывают иное мнение, когда, запинаясь, докладывают в суде результаты обследования подобных типов.

Существуют чудовища, которые убивают ради убийства, как существуют глухонемые, слепые от рождения, хромые, горбатые и

т. п.

Но глухонемым и горбатым не отрубают голову.

Из книги «Говорят, что мне семьдесят пять»

5 апреля 1978

Несколько дней тому назад во французских газетах был опубликован текст нового закона; он должен еще пройти через обе палаты, но, несомненно, будет принят. По этому закону у человека, умершего в больнице, клинике или у себя дома, врачи смогут взять любой орган, который им понадобится для пересадки другому пациенту.

Разрешения от семьи покойного не понадобится, и она не сможет этому воспрепятствовать. Однако если, умирая, человек письменно выразит свою волю и запретит после смерти брать у него органы для пересадки, она будет исполнена.

Закон не оговаривает, будут ли наследникам платить за почку — одна больница в Париже ежегодно производит четыреста трансплантаций почек, и это только начало, — за здоровое сердце, глаз, ухо и т. п.

В эпоху, когда всему есть цена, все продается, было бы вполне резонно, если бы отец многочисленного семейства, не имеющий состояния, мог завещать жене и детям вместо денег стоимость своей печени, желудка, стольких-то квадратных сантиметров кожи.

В двадцатые годы один из самых нашумевших бестселлеров назывался «Твое тело принадлежит тебе». Там рассказывалось о женщине, правда, не мертвой, а вполне живой и жадной до телесных радостей.

Его автором был Виктор Маргерит. Находчивые книготорговцы выкладывали на прилавки один-два экземпляра этой книги, отметив закладками наиболее пикантные страницы.

Она вызвала настолько громкий скандал, что Виктор Маргерит, бывший не то кавалером, не то даже офицером ордена Почетного легиона, лишился этого звания.

Цена человека? В разных странах это выражение имеет разный смысл. Например, в Соединенных Штатах, говоря о ком-нибудь, вас могут совершенно спокойно спросить:

— Сколько он стоит?

Никого не интересует, кто этот человек — ученый, великий поэт, гениальный музыкант, благодетель человечества или обыкновенный негодяй. Сколько он стоит? Пятьсот тысяч долларов? Миллион? Несколько сот миллионов? И неважно, что он делает или чем торгует.

Вопрос этот задают, как правило, только когда речь заходит о богатых. Там не говорят:

— Он стоит пятьсот долларов.

И уж подавно:

— Он не стоит и цента.

В Голливуде, если речь идет не о киномагнатах, счет идет чуть-чуть иначе. Об актрисах, актерах, режиссерах спрашивают:

— Сколько он получает за фильм?

— Пятьсот тысяч долларов? Миллион?

Это несколько напоминает биржу. Цена кинозвезды зависит от сборов, которые сделал последний фильм с ее участием, и в течение месяцев может удвоиться или упасть вполовину.

Есть там и низкооплачиваемые: сценаристы, авторы диалогов, ассистенты, рекламисты и т. п. Заработки у них не столь сногсшибательные, но зато более стабильные: от пятисот до двух тысяч долларов в неделю, а в иных случаях и выше. Каждая категория образует замкнутую группу; пятисотдолларовые и пятитысячные не общаются между собой, живут в разных районах, ведут различный образ жизни.

Во время моего пребывания в Голливуде мне запомнилась фраза, обычная в тамошнем лексиконе, но когда мне довелось впервые услышать ее, я вздрогнул:

— Мне тут надо было потратить *три недельки.* Я провел их в Лондоне.

Оказывается, можно тратить не только деньги, но и время.

Ничего удивительного. Старая поговорка гласит: «Время — деньги».

Деньги. Они необходимы, чтобы тебя избрали депутатом, сенатором, президентом республики. Они необходимы, чтобы сохранить здоровье, поскольку и врачу, и аптекарю надо платить. Они необходимы, чтобы… Но не проще ли спросить: «Что еще можно бесплатно?»

Дышать? Даже это неверно, если иметь в виду заполнение легких воздухом, отличным от воздуха, загаженного парами нефти, которая лежит в основе стольких крупных состояний. Речь идет о горном воздухе. Но он вовсе не бесплатный. Пешком до него не доберешься. Это раньше выходили на холм, чтобы, как выражалась моя мать, «подышать свежим воздухом». Поездки стоят дорого. А в тех местностях, где воздух еще не загрязнен, цены в гостиницах весьма высокие.

Наш розовый домик окружен деревьями и зеленью. Но несмотря на это, когда утром открываешь застекленную дверь, сразу окунаешься в бензиновую вонь.

Поднимается вопрос о запрещении посадок

сельскохозяйственных культур в пятидесятиметровой полосе вдоль автострад, потому что растения и коровье молоко становятся вредными из-за выделений бензина, свинца и бог знает чего еще. Правда, за пятидесятиметровой полосой такое же действие оказывают инсектициды.

Нет, я не брюзжу. И вовсе не переоцениваю прошлое. Я просто наблюдатель, регистрирующий, как меняются моды и образ жизни привилегированных слоев населения. Когда-то была так называемая аристократия. Потом дворянство шпаги — генералы, маршалы.

Сейчас мы имеем дворянство денежного мешка.

Несколько месяцев назад я спросил своего сына Пьера, чем он собирается заниматься в жизни. Он ответил:

— Пока не знаю, но в тридцать у меня будет собственный «роллс-ройс».

Он не понимает, почему я живу в маленьком домике с крохотным садиком, хотя совсем рядом с городом у меня есть огромный дом. И многие этого не понимают.

Тем хуже для них. Говорят, нет правил без исключения. Я предпочитаю быть таким исключением.

21 мая 1978

Вчера в пять вечера позвонил мой старший сын и сообщил, что моя дочь Мари-Жорж умерла.

27 мая 1978

Милая моя маленькая Мари-Жо, прошлая суббота была самым трагическим днем в моей жизни. И вся неделя была невыносимо тяжелой. Ощущение было такое, будто у меня перехватило дыхание.

Сегодня ты у нас, в нашем садике, рядом со знакомым тебе кедром и кустами цветущей сирени. Вчера твое тело — тело взрослого ребенка — было кремировано, а сегодня мы, исполняя твою последнюю волю, рассеяли твой прах по траве нашего сада.

Мы видим тебя сквозь застекленную дверь. Можем разговаривать с тобой. Знаем, что ты наконец освободилась от страха, не боишься больше оказаться, как ты говорила, наглухо закрытой.

Тебя греет солнце. Встречая тебя, весело щебечут птицы, и меня больше не давит страшная тяжесть; я даже радуюсь, зная, что теперь ты всегда будешь рядом со мной.

Это письмо, которое я тебе пишу, будет, наверное, самым длинным: я буду его продолжать изо дня в день.

Сегодня я говорю тебе о своей радости, потому что знаю: ты

тоже рада, что кончилась твоя мука.

Здравствуй, моя девочка. Теперь ты станешь делить нашу жизнь, всегда будешь в ней.

Ты в воздухе, которым я дышу, в сияющем нам свете, в вибрациях космоса. Ты всюду и во всем.

Здравствуй, моя маленькая Мари-Жо.

3 июня 1978

Здравствуй, Мари-Жо.

Проснувшись, я первым делом здороваюсь с тобой, а когда закрываю ставни, желаю тебе доброй ночи.

Выходя на прогулку, я испытываю потребность снова поздороваться с тобою. Оставаться весь день взаперти я не могу: меня начинает что-то давить. Через несколько минут после возвращения домой Тереза сказала:

— У меня ощущение, что во время прогулки ты не переставал диктовать.

Это так и не так. Не так, потому что к разговору с тобой я не готовлюсь. Так, потому что с утра до вечера я не расстаюсь с тобой.

Вчера я набрался духу посмотреть альбом фотографий, который Эткен привезла из Парижа. Не знаю, говорил ли я тебе уже, что весь путь она проделала вместе с тобой. Мне остается прочесть твои тетрадки, бумаги, которые ты оставила, может быть, прослушать твои магнитофонные записи. Хотелось бы набраться решимости и сделать это сегодня вечером. До сих пор у меня не было ни решимости, ни сил.

Каким ты была очаровательным ребенком! Как жаль, что я бросил заниматься фотографией, и как жаль, что я так редко снимался вместе с тобой: мне надо было фотографировать!

Я нашел твои фотографии, когда ты подросла: ты была необыкновенно хороша, но мне кажется, уже тогда в твоих глазах проглядывал затаенный страх.

Ко мне заходил Дюран, и я с горечью повторил ему фразу, которую сказал тебе по телефону:

— В этом году тебе должно исполниться четверть века, а мне три четверти.

Дюран заметил:

— Цифры всегда лгут. К двадцати пяти годам Мари-Жо прожила жизнь полностью.

Я согласился и стал раздумывать, когда в твоей жизни поселился тот «Другой», о котором ты говоришь в одной из записей с таким юмором и так здраво и которого величаешь, наделив его фамилией, «господин Страх».

Вероятно, страх появился рядом с тобой, когда тебе было лет тринадцать. Вначале признаки этого были не очень заметны. Например, ты мыла руки по сорок-пятьдесят раз на дню. А вечером, перед тем как лечь спать, вдруг требовала, чтобы тебе сменили простыни, хотя постелили их только утром, и заставляла проверять, нет ли кого-нибудь под кроватью.

Правда, ты была переутомлена: в ту пору ты не признавала школьных отметок ниже «десяти».

Из Парижа вызвали женщину-психиатра, специалиста по детским нервным расстройствам, и после ее визита тебе несколько недель пришлось провести в небольшой, очень приятной клинике; чувствовала ты там себя прекрасно. Называлась она очень мило: «Отчий дом». Вернулась ты оттуда успокоившаяся, но тут у твоей матери стали проявляться все более тревожные признаки психического расстройства: два года назад она уже побывала в нервной клинике в Пранжене.

Я уверен, и таково мнение всех врачей, что в этом и заключена причина появления господина Страха.

Поверь, девочка, во мне говорит не отцовская гордость — таково общее мнение: ты была разносторонне талантлива. Ты не сделала еще выбора, но могла стать и писательницей, и музыкантшей, и актрисой, а твои песенки на собственные слова, которые ты пела под гитару, произвели на меня такое впечатление, что меньше трех недель назад я позвонил тебе и сказал, что, может быть, это и есть твой путь.

Прости, сегодня больше не могу. Говоря с тобой, я так разволновался, что уже не способен продолжать.

Может быть, господин Страх потому и не отступал от тебя, что ты была так одарена?

У меня болит душа, и я нежно-пренежно целую тебя, моя девочка.

Вальмон, 1 июля 1978

Вчера мы прибыли в Вальмон, поселились в нашем прежнем номере и обрели прежние привычки.

И мне вдруг почудилось, что наш домик в Лозанне безумно далеко от меня и что я уже целую вечность не диктовал, хотя перерыв, как мне представляется, длился не больше двух недель, а если больше, то ненамного.

И еще мне кажется, что прошло куда больше месяца с того дня, когда в мою жизнь грубо ворвалась трагедия.

Все это время я приобщался к горю, какого еще не знал, несмотря на свой возраст. Удар был слишком жесток, и долго, очень долго я не мог прийти в себя. Я потерял ощущение себя.

Никого не воспринимал. Чувство было такое, словно я выключился из жизни.

Когда же прах дочери был рассеян по нашему саду, она стала мне так близка, что ее образ не покидал меня с утра до вечера. И, ежедневно диктуя ей письма, я пытался выразить эту новую близость, возникшую между нами.

Одновременно я слушал магнитофонные кассеты, которые она записала для меня. Читал стихи, тетради, письма, оставленные ею.

С нею я снова ожил.

Я уже не чувствовал себя раздавленным, как в первые дни; горе, которое я ощущал, стало иным — это было глухое горе, проникшее в каждую клетку моего существа, оно вынудило меня прекратить диктовать.

Сейчас в Вальмоне, в обстановке, хорошо знакомой мне вот уже пять лет, я обретаю давние привычки, давний распорядок дня. Вокруг меня ничто не изменилось.

Но можно ли сказать, что ничего не изменилось во мне? Я почти уверен в противном. Я больше не плачу, произнеся или вспомнив имя Мари-Жо. Самочувствие понемногу делается ровным. Тем не менее я так и не стал самим собой и, думаю, не стану.

Может быть, когда-нибудь, если полностью успокоюсь, я снова возьмусь рассказывать о Мари-Жо.

Когда я диктовал «Письмо к матери», с ее смерти прошло два года. Но у нас с ней не было такой близости, какая существовала между мной и Мари-Жо.

Теперь я буду продолжать говорить о том и о сем, словно ничего не произошло.

В Вальмон я приехал пройти курс лечения. Буду жить здесь своей обычной жизнью, потому что есть много вещей, которые я не могу высказать; иные я осознал лишь недавно и понял, что, хоть и знал свою дочь лучше, чем кто бы то ни было, мне еще надо долго в ней разбираться.

Я понял. Я знаю. Но это знание не для всех, и только Тереза может разделить его со мной.

В небольшом стихотворении на английском языке, которое Мари-Жо надиктовала для меня на магнитофон за несколько часов до смерти, она говорит, что скоро мы уже не будем разлучаться, что она навсегда останется со мной, где бы я ни был, и что теперь мы станем гораздо ближе друг другу, чем прежде.

Я не верю в бога. Я верю в Жизнь.

Во всеобщую жизнь, которая продолжается несмотря ни на что.

Я почти убежден, что Мари-Жо слышит меня и улыбается мне.

И я не удивился бы, увидев ее сидящей на стуле напротив. Нет, я не оставил ее в нашем лозаннском садике. Она со мной.

12 июля 1978

Где-то я уже рассказывал о безмолвной беседе, которую я и мой сын вели в барселонском зоопарке с парой великолепных горилл. Мы стояли у клетки, но, увы, были отделены от них решеткой. В обезьяннике мы были единственными посетителями, и гориллы рассматривали нас с таким же интересом, с каким и мы их. Мы молчали, старались не шелохнуться. Между нами происходило нечто вроде разговора взглядами.

Думаю, их глаза были куда выразительней наших и куда любопытней. Гориллы рассматривали нас бесстрашно, спокойно, серьезно.

На улице была гроза, ливень хлестал вовсю, барабанил по крыше. Время от времени самка поглядывала на самца, как бы спрашивая его о чем-то. Смысл вопроса, как и ответа, я разгадал позже.

Ответ, очевидно, был положительным, потому что самка неторопливо удалилась через лаз в глубине клетки. Когда она вернулась, на руках у нее был детеныш, и она, как мне показалось, с гордым видом поднесла его к решетке, словно демонстрируя нам своего отпрыска.

Я почувствовал нечто вроде стыда, оттого что не смог выразить своего восхищения этой богатырской могучей парой и их детенышем, глаза которого горели любопытством.

Даже когда дождь перестал, я не решался уйти от них, боясь их обидеть. Мне так хотелось им сказать:

— Извините меня. Спасибо, что встретили нас. Поздравляю вас с вашим детенышем, которого вы так любезно показали нам.

Под конец все три гориллы проделали несколько прыжков, как бы желая продемонстрировать, что, несмотря на свой вес, они очень проворны. Точно помню, что, уходя, я пробормотал нечто невразумительное: мне было неловко покидать их.

Такое же чувство возникает у меня при общении и с другими животными: мне стыдно, что я не полиглот. Произнеся «полиглот», я не оговорился: у каждого вида животных свой язык.

Они по-своему разговаривают с нами: лают или мяукают, но в разных обстоятельствах всегда по-разному, не повторяясь. Разговаривают, виляя хвостом, настораживая или прижимая уши, но главным образом глазами — взгляд их не менее выразителен, чем у горилл в Барселоне.

За мою жизнь у меня перебывало много собак. У одного пса, например, была своя собственная жизнь, и мы это поняли с первого взгляда.

Звали его Олаф, это был огромный аспидно-черный датский дог. Жили мы в Ла-Ришардьер, в десяти километрах от Ла-Рошели, и каждое утро после завтрака Олаф уходил по своим делам.

Он был большущий, с ужасно длинными ногами и расхлябанной походкой. Наш дом стоял особняком, до ближайшей деревни было километра три.

Нередко через четверть часа или полчаса я тоже выходил из дому прогуляться полем по тропинке и, случалось, встречал Олафа, который вдруг выныривал с соседней тропки. Он не бросался ко мне, не клал лапы на плечи, как делал это дома, а держался весьма сдержанно и, казалось, говорил мне:

— Привет. Сейчас ты иди налево, к Марсийи, а я продолжу путь в Ниёль.

И действительно, каждый из нас шел своей дорогой.

Я-то знал, куда ходит Олаф. В Ниёле была бакалейная лавка, где торговали всяким товаром. Стояли там два ряда жестяных ящиков со стеклянными крышками, где лежали галеты. В этот утренний час в лавке всегда было людно. Олаф укладывался около ящиков с печеньем и ждал. Лавочница знала его, но специально выдерживала: ей было известно, что, когда Олаф сочтет ожидание чересчур затянувшимся, он поднимет морду почти к конфетным коробкам и испустит глубокий вздох или зевнет.

Только после этого он получал одну-две галеты, причем брал их губами: Олаф был исключительно деликатный пес, понимал, какой он большой, и боялся кого-нибудь перепугать.

Вильнув в знак благодарности хвостом, Олаф дожидался, когда откроют дверь, и через всю деревню трусил к мяснику. Там повторялось примерно то же. Улегшись, словно стесняясь своего роста, Олаф ждал, когда мясник обслужит клиентов, и наконец, не выдержав, вздыхал, после чего получал кусочек мяса.

Олаф страшно любил мороженое. Стоило ему увидеть, что на пляже сидит ребенок и лижет мороженое, как он метров за двести останавливался, плюхался на песок и преодолевал все это расстояние ползком, воображая, видимо, что так он стал совсем маленьким. Добравшись до ребенка, Олаф умильно смотрел на него, и тот почти всегда, ничуть не испугавшись, протягивал собаке мороженое. Олаф неспешно смаковал лакомство, после чего отправлялся на поиски следующей порции.

В маленьком голландском порту Олаф, живший с нами на

борту «Остгота», точно помнил час, когда возвращались рыбачьи боты, нагруженные до краев еще трепещущей селедкой. Рыбаки тоже знали Олафа. Они придумали такую игру: издалека бросали ему живую селедку, Олаф прыгал и пастью на лету ловил ее. Так он получал штук десять-пятнадцать селедок и сжирал их с неизменным удовольствием.

Из книги «Когда наступают холода»

19 сентября 1978

В 1948 году я жил в США в Кармел-бай-зе-Си и писал роман под названием «Зеленые ставни». Действие его происходит не в Америке, а на Лазурном берегу, тогда еще не до конца забетонированном. Главный герой, знаменитый актер — фамилию его я забыл, — лет в пятьдесят пять — шестьдесят вдруг начинает ощущать боли в левой стороне груди и вынужден пойти на обследование к врачу.

Ему делается неприятно уже от того, что в кабинете приходится раздеться до пояса, а потом врач со многими околичностями объявляет ему, что у него грудная жаба.

Актер невозмутимо принимает удар. Одеваясь, он даже бросает врачу с иронической улыбкой:

— Итак, с сегодняшнего дня я перехожу в «состояние болезни».

Меня всегда увлекала медицина, и, встречаясь с кем-нибудь незнакомым, я всякий раз непроизвольно стараюсь определить его слабое место. Я утверждаю и настаиваю, что абсолютно здоровых людей не существует. Но недавно я прочитал в бюллетене Международной организации здравоохранения о широком обследовании, проводимом с целью установить процент людей, не страдающих никакими болезнями и недомоганиями.

Для большинства стран Запада он равен, в среднем, десяти, однако для людей, переваливших за сорокалетний рубеж, падает до… одного процента.

Если исключить несчастные случаи, люди до сорока лет умирают только в результате той или иной болезни. Стало быть, этот один процент, почти ноль, и есть истинный ответ.

Вчера я читал труд всемирно известного и почитаемого ученого, доктора Ганса Селье[140]. Он автор нескольких книг, и все они посвящены проблеме, изучению которой он отдал свою жизнь.

Это стресс, которому Селье придает огромное значение; он сам, кстати, и придумал этот термин. Стрессом называется ослабление, мгновенное или нет, наших естественных защитных средств вследствие утомления, забот, чрезмерной работы или в результате слишком сильных эмоций, все равно, приятных или неприятных.

Профессор Селье приводит в пример цепь, состоящую из железных колец, которую растягивают в противоположные стороны. Он совершенно справедливо говорит, что, если

приложенное усилие будет слишком большим, одно из звеньев обязательно лопнет.

С такой железной цепью он и сравнивает наш организм, весь целиком, включая мозг.

Если напряжение чересчур велико, всегда найдется звено, то есть один из органов, которое сдаст, и, разумеется, это будет самое слабое звено.

В 1959 году в Эшандене я записывал в тетрадь самые разные соображения, которые не собирался публиковать, но в конце концов через десять лет издал под названием «Когда я был старым».

Помню те две страницы, где я распространялся о своем пристрастии к медицине. Там я сказал — правда, с большой опаской, потому что боялся, что надо мной будут смеяться, — что существуют не *болезни*, а только *одна болезнь*.

Я вспомнил об этом вчера, читая книгу Ганса Селье. Говоря об опасном звене, он добавляет, что его невозможно определить среди прочих до тех пор, пока оно не выйдет из строя.

Иными словами, в основе любой болезни лежит фактор, не зависящий ни от нас, ни, я бы сказал, от медицины, который служит детонатором, — стресс.

Я не специалист ни в одной науке. И тем не менее у меня предчувствие, что мы приближаемся к постижению единственной болезни.

Все имеют право мечтать.

24 сентября 1978

Я получаю много писем, даже слишком много, из самых разных стран. В течение пятидесяти лет, еще до того, как я начал публиковать «Я диктую», приходили письма от поклонников, вроде тех, что получают певцы и певицы. И лишь небольшая часть корреспондентов задавала мне довольно затруднительные вопросы о моих книгах, их возникновении и о планах на будущее.

После выхода первых томов «Я диктую» все изменилось. Во-первых, расширился, если можно так выразиться, спектр читателей: от самых скромных людей до врачей и университетских преподавателей.

Изменился и возраст моих корреспондентов. По-прежнему приходят письма от детей двенадцати — пятнадцати лет, которые просят прислать автограф и фотографию с надписью, от взрослых, пишущих мне лестные вещи, но к этому добавилось большое количество писем от стариков. Они обращаются ко мне как к писателю и в то же время как к другу, возможно потому, что узнали меня теперь не через моих героев, а благодаря

признаниям, которых очень много в том, что я диктую.

К тому же у них есть потребность, и я их понимаю, сравнить иные периоды моей и своей жизни, рассказать о своем детстве, о своих радостях и разочарованиях.

Многие из этих писем чрезвычайно трогательны, и я был поражен тем, сколько людей познали воистину трагические часы.

Скажу так: познали простые трагедии, поскольку их рассказы всегда просты, и притом они склонны извиняться за то, что придают столько значения своим жизненным невзгодам.

Разъезжая по всему свету, я старался постичь человека и как можно ближе подойти к нему в своих романах.

Когда я начинал диктовать, я вовсе не думал о будущих читателях.

Однако лучше всего я понял людей по ним самим, по их письмам, нередко написанным карандашом. А может быть, и себя самого?

Слово «восхищение», равно как бесящее меня «уважаемый мэтр», в этих письмах встречается редко: их заменили слова «друзья» и «дружба».

То, что я диктую, отнюдь не литература. Мне куда важнее просто правда.

Люди это понимают и потому пишут мне. Я думаю, что, если бы люди не прятались за общепринятые правила поведения, не скрывались под оболочкой хорошего воспитания, ложной стыдливости, сдержанности, человеческие отношения были бы куда ближе и доверительней.

7 октября 1978

Этот образ часто встречается в романах прошлого и начала нашего века. У меня впечатление, что я натыкался на него у Бальзака, только не помню, в каком именно романе.

Мужчина среднего или, скорей, неопределенного возраста, одетый в темное, поднимается по узкой лестнице, держа в руке небольшой сверток. Открывает дверь своей запущенной квартиры, кладет сверток, в котором находится его обед, и первым делом направляется к стоящему посреди столовой круглому столику. Там в аквариуме медленно плавает золотая рыбка. Человек что-то говорит ей — так разговаривают с несмышлеными младенцами — и сыплет в воду щепотку рыбьего корма.

Существуют варианты этой картинки. Например, не мужчина, работающий весь день в темной конторе, а женщина того же возраста, очень просто одетая, которая, войдя к себе, прежде всего бросается кормить золотую рыбку и что-то ласково приговаривает.

На эту тему имеются и карикатуры. Как правило, они вызывают улыбки, но меня всегда трогают.

По мне, золотая рыбка в аквариуме, разевающая рот, словно собираясь что-то сказать, символизирует крайнюю степень одиночества. Не столько рыбки, разумеется, сколько ее владельца.

В Соединенных Штатах в любом супермаркете продаются маленькие черепашки до пяти сантиметров в диаметре: больше они не растут. Это первое животное, которое там дарят ребенку. Глубокую стеклянную миску наполняют водой, делают из песка островок, чтобы черепашка, поплавав, могла на нем отдохнуть.

В других странах почти повсюду этих карликовых черепах заменяют плюшевые медведи, а сейчас и другие зверюшки — собаки всевозможных пород, львы, жирафы, слоны, даже крокодилы.

Несколько дней назад я заходил по делу в самый крупный игрушечный магазин в Лозанне: звери, причем весьма недешевые, занимают гораздо больше полок, чем остальные игрушки. Очевидно, они кому-то нужны.

Во времена моего детства игрушечные звери были редкостью, а девочкам и даже многим мальчикам покупали тряпичных кукол; очень часто ребенок спал с нею и, бывало, без куклы наотрез отказывался ложиться.

А теперь ребенок засыпает, прижимая к себе игрушечного льва, собаку, а то и петуха.

Нельзя сказать, что дети в их возрасте уже одиноки: все-таки в течение дня родители много занимаются ими. Но не кажутся ли детям их родители, такие большие, как бы существами с другой планеты? Малышу требуется ласка, так сказать, в его масштабе, ласка, которую он мог бы выразить по-своему; поэтому ему нужно ощущать себя хозяином такой вот зверюшки.

Бывает, что ребенку дарят морскую свинку или белую мышь, но по опыту знаю, что родители в конце концов постараются избавиться от них: у этих животных свои привычки и они забираются в самые неожиданные закоулки. Кроме того, многие мамы боятся мышей, в том числе белых, а заодно и морских свинок.

Так же бывает в большинстве случаев с кошками и с собаками. Они, особенно щенки, — кошки менее экспансивны — чрезвычайно отзывчивы на ласку.

Правда, животные эти предназначаются не только для детей, их заводят и взрослые — одинокие люди или женщины, которым почти весь день приходится сидеть дома одним.

Кто из нас не рассказывал о своей кошке или собаке так,

словно это человечек, понимающий наш язык!

В другом слое общества таким другом становится верховая лошадь, а иные снобы прогуливаются, держа на поводке молодую пантеру или льва.

В конечном счете все эти животные, будь то золотая рыбка, канарейка в клетке, пудель или огромная овчарка, являются своего рода замещением.

Заводят их зачастую не потому, что любят животных: их покупают — меня коробит это слово — из страха остаться в одиночестве, из потребности в друге, пусть даже таком бессловесном, как золотая рыбка или карликовая черепаха.

Я знавал людей, которые уверяли, что их канарейка понимает все, что ей говорят, и щебетом отвечает.

У моей матери лет двадцать жил в кухне большой попугай, которого мой брат привез ей из Конго. Матери он был куда ближе, чем второй муж, с которым она не ладила, и разъехавшиеся в разные стороны дети.

Животные, в сущности, заполняют пустоту одиночества — пустоту, которая все шире распространяется в современном обществе.

Иной раз насмешливо говорят: «Песик и его мамочка», забывая, что «мамочка», может быть, никогда не была замужем, или не имеет детей, или овдовела, что ей нужно, просто необходимо какое-то живое существо, о котором можно заботиться.

Да, я часто в той или иной форме затрагиваю тему одиночества. И я склонен считать, что одиночество причиняет такие же страдания, если не куда большие, как болезнь или увечье.

Не является ли оно и в самом деле увечьем?

«Не хорошо быть человеку одному».

Несомненно, я много раз цитировал этот стих Писания, но редкий день проходит, чтобы я не встретил одинокого человека, и, естественно, мне часто вспоминаются эти слова.

Общение между людьми сокращается, оно невозможно даже в конторах, где в большой застекленной комнате за столами, словно школьники за партами, зачастую сидит человек сорок, за которыми наблюдает из своей стеклянной клетушки начальник.

Можно ли общаться в пригородных поездах, в метро, автобусах или трамваях? Остаются лавочки в своем квартале, где хозяйки, стоя в очереди, беседуют между собой, но лавочки эти одна за другой исчезают, их заменяют большие магазины самообслуживания, где покупатель катит тележку по бесконечным проходам между стеллажами, заставленными

консервами и прочей снедью.

Даже у кассы нет нужды раскрывать рот, чтобы перечислить покупки. Кассирша сама, не произнося ни слова, берет из коляски пакеты и коробки и выбивает их цену на кассовом аппарате.

В семье за ужином тоже почти не разговаривают, потому что в это время по телевизору передают обыкновенно последние известия, и, если ребенок произнесет хоть слово, ему знаком велят замолчать.

Ребятам от двенадцати до пятнадцати лет, а то и постарше, негде проводить время, кроме как на улице или в подвалах многоквартирных муниципальных домов. Им нечем заняться, и в конце концов они дают выход своим инстинктам молодых зверят. За это их зовут хулиганами.

Я не кляну нашу эпоху. Она, несомненно, лучше предшествовавших, которые были «прекрасны» только для привилегированных слоев, но невыносимо тяжелы для маленьких людей. Золотая рыбка или канарейка появились вовсе не сегодня. Весьма вероятно, что во все времена у них было то же самое назначение. Да, человек не создан быть один. Но разве когда-нибудь его жизнь в обществе была гармоничной?

16 октября 1978

Утром я прочел в «Трибюн де Лозанн», что создается новая международная организация, членами которой собираются стать многие видные деятели.

Уже существует Лига защиты прав человека, а вскоре начнет функционировать Лига защиты прав животных.

Первой моей реакцией было аплодировать; я не делаю никакой разницы между животными и нами: по мне, люди всего лишь один из миллионов видов живых существ, притом не самый лучший.

Потом я поразмыслил, насколько я способен размышлять, а не поддаваться эмоциям, и мне вспомнилось, что Лига защиты прав человека, признанная ЮНЕСКО и ООН, не способна воспрепятствовать эксплуатации человека человеком, слабых сильными; не способна воспрепятствовать пыткам, смертным казням, истязанию детей не только в отдаленных странах, но и в государствах, которые именуют себя цивилизованными.

Во времена моего детства у моего отца был друг, директор благотворительной организации, имевшей под Льежем просторный дом, куда принимали детей, которых истязают родители. Отец тоже играл в этой организации какую-то роль, но, как всегда, незначительную — у него не было там даже никакого звания.

Совсем маленьким я побывал в этом приюте, там было полно детей, и мест всегда не хватало. Сейчас, читая газеты, я постоянно натыкаюсь на истории об истязании детей, иногда даже грудных, хотя соседи, которым в наших картонных домах прекрасно слышно все, что происходит за стенкой, редко набираются смелости сообщить об этом в полицию.

В начальной школе я, как все мои однокашники, еженедельно отдавал пять сантимов на общество «Святое детство». Эти деньги шли на выкуп маленьких китайцев, особенно девочек, которых, как рассказывали нам отцы миноритy, в Китае рассматривали как лишние рты и живыми бросали в навозные ямы или в свиные корыта.

«Святое детство», видимо, неплохо поработало: сейчас на свете почти миллиард китайцев и китаянок.

Но что же будет с Лигой защиты прав животных? Окажется ли она удачливей Лиги защиты прав человека?

Прежде всего, в соответствии с какими принципами будут классифицировать животных? Классифицировать и защищать. Будут ли признаны животными вши и блохи? Или нам запретят изображать из себя Франциско Ассизских[141] и разводить эту мелкую живность на частях тела, покрытых волосами?

Будет ли продолжена борьба со всякими разновидностями мух и комаров, которые в некоторых регионах являются переносчиками опасных болезней и нередко вызывают эпидемии?

Не говорю уже о прочих насекомых, червях, гусеницах и других вредителях сельскохозяйственных растений.

А крысы, которые тоже разносят опасные болезни?

Что же, Лига защиты прав животных произведет отбор и установит, какие виды заслуживают называться животными, а какие нет?

К тому же я считаю, что новая лига должна привести к ликвидации Лиги защиты прав человека, поскольку биологически человек тоже является животным.

Одной лиги вполне достаточно. Но возникает последний вопрос. Если вредным животным будет отказано в праве на жизнь, то не логично ли будет начать с человека: из всех животных человек самое вредное, причем сознательно вредное.

Кого же тогда защищать? Домашних животных, коров, которые пасутся на лугу, жуют жвачку и машут хвостами, отгоняя одолевающих их мух? Но мухи тоже животные!

Разумеется, следует защищать крупных диких животных. Хотя будет чрезвычайно трудно обеспечить их охрану по всей Африке, Азии и обеим Америкам, тем более что на юге Соединенных Штатов реки кишат крокодилами, койоты сбиваются чуть ли не в

армии, и никто еще не сумел воспрепятствовать истреблению детенышей тюленей в полярных льдах.

Слово «лига» меня всегда пугает. Когда-то во времена абсолютизма его использовали для оправдания многочисленных массовых убийств. Притом те, кто исповедовал знаменитую заповедь: «Не убий».

Неужели с берегов наших рек должны исчезнуть рыболовы только потому, что они наживляют на крючки дождевых червяков, личинок, мух, кузнечиков? Для чего они это делают? Чтобы ловить рыб, которые тоже являются животными.

А кто воспрепятствует охотникам палить во все, что движется?

Кто-то написал: «Человек человеку волк»[142].

Не только человеку, но и всем живым существам.

Может быть, именно поэтому для очистки совести и создаются лиги защиты себе подобных, животных, природы, которая мало-помалу исчезает под миллиардами тонн бетона.

17 октября 1978

Вчера я позволил себе несколько иронически прокомментировать создание Лиги защиты прав животных, которая вскоре намерена обратиться за апробацией в ЮНЕСКО, а затем станет домогаться признания наивысшей инстанции, то есть ООН.

Если в моих словах и проскользнула некоторая ирония, то вовсе не потому, что я не одобряю идею защиты животных — всех без исключения.

В детстве, в младших классах, я, случалось, обрывал мухе крылья и наблюдал, как она беспомощно ползает по моей тетрадке. И еще я привязывал к лапке майского жука нитку и заставлял его летать по кругу.

Правда, я не доходил до того, чтобы привязывать к хвосту собаки старую кастрюлю, на которую бедный пес время от времени оглядывался на бегу, поражаясь, что может производить этакий грохот.

Мы постоянно держали одну или несколько собак, и я очень привязывался именно к ним, а не к кошкам, потому что взгляд кошки для меня всегда оставался загадкой.

Но гораздо серьезней интересоваться животными я начал, пожалуй, в Африке, а затем в Южной Америке и Азии. Я ни разу не участвовал в сафари — ни с оружием, ни с фотоаппаратом. Зато часто встречался, причем не в заповедниках, с животными, которых мы зовем дикими; они спокойно шли своей дорогой в одном-двух метрах от моей машины.

Помню стадо слонов, которое проложило тропу в джунглях на трассе своих ежедневных переходов. Около трех десятков их грузно шествовали впереди нас. И только один слоненок, тащившийся в хвосте, с любопытством остановился перед нашей машиной. Через несколько секунд его мать обернулась, увидела, что он зазевался, и направилась к нам.

Не стану утверждать, будто я не почувствовал страха, особенно когда она, приблизившись, просунула хобот под тент машины и принялась ощупывать наши лица и одежду.

Клянусь вам, никому из нас в голову не пришло уклониться от этого. Думаю, в этот момент было бы опасно чихнуть. Надо полагать, что обследование удовлетворило слониху: она отвернулась от нас к слоненку и повела его — так и хочется сказать: за руку — к стаду.

По воскресеньям мы с отцом, бывало, ходили за город на речку удить уклеек и пескарей. Когда я вытаскивал из воды сверкающую уклейку, то, как и положено ребенку, вскрикивал от радости.

Я много рыбачил, особенно на море, и рыбачил почти профессионально. Но однажды я спросил себя, какое бы у меня было чувство, если бы, проглотив что-нибудь вкусное, я вдруг почувствовал, что меня на крепком крючке выдернули из воды на воздух. С тех пор я больше не ловлю рыбу.

Было время, когда я утверждал, что с удовольствием отказался бы от мяса и питался бы исключительно рыбой и ракообразными. Я, как многие, проглотил за свою жизнь сотни устриц и всякий раз, потыкав вилкой, предварительно убеждался, что они живые.

Мне вспомнился старик в деревне, где в детстве я проводил каникулы: мы таскали ему слизней, и он глотал их живьем, как устриц.

Охотился я всего раз в жизни, и продолжалось это меньше часа: я тогда с первого выстрела ранил косулю, у нее покатились слезы, и мне пришлось вторым выстрелом добить ее. С тех пор я ни разу не стрелял. Сейчас никто не смог бы заставить меня отведать дичи.

Я разводил кур, уток, индеек, гусей. И всякий раз, прежде чем передать их кухарке, трусливо приказывал садовнику убивать их.

Сейчас, когда мне подают цыпленка, я не могу отвязаться от мысли, что должен есть труп птицы, и мне приходится заставлять себя проглотить хотя бы кусочек.

Почему же рыбу я мог убивать, а курицу или утку нет? Думаю, оттого, что рыбы холоднокровные животные, и, возможно, еще оттого, что они не кричат.

Как будто некоторые живые существа можно убивать не стыдясь, а убийство других положено считать отвратительным!

Во вчерашнем перечне я остановился на животных видимых, хотя и мелких, вроде вшей и блох.

Ну а микробы? А вирусы, которых можно разглядеть только в электронный микроскоп?

Мы изобрели антибиотики, и это великое благо: они позволяют излечивать множество болезней, предотвращать эпидемии. Но разве мы думаем, глотая таблетку пенициллина, что она приведет к гекатомбе миллионов живых существ?

Разумеется, это необходимо, как необходимо использовать одни микробы для уничтожения других, более опасных: так иногда, охотясь на пернатую дичь, используют соколов.

Если Лига защиты прав животных хочет оставаться в рамках логики, она должна с большой осторожностью составлять свои документы.

Не стоит забывать и то, что белый человек веками относился к представителям других рас как к животным.

Известно, что растения тоже живые существа. Люди, посвятившие жизнь изучению растений, обнаружили, что они обладают огромной чувствительностью. Первые лучи солнца заставляют их весело — именно так! — распускаться. С наступлением ночи они закрываются. И наконец, когда с ними грубо обращаются, можно видеть, как они плачут.

Когда же наступит черед Лиги защиты прав растений?

Мы живем в жестокой вселенной. Бывает, что в галактиках планеты или звезды пожирают друг друга.

А мы пожираем все, даже то, что может оказаться для нас вредным, ничуть не думая, что уничтожаем кусочек жизни.

Да, человеку нужно есть, иначе его самого сожрет болезнь или голод.

Мы изобрели гастрономию, то есть искусство приготовлять другие живые существа для нашего вящего удовольствия. Я был гастрономом и сейчас раскаиваюсь в этом, что, впрочем, не мешает мне есть три раза в день, иначе говоря, вносить свой посильный вклад во всеобщую деятельность по уничтожению чужих жизней.

Но, как говорят за столом сотрапезнику, который ест не слишком активно: «Чтобы жить, надо есть».

Несмотря на Лигу защиты прав человека, Лигу защиты прав животных, а вскоре, надо полагать, Лигу защиты прав растений…

Жаль.

20 октября 1978

Четыре дня назад я ожидал визита журналиста, который хотел взять у меня интервью о романе «Человек с собачкой», написанном в 1963 году в Эшандене. Эткен известила его, что я вряд ли смогу ему помочь, поскольку она знает: закончив роман, я тут же забываю его, особенно интригу, а перечитывать свои книги просто не способен.

Но журналист настаивал: бельгийское, а следом швейцарское телевидение собираются показать спектакль по этому роману, и он жаждет задать мне несколько вопросов.

Весь вечер, предшествовавший визиту журналиста, я смутно соображал, что мне рассказать. С полки, где стоят еще не прочитанные книги, я машинально взял толстый том Жака Бреннера «История французской литературы с 1940 года до наших дней».

Я был поражен, обнаружив, что мне там отведено довольно много места и, главное, что большой кусок посвящен именно «Человеку с собачкой».

Роман написан от первого лица, то есть главный герой рассказывает о себе. Единственное, что я помнил до прочтения анализа Бреннера: это очень грустная история человека, сперва преуспевавшего в жизни, но потом отсидевшего несколько лет в тюрьме и дошедшего до крайней степени бедности.

Помню, что сидел он в тюрьме Пуасси и был там библиотекарем. И еще: он обитал в чердачной каморке недалеко от Вогезской площади — этот район мне хорошо знаком, я там прожил около десяти лет. Единственным его другом была маленькая дворняжка. Почему и как он дошел до этого, я забыл и узнал, только прочтя следующие строки:

«Является ли Феликс Аллар одним из тех неистовых ревнивцев, которых неоднократно изображал Сименон? Нет, и он сам открывает читателю свою тайну: он убил своего компаньона, любовницей которого стала его жена, потому что случайно узнал некоторые его отзывы о своих деловых качествах.

— Он всего лишь тщеславный болван, — сказал о нем компаньон».

И рассказчик — Феликс Аллар — комментирует:

«Вот в чем суть дела: *я понял, что это правда.* Только он не имел права так говорить. *Не имел права лишать меня чувства собственного достоинства*, уважения к самому себе. Никто не имеет права на это, потому что, утратив уважение к себе, человек перестает быть человеком».

Это помогло мне, когда на следующий день журналист допрашивал меня о романе. Как-никак речь там идет о чувстве, которое я нередко старался показать в своих романах. Кажется, в

Евангелии сказано: «Человеку нужен хлеб».

Я полагаю, что человеку прежде всего нужно чувство собственного достоинства.

И я задаю себе вопрос: не является ли ощущение тревоги, о котором сейчас так много говорят и для которого отыскивают самые разные причины, следствием того, что человека лишили чувства собственного достоинства?

Не начинается ли этот процесс с детства? Ведь у ребенка тоже есть достоинство, и, когда его задевают, он страдает. А между тем сколько невольных унижений терпит ребенок в детском саду и начальной школе! Товарищи очень скоро обнаруживают его слабые стороны и начинают изводить. Оттопыренные уши, заячья губа, небольшое косоглазие, даже просто рыжие волосы — все может стать поводом для насмешек. Заикания, даже легкого, вполне достаточно, чтобы весь класс катался от хохота.

Если мальчик отказывается бить других, избегает драк, не водится с хулиганами, его дразнят девчонкой или трусом.

Воспитатели не многим умнее детей и зачастую оказываются безжалостными к так называемым «слабым ученикам», как будто каждый обязан быть первым у себя в классе.

Родители же, исполненные самых лучших побуждений и любви, тоже не отстают по части унизительных замечаний. Нет нужды приводить примеры. Всякий, кто вспомнит свое детство, легко их отыщет.

В коллежах агрессивность, чтобы не сказать детская жестокость, направлена по преимуществу на слабых и наиболее чувствительных. Горе тому, кто в определенных ситуациях не способен сдержать слезы.

Но вот уж где унижение является основой основ, так это в армии.

— Значит, вы студент философского факультета? Прекрасно, пойдете чистить сортир.

Это уже стало классикой.

А когда армейская служба закончена, надо поскорей зарабатывать на жизнь. Мне могут сказать, что мы живем в эпоху, когда сотни тысяч людей, желающих трудиться, являются безработными.

Я знавал времена, когда безработицы не было. Тем не менее найти работу, способную приносить хоть какое-то удовлетворение, было нелегко и тогда. Мастера, отдел кадров, который считает каждого нового работника неприятной неизбежностью, всячески стараются унизить вас.

Если костюм у вас измят и поношен, если у вас слишком смуглая кожа или слишком черные глаза, если вы иностранец в

стране проживания, за вами всегда будут следить глаза полицейских, и в очень многих кафе и ресторанах обслуживать вас будут с ленцой и пренебрежением, если вообще не откажутся.

С Жозефиной Бекер мы были большими друзьями. Когда я жил в Соединенных Штатах, Манхэттен, то есть большая часть Нью-Йорка, был районом, запретным для негров, хотя они приходили туда выполнять работу, за которую отказывались браться белые.

Было это между 1945 и 1950 годами. Негры не имели права заходить в кафе, бары и рестораны для белых и даже ездить с ними в одних автобусах.

Для них был отведен Гарлем, старый, до омерзения грязный район, где они могли гнить в «присущей им нечистоплотности и лени».

Жозефина была звездой «Радио-сити», в ту пору самого крупного из нью-йоркских мюзик-холлов и кинотеатров. Вне Гарлема она смогла найти всего один отель, где ей позволили поселиться, да и то он был расположен почти на границе негритянского квартала.

Однажды она решила зайти в модный ночной ресторан, куда после некоторых колебаний ее все-таки впустили. Она была мужественный человек, поэтому села за стол и стала ждать, что будет дальше.

Метрдотель и официанты проплывали мимо нее, словно не видя. Прошло не меньше получаса, прежде чем один из них соизволил поинтересоваться, что ей угодно.

Она сделала заказ. Все взгляды были обращены на нее. В зале находился довольно известный журналист Уолтер Уиндчел, прославившийся скандалами и агрессивным расизмом.

Жозефина полчаса ждала, чтобы ей принесли меню. Прошло еще полчаса. Вокруг ели и пили, бросая на нее насмешливые взгляды.

В конце концов она гневным жестом подозвала величественного, точно сенатор, метрдотеля и потребовала, чтобы ее немедленно обслужили.

Метрдотель поклонился. Но потребовалось еще полчаса, чтобы на ее стол поставили блюда и тарелки, причем с таким видом, с каким бросают корм скотине.

Этот случай наделал много шума. На следующий день Уолтер Уиндчел долго негодовал, что какая-то черномазая посмела вызывающе вести себя в ресторане для белых, вместо того чтобы поесть, как и положено людям ее расы, в гарлемском гетто.

Несколько человек робко выступили в защиту артистки, но их было немного.

Через несколько дней Жозефина выступала в театре в Хартфорде, штат Коннектикут; я жил милях в пятидесяти и приехал повидаться с нею. Я пригласил ее поужинать в самый фешенебельный ночной ресторан, и, если не считать нескольких неприязненных взглядов, никаких инцидентов не было. Она поехала со мной в Лейквил и прожила у нас почти неделю.

Жозефина заключила контракт на турне по Соединенным Штатам, в том числе и по Югу, гордо именовавшемуся в то время землей Ку-клукс-клана.

Из всех штатов Джорджия да еще, пожалуй, Алабама были самыми расистскими. Я спросил у Жозефины:

— Ты все-таки поедешь туда?

Она совершенно просто ответила: да. Жозефина поехала, адски намучалась с гостиницами, но гордо держалась перед улюлюкающей публикой.

Однако не всякий похож на Жозефину Бекер: многих людей унижение уязвляет до глубины души и даже способно повергнуть в отчаяние.

Я уже столько раз говорил о маленьком человеке, что к этому можно не возвращаться. Положение у него как у новобранца, переступающего порог казармы. На воротах там можно бы повесить объявление: «Оставь надежду всяк сюда входящий»[143].

Главное, чтобы он не набрался наглости жаловаться на начальство или на какое-нибудь высокопоставленное лицо, поскольку подобное преступление приравнивается к «оскорблению величества».

Он работает? Значит, должен благодарить за то, что ему дана работа. Он безработный? Не он один живет с семьей на пособие, которое ему столь великодушно выплачивают.

И тут ему ничего не остается, кроме как выстаивать очередь перед редакцией крупной газеты на улице Реомюра, чтобы одним из первых схватить только что вышедший номер, пробежать крохотные объявления с предложениями работы и мчаться со всех ног по адресу возможного работодателя, куда он, как правило, прибегает всегда слишком поздно.

Время от времени он читает в какой-нибудь неблагонамеренной газете, поскольку такие еще остались, что с собой покончил очередной безработный или что безработная вместе с ребенком, а то и с несколькими бросилась в воду.

Он в чем-то похож на «человека с собачкой», который, скатившись с верхних ступенек общественной лестницы, никогда не жаловался, не бунтовал, а лишь переживал в одиночестве свое унижение.

Знаете, кто избавил его от этого? Нет, не благотворительная

организация. Какое-нибудь официальное учреждение? Нет! Автобус.

Ведя собачку на поводке, он шел по бульвару Бомарше метрах в двухстах от своей мансарды. Собачка выскочила на мостовую, потащила за собой хозяина, а тут проезжал автобус…

Умер он мгновенно. Собака чудом уцелела, но осталась в одиночестве, а так как власти не любят одиноких, даже если это собаки, ее отправили на живодерню.

24 октября 1978

Вчера я прочел, что после выхода «По направлению к Свану» критики, во всяком случае большинство из них, сокрушались, что автор не знает грамматики, и упрекали его в неумении писать.

То же самое говорили о Бальзаке и о многих других писателях.

Привожу здесь, так сказать, в скобках отрывок из письма Пруста; если бы с 1920 года я не был его восторженным поклонником, я полюбил бы его только за эти слова.

«Если гордость является величайшим достоинством, не должна ли смелость стать величайшей добродетелью? Почему же существует столько отважных скромников и трусливых гордецов?»

Сколько страниц понадобилось бы мне, чтобы хоть приблизительно сказать нечто подобное?

Но вернемся к критикам и к стилю. Порой возникает ощущение, что иные из них люди без возраста и страстей, живущие вне эпохи; единственная их забота — подчеркивать красными чернилами слова и целые предложения, точь-в-точь как преподаватели грамматики.

Так было и прежде. Например, критики были беспощадны к Стендалю и, ничтоже сумняшеся, считали его посредственностью.

Бальзака, которого я только что упомянул, ставили куда ниже Эжена Сю, и Французская Академия дважды отвергала его кандидатуру.

Своей профессии критики обучались на литературе прошлого. Выучили они и грамматику, хотя она претерпевает постоянную эволюцию, но, завершив учение и вступив в жизнь, почему-то не стремятся расширять свои познания.

Разве не мечтал Виктор Гюго отменить традиционную орфографию и писать слова так, как они произносятся? Ведь из века в век орфография меняется.

Сейчас язык трансформируется в ускоренном темпе. В эпоху, когда самолет за считанные часы доставляет вас в Гонконг или Тимбукту, невозможно, как во времена пакетботов, писать,

отделывая каждую фразу, элегантные и остроумные письма всем своим друзьям.

Открытка с видом. Или телеграмма в три строки.

После напыщенных трагедий начала прошлого века родился развлекательный роман. Почему? Да потому, что количество неграмотных уменьшилось наполовину и тех, кто только что научился читать, уже не удовлетворяли лубочные картинки и сентиментальные песенки, которые продавались бродячими торговцами.

Первым сочинителем развлекательных романов, вне всякого сомнения, был Эжен Сю. Я назвал бы его предтечей.

Убедившись в невообразимом по тому времени успехе «Парижских тайн», Виктор Гюго не погнушался написать «Собор Парижской богоматери».

После этого за дело взялись литературные поденщики вроде Понсон дю Терайя[144], Фортюне де Буагобе, Ксавье де Монтепена[145], Пьера Декурселя[146] и многих других.

Названия у этих книг были броские: «Разносчица хлеба», «Невинная и поруганная»[147], не говоря уж о «Фантомасе»[148] и «Рокамболе». В буржуазные дома они не попадали. Кое-как отпечатанные на скверной бумаге, в вульгарных кричащих обложках, они доставляли радость людям, только что научившимся читать, подобно пьесам того же разбора, собиравшим толпы зрителей в театрах на бульваре Сен-Мартен.

Настал день, когда неграмотных стало возможным перечесть по пальцам обеих рук.

Тогда-то и возникла новая литература — новая не в том смысле, который сейчас придается этому слову в кругах интеллектуалов. Разрыв между развлекательным и литературным романом с годами все уменьшался и сейчас стал почти неразличим.

Произошло это не случайно. Коль скоро имеется огромная масса умеющих читать, как не пойти на уступки для завоевания столь выгодного рынка?

Этим занялись писатели типа Жоржа Оне[149], Анри Лаведана[150], Андре Терье[151]; к ним нужно еще добавить Поля Бурже, а из современников — Ги де Кара[152].

Как тут требовать, чтобы критики обратились к современности, если они еще полностью в неповторимом прошлом?

Самое забавное, что они очень часто не видят разницы между халтурщиками, поставщиками чтива, и подлинными писателями. И те и другие оказываются рядом на литературных страницах субботних выпусков газет.

У великих художников всех времен была потребность рисовать или писать эротические картины, хотя это не было основным в их творчестве. В Лувре подобные холсты хранятся в запасниках, и надо предъявить веские основания, чтобы полюбоваться ими.

То же было с писателями. В изящных средневековых поэмах частенько встречаются эротические строчки, от которых много позже падала в обморок г-жа де Ментенон[153].

Первым непристойным писателем был, пожалуй, маркиз де Сад, которого некогда предавали позору, а ныне возносят до небес.

А разве почтенный Лафонтен не сочинял наряду с баснями сказки более чем галантного содержания, которые не изучают в школе?

Но постепенно происходила популяризация и этой части литературы.

Началось это, как мне представляется, со слов. Некогда существовали, а в определенных слоях общества и до сих пор еще существуют слова-табу: прежде издатели следили, чтобы они не проникли в печать. Возьмем невинный пример: слово «любовница» некогда означало «любимая» и имело галантный оттенок. В нем еще не было запаха измятых простыней, который оно приобрело впоследствии. Спать с любовницами в литературных произведениях стали много позже.

Сколько тысяч читателей бывают разочарованы, если в книге не оказывается трех-четырех постельных сцен, описанных со всевозможнейшими подробностями!

Герои книг и газет воруют и убивают. В действительности, вероятно, тоже, но и во времена королей Новый мост[154] отнюдь не был безопасным местом, и еще в прошлом веке лучше было не гулять ночью по темным улицам.

Кое-кто возмущается или притворяется возмущенным тем, что двенадцати-тринадцатилетние дети воруют. Три-четыре века назад целые семьи жили тем, что грабили буржуа и аристократов, имевших неосторожность прогуляться пешком.

Угоны самолетов? Пираты грабили корабли даже у берегов Франции, а «разбойники с большой дороги» нападали на дилижансы.

Если почитать историю романтической эпохи, но историю не войн и культуры, а обыденной жизни, станет ясно, что она не очень отличается от нашей, а уж дуэли там следовали одна за другой.

Что же касается проституции, в том числе и мужской, то организована она была куда лучше, чем сейчас, и не так

преследовалась. Правда, нынче профессиональным проституткам приходится терпеть такую конкуренцию со стороны молоденьких девочек и так называемых порядочных женщин, что промыслу этому грозит исчезновение.

Все это неизбежно влияет на роман. Влияние оказывает не только большая свобода нравов, изменения проявляются и в стиле, и в языке, который становится все ближе к языку улицы.

Найдется ли сейчас писатель, который решится посвятить десять лет жизни одной-единственной книге? Или художник, разрисовывающий миниатюрами Часослов? С уверенностью могу сказать, что нынешние художники, писатели, скульпторы, композиторы, как любой из их современников, хотят зарабатывать деньги, как можно больше и как можно быстрей. За примерами ходить не надо.

Но разве когда-нибудь было иначе?

Из книги «Права, которые нам остаются»

1 декабря 1978

Кто придумал религию?

Разумеется, те, кому она выгодна. Люди — и так было во всех частях света, — которые сообразили, что большинство их соплеменников боятся смерти и загробного мира.

А поскольку никто никогда не возвращался из загробного мира, чтобы рассказать, что там и как, самым хитроумным пришла в голову мысль поэксплуатировать эту жилу.

Все, ясное дело, продается, и когда-то состояния делались на торговле рабами. Сейчас торгуют одеждой, автомобилями, телевизорами, но всегда есть риск рекламаций из-за дефектов производства. А зачем нарываться на риск и вкладывать деньги в товары, которые, возможно, не найдут покупателя?

И вот почти повсеместно пошла торговля загробным блаженством; она идет сейчас и будет, вне всякого сомнения, продолжаться до конца света. Человеку при этом продается надежда, но такая, в которой, если купишь ее, нельзя быть ни уверенным, ни разочароваться.

Уже много лет говорится о транснациональных корпорациях, куда более могущественных, чем правительства. И однако, куда менее могущественных, чем основные мировые религии, у которых хозяева транснациональных корпораций тоже покупают загробное блаженство.

Все это длится уже так долго, что истоки религий трудно отыскать. Видимо, первыми великими жрецами были колдуны, правившие большинством племен. Они решали, когда совершать человеческие жертвоприношения и устраивать праздник «длинной свиньи», как говорят на островах Тихого океана.

Я не удивился бы, если бы оказалось, что во всех без исключения религиях в тот или иной момент их истории практиковались человеческие жертвы. Во всяком случае, символика этого акта в них сохранилась.

Человеческая наивность безгранична. Достаточно раскрыть любую газету, любой еженедельник, чтобы убедиться в этом: все они, за редким исключением, регулярно печатают предсказания астрологов. Часто журналисты с самым серьезным видом задают мне вопрос, всегда поражающий меня:

— Под каким знаком вы родились?

Надо полагать, что они в это верят, а раз газеты не могут без

этого обойтись, надо думать, что это выгодно.

Официальное телевидение тоже не преминет предсказать вам будущее, наподобие старых дам, гадающих на бобах, на кофейной гуще, по руке или с помощью хрустального шара.

Иные гадалки имеют такую репутацию, что среди их клиентуры нередко встречаются высокопоставленные политики.

Правда, политиком, тем более высокопоставленным, становятся не благодаря умственным качествам или здравому смыслу, а, как правило, вследствие интриг, по большей части бесчестных.

Я почти сожалею, что, когда сыновья спрашивали меня, какую профессию выбрать, не отвечал им:

— Торговца ветром.

Ведь большинство смертных куда охотней тратят деньги на покупку ветра, то есть загробного блаженства, чем на удовлетворение насущных потребностей. Нет, скажем лучше «торговец иллюзиями». И уж тут покупатель получает по заслугам и винить должен только собственную доверчивость.

3 декабря 1978

На этой неделе я имел возможность бросить взгляд на некоторые свои рукописи, верней, на фотокопии, поскольку сами рукописи находятся в Льеже. Я был поражен, увидев снова свой мелкий, но чрезвычайно четкий и разборчивый почерк: страница, написанная им, соответствует шести-восьми машинописным.

Почему я всегда пользовался блокнотами с желтой бумагой? Вероятно, у меня не оказалось ничего другого под рукой, когда как-то вечером я начал писать что-то вроде черновика главы, чтобы на следующее утро отпечатать ее на машинке. Эта привычка возникла у меня совершенно случайно. Ложась спать накануне того дня, когда я собирался приступить к роману, я нередко в полусне обдумывал первые фразы, которые отстучу на машинке.

Сперва я записывал несколько слов на клочке бумаги. Потом — десять-двадцать строк, а затем уже целую страницу мелким почерком, установившимся у меня с шестнадцати лет.

Отсюда и пошла легенда о карандашах. Действительно, перед тем как приступить к роману, я старательно затачивал пять дюжин карандашей, всегда одной и той же марки, и эта привычка сохранялась у меня довольно долгое время. В медном стакане карандаши были похожи на букет.

Даже затачивать их было для меня удовольствием. Не надо забывать и то, что давным-давно я мечтал быть средневековым монахом, одним из тех, кто в келье, выбеленной известкой,

искусной кистью копировал латинские или древнегреческие рукописи. Без них эти тексты остались бы нам неведомы. Переписчики украшали рукописи инициалами, где на пространстве полутора-двух квадратных сантиметров вырисовывали пейзажи, до сих пор сохранившие сочность красок.

Карандаши, желтая бумага, страницы, постепенно покрывающиеся четкими буковками, — для меня они как бы были моими инкунабулами. Примерно через полгода — говорю «полгода» на всякий случай, потому что точно не помню, — мне уже было мало первых страниц завтрашней главы, и я стал писать ее всю целиком.

Сколько романов написал я таким образом? Сколько часов провел один в своем кабинете, не находя даже времени набить трубку или раскурить ее? Когда на следующий день в шесть утра я садился печатать эту главу на машинке, то, бывало, по четверть часа и больше не заглядывал в «черновик». Он врезался в мою память, словно я не писал его карандашом, а гравировал на каком-то прочном материале.

Каждый раз в начале вечера я заново точил на электрической точилке все шесть десятков карандашей и работу эту любил куда больше, чем сам процесс писания. После пяти-шести строчек я менял карандаш: он тупился, так что им уже нельзя было выводить такие крохотные буковки. В интервью журналистам мне нередко случалось заявлять:

— Я не интеллигент, я ремесленник.

Они недоверчиво улыбались, но тем не менее, точа карандаши и выводя строчку за строчкой, а на следующий день печатая на машинке, я был ремесленником. Почему же я перестал писать от руки? По весьма простой причине, но до этого мне долго пришлось доходить.

Печатая прямо на машинке или диктуя, подчиняешься ритму механизма, будь то пишущая машинка или магнитофон. Даже вопроса не возникает, чтобы остановиться, перечитать или прослушать последние фразы, внести исправления либо неспешно шлифовать высокохудожественные пассажи, которые потом войдут в школьные учебники.

В конце концов я поймал себя на том, что поддаюсь этой склонности. Правда, печатая с черновика, я был вынужден выбрасывать кое-какие ненужные слова, наречия, предложения, возможно, изящные, но абсолютно безжизненные.

И вот постепенно я оставил карандаши и возвратился к старому методу импровизации прямо на машинку. Но должно быть, во мне сохранилась тоска по этому нелегкому труду, потому что карандаши в медном стакане всегда стоят у меня на столе,

хотя я давно уже не пользуюсь ими.

В связи с тем что я завещал Льежскому университету рукописи и все французские и иностранные издания моих книг, мне предоставилась возможность пробежать перечень написанных мною романов.

Я с трудом решаюсь рассказать о своей реакции. На самом деле она прямо противоположна той, какую можно представить себе. Вместо того чтобы порадоваться многим тысячам страниц, написанных за пятьдесят лет, я, прямо скажу, ужаснулся. Тем более что никогда не перечитывал ни один из своих романов, равно как ни один из томов «Я диктую». Я не имею в виду те два или три дня, которые после окончания книги посвящал общему ее «причесыванию».

Что же такое эти десятки тысяч строчек, написанных мелким почерком или отпечатанных на машинке? Это десятки тысяч часов, проведенных в одиночестве в кабинете; когда я выходил из него, одежда у меня была мокрая, словно я вылез из воды.

Стоило ли все это таких трудов? Не стану-ка лучше задавать себе вопросов, на которые, боюсь, пришлось бы дать отрицательный ответ.

Впрочем, какое это имеет значение. Эти рукописи, эти книги — едва ли не большая часть моей жизни, и я не жалею об этом. Верней, жалею настолько мало, что пять лет назад, едва успев объявить, что больше не буду писать романов, я тут же купил магнитофон и с тех пор диктую, диктую, диктую…

Преимущество магнитофона в том, что можно диктовать, удобно устроившись в кресле, а не закрываться в кабинете с грозной надписью на двери «Do not disturb».

8 декабря 1978

«Когда вы хотите сказать «идет дождь», говорите «идет дождь»».

Эту сентенцию, дошедшую до нас сквозь века из времен Людовика XIV, я повторял сотни раз — и в этих книгах, несомненно, тоже. Мои дети тоже слышали эти слова, которые мне хотелось вложить им в головы, однако отвечали неопровержимым аргументом:

— Когда я пишу просто, учитель ставит мне плохую отметку.

Вспоминаются мне и другие фразы, которые мы с горем пополам заучивали в начальной школе у братьев миноритов, а потом у отцов иезуитов.

Например:

«Чешуи змей, у нас шипящих на челе…»[155].

Кажется, полагается восхищаться этой стилистической

фигурой из Расина, название которой я позабыл.

При чтении этого стиха в полный голос должно возникать ощущение змеиного шипения над головой.

Нас заставляли учить стихи и более приподнятые, чтобы не сказать выспренние:

«Глаз из могильной тьмы на Каина глядел»[156].

Этот стих уже куда ближе нашему времени и принадлежит Виктору Гюго, не боявшемуся высоких порывов и дерзких сравнений.

Правда, я всегда терпеть не мог сравнений. В так называемой изящной словесности прямо-таки положено, упомянув какой-нибудь предмет, человека, его глаза, рот или, скажем, голубое небо либо закат солнца, сравнить этот хорошо всем известный объект или явление с чем-нибудь таким, что, как правило, неизвестно большинству читателей.

«Глаза ее оттенка аметиста…»

За свою жизнь я покупал довольно много драгоценностей, но оттенок аметиста назвать не способен.

В сущности, смысл сравнения, особенно в поэзии, почти всегда заключается в том, что при описании знакомой и известной всем вещи ее сопоставляют с чем-нибудь настолько редкостным, что приходится лезть в словарь.

К счастью, отец Раншон, мой учитель литературы в четвертом классе, на благо мне продолжавший вести ее и в третьем, не позволял нам впадать в эту крайность.

Кстати, он был страстный поклонник Ламартина и, читая нам его стихи, буквально впадал в экстаз: на глаза у него наворачивались слезы, губы дрожали.

Уже года три-четыре, а может, чуть больше Лозанна взята в кольцо новыми супермаркетами, где торгуют не консервами и спагетти, а мебельными гарнитурами. Впечатление такое, что ежемесячно открывается новый магазин, и почти в каждом объявлено, какую площадь он занимает. Счет, как правило, идет на тысячи квадратных метров. И у них есть филиалы во многих городах, например в Монтрё, Вевё, Аваншё, Нионе и т. д.

Магазины конкурируют между собой и не скупятся на рекламу, занимая под нее в газетах иногда целые страницы.

Я старательно изучал рекламные картинки, которые должны соблазнять нас, и ни разу не увидел мебели, что была бы просто мебелью.

Даже сами названия гарнитуров для столовых, гостиных, спален чрезвычайно красноречивы: «Тюдор», «Викторианский», «Деревенский французский», «Деревенский бернский», «Луи-Филипп», «Людовик XVI», «Людовик XV» и так вплоть до

средневековья.

Самое забавное, что мебель, именуемая деревенской, вовсе не отличается простотой и напоминает декорации пьесы, поставленной в театре провинциального городка.

Со стыдом признаюсь, что какое-то время я тоже разделял общее пристрастие к стильной мебели и всяким завитушкам. В ту пору я бегал по антикварным магазинам, покупая, например, мебель в стиле Людовика XV с гнутыми ножками, с массой бронзовых или медных украшений, с инкрустациями, нарушавшими текстуру дерева.

Несомненно, это был вкус маркизы Помпадур. Не будем ей за это пенять, однако мне думается, что подобная мебель не вяжется с современными квартирами, и я плохо представляю себе человека в джинсах, сидящего в золоченом кресле с обивкой тонкого шелка.

Когда появился автомобиль, сперва не знали, какую форму ему придать, а поскольку авто являлось наследником колясок, они и послужили ему за отправную точку. Даже фонари первых автомобилей были скопированы с фонарей фиакров, недоставало лишь кнута в руках шофера.

Сколько понадобилось лет, чтобы добиться простоты линий, свойственной современному автомобилю. Любопытно, что сделали это итальянцы, так долго упивавшиеся стилем рококо.

Идеи остаются, стили устаревают.

Если бы во все эпохи, подобно нам, коллекционировали мебель предшествующих поколений и даже веков, как бы мы себя ощущали? Встречаются интерьеры настолько изысканные, что, прежде чем войти туда, хочется надеть пудреный парик, шелковые панталоны до колен, белые чулки и башмаки с серебряными пряжками. И конечно, заменить трубку или сигареты одной из тех изящных табакерок, за которые платят бешеные деньги на аукционах.

Наш розовый домик обставлен белой скандинавской мебелью без всякой резьбы, завитушек, украшений, и у меня появилось ощущение, что я наконец дышу чистым воздухом; это куда приятней, чем жить среди обстановки, загрязненной выделениями уж не знаю скольких поколений.

Памятники, жилые дома тоже подчиняются моде. Сейчас, вероятно, никому не пришло бы в голову установить на крыше дома скачущих лошадей, как на Большом дворце[157], или обрамить окна раковинами или плодами и цветами, изваянными из камня.

Сейчас нам это кажется если не смешным, то, во всяком случае, столь же старомодным, как какой-нибудь исторический

персонаж, торчащий в состоянии неустойчивого равновесия на верхушке обелиска.

Когда будут описывать здания нашего времени, самым частым словом будет, очевидно, куб. Строения нашей эпохи в большинстве своем похожи на домики, которые дети строят из деталей игры «Конструктор». Нагромождение кубов идет во всех измерениях, зато невозможно обвинить архитекторов в злоупотреблении украшениями, поскольку таковых не имеется.

Прошу прощения, одно-то украшение, как правило, есть, и установлено оно посреди газона. Обычно это огромный объект из бронзы или кованого железа, ничего собой не изображающий. Иногда, правда, при большом воображении и желании в нем можно усмотреть какую-нибудь часть тела.

Как известно, один скульптор сделал состояние, спрессовывая автомобили до размеров охапки соломы. И продавал это. Счастье еще, что стоили эти произведения чудовищно дорого, а то бы в соответствии с модой они оказались бы в каждой гостиной и гостям, чего доброго, предлагали бы присесть на них.

В провинции Лангедок, еще лет двадцать назад сохранявшей свой колорит, придумали новую модель жилого дома.

Предполагаю, что эти сооружения, как и положено в наше время, сделаны из сборного железобетона. Но основой тут является не куб, а пирамида. Дома эти ступенчатые и куда выше египетских пирамид, потому что каждая ступень в них соответствует этажу.

В литературе каждая эпоха тоже отмечена своим стилем, хотя прециозники и прециозницы всегда предпочитали стиль прошлых эпох.

Критики млеют от редкого эпитета, от неожиданного наречия, пусть даже эти слова не имеют ничего общего с предложением, частью которого они волей-неволей являются.

В семнадцать лет я писал нечто вроде плутовского романа под названием «Жеан Пинаге».

Почему Жеан, а не Жан? Да потому что мне казалось, что этак будет средневековей, сродни самому старому в Льеже дому, стоящему на берегу Мааса, где у Жеана некоторое время была комнатушка на чердаке.

Требуется немало времени, чтобы отрешиться от литературщины, к которой каждая эпоха прибавляла свои финтифлюшки, очень разные и зачастую противоречащие друг другу.

Когда вы хотите сказать «идет дождь»…

Любопытней всего, что автор этого афоризма носил пудреный парик, шелковые чулки и был одним из самых утонченных

стилистов.

Вот так вот можно высказывать принципы, но не следовать им.

Я спрашиваю себя, не пережевываю ли я тему, которую уже затрагивал? К несчастью для меня, но прежде всего для моих читателей, у меня скверная память, особенно по части того, что я писал или диктовал. Из своих романов я запоминаю, конечно, главных героев, но редко их фамилии; в памяти у меня остается в основном атмосфера, среда, образ жизни.

Сам же сюжет я никогда не могу вспомнить, да и второстепенных персонажей тоже.

Оттого и повторяюсь…

12 декабря 1978

Я уже говорил, что верю только в маленького человека и что по-настоящему великих людей не существует. Люди на всю жизнь сохраняют слабости или недостатки, которыми обладали в детстве.

Но это не повод относиться к нам как к недоумкам, недорослям, а то и умственно отсталым, что взапуски делают так называемые средства массовой информации.

Судя по передачам, которыми нас так щедро пичкает телевидение, можно подумать, что нас всех, включая женщин и детей, считают садистами.

Две недели назад мы получили новое тому доказательство. Произошло событие, повергшее в ликование журналистов и телевизионщиков, которые, вооружившись съемочной аппаратурой, помчались на место происшествия. Только представьте себе: обнаружено более восьмисот лежащих рядком трупов, причем как минимум шестьсот человек добровольно приняли яд, предварительно дав его детям[158].

История эта сама по себе не является исключительной, поскольку подобные гекатомбы известны во всех сектах, во всех религиях. Но раньше не было сверхсовременной аппаратуры, чтобы заснять это в виде движущихся или неподвижных кадров.

В данном случае кадры были скорей неподвижные. Газеты всего мира отвели под них первые полосы, да еще наверняка добавили несколько внутренних и продолжили их публикацию на второй и на третий день.

Ну а уж по телевизору мы имели возможность любоваться ими чуть ли не целую неделю, причем кадры были до того четкими, что их, право, достаточно было бы показать всего только раз.

Года два назад удручающие иллюстрации человеческой

жестокости поставляла Ангола. То же было и с ее соседкой Родезией.

Что же касается несчастных случаев, самоубийств, преступлений, истязания детей, то они стали чуть ли не обыденными темами.

На прошлой неделе нам показывали, как в Иране войска расстреливают население. Все время где-то дерутся. Дрались всегда, с тех пор как Каин совершил пресловутое братоубийство. Но в те поры не было ни фотографов, ни репортеров, ни телевидения.

Я еще помню время, когда самыми крупными газетами в Париже были «Журналы» и «Матен». Их первые страницы были отданы под хронику парижской культурной жизни и служили славе человека.

Правда, и тогда — уже тогда! — некоторые газеты вроде «Пти журналы» издавали воскресные приложения, на обложках которых в три цвета, хотя и на скверной бумаге, изображалось либо какое-нибудь свеженькое преступление, либо картины армянской резни, учиненной султаном Абдул-Хамидом, жертвами которой стали около пятидесяти тысяч человек[159].

Кровь — на первые страницы! Все было в крови — лица, тела, кровь капала даже с рук.

Фоторепортажа тогда еще не существовало, поэтому в газетах помещались рисунки, исполненные в предельно реалистической манере.

Как-то, кажется, в мебельном сарае я обнаружил два толстых тома «in folio» приложений к «Пти журналь». У меня не хватило духу долистать их до конца.

Но ведь это были всего лишь рисунки. А сейчас телевидение преподносит нам хроникальные кадры, да к тому же в цвете, стараясь дать нам возможность ощутить запах крови и разложения.

Я не считаю, что подобные зрелища с доставкой на дом порождают в детях жестокость. Ребенок жесток по своей природе. Но эти кадры служат удовлетворению чувства жестокости подростков, мужчин, женатых и холостых, женщин и даже стариков. Мы относимся к самой, пожалуй, безжалостной породе животных. Но это все-таки не причина делать жестокость объектом торговли и демонстрировать ее на рекламе стирального порошка или овернского сыра.

Нет, я не становлюсь в позу цензора. Напротив, я за полную свободу, но радио и телевидение изо дня в день неустанно доказывают, что нас считают недоразвитыми, чуть ли не умственно отсталыми существами, которым необходимо

бесконечно твердить один и тот же вздор.

Меня коробит, когда во время передачи последних известий мне раза три-четыре демонстрируют сахарную голову президента республики, как правило противоречащего тому, что он говорил месяц или даже неделю назад, или сырную голову его сотоварища Великого экономиста.

Я не переношу пренебрежительного отношения к себе подобным, особенно со стороны человека, который, возможно, ничуть не лучше и не хуже нас, но умеет обделывать свои дела и жульничает с большей сноровкой, чем другие.

Один из бывших премьер-министров, которого тщатся выдать за великого, считал французов телятами. Во всяком случае, так их называл. Другие же, напротив, гладят их по головке, но только не против шерсти.

Я с интересом, которого немного стыжусь, слежу за событиями в Иране. Там вся страна поднимается против тщеславного, жестокого и бессовестного человека. Если толпа не повесит его, что она любит проделывать со своими врагами или теми, кого таковыми считает, его ждут сотни миллионов долларов в банках всего мира.

Вот что такое массовая информация. Но прежде всего она — коммерческое предприятие, и предприятие крупное, что доказал нам пример человека, который, не отличаясь никакими особыми талантами, стоит во главе трех десятков газет, хотя законом запрещена подобная концентрация прессы в одних руках.

Но для кого писаны законы? И для чего? И как охраняются они теми, кто их издает?

Политик больше всего боится — эти господа тоже ведь боятся! — восстановить против себя «большую прессу».

И пресса это знает. Знает и телевидение, чуть ли не ежегодно подвергающееся реорганизации.

Кроме Елисейского дворца и министерских дворцов, нигде не встретишь людей столь наглых, как в так называемом мире массовой информации. Когда какой-нибудь Ги Люкс[160] устраивает бесконечные вечера, именуемые варьете, единственная цель которых запустить в торговлю пластинки, в этом нет еще ничего экстраординарного. Когда какой-нибудь Зитрон раздувается, словно лягушка, желающая превзойти вола, это тоже пустяки. Но существует ведь еще масса темных личностей, и любой человек из хорошо информированных кругов мог бы составить целый список подобных типов.

Мне вспоминается некий Роже Стефан, хотя сейчас его что-то не слыхать. Он сделал несколько передач, которые назвал «Памятные портреты», как будто портретируемые уже покоились

в могиле. Я тоже прошел через это. Жил я тогда в замке в Эшандене около Лозанны, и Роже Стефан в течение нескольких дней приезжал туда со съемочной группой. Кроме нескольких часов интервью — передача делалась в несколько приемов, — он выпросил у меня кое-какие семейные фотографии.

Жан Кокто прошел через эту передачу раньше, он-то и вселил в меня тревогу. Оказывается, этот Роже Стефан продал одному издателю право на публикацию альбомов, содержащих тексты интервью вперемешку с никогда не публиковавшимися фотографиями.

Кокто рассвирепел и даже подал в суд на незаконную публикацию. В это же время я получил несколько экземпляров моего альбома в роскошном кожаном переплете, озаглавленного «Памятный портрет. Жорж Сименон».

К счастью, книга поступила в магазины всего неделю назад. Пригрозив последовать примеру моего друга Кокто, я добился, чтобы продажа была приостановлена, а оставшиеся экземпляры пущены под нож.

Превосходный радиожурналист Жак Шансель[161] собирает в книги и издает взятые им интервью, даже не спрашивая разрешения у интервьюируемых.

А французское радио и телевидение совершенно спокойно может попросить вашего разрешения на бесплатное распространение таких-то и таких-то передач о вас в таких-то африканских странах, разумеется, во имя культуры. По чистой случайности это оказываются страны, куда ежегодно ездит охотиться г-н Жискар д'Эстен.

Но больше всего на радио, телевидении и в журналах возмущает наглость главных редакторов и редакторов отделов. Они так привыкли к настойчивости иных людей, стремящихся любыми средствами прорваться на малый экран или хотя бы на радио, что и к остальным относятся так же, полагая, будто оказывают вам благодеяние, отнимая у вас время и в какой-то мере нарушая вашу домашнюю жизнь.

Но не стану утверждать, что это общее правило. Я принимал у себя очень славные съемочные группы: после работы они старались устранить все следы беспорядка. Я встречался с журналистами, знающими свое дело; давать им интервью было чистое удовольствие.

Но сколько других существует наряду с ними! Таких, как, например, та дама, не знаю, пожилая или молодая, которая недавно писала мне с просьбой дать интервью от имени крупного швейцарского иллюстрированного журнала для женщин.

Первое, что она мне сообщила, причем, несомненно, с

гордостью, что она ничего моего не читала, но хотела бы задать несколько интересных вопросов. Для кого интересных? Не знаю. Равно как не знаю, какие это вопросы.

Нередко молодые журналисты — и таких немало — пробегают в самолете какую-нибудь вашу книгу, прежде чем позвонить в вашу дверь. Они рекомендуются репортерами известной газеты. Потом оказывается, что к этой газете они не имеют никакого отношения, а интервью с вами печатают в сомнительном листке.

А что, если вообще выключить телевизор и радио? Не будет ли это неким самообеднением?

Я начинаю думать, что это, напротив, станет избавлением. Если бы комментаторы новостей хоть капельку знали историю! Сколько глупостей было говорено и писано о головокружительном росте преступности! Однако если проследить великие и малые события из века в век, начиная с библейских времен, станет ясно, что процент преступлений почти не изменился, несмотря на постоянное создание новых, все более эффективных видов оружия.

Напасть на дилижанс с однозарядным пистолетом, да еще скакать рядом с дверцей, казалось бы, куда как трудно, и тем не менее это было распространенным явлением.

В Соединенных Штатах так нападали на поезда.

В Гарлеме и в других «горячих» кварталах американских городов десяти-двенадцатилетние дети занимаются мелким воровством, причем нередко их подстрекают к этому родители; соперничающие банды молодежи сражаются на улицах, и при этом льется кровь.

Даже призывы господ Дютуров и им подобных к организации самообороны не новы: Америка долго переживала период, когда население само вершило суд, не обращаясь к помощи властей.

В заключение задам вопрос: не совершил ли ошибку Гутенберг, изобретая книгопечатание, Ньепс — фотографию[162], а братья Люмьер — кино[163]? Что касается телевидения, я не знаю, в чьем мозгу зародилась идея его создания, но в любом случае это наилучший подарок, какой только могли получить правители любого государства.

Назад пути нет. Скоро человечество получит стереовидение, и тогда можно будет созерцать нож, вонзенный в грудь или спину какого-нибудь бедолаги.

Уже изобретены дефолианты — химические бомбы, уничтожающие растительность, беспощадные шариковые бомбы, а совсем недавно — нейтронные, которые недолго останутся без употребления.

Самое странное, что я вовсе не пессимист. Разве у нас нет возможности выключить телевизор, не читать газет и журналов? Только что я спрашивал: самообеднение? Нет, избавление!

13 декабря 1978

Когда-то давно издавались скверно отпечатанные брошюрки, относившиеся скорей к области невинного жульничества, чем к литературе:

«Как выиграть в рулетку»

«Как выиграть в Национальной лотерее»

«Как выиграть в…».

Теперь выбор увеличился: кроме пари на трех первых лошадей в скачках, появились и другие способы вытянуть у нас деньги — спортивный тотализатор, лото, номера и т. д.

Но мне представляется, что такой же успех имел бы выпуск и таких книжонок:

«Как стать главой государства»

«Как стать министром или замминистра»

«Как стать политическим деятелем».

И пожалуй, наиболее достижимым из предлагаемого было бы:

«Как стать академиком».

Для этого не требуется никаких специальных знаний, никакого особого таланта, лишь исключительно гибкий позвоночник.

Для первых — путь лежит через высшие учебные заведения: Политехническую школу, Высшую нормальную школу, Школу политических наук, Национальную административную школу или — что гораздо надежней — через Финансовую инспекцию.

Прежде всего там вас научат держаться уверенно и несколько высокомерно. Предпочтение, разумеется, отдается тем, у кого перед фамилией стоит частица «де», или тому, кто женился на дочери, скажем, владельца металлургического завода, влиятельного банкира, крупного промышленника. Ну а тот, кто заключил подобный брак да еще имеет, кроме частицы «де», титул, безразлично — настоящий или фальшивый, просто-таки обречен сделать карьеру.

Перечисляя воображаемые брошюры, я забыл одну, которая, вероятно, принесла бы наибольший успех:

«Как стать мультимиллионером».

Это относительно просто, хотя первейшее потребное для этого качество на улице не валяется. Если кандидату в академики необходима только гибкая спина, то здесь нужно иметь исключительно растяжимую совесть. И никогда не оглядываться назад. Никогда не извиняться, если толкнешь или даже

растопчешь человека.

Наконец, не надо бояться долгой или короткой отсидки в тюрьме, потому что рано или поздно это произойдет. Но там вам создадут особый режим, и вы сможете получать черную икру, паштеты из гусиной печенки и шампанское из лучших ресторанов.

И еще неплохо бы с первого взгляда отличать людей, которых можно купить, от тех, кого, бог весть почему, не купишь и не подкупишь. Хотя в сферах, куда вы перейдете, вряд ли предоставится возможность пожать руку человеку из категории непродажных. Вы станете одним из избранных, которым все дозволено, и, как бы паря над миром, будете со своих высот безразлично взирать на человечков, кишащих внизу.

Конечно, надо быть готовым к тому, что может разразиться скандал. Хотя, если в нем замешаны высокопоставленные деятели, у вас есть шанс выпутаться. Ну а если, несмотря ни на что, вас все же схватят за руку, несколько месяцев и даже несколько лет тюрьмы пролетят незаметно!

Мы живем в мире, где за все надо платить, даже за здоровье: чуть только человек начинает хоть что-то зарабатывать, у него тут же начинают вычитать на социальное страхование, которое в случае болезни покрывает часть затрат на врачей и больницу.

Вообще эта проблема становится все более острой. Уже давно со статистическими данными в руках нас уверяют, что мы принимаем слишком много лекарств, беспокоим без дела врачей, что служба общественного здравоохранения испытывает дефицит и уже давно пора раз и навсегда упорядочить тариф по больничным листам.

Ежегодно по издержкам на разные болезни и операции высчитывается средняя стоимость лечения одного больного.

И она постоянно возрастает. Убежден, что, когда она подскочит до невозможного уровня, будут приняты драконовские меры. Алкотесту, то есть проверке на алкоголь, пока еще подвергаются только водители машин. Но многие сотни тысяч французов, равно как жителей других стран, заболевают в зрелом возрасте циррозом печени. И сразу перестают быть достаточно работоспособными, чтобы самим, без посторонней помощи содержать себя и свои семьи.

Многие из них — тихие пьяницы; известно, что в некоторых департаментах виноградари выпивают по восемь-двенадцать бутылок белого вина в день. Нормандия же с ее восхитительным кальвадосом держит рекорд по потреблению крепких напитков, а также по числу госпитализированных больных.

Драконовские меры уже буквально на носу, они — дело

ближайших лет. Органы социального обеспечения не будут оказывать поддержку тому, кто не сможет доказать, что заболел не по собственной вине или небрежности.

Здоровье слишком дорого стоит, чтобы обеспечивать его олухам, воображающим, будто они будут жить вечно и беспечально.

Начнется с того, что все, даже те, кто никогда не садился за руль, должны будут проходить проверку на алкотест. На выходе из бистро вас будут поджидать с баллончиком, и горе вашей штрафной книжке, если окажется, что выдох у вас не соответствует норме. По завершении семейных церемоний — первого причастия, крестин, помолвки, свадьбы — все присутствующие тоже должны будут пройти алкогольную проверку.

Но ведь убивает не только алкоголь. Нельзя зыбывать и про табак, кампания против которого еще только начинается.

Уже нельзя курить в общественных местах, например на почте, в мэрии, в полицейском участке, да мало ли где еще.

Рестораны, кафе, вокзалы — тоже общественные места, и вот уже объявлено, что в ресторанах должны быть специальные залы для курящих, чтобы они не окуривали вредным дымом более предусмотрительных или просто здоровых людей.

Все стоит много денег. Не надо забывать о сломанных руках, разбитых головах, сложных переломах бедра; прибавим к этому опасность лавин, вертолеты, что вылетают на помощь к раненым, собак, обученных искать заваленных снегом людей.

Не знаю когда, но придет день, и лыжный спорт, а также альпинизм будут запрещены. Равно как парусные гонки, после которых остается немало вдов и сирот.

А как же быть с авиа- и железнодорожными катастрофами, уносящими иной раз по три и более сотен жертв?

Мы на пути к миру, где опасности будут сведены к минимуму.

Но не вздумайте поверить, будто вы имеете право построить дом, где вам заблагорассудится. Даже если дело касается фермы и выгона для скота. Из Ларзака, например, часть крестьян уже выселена: там будет специальное поле для маневров, и скоро бронетранспортеры заменят коров, лошадей, овец, не говоря о людях — места для них там уже не осталось.

Я упорно ищу, какие права нам еще остаются, и нахожу очень небольшое их количество, чтобы не сказать ни одного.

Многодумные парламентарии решили, что к 2000 году население Франции должно составлять сто миллионов человек, то есть почти удвоиться по сравнению с сегодняшним днем.

Не означает ли это, что людям вменят в обязанность производить детей и по домам будут ходить инспекторы, проверяя, не нарушают ли супруги правил? Понимаю, такая картина смахивает на плод больного воображения. И тем не менее все, о чем я говорю, грозит нам в достаточно скором времени.

Ну а взамен, в качестве компенсации — хорошие отметки, как говорят в школе. Промышленность больна. Государственные кассы пусты. Люди сохранили старинную привычку прятать деньги в кубышку или покупать золотые вещи. Так продолжаться не может. Это вопрос жизни и смерти.

После шумной пропагандистской кампании в пользу какой-то сберегательной кассы, взявшей себе эмблемой белку, нам сегодня сообщили, что произошло недоразумение. Оказывается, наши деньги мы должны хранить вовсе не в сберегательных кассах. Крупным и мелким промышленным и торговым предприятиям они нужны куда больше, чем нам, и единственный способ спасти их от банкротства — вложение наших сбережений, возможно даже безвозвратное, в акции этих предприятий.

Прекрасная картина: все играют на бирже. Все спекулируют. Купившему определенное количество акций полагается подарок от государства, правда, не столь уж щедрый: премия в пять тысяч франков, каковые будут сброшены с суммы налогов.

Нам и впрямь останется свобода. Только свобода чего? Не знаю. Даже не свобода гулять с собакой и позволять ей отправлять нужду, где захочется. Помню, когда я был маленький, мама часто повторяла мне, чтобы я не смел сдерживаться, когда хочется пи-пи, потому что от этого можно заболеть.

А каково бедному псу ждать, пока хозяин отыщет одну из тех небольших цементных урн, которые невозможно назвать иначе, кроме как собачий нужник!

В противном случае хозяин животного обязан носить с собой пластиковый пакет и ложку с вилкой, чтобы старательно собрать в пакет все, от чего собака считает себя вправе освободиться, а пакет сунуть в карман.

Я же говорю вам, что мы свободны! Мы свободны даже взять себе экскременты нашей собаки и делать с ними все, что заблагорассудится. Как только мы собрали их с тротуара, правительство оставляет их нам в полное и безраздельное владение.

Похоже, в том, что я сегодня надиктовал, веселого мало. Зато наблюдается определенный прогресс по сравнению хотя бы со вчерашним днем: я не задел ни одну из своих обычных мишеней.

У меня даже появляется впечатление, что я начинаю

подчиняться условностям.

17 декабря 1978

Я никогда не мог ответить на вопрос: «Что вынуждает меня писать?» Я задавал его себе сотни раз. Задавал уже в шестнадцать лет, когда писал первый роман и мать обеспокоенно спрашивала:

— Почему ты не пойдешь подышать свежим воздухом, вместо того чтобы часами марать бумагу?

Ее тоже занимал этот вопрос. Я находил множество ответов, которые более или менее устраивали меня, пока не убеждался, что они ошибочны.

Я знаю, почему в тринадцать лет начал курить трубку: чтобы казаться взрослым. Трубка превратилась в привычку, а привычка в конце концов стала частью меня самого. Я знаю, почему меня страстно влекло к женщинам: у меня была потребность узнать их, но не такими, какие они на улице или в кафе, а подлинных — таких, какими они бывают, сбросив одежду, в их тайной тайности.

Почти на все вопросы мне легко найти ответ. Например, почему я путешествовал? Я хотел узнать людей всех рас, всех эпох. Помню, по возвращении из первого кругосветного путешествия я заявил на пресс-конференции: «Путешествие вокруг света — это, скорей, путешествие не в пространстве, а во времени».

Я отметил, что, скажем, на Ближнем Востоке, где в то время еще встречались племена кочевников и караваны верблюдов, попадаешь в библейскую эпоху, а в некоторых районах Африки, на Борнео[164], на островах Фиджи имеются каннибалы, каковыми были в древности и наши предки.

А в заключение, если только память меня не подводит, я сказал, что путешествие вокруг света, совершенное частично на «типоё», то есть сидя на кресле, которое два негра несут на носилках через девственные джунгли, не только утомительно, но и оставляет горький привкус от знакомства с историей человечества.

Так что же, выходит, поэтому я столько написал? Но я никогда не путешествовал ни по одному из пяти континентов с намерением собрать материал для романа, а то и нескольких. И никогда не делал заметок. Порой проходило пять, десять лет, прежде чем какая-нибудь страна всплывала в памяти и становилась темой книги.

Возможно, сейчас я близок к удовлетворительному ответу. Меня всегда восхищал человек, как восхищало и восхищает все живое, животные и растения, которых я вовсе не считаю

несовершенней нас.

Я остановился на человеке и, наглядевшись на него на всех широтах, старался его изобразить, чтобы понять.

Но изобразить не таким, каким он видится. Не таким, каким видишь его на улице, на службе, в кабачке, а таким, каков он есть, — с его боязнью самораскрытия и с потребностью быть личностью.

Это и заставляло меня так упорно трудиться, хотя я не был уверен в успехе. Во мне так мало этой уверенности, что в семьдесят лет я решил: человеку ближе и доступней всего для наблюдения он сам.

Но до той поры, упорно открывая для себя других, я не пытался наблюдать за собой.

Но вот уже пять лет, как я занимаюсь этим. То, что я диктую, не является ни мемуарами, ни дневником, ни высокоинтеллектуальными размышлениями. Это, в сущности, серия моментальных снимков, более или менее точно представляющих жизнь человека, и поэтому я стараюсь быть полностью откровенным, не позволяя подлинной или ложной стыдливости сдерживать меня.

И с этой точки зрения мне понадобилось прожить семь десятков лет, чтобы обнаружить, что я не обрел удовлетворения.

Не знаю, даст ли мне его то, что я диктую. У меня впечатление, что я еще только в самом начале, и я был бы разочарован, даже пришел бы в отчаяние, если бы пришлось остановиться, так и не узнав, что в конце.

Вероятно, у меня не много достоинств, но одно есть несомненно: воля. Доказательство тому вся моя жизнь, плоды которой не вместит и целый книжный шкаф.

Начиная пять лет тому назад диктовать, я объявил о характере этой серии и предупредил, что буду едва ли не единственным персонажем этих книг.

Рискуя в один прекрасный день опротиветь из-за этого самому себе, я все же стойко продолжаю диктовать.

Тереза заметила, что я, не давая ответа, ответил на заданный себе вопрос. Тем лучше! В противном случае мне было бы уже нечего делать.

Из книги «Спящая женщина»

2 марта 1979

В шестнадцать лет в Льеже у букиниста я откопал старое издание Монтеня. Я тогда увлекался старинными книгами, и запах пожелтевшей бумаги был для меня куда заманчивей запаха вкусной еды или пирожных. Я взахлеб прочел все три тома, и они на долгие годы стали моими настольными книгами: я мог открыть их на любой странице и с наслаждением читать.

Через много лет я снова перечел «Опыты» и до сих пор еще помню многие высказывания. В конце XVI века Монтень был мэром Бордо. Этот город, как и многие другие города Франции, переживал тогда тяжелые времена в смысле политическом и военном. То была эпоха религиозных войн и Лиги[165]. Каждый должен был выбрать, к кому примкнуть, и Монтень, взявший на себя ответственность за большой город, заигрывал одновременно с двумя соперничающими силами — с Генрихом Наваррским и Генрихом III.

В «Опытах», которые в некотором смысле являются одновременно и мемуарами, и дневником, Монтень об этом говорит очень немного, можно сказать, почти ничего.

Так, в момент, когда мир в Бордо был как никогда хрупким, Монтень распространялся о состоянии своего мочевого пузыря: у него были камни. Как только представилась возможность, он уехал на воды в Пломбьер, потом в Баден и отсутствовал в Бордо, когда горожан косила чума.

Поразила меня еще одна деталь, правда, с запозданием. Он пишет, что каждый несет в себе «полноту человеческой природы». Начав писать «Опыты», Монтень перестал изучать своих современников и стал постигать себя: он уже мог мысленно представить себе любого человека.

Я знаю многих, кто почерпнул у Монтеня знание и правила жизни; это вполне понятно и в значительной степени относится и ко мне.

Я не настолько безумен и самонадеян, чтобы сравнивать себя с гением, чьи книги живут до сих пор. Но не под его ли влиянием во мне зародился интерес к людям, побудивший меня большую часть жизни отдать их изучению? Как бы то ни было, но к семидесяти годам, готовясь вот-вот бросить писать романы, я стал искать в себе понимание сущности человека.

Брюзгливые критики упрекают Монтеня за то, что он слишком много пишет о своем мочевом пузыре. Это, пожалуй, единственная точка соприкосновения между ним и мной: кое-кто

уже упрекает и меня, что в нашу взрывчатую эпоху я повествую о своих насморках и легких бронхитах.

Прочтя недавно один такой критический отзыв, я вспомнил Монтеня и его беспокойство о своем здоровье.

Но все это не помешает мне говорить о женщинах, раз уж я неосторожно затронул эту неисчерпаемую тему.

Я не намерен лишать иллюзий многих молодых, зрелых и даже пожилых женщин.

Но сейчас я позволю себе посоветовать им быть разумнее и, когда муж или любовник преподносит им бриллианты или изумруды, не принимать это за доказательство любви.

Чуть ли не во все времена мужчина использовал свою подругу, как торговец витрину. Даря ей меха или драгоценности, он демонстрировал миру свой успех на социальной лестнице.

Вот так же люди покупают самые дорогие и престижные автомобили, а то и роскошные яхты, хотя сами порой плохо переносят качку. Собственная конюшня скаковых лошадей тоже свидетельствует о весьма высоком уровне, но вершиной является членство в Жокей-клубе, проникнуть куда много трудней, чем вступить во Французскую Академию или стать министром.

Кстати о драгоценностях: нередко они являются поводом затяжных судебных процессов. Саша Гитри был на редкость талантливый человек и тем не менее привлек к себе внимание Франции или по крайней мере «всего Парижа» не этим. У него было не то четыре, не то пять спутниц жизни; с одними он состоял в браке, с другими нет. Каждая красовалась в драгоценностях. Правда, порывая с очередной подругой, он отнимал у нее свои подарки.

Одна из них сочла, что это несправедливо, и подала на Гитри в суд.

Аргументы тяжущихся сторон в общих чертах были таковы: «Он мне подарил эти драгоценности: колье ко дню рождения, два браслета на рождество и т. д. Они принадлежат мне, и я не согласна, чтобы он отнял их только потому, что больше меня не хочет».

На что Саша отрезал: «Я тебе их не подарил, а предоставил в пользование. Пока ты была со мной, ты должна была великолепно выглядеть, чтобы на тебя оглядывались».

Не знаю, ссылался ли он на старое как мир выражение «фамильные драгоценности».

В среде сперва аристократии, потом крупной буржуазии, наконец, финансистов и аферистов у жен были шкатулки с драгоценностями, переходившими, как правило, из поколения в поколение.

В этом мире или, верней, в этих разных мирах драгоценности по большей части не принадлежат той, которая их носит.

Почти всегда брак там заключался при условии раздельного владения имуществом, которое потом должно отойти детям или иным наследникам.

Лишь куртизанки иногда составляли исключение из общего правила и устраивались так, чтобы после смерти любовника сохранить полученные подарки, что и позволило Прекрасной Отеро, Эмильене д'Алансон и некоторым другим безбедно доживать век в виллах на Лазурном берегу[166].

Правда, они умели считать и защищаться, что в семьях, как правило, является привилегией мужчины.

В эпоху, когда стоимость денег непрерывно падает, а биржа позволяет себе неожиданные фантазии, владельцы крупных состояний ставят сразу на нескольких лошадей, чтобы в случае чего не потерять сразу все.

Этим и объясняется головокружительный рост цен на алмазы, которые очень часто прячут в банковских сейфах. И если муж позволяет жене носить их, это ничего не значит. Она всего лишь витрина, а владелец — он; точно так же большинство владельцев замков отдают замок в пользование своим детям, а те в свое время передадут его своим и т. д.

Насколько жизнь была бы проще, если бы не деньги определяли цену человека! Конечно, мир меняется, но так медленно, что почти невозможно заметить разницу между временем, когда ты родился, и временем, когда испустишь последний вздох.

Некоторые критики корят меня за то, что я слишком часто говорю об одиночестве. Но меня действительно преследует и пугает мысль о нем. Я ведь долго знал его, и притом самую худшую его разновидность — одиночество вдвоем. Надо еще иметь в виду, что часто оно усугубляется все возрастающей ненавистью партнера.

Я неверующий, но тем не менее читал Библию, и она удручала меня своей жестокостью. К счастью, вскоре вместо нее моей настольной книгой стало Евангелие. Но почему священники, епископы, кардиналы и папы так гнусно окарикатурили евангельские идеи и почему не взбунтовались против этого верующие?

Из Библии я вынес одну-единственную короткую фразу: «Не хорошо быть человеку одному».

Но как прекрасно человеку, пережившему одиночество, быть больше не одному, а вдвоем!

4 марта 1979

Уже несколько дней мы с Терезой с интересом поглядываем на дивную вишню, растущую недалеко от нашего дома; мы следили, как на ней набухают почки, и теперь ждем, что через несколько дней, если будет солнце, она расцветет.

Люди, должно быть, удивляются, видя, как мы останавливаемся у каждого кустика, а мы просто следим за успехами весны по тому, как изменяется цвет веток. Дня через четыре форсития, которая почти касается наших окон, станет золотисто-желтой.

Можно подумать, что мы как бы инспектируем природу, а на самом деле мы совершенно машинально останавливаемся, встаем на цыпочки и заглядываем в сады, где солнца больше, чем в нашем, и где начинают появляться цветы.

Весна в этом году ранняя. Правда, снег может пойти и завтра, и на следующей неделе. Певчие дрозды — их около сорока — пока еще не улетели из нашего садика; механически, точно молоточки музыкальной шкатулки, они клюют зерна, насыпанные среди молодой травы. Певчие дрозды поселяются в садах только зимой, особенно когда устанавливаются морозы.

В Ла-Ришардьер под Ла-Рошелью я как-то утром обнаружил, что все кусты в саду усеяны дроздами; птицы сидели до того неподвижно, что казалось, будто они неживые. Я подошел к одному, он не шелохнулся, тогда я взял его в руки. Дрозд буквально окоченел.

Я снес дрозда на кухню, приготовил красного вина с капелькой красного перца и влил несколько капель в клюв. Уже через несколько минут дрозд полностью ожил и запрыгал по комнате. Я проделал ту же операцию и с остальными, которых было великое множество, перенося за раз не более двух птиц.

Через несколько часов дрозды улетели.

Буду ли я вспоминать дни этой весны? Предсказать невозможно. Ведь порой даже то, что интересует в первую очередь и может повлиять на настроение, совершенно ускользает от нас.

Это одна из тех малых тайн, которые притягивают меня неизмеримо сильней, чем великие тайны жизни и вселенной, будь то тайны микро- или макромира, скажем, галактик.

Эти тайны разгадывает великое множество ученых; жаль только, что они не могут прийти к согласию. Так обстоит дело и в биологии, и в большинстве других наук. Ученые высказывают настолько противоположные мнения, так непримиримы друг к другу, между ними вспыхивают такие конфликты, что создается атмосфера чуть ли не ненависти.

Такое ощущение возникает и при чтении писем Фрейда, в которых он ставит на место своих старых учеников, почти что друзей, посмевших отойти от догм учителя.

То же в философии. Можно подумать, что большинство философов втайне мечтает, чтобы все люди, кроме них, перестали думать.

Ну вот, я опять влез в область, которую не собирался затрагивать. Увы, мысли, равно как воспоминания, не зависят от нашего желания или намерений.

Я предпочел бы говорить о почках, о птичках, о мире живого, к которому нам посчастливилось принадлежать, но которым мы так часто пренебрегаем.

После Вергилия, Жана Жака Руссо, Бернардена де Сен-Пьера[167] достигнут большой прогресс: вместо слов «любитель природы» и даже «поэт» создан новый термин, от которого так и несет XX веком, — экология.

Экология очень часто служит политике: пользуясь ею как знаменем, можно собрать достаточно много голосов. Она стала почти религией, хотя большинство экологов, борющихся за чистоту природы и воздуха, моторизованы и раскатывают по дорогам, особенно по автострадам, на автомобилях, которые провонивают бензином города и веси, либо на мотоциклах, заглушающих своем ревом все прочие звуки.

Остался ли бы Жан Жак Руссо в наше время любителем одиноких пеших прогулок? Если бы у него не было машины, на него косо посматривали бы в квартале, а его личному врагу Вольтеру[168] это дало бы лишний повод для насмешек.

«Поля и Виржинию» можно назвать первым экологическим романом: по существу, природа в нем играет такую же большую, если не большую, роль, что и герои.

Как бы к этому ни относились, у меня теперь уже нет ни одной машины и я больше не путешествую ни поездом, ни самолетом, ни на судах.

И я больше не прогуливаюсь в одиночестве: всюду, по улицам, по дорогам, по берегу озера, по лесу, мы ходим вдвоем — я уже не вынес бы одиночества.

5 *марта 1979*

В последние дни много говорят об автомобилях: только что открылся Женевский автомобильный салон, первый в этом году. Автомобиль, похоже, превратился в некое божество, культ которого исповедует большинство населения. Он занимает все более значительное место в обыденной жизни. Рекламные объявления чуть ли не каждую неделю сообщают о выпуске новых

моделей. Экспорт автомобилей из некоторых государств приобретает огромные размеры, и продажа их занимает все большее место в торговом балансе.

По этой причине правительства покрывают бетоном значительную часть территории своих стран, создавая все более сложную сеть автодорог.

Наряду с производством оружия автомобильная промышленность является областью, где активней всего ведется промышленный шпионаж.

Помню первые автомобили. Им еще не очень-то доверяли и не совсем представляли, какую форму придать. По Елисейским полям и Булонскому лесу катались в ландо, запряженных парой или четверкой лошадей, по городу разъезжали фиакры.

Эти-то экипажи и служили образцом для первых моделей автомобилей. Некоторые, кроме обязательных фар, имели фонарь от фиакра; не хватало только кнута. Для поездки на автомобиле надевали кожаный костюм, глаза защищали от пыли очками в резиновой оправе, а дамы опускали на лицо густую вуаль.

Через несколько лет механик по фамилии Форд создал автомобиль, доступный широким массам. В то же время смельчаки придавали своим творениям самые изощренные формы.

В двадцатые годы богачи или снобы, что, впрочем, почти одно и то же, пренебрегали автомобилями, которые продавались вместе с кузовом. Они покупали, так сказать, «голую» машину, потом обращались к одному из четырех-пяти знаменитых кузовных мастеров, обосновавшихся в районе Елисейских полей, и тот создавал заказчику внешне уникальный автомобиль, порой подлинное чудо; сейчас за эти экземпляры коллекционеры платят бешеные деньги.

Люди моего возраста, несомненно, помнят еще открытые «испано-сюизы», длинные, как корабли; их кузова из красного или тикового дерева с золочеными гвоздиками смахивали на корпуса роскошных яхт.

Примерно в это же время г-да Роллс и Ройс объединились для создания шикарного автомобиля, созданного полностью вручную. С ними пока еще соперничали в изобретательности и заботе о мельчайших деталях «вуазены», «делажи» и другие марки.

А на центральной аллее Булонского леса ежегодно проводился автомобильный конкурс элегантности. Причем элегантности не только самих автомобилей, но также их водительниц и пассажирок. Выбирали их не из манекенщиц или натурщиц, а среди известных актрис театра и — уже! — кино. По этому случаю знаменитейшие портные шили для них

очаровательные оригинальные наряды, модельеры напрягали воображение; все модели, вплоть до обуви, были новыми.

Не знаю, кто был счастливее, получив первый приз, конструктор или пассажирка. Конкурс завершался незабываемым ночным празднеством в «Максиме» или другом модном ресторане.

Недавно я говорил, что на большинстве реклам авиакомпаний изображены красивые женщины.

Если вы посетите любой автосалон, хотя бы только что открывшийся Женевский, то увидите, что все машины представляют молоденькие девушки в исключительно откровенных нарядах.

Вот вам еще одна роль из многих, составляющих сферу применения женского труда. Никому же не придет в голову заменить тут хорошеньких девушек обаятельными певцами, наемными танцорами, танцовщиками или телезвездами мужского пола, как бы хорошо у них ни был подвешен язык.

Не знаю, продолжаются ли до сих пор конкурсы элегантности в Булонском лесу. Думаю, что нет, иначе бы об этом шумели как о важном событии года.

Исчезли прославленные кузовные мастера. Верней, они еще существуют, и почти все — итальянцы; автомобильные фабриканты заказывают им проекты новых моделей, только предназначены эти модели не для единичных клиентов, а для серийного производства.

Я не чувствую тоски по той эпохе, когда царили Макс Линдер и Рудольф Валентино[169], мужчины приходили на ипподром в визитках, брюках в полоску и серых цилиндрах, а для женщин скачки были поводом продемонстрировать, небрежно прогуливаясь вдоль трибун, шляпы самых экстравагантных фасонов.

Что это, как не снобизм, причем снобизм, разделяемый большинством общества.

В Опере ложи снимали тогда на целый год, герцогини и другие аристократки держали там салоны. Мужчины во фраках — в креслах партера и ложах фрак был обязателен — подходили к ним поцеловать руку и сообщить последнюю остроту Тристана Бернара[170] или какого-нибудь талантливого журналиста.

Истинные завсегдатаи бульваров, поскольку в ту эпоху Большие бульвары были тем же, чем сейчас являются Елисейские поля, так вот, повторяю, истинные завсегдатаи бульваров уже с семи вечера облачались в вечерние костюмы, и первой их заботой было появиться в салоне какой-нибудь крупной благонамеренной газеты вроде «Эко де Пари», «Фигаро», «Журналь», «Голуа» и т. д.

Можно было быть уверенным, что, кроме тогдашних литературных знаменитостей, там встретишь и актрис, либо участвовавших во вчерашней премьере, либо пришедших подготовить почву для завтрашней.

Добрая треть этих господ еще носили монокли и по любому пустяку устраивали дуэли; дрались обычно где-нибудь на лугу или на укромной полянке.

Ругательная статья, намек на жену или любовницу, все, что могло быть воспринято как оскорбление, оказывалось достаточным поводом для дуэли, единственного средства защиты благородных людей.

Думаю, анекдот, который я сейчас приведу, принадлежит Альфреду Капю[171], одному из королей Больших бульваров, или Тристану Бернару.

Некто с весьма длинной фамилией обращается к человеку, которого он, по его мнению, оскорбил:

— Сударь, можете считать, что вы получили пощечину.

На что его противник невозмутимо отвечает:

— Если вам угодно, сударь, можете считать, что вы убиты.

Через час-другой подобные остроты облетали все салоны, поскольку салонная жизнь переходила от гостиной к гостиной.

Блистательные краснобаи, облаченные, как и положено, во фраки, небрежно облокотись на камин, рассказывали с большим или меньшим талантом тщательно заученные истории.

Существовали и литературные салоны, где молодые прозаики и поэты щедро осыпали друг друга взаимными похвалами.

На следующий день хроника этих вечеров появлялась в самых светских газетах, в том числе и в «Голуа»[172], который, несмотря на название, был весьма аристократичен.

Я никогда не посещал салоны, ни литературные, ни нелитературные. Но множество людей, которых я знал, почитало своим долгом появляться в них. Например, прекрасный поэт Малларме и даже Макс Жакоб, который был не менее талантлив, но до того, как принял христианство и стал церковным сторожем в церкви на берегу Луары, жил в тесной каморке на Монмартре[173].

В некоторых кафе и ресторанах ежевечерне собирались весьма известные люди, объединявшиеся, как правило, вокруг какой-нибудь знаменитости.

Бальзак тоже объединял вокруг себя в «Роше де Канкаль» писателей и журналистов. Участники этих сборищ составили нечто вроде масонской ложи, так как Бальзак предложил им помогать друг другу пробиваться.

Один из них действительно пробился — сам Бальзак. В

ресторанчике «Вьё гарсон» на берегу Марны неподалеку от шлюза Ситангет часто встречались такие люди, как Александр Дюма, Золя, иногда туда заезжал и Виктор Гюго.

В «Клозри де Лила»[174] на бульваре Сен-Мишель частенько захаживали молодые поэты; манило их туда то, что там чуть ли не каждый день бывал Поль Фор, в ту пору король поэтов[175].

Существовали кафе для начинающих, кафе для тех, кто уже печатался и добился кое-какого успеха, и кафе для мэтров.

Марсель Пруст не пренебрегал наиболее фешенебельными салонами, особенно салонами княгинь или герцогинь, и часть ночи проводил в гостиных «Ритца» среди титулованных особ.

А остальной Париж? Для него предназначались газеты куда менее светские — «Матен», «Пти паризьен», «Пти журналь».

В них сообщалось о банкротстве буржуа, слывшего весьма состоятельным, о бегстве банкира или нотариуса, а также об убийствах, совершенных с помощью холодного или огнестрельного оружия. Обо всем этом возвещалось большими буквами на первой странице, а уж удар ножа или выстрел из револьвера подавался самым крупным шрифтом. Отсюда выражение журналистов: «Кровь — на первую полосу».

А уж отыскивать кровь — как можно больше и как можно чаще — для приманки публики, маленьких людей было делом репортеров.

Извращенное любопытство? Или тот же снобизм? Когда из Англии пришла мода на кепи в клетку, большинство рабочих сменили старые кепки на клетчатые. Они тоже старались не отстать от моды. А мода на аперитивы! Каждый аперитив благодаря рекламе, плакатам на стенах домов и даже в метро несколько лет или хотя бы месяцев пользовался успехом и усиленно раскупался.

Забавно было видеть в старых бистро, особенно сельских, ряды бутылок, покрытых более густым слоем пыли, чем прочие. Это стояли аперитивы, и у каждого из них был свой звездный час, и каждый принес богатство их изобретателю, так что многие семейства до сих пор еще живут на деньги, сколоченные их дедами.

Хотя я весь день проводил за пишущей машинкой, изготавливая, как на конвейере, популярные романы и полускабрезные рассказы, но все-таки находил время следить за модой. Например, вошли в моду брюки цвета розового дерева такой ширины, что закрывали носки туфель. Пришлось дополнительно настрогать несколько рассказов, но я обзавелся такими брюками.

Произвели фурор, особенно на Монпарнасе, куда я ходил по

вечерам, американские башмаки с квадратными носами и плоской подошвой, сделанные, как утверждали, из оленьей кожи нелепого рыжего цвета.

Я-то, правда, не слишком далеко заходил в своих безумствах. Впрочем, забыл упомянуть об одном ежегодном событии на бульваре Мальзерб.

В первую неделю января в известном английском магазине происходила распродажа. Пальто классических фасонов на распродажу не выставляли, выбрасывали модели, слишком экстравагантные для широкой публики. В первый же день распродажи половина монпарнасских художников выстроилась в очередь на улице, и, клянусь, я оказался среди них.

Тогда-то я и купил двустороннее пальто. Одна сторона у него была из обычного непромокаемого материала, зато другая — цвета красной капусты и притом в крупную, размером сантиметров десять, клетку, сделанную словно бы тушью.

Стоит ли говорить, что в нашем квартале на меня оглядывались, зато на Монпарнасе я имел некоторый успех.

На следующий год я купил себе демисезонное пальто цвета электрик, куда более агрессивного, чем цвет красной капусты. И это в дополнение к брюкам цвета розового дерева и башмакам из оленьей кожи!

Правда, приказчик по секрету сообщил мне, возможно, для смеху, что на самом деле американцы шьют башмаки не из оленьей, а из собачьей кожи, и я тут же начал этим хвастаться, словно это делало честь — разумеется, мне, а не собаке.

Ту эпоху называют «безумными годами». И правда, в воздухе было разлито какое-то неистовство, которое легко могло сойти за безумие.

Курс франка так снизился, что американцы, приехавшие из Оклахомы или Калифорнии, демонстративно прикуривали сигары от тысячефранковых банкнот. Женщины носили страшно короткие платья и — великое новшество! — трусики из шелкового трикотажа. Шелк был искусственный, розово-леденцового цвета и вовсю блестел. Жемчужные колье свисали куда ниже пояса, и не проходило дня или ночи, чтобы два-три таких колье не были сорваны.

На Монмартре и на Монпарнасе один за другим открывались ночные кабачки, причем наибольшим успехом пользовались самые тесные, где невозможно было сделать и шагу, чтобы кого-нибудь не толкнуть. В фешенебельных гостиницах танцевали не только ночью, но и днем.

Это были заветные охотничьи угодья жиголо, наемных танцоров; почти все они были выходцами из Южной Америки и

обучали своих партнерш танго. Носили они черные, закрученные вверх усики, являвшиеся как бы их опознавательным знаком.

Помню «Ротонду», первое кафе на Монмартре, которое стали посещать известные и неизвестные художники. Рано утром туда приходили натурщицы, и Тижи посылала меня выбрать для нее модель, указав, какого телосложения брать.

Кроме «Ротонды» был еще «Дом», куда ходили художники всех национальностей и разные таинственные личности. И наконец, «Куполь», ставший теперь, по словам моих сыновей, очень буржуазным фешенебельным рестораном; но в ту пору длинноволосые художники и поэты просиживали там целыми днями за единственной чашкой кофе со сливками и рогаликом, и официанту даже в голову не приходило нахмуриться. Рядом на улице Тэте находился полицейский комиссариат, знаменитый уловом, который доставляли туда каждую ночь.

Я хорошо знал жену богатейшего бельгийского коммерсанта, тоже бельгийку по национальности, которой после обильных возлияний в «Куполь» регулярно приходила в голову фантазия провести ночь вместе с одним-двумя собутыльниками в полицейском участке.

Полицейским она была прекрасно известна. Она могла осыпать их самыми грубыми ругательствами, они и бровью не вели. Тогда она заголялась и показывала полицейскому зад. Это тоже не действовало. Тут-то она прибегала к последнему козырю: плевала блюстителю порядка в физиономию.

Этим она добивалась своего и остаток ночи проводила вместе с клошарами и пьяницами на нарах из неструганого дерева.

Утром, с трудом продрав глаза, мутные от сильного похмелья, она вызывала такси и отправлялась в свой особняк на Плен-Монсо, где вокруг нее начинала плясать прислуга.

Кое-кто из людей моего возраста утверждает, что жизнь в то время была прекрасна. Я не вполне согласен с этим. Помню, как один из моих друзей, знаменитый художник, большой любитель виски, выйдя ночью из бара в «Куполь», поехал на своем «бугатти» покататься с приятельницей по лесу Фонтенбло.

Машина перевернулась. Женщину швырнуло на дерево, и она размозжила себе череп. В газетах об этом не было ни слова, и художника благодаря его известности к суду не привлекли.

Каждый развлекается по-своему.

Из книги «День и ночь»

4 мая 1979

Я прочел в газете, что какой-то террорист взорвал в Риме штаб-квартиру христианско-демократической партии. Я против всякого насилия в любой форме, даже такого, которое считается законным, — насилия правительств.

С другой стороны, у меня нет никаких теплых чувств к христианской демократии, как бы она ни именовалась, поскольку она под разными именами все шире расползается по свету.

Будучи юным журналистом, я в некотором роде присутствовал при рождении этой пресловутой христианской демократии. «Газетт де Льеж» была одной из самых консервативных в стране, и притом христианской по направлению. Между 1919 и 1920 годами мы стали замечать в редакционных кабинетах таинственного человека с бесшумной походкой церковного служки.

Понадобилось много времени, чтобы я понял, что этот человек был одним из провозвестников христианской демократии.

Именно он писал длинные и довольно сумбурные статьи, которые «Газетт де Льеж» нехотя, но печатала.

Консервативные католики правили Бельгией без перерыва более сорока лет. Однако в прочном монолите их правления начали появляться трещины. Росло число манифестаций, демонстраций, забастовок, хотя тогда все это было запрещено и конные жандармы с саблями наголо разгоняли демонстрантов.

В конце концов католическая партия забеспокоилась и решила создать христианские профсоюзы, чтобы противостоять «агитаторам».

Христианская демократия начала свое шествие.

Несколькими годами раньше, когда мне было одиннадцать и я учился в шестом классе начальной школы, братья миноритy привлекли весь наш класс к участию в дорогостоящем благотворительном концерте, который давался больше тридцати раз.

Были наняты два профессиональных актера — первый любовник и героиня. Остальные скетчи играли бывшие воспитанники братьев миноритов, организовавшие любительский драматический кружок.

Вот, например, начало одного куплета, который я прослушал больше тридцати раз, не считая повторений на бис, и потому запомнил. На сцене для создания атмосферы горели красные

бенгальские огни, и высокий худой человек пел:

Борись с забастовкой, рабочий,
Не дай себя обойти
Смутьянам, что днем и ночью
Сбивают тебя с пути.
Несбыточными мечтами,
Озлобленными речами
Каждый такой смутьян
Вводит твой класс в обман.

Песня состояла из двух или трех куплетов того же сорта, зрители, вскочив с мест, восторженно ей аплодировали. Я уже рассказывал, что в ту пору шахтеры работали по двенадцать часов. Выходили они из шахт черные, как Эл Джонсон, наряженный менестрелем, а водопровода в домах у них не было. Это было время, когда больницы предназначались для бедняков, их там облачали в одинаковую одежду из шерсти грязно-серого цвета. Время, когда одна из богаделен называлась просто и без затей: «Неизлечимые».

Мы, ученики школы братьев миноритов, в первый раз вышли одетые в военную форму и кивера. Я удостоился чести в роли тамбурмажора возглавлять отряд из трех десятков моих товарищей. Несколько раз мы промаршировали вокруг сцены, прежде чем я дал своим подчиненным команду перестроиться в одну шеренгу и встать по стойке «смирно».

И мы запели на фоне красных бенгальских огней.

Нам велено было петь воинственно и даже угрожающе. Мы тоненькими голосами успокаивали наших соотечественников, заверяя их, что разгромим любого врага, который посмеет вторгнуться в нашу страну. Как мы были прекрасны! Как воинственны! Как сильны! А через год немецкая армия без единого выстрела заняла Льеж, который защищали двенадцать или четырнадцать неприступных, как нас уверяли, фортов: коварные немцы попросту обошли их.

Однажды утром командующий гарнизоном генерал Бертран с изумлением увидел отряд улан, подъехавший к его штабу, где никто не знал, откуда они взялись и что делают.

Но мы изображали не только солдат. После антракта мы выступили еще с одним номером. На этот раз мы были одеты полицейскими и держали в руках только что введенные белые жезлы.

Мой белый жезл,

Я с ним стою на посту.
Чуть им взмахну,
Движенье замрет на мосту.

Короче, мы были там для того, чтобы смутьяны поняли: в случае чего они будут иметь дело с защитниками порядка, армией и полицией, чьи белые жезлы служат не только для регулирования уличного движения, но, при необходимости, могут быть использованы как дубинки.

О третьей опоре государства, духовенстве, не упоминалось, но оно составляло чуть ли не большинство публики.

Там я произнес свою первую речь. Правда, составил ее не я, а один из братьев миноритов, преподававший в старших классах и наиболее образованный из всех. Текст он велел мне выучить наизусть.

Речь я произнес после последнего концерта, данного в пользу бесплатных христианских школ, а затем была разыграна лотерея, призы для которой пожертвовали крупнейшие коммерсанты и промышленники нашего угольного района; собирать пожертвования в патрицианские дома ходили мы, школьники. Я, например, даже посетил епископа, который благосклонно принял меня и согласился купить билет лотереи.

Побывал я и в особняке одного из богатейших наших промышленников, владельца металлургических заводов. Это был сгорбленный морщинистый старик с бесцветным голосом.

Выслушав меня, он молча встал и подошел к столику, на котором стояла китайская ваза. Снял ее трясущимися руками и подал мне. Представляла ли ваза ценность? Не знаю. Но трудно поверить, что этот достойный поблекший старец купил ее на барахолке.

С 1919 года христианские демократы стали смягчать жесткую линию консерваторов или, верней, служить им прикрытием.

Пожалуй, только в Англии да в некоторых землях Западной Германии используется еще название «консерваторы»; в представлении людей других стран оно постепенно приобрело отрицательный смысл.

В других странах консерваторы перекрасились в христианских демократов.

Это они так долго препятствовали и продолжают препятствовать сокращению рабочего дня. Они выдвинули лозунг «женщина занимается домашним хозяйством». Они запрещали пользоваться противозачаточными средствами, а сейчас во главе с римским папой не разрешают аборты или, как в Италии, где

законом они дозволены, запрещают врачам делать их под угрозой отлучения от церкви.

А кто во Франции глава христианских демократов? Ни одна партия открыто так себя не именует, но вполне можно выбирать между Жискаром, Леканюэ[176], Дебре[177] и т. д.

Внешне не скажешь, что они в согласии между собой. Время от времени они затевают пламенную полемику, но тем не менее продолжают оставаться друг с другом на «ты».

8 мая 1979

Льеж, где я провел первые девятнадцать лет жизни, был городом не очень крупным, чтобы не сказать маленьким;

домов выше четырех этажей в нем не было. Автомобили попадались редко. По камням мостовых, между которыми пробивалась травка, цокали копытами лошади, запряженные в фиакры.

Тишина стояла такая, что слышны были колокола не только приходской, но и соседних церквей; казалось, они перекликаются.

В четырнадцать лет я написал небольшую поэму (!), которую, слава богу, потерял. Помню только, что называлась она «Печаль высокой колокольни».

Бедная колокольня жаловалась на одиночество, как некогда, в ту пору, когда еще не было ни трамваев, ни железных дорог, ни автомобилей, ни самолетов, жаловались романтики.

Думаю, большинство людей в какой-то мере ощущает одиночество, и так было всегда.

Они сетуют на непонимание окружающих, из чего следует сделать вывод, возможно, верный, что все люди отличаются друг от друга. Не помню, чье это изречение: «Человек — существо общественное».

Действительно, отшельники — большая редкость, редкость до такой степени, что в давние времена их после смерти по большей части причисляли к лику святых.

Что же касается остальных, то есть большинства человеческого рода, то их непреодолимо тянет к огромным городам. Городов, население которых превышает десять миллионов человек, в мире становится все больше.

Но как же людям не чувствовать там себя одинокими, тем более что их разделяют расовые, религиозные, социальные предрассудки, бедность и богатство? А сверх этого бесконечное множество градаций: очень богатые, средне богатые, так сказать, едва богатые и желающие выглядеть богатыми; очень бедные, не очень бедные, полубедные, относительно бедные. И такое существует не только в перенаселенных городах. Подобный же

феномен можно обнаружить и в маленьких городках, кажущихся нам, когда мы проезжаем через них, идиллическими. Такие же различия имеются и в деревнях с двумя-тремя сотнями жителей.

Я полагаю, что слово «сообщество», к чему бы оно ни прилагалось — к семье, к жителям деревушки, провинции или многомиллионной столицы или даже к будущему Европейскому сообществу, — не имеет никакого смысла.

Кто-то сказал: «Человек человеку волк».

Человек не воспринимает себе подобных, если они не принадлежат к той же категории, что и он, то есть к тому же социальному классу с тем же уровнем доходов, не говоря уже о цвете кожи и языке.

Объединить как можно больше людей было мечтой всех создателей империй, будь то Египет при фараонах, Древняя Греция, Рим, а впоследствии Священная Римская империя, бывшая в некотором роде Объединенной Европой.

Испания захватила Нидерланды, Южную Америку, Филиппины.

Про Англию времен Британской империи можно было сказать, что солнце никогда не заходит в ее владениях, находившихся во всех частях света.

Но не потому ли древние римляне построили Колизей, куда набивались десятки тысяч незнакомых друг с другом людей, что без этого пусть даже поверхностного контакта каждый в своем углу чувствовал себя неуютно?

Французские короли и еще больше Ришелье совершили, казалось бы, невозможное: объединили под скипетром властелина, жившего в Париже, области, у каждой из которых было свое собственное лицо.

Забавно, что сейчас, когда хотят создать Объединенную Европу, эти французские провинции, которые Наполеон попытался уничтожить, разделив их на безликие департаменты[178], начинают оправляться и требуют для себя некоторой самостоятельности.

Это относится к Бретани, к баскам, где бы они ни жили — по северную или по южную сторону Пиренеев, — к Корсике и к Эльзасу, который ревниво оберегает свой партикуляризм.

Франция сумела расширить свои пределы, захватив колонии в Азии, Африке, даже в Южной Америке и в Тихом океане.

Подобно Англии, Франция вернула им независимость, когда ничего другого ей уже не оставалось, но постаралась сохранить за собой некоторые территории, имеющие стратегическое значение, как, например, несколько островов в Антильском архипелаге и в Южных морях, возведя их в ранг департаментов. Не завтра-

послезавтра эти далекие острова тоже потребуют независимости, как раньше или позже сделали другие колонии.

Каждой промышленной стране требуются многие миллионы иностранных рабочих, прибывающих со всех сторон света. И эти современные рабы когда-нибудь обязательно взбунтуются, как бунтовали рабы в древности.

Как же при таком смешении разнородных элементов человеку не чувствовать себя одиноким?

Люди, правда, объединяются в группы, прежде всего исходя из вероисповедания; в мире сейчас существует около четырехсот различных религий. Пробуют они объединяться и по принципу расовой принадлежности, создают профессиональные и культурные общества.

Существуют землячества овернцев, корсиканцев, а также выходцев из других провинций, проживающих в Париже.

Недавно я вспомнил стих из Библии: «Не хорошо человеку быть одному».

Но это вовсе не значит, что он создан жить в миллионной толпе себе подобных. Лекарство от одиночества — брак. Но сейчас все ясней выявляется тенденция к распаду супружеских пар, когда партнеры становятся невыносимы друг для друга.

Если два существа, сперва любившие или считавшие, что любят друг друга, не способны до конца жизни прожить в согласии, где же тогда его искать? Можно организовываться в любые ассоциации — политические, религиозные, спортивные, экологические, — в землячества, в союзы стариков, союзы молодежи и так до бесконечности, но все равно отношения в них будут иллюзорными и искусственными.

Существует ли одиночество в племенах, которые я видел в Африке и на Ближнем Востоке? В каком-то смысле — нет. Европейцы разделили Африку весьма произвольно, не принимая во внимание районы расселения этносов, но этносы, то есть племена, оказались живучей, чем границы.

В Европе тоже существовали когда-то племена, и Юлий Цезарь покорял их одно за другим. Я, например, нервий, поскольку местность, где я родился, населяло это галльское племя.

Все это мы изучали в младших классах начальной школы, потом забылось, и льежцы не поняли бы меня, если бы я напечатал призыв вроде: «Нервий, стремись познать других нервиев!»

Фламандцы же, если я правильно помню, происходят от эбуронов, и вот уже две тысячи лет насильственно объединенные эбуроны и нервии ненавидят друг друга.

Подозреваю, что разные объединения людей — империи, республики, футбольные клубы или общества по охране детенышей тюленей — создавались в интересах честолюбцев, жаждавших управлять как можно большим количеством себе подобных.

К счастью, наряду с ними существует еще и рядовая масса, то есть простые люди, довольствующиеся тем, что платят членские взносы, не стремясь присвоить себе никаких титулов.

Один из бывших премьер-министров писал: «Чем выше поднимаешься по иерархической лестнице, тем сильней одиночество».

Если это правда, зачем так неистово, с таким ожесточением, используя любые способы, карабкаться как можно выше?

9 мая 1979

Через несколько месяцев после окончания первой мировой войны я начал работать в Льеже репортером. Приезжий парижанин открыл на узкой романтической улочке с обветшалыми домами кабаре вроде монмартрского. Мы с друзьями проводили в нем чуть ли не все вечера и в конце концов выучили наизусть все песенки, так что вслед за артистами подхватывали припев.

Из всех шансонье больше всего нам нравился самый молодой, истинный поэт; через несколько лет он был избран в Париже «королем шансонье».

Любили мы его не только за талант: он был очень приятен в общении.

Помню один из его монологов, начинавшийся так:

«Когда моя бабушка чистила лампы и подравнивала фитили, ее руки, платье, весь дом пахли керосином. Бабушка ругалась: «Сволочная нефть! «»

Между тем в 1919 году большая пресса мало писала о нефти, хотя иные посвященные считали, что подлинной причиной войны было, по нынешнему определению, «черное золото».

Потом о нем стали говорить все больше, и вот теперь весь мир волнуется из-за нефти, верней, из-за угрозы ее нехватки.

Проблемы энергии стоят, как говорится, на повестке дня, и мне порой случается задавать себе вопрос, а как же обеспечивали себя ею наши далекие предки, не имея ни угля, ни нефти, этого пресловутого «черного золота».

В пещерах Центральной Европы некоторое время назад открыли поразительные вещи. В этих пещерах жили первобытные люди, одевавшиеся в звериные шкуры, и там обнаружено огромное количество медвежьих костей.

Из этого, похоже, можно сделать вывод, что медведи были не добыты на охоте, а приручены и жили в пещерах вместе с людьми.

Иными словами, они были чем-то вроде нынешних коров. Медведиц ловили и пили их молоко. Старых и больных животных забивали, их мясо ели, а в шкуры одевались. В сущности, в те времена медведи были почти что домашними животными, а кости их шли на изготовление крючков и разных мелких инструментов.

То есть можно сказать, что медведи в определенную эпоху помогали нашим предкам решать энергетическую проблему.

Верблюд служил жителям Востока средством передвижения; кроме того, использовались его мясо и шкура, а молоко пили.

Индейцам на территории нынешних Соединенных Штатов для этих же целей служили бесчисленные стада бизонов. А в Азии, если не ошибаюсь, ездили на лошадях, ели их мясо, а из их шкур выделывали кожу.

До сих пор в городах Ближнего Востока ослов запрягают в повозки, и они перевозят порой по шесть — восемь человек.

Итак, во все времена человек испытывал потребность расширить свои возможности и находил для этого зачастую самые невероятные способы, как, например, использование собак эскимосами и оленей лапландцами.

И как в насмешку, фараоны в качестве рабочего скота использовали рабов: ими и построены египетские пирамиды.

Но до нефти было еще очень-очень далеко. В Риме, где жизнь была наиболее комфортабельной, дома зимой не отапливались, а летом не охлаждались.

В средние века в замках, куда и сейчас еще ходят экскурсии, в центре главного зала устраивали большой костер, а дым выходил через отверстие в потолке.

В блистательную классическую эпоху Версаля древнеримские отхожие места были забыты, и вельможи в атласных кафтанах, равно как и герцогини, мочились прямо на дворцовых лестницах или в аллеях парка. Для большой нужды существовал стульчак. А для освещения служили либо свечи, либо факелы.

До нефти все еще не добрались.

Тем временем в Голландии и в других странах придумали ветряные мельницы, дававшие достаточно энергии, чтобы перемолоть зерно в муку. Водяные мельницы для этого использовали энергию ручья или реки.

Самым первым топливом было дерево, там, где оно имелось, а вот на севере отапливались тюленьим или китовым жиром.

Для обогрева и приготовления пищи пользовались также торфом и высушенным на солнце коровьим навозом. В Вандее,

где я жил, около ферм можно видеть кучи сухих коровьих лепешек, и в некоторых ресторанах там подают мясо, жаренное на рашпере как раз на таком топливе; говорят, оно придает мясу специфический вкус.

Эра угля началась одновременно с использованием древесных опилок. Благодаря углю появились железные дороги, позволившие путешествовать быстрей и с большими удобствами, чем в дилижансах.

Всегда и неизменно человек старался компенсировать свою слабость либо за счет животных, либо за счет того, что давала ему природа.

Во времена моего детства освещались с помощью керосина, и я еще помню торговцев, которые толкали по улице на ручной тележке бочку с краном и кричали в окна: «Американский керосин!»

Именно в Америке нефть послужила основой первых крупных состояний. Почти все нынешние миллиардеры происходят от тех, кто начал добывать этот продукт, который становится все дороже. Американцы вели изыскания в разных странах и основали нынешние нефтяные компании.

Увы, кто-то — не знаю, кто именно, — изобрел автомобиль, который сперва использовался только спортсменами. Первые автомобили ездили не быстрей поездов и стоили страшно дорого. Нефть стали перегонять на бензин, а остающимся гудроном покрывать дороги.

К самолетам вначале относились как к забаве, а сейчас они выросли до гигантских размеров и перевозят по всему свету многие миллионы пассажиров; в аэропортах самолеты взлетают каждые две минуты, причем некоторые вмещают до трехсот пятидесяти человек.

Но, создавая всевозможные механизмы и все более совершенные машины, заменяющие десятки рабочих, человек не подумал о том, что это приведет к опасной неустойчивости в экономике, если не к беспорядкам.

Можно утверждать, что борьба за нефть началась сразу же после открытия этого полезного ископаемого.

Увидеть лошадей сейчас можно только на ипподроме, да и то стартеры там работают на электричестве.

Некоторое время для производства электроэнергии, равно как и газа, использовался уголь, но теперь большая часть шахт заброшена.

Фермер доит коров электродоильным аппаратом, землю пашет на тракторе, работающем на бензине, то есть на нефтепродукте.

Я еще видел, как хлеб жали серпами; для уборки урожая требовалось человек двадцать.

Нынешние комбайны — естественно, бензиновые — жнут, молотят, ссыпают зерно в мешки, прессуют солому автоматически. Для работы на них вполне достаточно двух человек.

Созданы трамваи, автобусы, метро — и все благодаря энергии нефти. В выходные дни наиболее популярными радио-и телепередачами являются те, в которых сообщается о возможных «пробках», то есть о местах на дорогах, где скапливается столько машин, иной раз спрессованных в три ряда, что они часами не могут двинуться ни вперед, ни назад. Приходится посылать вертолеты и самолеты, чтобы регулировать движение этой нефтяной армады — прошу прощения, я хотел сказать автомашин, мчащихся, как правило, в никуда.

В четырнадцать лет ребенок получает мопед. В восемнадцать — первую машину. И вот так человек отучается ходить: за газетой к киоску, расположенному в двухстах метрах, он едет на машине.

Нехватка нефти? Сейчас арабы владеют скважинами, которые пробурили на их территории американцы и англичане.

Нет такой газеты, нет такого политика, который бы чуть ли не ежедневно не разглагольствовал об энергетическом кризисе; достаточно было повысить цены на так называемую сырую нефть, чтобы мировая экономика оказалась под угрозой.

И тут вспомнили об атомной бомбе, созданной во время последней войны на основе формулы, которую вывел Эйнштейн[179] в возрасте двадцати семи лет. Благодаря трудам многих ученых удалось не только послать людей на Луну и получить снимки поверхности таких далеких планет, как Марс и Венера, но и построить станции, производящие электричество на основе атомной энергии.

В США пришлось остановить работу около десятка атомных станций на год-два, а может, и навсегда, потому что в их механизме обнаружены дефекты.

Мы уже не питаемся молоком медведей и верблюдов, не ходим пешком, а большую часть работы в любой сфере, даже в расчетах, делает электричество, то есть нефть. «Сволочная нефть!» — как говаривала бабушка моего покойного друга Жана Рие.

Главы государств лихорадочно совещаются, кидаются из одного ознакомительного вояжа в другой. Политические партии собирают конгрессы и съезды для обсуждения создавшейся ситуации. Профсоюзы же требуют права на труд, и это можно понять, поскольку в Западной Европе сейчас более пяти

миллионов безработных.

Но зачем нужны рабочие руки, когда все механизировано и автоматизировано? Нужны мозги. Но тоже не очень много и даже как можно меньше: все более совершенные компьютеры в значительной части заменяют серое вещество человеческого мозга.

Возможно, через два года, когда этот том выйдет в свет, будет найдено решение всех нынешних проблем.

А пока что иные профессиональные брюзги и профессиональные оптимисты недоумевают, почему это современный человек стал нервным, беспокойным, почему ему так неуютно в мире, где он, хочешь не хочешь, вынужден изыскивать все новые источники энергии.

Но если откроют еще один источник, не вырастет ли число безработных в Западной Европе с пяти до десяти, двадцати или даже тридцати миллионов? Новые машины заменят в конторах десятки стенографисток и машинисток, и для работы на них хватит одного специалиста.

Всякие механизмы вроде компьютеров все без исключения работают благодаря энергии, получаемой из нефти, и маленький черный аппаратик, куда я диктую, кстати, тоже крутится благодаря «черному золоту». Вернемся ли мы к временам, когда человек обслуживал себя, используя только домашних животных? Сомневаюсь. Он давно уже привык нажимать кнопки, и у него нет ни сил, ни желания жить иначе.

10 мая 1979

Средства массовой информации, как говорят нынче, то есть газеты, журналы, радио, телевидение, все упорнее атакуют маленького человека. И не только назойливой рекламой самых разных товаров, но и посредством последних известий, которые под маской объективности на самом деле тщательно выполняют волю правительств.

Помню фразу президента Жискара, которую он произнес во время кантональных выборов и повторил в своей предвыборной кампании: «Французы, француженки, я пришел указать вам правильный выбор».

И как обычно, пришепетывая, он разъяснил нам, что же это за правильный выбор. Франция должна стать могущественной страной, войти в лидирующую группу наиболее развитых в промышленном отношении наций, достичь величия, то есть величия достигнет вышеупомянутый Жискар, возглавляющий список кандидатов своей партии.

Про величие и правильный выбор мы уже слышали от другого

президента, имя которого до сих пор остается знаменем большинства политических партий Франции.

Но не окажется ли так, что если вы следуете этому правильному выбору, то вы — уважаемый гражданин, а если нет — то смутьян, за которым надобно хорошенько следить?

Именно по этой причине я все чаще накидываюсь на политиков. Правда, за исключением небольшого числа лидеров, они тоже не имеют права самостоятельно думать.

Именно права думать. Нам не дается для этого ни времени, ни возможности.

Утром во время завтрака радиостанции, в том числе и местные, отнюдь не являющиеся официальными, сообщают новости, искаженные столь искусно, что можно подумать, будто на всех людей приходится одна-единственная голова.

На страницах журналов так красочно и с таким искусством изображаются пельмени, клубника или спаржа, что, даже если у вас нет ни желания, ни денег, вы все равно купите их и съедите.

Надо полагать, подобная реклама хорошо окупается: цветная страница на мелованной бумаге в многотиражном журнале стоит исключительно дорого, а рекламодатели отнюдь не являются филантропами и умеют считать.

Маленький человек обложен со всех сторон. По нескольку раз на неделе с телеэкранов произносят речи политические деятели. Что же они нам сообщают? Ничего нового. Мы должны быть паиньками, а не то наступит хаос. Вот уже двадцать лет как нам грозят хаосом; пусть мы сделали правильный выбор, но хаос все равно стоит у нас на пороге, как и во многих других странах мира.

Жарри, автор «Короля Юбю»[180], в начале нынешнего или даже в конце прошлого века первым заговорил о машине для удаления мозгов.

Машина эта бесперебойно работает, если не считать немногочисленных досадных осечек с упрямцами, которых именуют антиобщественными элементами.

Не означает ли это, что подобные элементы не имеют в отличие от остальных права на звание гражданина?

Но дал ли кто-нибудь себе труд растолковать маленькому человеку хитрую механику международных финансов? Государство само становится банкиром и помогает остальным банкирам вытягивать все деньги, какие можно.

Как все кругом, вы платите налоги, иначе у вас опишут имущество, оставив голые стены, кровать, стол, два стула и, в случае необходимости, ваши рабочие инструменты. Но кто нынче работает на дому?

Платить налоги, как все? Экая чушь! А для чего существует налоговый рай, всякие крохотные государства, где обосновалось большинство транснациональных корпораций?

Даже в Соединенных Штатах никого не поражает тот факт, что над американскими нефтеналивными судами развеваются флаги Панамы, Либерии, острова Нассау и т. п.

Транснациональные корпорации так хитро разделены на множество дочерних компаний, разбросанных по всему свету, что установить, кому они принадлежат, и, естественно, добраться до их отчетности исключительно трудно. Во всем этом есть большой смысл, потому что это позволяет им увиливать от того, что строжайше запрещено простому смертному, то есть от уплаты налогов.

18 мая 1979

Мне хочется продиктовать несколько фраз, которые я обдумывал вчера в постели и которые назвал бы своим кредо:

«Вопреки папе Иоанну-Павлу II[181] я продолжаю верить, что не существует ни ада, ни дьявола и что в природе, частицей которой мы все являемся, жизнь — это любовь и радость, а скорбь и страдание преходящи.

Жизнь порождает жизнь. Любовь порождает любовь.

Рано или поздно, через сто или через десять тысяч лет, придет время, когда наши потомки будут походить на нас не больше, чем мы на австралопитека или куда более древнюю амебу.

У природы впереди вечность, и наше искусственное представление о времени не заставит ее спешить».

20 мая 1979

После завтрака я на всякий случай спросил у Терезы:

— Надеюсь, я еще не рассказывал про Поркероль?

Она ответила, что не только рассказывал, но и привела кое-какие подробности — как раз то, о чем я собирался говорить сегодня.

Но есть одна вещь, о которой я еще не упоминал и которая ко мне непосредственно не относится. Напротив Поркероля, на континенте, как там говорят, недалеко от мыса Жьен, находится деревня того же названия, где имеется гостиница или, скорей, постоялый двор.

В те времена, когда я жил на Поркероле и у себя в кабинете, расположенном на втором этаже минарета, печатал каждый день по главе романа, неподалеку, укрывшись от всего света, писал свои книги пожилой худощавый человек с горящими глазами и

седой бородкой. Никто его не знал. Никто к нему не приезжал. Ни одна газета не упомянула, что он там живет. И я тоже не подозревал, что живу почти по соседству (расстояние между нами по прямой было не больше пяти километров) с одним из величайших романистов века.

Репортеры из разных стран часто задавали мне вопрос, какие писатели сыграли наибольшую роль в моем литературном формировании. Я всегда отвечал:

— Гоголь, Достоевский и Чехов, все трое русские и все трое из прошлого века; из тех же, кто ближе к нам, американец Фолкнер и… мой сосед или почти сосед с полуострова Жьен. Я имею в виду Конрада.

История Конрада необычайно интересна. Поляк по национальности, он в детстве учил французский и говорил на нем лучше, чем на родном языке, а затем выучил английский: в Англии он стал офицером торгового флота.

На Тихом океане, особенно в Южных морях, в ту пору еще плавали большие парусные корабли, и вот на них-то Конрад в течение двадцати лет бороздил океан от архипелага к архипелагу, от острова к острову.

Благодаря этому появился один из лучших морских романов «Тайфун»[182], который потом с такой любовью перевел Андре Жид.

Конрад писал по-английски. В одном из своих многочисленных предисловий или вступлений он объяснил, почему не пишет по-французски. Французы, за исключением тех, для кого это профессия, плохо знают море, а островным жителям англичанам оно знакомо и близко.

Поэтому Конрад использовал морские термины и не считал нужным растолковывать их читателям.

Писать он начал в возрасте сорока лет, еще когда плавал в Южных морях. Человек, ставший одним из величайших романистов своего времени, а может быть, и всех времен, достаточно поздно обнаружил свое призвание. Это несколько напоминает Мелвилла, тоже морского писателя, который начал писать после того, как ушел с таможни на пенсию.

Сколько в точности лет Конрад провел в Жьене? Много позже я сумел получить весьма приблизительные ответы, поскольку Конрад ревниво сохранял инкогнито и облик его изгладился из памяти жьенцев.

Но именно в Жьене он написал книгу, отличающуюся от всех его произведений: действие ее происходит в наполеоновскую эпоху[183].

В Монтрее, в Калифорнии, на фасаде одной гостиницы висит

мраморная доска, возвещающая, что Роберт Льюис Стивенсон останавливался здесь перед тем, как отплыть на тихоокеанские острова, где он и кончил свои дни.

Есть ли доска и существует ли еще тот постоялый двор, где Джозеф Конрад прожил несколько лет, написал по крайней мере один из своих романов и где он умер?

Мне ничего не известно на этот счет.

24 мая 1979

Мне всегда были интересны вопросы, задаваемые журналистами, даже самые банальные, поскольку через них мне открывалась личность этих людей, а личность всегда была предметом моего внимания. Ну и кроме того, сквозь вопросы просвечивает политическая направленность журнала, которая иногда, как это было со мной, когда я в юности работал репортером, категорически расходится со взглядами журналиста, берущего интервью.

Я в этих книгах неоднократно говорил о человеке нагом и человеке одетом. Однако по вопросам, которые задают мне довольно многие мужчины и женщины, приезжающие интервьюировать меня, я вижу, что большинство не понимает или неверно истолковывает это различие.

Попытаюсь раз и навсегда объяснить его, расставив точки над i, и при необходимости дать примеры.

Первым делом хочу уточнить, что каждый, за весьма редкими исключениями, бывает одновременно и человеком нагим, и человеком одетым.

Вчера вечером мне вдруг удалось найти весомый аргумент в пользу моего разделения человека на две очень разные и зачастую неравноценные части.

Я не говорю об артистах, профессия которых — лицедействовать, что мешает им даже в душе быть самими собой. И нет ничего удивительного в том, что, давая интервью на малом экране, актер выглядит еще неестественней, чем когда играет роль или исполняет песенку, сочиненную не им.

Другие же люди, тоже относящиеся к категории профессионалов, — я имею в виду дикторов и дикторш — обычно исполняют свою роль так утрированно, что порой начинает казаться, будто перед каждым из них, когда он обращается к невидимой аудитории, стоит зеркало. В литературных передачах я восхищаюсь терпеливостью и снисходительностью Бернара Пиво[184], каждую неделю собирающего в студии четверых-пятерых писателей.

Зато нарочитость писателей часто доходит до такой степени,

что граничит уже с карикатурой; все время колеблешься между желанием расхохотаться и желанием выключить телевизор. Зато, слушая их ответы на вопросы Пиво, сразу понимаешь: вот этот жаждет пройти во Французскую Академию, а этот, уже достаточно старый, метит на орден Почетного легиона высшей степени.

Знай эти люди, до чего неестественно они выглядят в передаче, они вряд ли стали бы интриговать, чтобы прорваться на малый экран.

Меня обвинят, что я опять сажусь на своего конька. Но сейчас я просто не могу обойти эту тему, поскольку именно на примере политиков видно, насколько человек одетый противоположен человеку нагому, то есть естественному. Можно наблюдать перемену их поведения по мере того, как их представление о себе, которое они жаждут навязать избирателям, становится все выше и выше.

Журналисты сетуют, что с некоторых пор я сократил количество интервью. Иные из них люди исключительно порядочные и внимательные. Но, к сожалению, существуют и другие: они прибывают к своей жертве, вооруженные магнитофоном, задают десятки вопросов, что-то записывают; их сопровождает фотограф. Однако в опубликованной чуть позже статье вы не находите ни одного произнесенного вами слова. А есть еще журналисты, обладающие таким неуемным воображением, что им даже не требуется видеть человека, о котором они пишут. В последней почте, например, я обнаружил статью из одного еженедельника, озаглавленную «Пятидесятилетие Мегрэ».

Подзаголовок ошарашил меня, других он тоже, несомненно, заинтригует: большинством читателей газет печатное слово воспринимается как истина.

«В ознаменование этой годовщины Жорж Сименон приобрел сказочную коллекцию трубок Абд аль-Кадира[185]».

Не знаю в точности, кто такой Абд аль-Кадир, хотя, если судить по имени, он, видимо, из Северной Африки. Но текст стоит самой коллекции:

«Чтобы достойно отметить пятидесятилетие своего знаменитого комиссара, Жорж Сименон сделал себе подарок, сказочную коллекцию уникальных трубок, собранную в прошлом веке эмиром Абд-аль-Кадиром, — семьсот двадцать восемь штук (заметьте, не семьсот двадцать семь, не семьсот двадцать девять, а именно семьсот двадцать восемь!), и среди них искусно выдолбленный аметистовый шарик, из которого египетская царица Клеопатра вдыхала дым лепестков непентеса.

В коллекции находятся также золотая трубочка, из которой

Мария Медичи[186] курила табак, впервые доставленный во Францию, и носогрейка корсара Сюркуфа[187], единственного человека, получившего дозволение курить в присутствии Людовика XV».

«Надо же такое!» — как говаривал не помню какой артист варьете.

Вот Мегрэ и попал в компанию с Клеопатрой, Марией Медичи, корсаром Сюркуфом, Абд-аль-Кадиром и, надо полагать, многими другими знаменитостями.

Интересно, за кого некоторые типы принимают публику, читающую их писания? Право же, подобные журналисты имеют все шансы в конце концов стать политиками и в свою очередь подвергаться интервьюированию.

Я же могу только подарить автору этой статьи Жану Иву Рогалю «сказочную коллекцию трубок, собранную в прошлом веке Абд-аль-Кадиром», включая шарик Клеопатры, золотую трубочку Марии Медичи и носогрейку корсара Сюркуфа.

Все-таки надо иметь большую наглость, чтобы делать новости из воздуха или из табачного дыма.

25 мая 1979

Подозреваю, что по-настоящему робкие люди не те, кто краснеет, когда к ним внезапно обратятся. Мне, напротив, думается, что чаще они выглядят весьма уверенными в себе и, чтобы заполнить тягостное для них молчание, принимаются говорить с наигранным апломбом.

Мне понадобилось прожить семьдесят шесть лет, чтобы догадаться: то, что я когда-то называл «симеоновской стыдливостью», свойственной в равной степени деду, отцу, мне самому и всем моим детям, не имеет ничего общего со стыдливостью; на самом деле это робость.

Я всегда испытывал эту робость даже с детьми и потому, наверно, никогда их по-настоящему не ругал и, кроме того, будучи уверен в их откровенности со мной, ни разу не осмелился задавать им вопросы об их личной жизни и мыслях. Так же я вел себя и с друзьями.

Я был не только робким или стыдливым (можно выбирать любой термин), но и сохранил «хорошее воспитание»: привычку строго судить себя и поступать по совести, как меня учили у братьев миноритов, а потом в иезуитском коллеже. Я не то чтобы верил в совесть, но эти зерна, посеянные моими родителями и учителями, дали всходы и до сих пор живы во мне.

Как все робкие люди, я способен довольно долго сдерживать возмущение. Но потом наступает момент, когда я чувствую почти

физическую потребность открыть клапан, и тут уж изливаю все мои разочарования, причем с несвойственной моему характеру бурностью.

Раньше я мог изливать чувство неудовлетворенности через героев моих романов. Но яростные речи вел не я, а герой, за которым я прятался.

Это не мешало мне, печатая какой-нибудь бурный эпизод, с удвоенным пылом бить по клавишам. А описывая трогательную сцену, я чувствовал, как по щекам у меня текут слезы, что в обычной жизни бывало со мной исключительно редко.

В последний раз я плакал несколько дней после смерти дочери. А до того уж не помню, когда ощущал у себя на щеках слезы.

Узнав внезапно о смерти отца, я впал в какое-то оцепенение, буквально окоченел. У меня перехватило горло, сжало грудь, а на похоронах я не произнес ни слова и, как только в могилу бросили цветы, тут же убежал.

Один из моих кузенов (он был постарше) вскоре догнал меня и начал говорить, что теперь, как мужчина, я должен взять на себя ответственность и т. п.

Я холодно глянул на кузена и, чтобы только не слушать его, вскочил на площадку проезжающего мимо трамвая.

А может быть, стоит назвать эту стыдливость или робость, унаследованную от деда, если не от прадедов, трусостью?

Тогда, выходит, я из трусости не могу сознательно причинить неприятность другому человеку, стараюсь не замечать в людях несимпатичных черт и сохраняю внешнюю приветливость, беседуя с иными визитерами, отнимающими у меня целые часы.

Но по отношению к профессионалам я подобной щепетильности не проявляю. Профессионалами же я именую всех тех, кто занимается деятельностью, в которой, чтобы достичь вершины лестницы, нужно быть безжалостным и с презрением смотреть на всех, стоящих ниже тебя. Эти люди облачены в броню, защищающую их от любого нападения, и мнение других не вызывает у них никакой реакции. Вне всякого сомнения, ожесточенную критику они предпочитают равнодушию.

Всякий раз, когда кто-нибудь из подобных людей предательски нападает на маленького человека, то есть на личность, со мной случается приступ негодования. Возмущение рвется из меня, я не могу молчать и изливаюсь перед микрофоном.

Когда я мысленно восстанавливаю прошлое, то нахожу не так уж много периодов, воспоминание о которых заставляет меня краснеть. Я уже рассказывал, что в одном из первых своих

интервью я заявил, что никогда не стану писать книг о банкирах, пока не преломлю хлеба хоть с одним из них.

Это означает, что мой врожденный интерес к людям не мог удовлетвориться наблюдением более или менее близких и легко доступных мне слоев.

Через несколько лет я получил возможность стать одним из тех, кого объединяли понятием «весь Париж». И даже следовал правилам этой среды, правда, не разделяя их.

У меня была огромная квартира на авеню Ричард Уоллес, напротив Булонского леса и стадиона Багатель. Я жил в недавно построенном доме, а несколько соседних домов почти целиком населяли известные деятели кино; у подъездов там вечно стояли похожие на яхты «испано-сюизы» и сверкающие спортивные авто.

Ну что же, мимикрии ради я тоже купил открытую, как требовала мода, спортивную машину бледно-зеленого цвета.

Я часто ездил на ипподром в Лоншан и в Отей, а когда разыгрывался приз Дианы — даже в Шантийи.

Конец дня я проводил на террасе «Фуке», где каждый на своем месте посиживали завсегдатаи, одни с моноклями, другие в визитках и жемчужно-серых цилиндрах. Бывали там и знаменитые актеры, как, например, мой старинный друг Ремю, перешептывались группы продюсеров с фамилиями на «ски» и «вич».

В первом этаже дома номер три по авеню Ричард Уоллес жил тогда еще молодой Пьер Брассер[188], там же у него родился сын, ныне заменивший его. На втором этаже — продюсер. На третьем — я, чувствовавший себя несколько неловко в обстановке, выбранной не мной самим, а выполненной известным художником-декоратором.

На четвертом этаже обитал Анри Декуэн[189], модный в ту пору режиссер, со своей подругой, совсем еще юной Даниель Дарьё[190]. А еще этажом выше — Абель Ганс[191], чей фильм «Наполеон» впервые демонстрировался в Опере (фрак и белый галстук) в присутствии президента республики, полного комплекта министров, а также носителей громких фамилий из Сен-Жерменского предместья.

Каждый вечер я облачался в смокинг, поскольку в фешенебельные рестораны вроде «Флоранс» не допускались мужчины в пиджаках, а перед женщиной в дневном платье швейцар безжалостно захлопывал дверь.

Я скверно чувствовал себя в театральном зале, но тем не менее добросовестно ходил почти на все премьеры, где видел те же лица, что в «Фуке» или «Флоранс».

Бывал я, когда получал приглашение, и на банкетах в

«Максиме» и других ресторанах; такими банкетами отмечалась премьера, даже если пьеса проваливалась.

Самые же блестящие приемы устраивались по случаю премьеры фильма: тут был почти обязателен фрак, на человека в смокинге посматривали косо. Затем в фойе устраивался банкет с шампанским и черной икрой, затягивавшийся до рассвета. Я участвовал во всем этом и после стольких лет не перестаю этому удивляться. Да что говорить! Я давал у себя обеды на двадцать-тридцать персон, устраивал коктейль-приемы с печеньем и деликатесными бутербродами; на этих приемах бывало до шестидесяти человек.

Я соблюдал все условности и верил, что стал частью этого общества, к которому тем не менее уже тогда не испытывал никакого снисхождения. Скорее презрение и жалость.

Все это, правда, не мешало мне писать роман за романом. У меня была привычка в поисках сюжетов подолгу гулять по улицам, а когда я жил на Вогезской площади — уходить по берегу Сены в сторону Шарантона.

Лишь один-единственный раз я решил в поисках вдохновения побродить по тихим нарядным улицам Нейи.

В ту пору, прежде чем отправиться в «Фуке» или облачиться в вечерний костюм, я переходил через какой-нибудь мост и прогуливался в плебейском квартале Пюто, где в конце концов узнал все лавочки и маленькие бистро. Там я вновь обретал родную для себя атмосферу и мог выпить за цинковой стойкой с рабочими «Рено».

Всего раз я съездил в Довиль, где царили художник Ван Донген[192] и Сюзи Солидор[193], носившая купальный костюм из рыбачьей сети.

Обычно до полугода я проводил в своем домике на острове Поркероль. У меня была рыбацкая лодка, называемая там «остроноской», и вечерами мы с моим матросом Тадо уплывали в открытое море ставить сети, а возвращались, бывало, поздним утром.

Полгода затягивались до семи, а то и восьми месяцев; случалось, я и зимой приезжал на Поркероль; рыбаки уже считали меня своим и вечером принимали играть с ними в шары.

Но пришел день, когда искусственность парижской жизни стала для меня невыносимой, и мы с Тижи отправились на машине на север Голландии, которую неплохо узнали, пока жили на борту «Остгота».

Это была разведывательная поездка. Мы искали уединенное место на берегу моря, где бы не было ни казино, ни светской жизни, чтобы там обосноваться.

Мы объездили все побережье и поняли, что найти у моря необитаемый уголок невозможно. Потом мы проехались по бельгийскому берегу, тоже хорошо знакомому нам, но и там все, даже самые маленькие пляжи были забиты людьми, как сейчас пляжи Аркашона, Канна и Коста-Бравы.

Чем дольше затягивалось наше путешествие, тем большее уныние охватывало нас. Если мы обнаруживали достаточно пустынное место, море оказывалось там бурным и недоступным, а берег либо скалистым, либо застроенным виллами, которые теснились друг к другу, почти как дома в большом городе.

И вот как-то утром мы очутились в нескольких километрах от Ла-Рошели. Много лет мы прожили там в старой усадьбе, куда мне пришлось провести электричество, водопровод и сделать ванну.

Я сразу понял: вот то, что мы ищем. Я восхищенно любовался плоской равниной и небесами такого же светло-голубого цвета, что в Голландии.

В то же утро за завтраком я стал выспрашивать доктора Бешвеля, который принял нас, словно старых друзей, и с которым мы действительно потом очень подружились. Помню, я сказал ему:

— Я ищу небольшой дом, желательно старый, окруженный садом, недалеко от моря.

— Вы знаете папашу Готье? — спросил доктор.

— Разумеется.

Это был фермер, живший почти рядом с Ла-Ришардьер.

— У него небольшой домик в Ниёле, он хочет его продать. Стены прочные, но все остальное требует большого ремонта.

— Неважно. Когда я смогу увидеть его?

Папаша Готье сам явился к нам в тот же день, а назавтра или послезавтра я уже подписал купчую.

Вместе со старым деревенским каменщиком я обстукал молотком все стены. Заодно мы обнаружили, что прогнило большинство оконных рам, а также широкая двустворчатая, так называемая «марсельская» дверь с резными каменными косяками. В комнате, ставшей потом моим кабинетом, окна были заложены и превращены в ниши, где когда-то стояли фигуры святых.

К сожалению, я прожил в этом доме всего два года, потому что немцы реквизировали его в самом начале оккупации. Потом, разводясь с Тижи, я перевел дом на ее имя. Я называл его «бабушкин домик»: его атмосфера была похожа на ту, что я помнил с детства, когда проводил каникулы в деревне.

Тижи до сих пор живет в Ниёле в этом доме. Она уже бабушка, и наш сын Марк с обоими своими детьми часто

навещает ее. Марк познакомил с нею и остальных моих детей, которые зовут Тижи «мамулей».

Этот дом обозначил поворот в моей жизни или, верней, конец периода, когда, стараясь познакомиться со всеми слоями общества, в том числе и с сильными мира сего, я превратился в парижского кривляку.

Воспоминания об этом периоде не вызывают у меня гордости. Но зато какое счастье снова стать естественным человеком!

Из книги «Судьбы»

22 сентября 1979

Весь день с утра я ликую. Французское радио сообщило, что «кузен Бокасса» наконец-то уже не император. Ливия объявила его нежелательной персоной, Швейцария, обыкновенно принимающая изгнанников, тоже, а Франция даже не разрешила ему воспользоваться ни одним из ее аэропортов и только после переговоров с командиром экипажа, заявившим, что у них кончается горючее, позволила ненадолго приземлиться на военном аэродроме, над которым пролетал самолет экс-императора.

И вот «каравелла», поднесенная Францией в дар Бокассе (кстати, Франция подарила ему также корону, трон и устроила чуть ли не наполеоновские коронационные торжества), после посадки была, словно обыкновенный захваченный террористами самолет, окружена полицейскими и солдатами, которые никому не позволили выйти из нее.

В этом году пало не то пять, не то шесть диктаторов. Разве это не радостно?

Разумеется, не для всех. Не для тех, кто посадил их на эти посты, например не для ЦРУ, которое ставит у власти и поддерживает самых жестоких южноамериканских диктаторов.

Злой насмешкой, верней, плодом англосаксонского юмора прозвучал кратчайший комментарий, который Белый дом распространил в связи с падением Бокассы: «Да здравствует Франция!»

Белый дом мог бы выразиться куда точнее: «Да здравствует Жискар!»

Ведь именно Жискар при посредстве родственников в некотором смысле правил Центральноафриканской империей.

Во главе всех крупных предприятий этой страны стояли брат, кузен, зять Жискара, а сам Жискар располагал там охотничьей резервацией, где он один имел право стрелять хищников, слонов и ни в чем не повинных антилоп.

Разве Жискар и Бокасса не звали друг друга «кузен» и разве французское правительство вопреки обстоятельным докладам авторитетных организаций не утверждало до самого конца, что нет доказательств массовых убийств, совершенных по приказу императора? Разве не ожидало оно, что главы нескольких африканских государств, по большей части субсидируемые Францией, постараются обелить собрата?

Во всех этих историях махинации, как теперь говорят, влекут

за собой новые махинации.

Это касается и Жискара, который в последний момент переметнулся и, воспользовавшись тем, что Бокасса находился с визитом в Ливии, посадил на его место послушного президента.

Может быть, он надеялся, что Ливия предоставит Бокассе убежище? Однако ливийцы посадили свергнутого императора в самолет и отправили искать приюта в любой другой стране.

Пока что ни одна не хочет его принять. Бокасса приземлился во Франции под предлогом отсутствия горючего — во Франции, где он владеет несколькими замками и комфортабельными поместьями. Вот уже сутки он, разъяренный, все еще сидит в самолете, беснуясь, словно зверь в клетке, и попеременно сыпля то проклятьями, то угрозами. Ему отказано даже в праве выйти на летное поле подышать воздухом и размять ноги.

А что сейчас поделывает Жискар в своей клетке в Елисейском дворце? Нам не сообщают об этом. Надо думать, он наконец понял, что положиться ни на кого нельзя, и со своими доверенными советниками ищет способ сбыть «кузена» с рук.

Оба они, каждый в своем углу, напоминают мне персонажей древнегреческой трагедии. До сих пор у нас были все основания полагать, что у Бокассы центральноафриканское гражданство. Но в последних известиях сообщили, что это не так. Он, оказывается, сохранил и французское гражданство, и гражданство своей страны.

Выслать его из Франции юридически невозможно. Заставят ли его взлететь с военного аэродрома? Но какая страна в мире примет этого кровавого, гнусного типа?

Всякий раз при падении очередного диктатора я радуюсь, так как каждое такое событие дает Человеку крохотную надежду.

Но в мире еще остались диктаторы. И свергнуть их дело долгое, как это было с Пол Потом, который стяжал ненависть всей своей страны за геноцид, приведший к гибели половины населения. Тем не менее он сохраняет право представлять Камбоджу в ООН.

Прошу прощения за то, что опять сорвался, предался восторгам и не смог удержаться от разговоров о политике, к которой отнюдь не расположен и даже питаю отвращение.

Что будет с Бокассой через два года, когда выйдут в свет эти строки? Что будет с Жискаром? Может быть, моя сегодняшняя радость сменится горечью?

Сам же я остаюсь и останусь, сколь можно долго, маленьким человеком. В отличие от большинства я не испытываю особой, вернее сказать, никакой гордости от факта принадлежности к тому же человеческому роду, что и те, о ком я только что

говорил.

29 сентября 1979

В старости бывает, что какое-нибудь давнее воспоминание вдруг сцепляется с другим и эта, казалось бы, несовместимая смесь неожиданно обретает определенный смысл.

Примерно так случилось со мной сегодня. С самого утра во время прогулки под серым, но без туч небом (когда-то такую погоду я называл приглушенной) я вспоминал, как в юности раскатывал по Льежу на новеньком велосипеде, останавливался у тележки с фруктами, покупал фунт черешни, совал в карман и ел на ходу, далеко выплевывая косточки, словно пульки духового ружья.

То утро осталось в моей памяти столь же ясным, как ясна была жизнь юного, пылкого репортера.

Мне казалось тогда, что благодаря своей профессии я узнал изнанку родного города, который исходил вдоль и поперек. Начиная с управления полиции, где мы с коллегами читали ежедневные рапорты, из которых узнавали о совершенных преступлениях и об организации борьбы с преступностью, с заседаний муниципального и провинциального советов и кончая залами Дворца правосудия, где я по очереди заглядывал на заседания судов всех типов — от полицейского до уголовного с участием присяжных.

В «Газетт де Льеж» мне открылись также кое-какие маленькие тайны насчет организации политических партий и тех, кто оказывает им финансовую поддержку, подготовки выборов и каждодневной полемики между двумя соперничающими газетами.

У меня было чувство, будто я проник в тайны богов, наблюдаю за кулисами политических лицедеев нашего города, а то и всей страны, еще не надевших, если можно так выразиться, официальных личин, а лишь готовящихся это сделать.

Я был осведомлен о многочисленных, как сейчас говорят, махинациях, то есть о разных мелких мошенничествах, не известных широкой публике, а также о почти что дружеских отношениях между людьми, которые на сцене выглядели прямо-таки непримиримыми врагами.

Был ли я потрясен или возмущен? Пожалуй, нет. Я наблюдал за этой игрой, хотя видел только краешек поля, наблюдал с интересом и даже с некоторым удовольствием. Ни капли возмущения я не испытывал, хотя сам держался вне игры и в своих ежедневных статьях даже позволял себе проявлять скептицизм.

Так почему же этот образ навел меня на мысль о кино? Немного позже в Париже, с трудом зарабатывая на жизнь рассказами и популярными романами, я заразился страстью к кино, к которому интеллектуалы и крупные буржуа относились тогда еще с презрением.

Я был свидетелем того, что можно бы назвать, пользуясь излюбленным выражением Жана Ренуара, блистательной эпохой кинематографа.

Мы еще не были дружны с Жаном, но я часто видел и его, и Рене Клера, и Жана Эпштейна[194], и Кавальканти[195], и многих других, фамилии которых я забыл.

Разумеется, на Бульварах были огромные роскошные кинотеатры, где демонстрировались коммерческие фильмы.

Я всего раз побывал в одном из них — в «Парамаунте»: по площади он был больше собора и вмещал три тысячи зрителей. Там была придумана и устроена большущая платформа, которая в антракте между фильмами, словно лифт, поднималась из-под пола вместе с оркестром человек в сто и танцующими гёрлс.

Подобная роскошь не привлекала меня; я предпочитал ходить пешком довольно далеко на Левый берег в маленький, невзрачный кинотеатрик, называвшийся «Урсулинки», вотчину кинорежиссеров-авангардистов.

Первый фильм, который я там увидел, «Кабинет доктора Калигари», снятый одним немецким экспрессионистом[196], открыл передо мною, как и перед многими другими, новые горизонты. Футуристические декорации не пытались повторять реальность, и я считал это подлинной революцией в кино.

В «Урсулинках» демонстрировали и первый фильм Жана Ренуара «Девочка со спичками», в котором играла Катрин Хеслинг, актриса с огромными печальными глазами ребенка.

Я восторгался «Антрактом» молодого Рене Клера, который тогда и предвидеть не мог, что будет носить зеленый сюртук академика. Это безумный фильм, который Клер при помощи своих друзей снял с использованием подручных средств. Там, например, есть эпизод похорон: ползет классический катафалк той эпохи, за ним следует толпа провожающих, и в первом ряду, кстати, выделяются огромные очки Марселя Ашара[197]. Вдруг лошадь понеслась вскачь, и процессия, набирая скорость, помчалась ей вдогонку.

«Шляпа из итальянской соломки» Клера так же, как фильм Эпштейна, вроде должен был быть этакой сентиментальной историей, но весь сеанс зрители видели только ноги главных действующих лиц.

Кажется, в этом же кинотеатре демонстрировался

«Метрополис» Фрица Ланга[198], изображавший город будущего, так похожий на современные большие города. Помню, я буквально влюбился в игравшую там артистку со скульптурными формами, но вот фамилию ее забыл.

Та эпоха была святая святых кино. Как болельщики на корриде, часть зрителей принималась свистеть, а другие пытались заставить их замолчать, и нередко это переходило во всеобщую потасовку с непременным вмешательством полицейских, которые хватали наугад несколько человек и волокли их в участок.

Это мои самые лучшие воспоминания о кино. Режиссеры, на которых я смотрел как на богов, стали потом моими друзьями, и тут уж я ощутил себя в некотором смысле человеком, вхожим за кулисы, и стал посматривать на баранов, набивающихся в кинотеатры Больших бульваров, с жалостью и презрением.

Всего лишь раз я побывал, чтобы встретиться не то с каким-то актером, не то с актрисой, в Жуанвиле в студии Пате-Натан, где конвейерным методом производились героические или слезливые популярные кинокартины. Это было коммерческое кино, и меня оно не интересовало.

Я продолжал ходить в кинотеатрик «Урсулинки» и два других, открывшихся чуть позже, где тоже показывали фильмы авангарда, — в «Старую голубятню» и «Студио 28» на Монмартре.

Эти три зала объединяли любителей нового кино так же, как Монпарнас объединял художников того времени, от Сутина[199] до Вламинка, от Фужиты до Дерена и еще многих других, прибывших чуть ли не со всех концов света.

Я и там был человеком кулис, и многие художники стали моими лучшими друзьями.

Потом я стал ходить в кино все реже и реже, смотрел только фильмы моих друзей, но вот уже десять лет, как нога моя не ступала в кинотеатр.

По моим романам снято фильмов шестьдесят. Из них я видел не то четыре, не то пять. Я также никогда не смотрю телеэкранизации моих книг.

Как и во времена моей юности, когда я был в курсе провинциальных махинаций, я узнал, до чего трудно режиссерам и актерам создавать подлинные произведения искусства, узнал, как продюсеры, сопродюсеры, финансисты и т. п. вынуждают их переделывать и портить кинокартины.

Короче говоря, я в любой области любил доходить до сути явлений.

Многих журналистов удивляет, что я не интересуюсь театром. Действительно, мне хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать

те случаи, когда я сидел в креслах партера или в ложе.

И все-таки в театрах я бывал часто: когда шла пьеса моего друга или играл кто-нибудь из друзей. Но я не сидел в зале, а направлялся за кулисы. Я знал, где прячется автор в вечер премьеры: либо в коридорах верхних этажей, откуда, приоткрыв дверь, слушает, как реагирует публика, либо в ближнем бистро, дожидаясь, когда прибежит жена с сообщением об успехе или провале пьесы.

Я видел, как гримируются и переодеваются актеры в своих уборных, как через дырочку в занавесе разглядывают зал.

Всего один-единственный раз я вошел в «Комеди Франсэз» через главный ход. Обычно я бывал там в артистических уборных или стоял за кулисами рядом с пожарным. Но в тот вечер исполнилась безумная мечта моего старинного друга Ремю: он играл Мнимого больного в прославленном Французском театре.

Благодаря случаю мне дважды на некоторое время удалось заглянуть и за другие кулисы — высокой политики и полицейской верхушки, которая берет на себя исполнение всевозможных грязных поручений правительства.

Впервые это случилось примерно в середине двадцатых годов. Я был дружен с человеком, основавшим четыре газеты, одна из которых существует и ныне и имеет самый большой тираж во Франции. Этот мой друг умер двадцать лет назад.

Каждый месяц в определенный день он отправлялся в министерство внутренних дел и получал там конверт, то есть свою долю министерских секретных фондов. Он знал почти всех, по его выражению, получателей конвертов: влиятельных главных и просто редакторов газет, всякого рода осведомителей, чьими услугами с удовольствием пользовалось правительство. Разумеется, секретные фонды не фигурировали в финансовой отчетности государства, а было их много — разного назначения и разной значимости.

Я говорю в прошедшем времени, потому что не знаю, существуют ли они сейчас. Но есть все основания думать, что да.

Буду продолжать в прошедшем времени. Свои секретные фонды имелись и у Елисейского дворца, и у отеля «Матиньон»[200], и у министерства иностранных дел.

Одним из самых важных лиц в этой области был не кто иной, как представитель крупнейших банков.

Он получал значительные суммы из каждого фонда, равно как от финансовых предприятий, и щедро распределял их среди тех, кто мог или угрожал раскрыть финансовые махинации.

Среди его клиентов было несколько профессиональных шантажистов, получавших ежемесячную подачку за молчание.

Финансовая хроника приносила некоторым газетам наибольший доход. Но вели ее не журналисты: она за соответствующую помесячную плату была отдана на откуп специальным ловкачам.

Финансы слишком серьезная вещь, чтобы доверять журналистам, пусть даже получающим конверт, право писать о них и тем самым воздействовать на простой народ.

Я успел объехать и повидать другие континенты, другие страны, других людей, и вдруг мне на Поркероль позвонил Пруво[201] и стал настойчиво упрашивать как можно скорей приехать в Париж, чтобы заняться делом Ставиского, превратившимся в дело Пренса[202].

За политическими новостями я следил тогда издалека и безо всякого интереса. Я долго отказывался, но в конце концов в штормовую ночь переправился на континент, как говорят поркерольцы, сел в поезд (авиасообщения еще не существовало) и прибыл в Париж. Благодаря знакомствам, завязанным прежде в доме основателя газеты, которой теперь руководил Пруво, я ухватился за кончик ниточки и считал своим долгом размотать клубок до конца.

Я пробрался за кулисы и общался со всяческими проходимцами, сверхсекретными полицейскими агентами, скомпрометированными сенаторами и министрами.

Я только не знал, что среди молодых репортеров, данных мне в помощь, был как на грех агент министра внутренних дел, передававший ему мои статьи еще до опубликования. Министр же самолично порекомендовал мне не выходить без оружия и постоянно держать руку в кармане на заряженном браунинге.

И вот как-то в толпе на улице Руайяль я почувствовал, что в живот мне упирается ствол револьвера. Рядом со мной стоял мой приятель, занимавший высокий пост в полиции; между прочим, свою свадьбу он отмечал в моем шарантском поместье. Накануне я упомянул его среди тех, кого следовало бы допросить, чтобы открыть правду о Стависком и Пренсе.

— Послушай-ка, дорогой Жорж, ты мне очень симпатичен, но тем не менее я не моргнув глазом пристрелю тебя, если ты откажешься вычеркнуть из своей вчерашней статьи мою фамилию и не дашь обещание больше никогда не упоминать ее.

Тут я через карман уперся в него своим браунингом и спокойно ответил, чтобы он не надеялся на это.

Где-то у меня до сих пор валяется огромное досье по этому делу. Человек, которого министр юстиции, доверчивый и славный малый, публично окрестил французским полицейским номер один, пригрозил, что расправится со мной, и повел за мной слежку. Он все время торчал у входа в гостиницу на Елисейских

полях, где я жил, так что мне пришлось переселиться, а к себе в номер в отеле «Георг V» подниматься на грузовом лифте.

Полицейскому номер один, на самом деле бывшему наймиту Ставиского, было поручено сбить меня со следа, а поскольку мои обвинения были отнюдь не бездоказательны, меня вынудили прекратить расследование и отправиться в кругосветное путешествие.

Высокопоставленные лица намекнули мне, что, поскольку я бельгиец, меня могут в один момент вышвырнуть на родину с запрещением возвращаться во Францию, и посоветовали поскорей отправиться любоваться небесами в местах, как можно более отдаленных от Франции, пока не забудется это дело.

Что мне оставалось? Я уехал. О деле Ставиского и Пренса написано множество противоречащих друг другу книг. Началась война. Бонни, французский полицейский номер один, стал одним из главарей гестапо во Франции и после освобождения был приговорен к расстрелу. Многие до сих пор еще верят в самоубийство советника Пренса. Сын Бонни недавно заявил, что отец перед казнью признался ему, что это он организовал убийство Пренса.

14 октября 1979

Вспоминаю одно из первых своих интервью, мне тогда было лет двадцать шесть — двадцать семь. Журналист, кстати, благожелательный ко мне, спросил, к какому стилю я стремлюсь. И я ответил, как потом отвечал неоднократно:

— К стилю, как можно более простому, максимально очищенному от абстрактных слов.

Уже тогда я делил слова на две категории. Во-первых, на конкретные, которые я называл «материальными» и которые в каждом из нас вызывают одинаковый резонанс; во-вторых, на абстрактные, о точном значении которых не могут столковаться даже те, кто их чаще всего употребляет, то есть философы.

Возьмем, к примеру, знаменитое изречение Декарта, которое, как считается, резюмирует всю его философию: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Мыслю? А смог ли кто-нибудь когда-нибудь объяснить, что в точности означает это слово? Наличие и главенствующую роль мозга? Но неплохо бы знать, какой части мозга, поскольку обнаружено, что у нас их по крайней мере две: «новый мозг», являющийся центром, где происходит умственная деятельность, и «древний мозг», который достался нам от наших далеких предков и который Юнг называет «племенным».

«Следовательно, я существую». Как существую? Имеет ли тут

это простое слово какой-нибудь особый смысл? Значит ли оно «я существую как человек»? Или, может быть, все те, что живут и не мыслят, не существуют?

Разве животные и первобытные племена, представителей которых мы относим к существам, не способным мыслить, не оказываются со своими инстинктами зачастую мудрее нас с нашим пресловутым мышлением? С тех пор как в коллеже меня насильно заставили проглотить Декарта, он стал для меня ненавистным образцом спесивого мыслителя.

Мне в голову приходят и другие слова, которых я всегда избегал, поскольку они нередко служили оправданием убийств, а то и уничтожения целых народов.

Например, слово «цивилизация». Какая именно? Цивилизации сменялись весьма быстро, если только не брать мерилом времени человеческую жизнь.

Что, в сущности, менялось при переходе от Шумера к так восхищающей многих эпохе фараонов, от фараонов к Древней Греции, от Греции к Риму, от средних веков к Возрождению, от Короля-солнца к Великой французской революции? С точки зрения некоторых, человеческий род неуклонно движется путем прогресса, правда, не без потрясений и периодов попятного движения.

Вот еще одно абстрактное слово! И новый вопрос — какого прогресса?

Улучшились ли отношения и взаимопонимание между людьми? Склонен полагать, что нет, даже напротив, поскольку излюбленной темой искусства стало одиночество в человеческом муравейнике, где никто не знает, кто в действительности правит этим скопищем, хотя каждому известно, кто получает от этого прибыли.

Наши дальние предки, человекообразные обезьяны, убивали, только защищаясь или чтобы утолить голод; их оружием были дубина и кремневый топор.

Позже было изобретено копье, потом лук, потом арбалет, мушкет и, наконец, атомная бомба, которая может уничтожить разом сотни тысяч человек; я уж не говорю о нейтронной бомбе, о которой нам известно только, что она убивает вражеских солдат, не разрушая дома и не заражая поля.

В Египте, где в тени фараонов правили жрецы, знаменитые монументы были построены рабами. Если я правильно помню, а мне часто случается ошибаться в цифрах, в Афинах насчитывалось около двадцати тысяч жителей, но это число включало только свободных афинян, рабов же там было гораздо больше.

Так же обстояло дело в Риме. Так же обстоит дело и сейчас, с той лишь разницей, что нынешние рабы добровольно приезжают из бедных стран, чтобы выполнять работу, которой гнушаются те, — кто именует себя цивилизованными людьми. Разве к ним относятся лучше, чем к рабам в древности? Разве они пользуются теми же правами, что и граждане страны, в которой они работают? Дать ответы на эти вопросы значило бы забраться в сферу политики, а сегодня я хочу избежать этого.

А возьмем слово «народ». Оно содержит в себе два разных смысла, и я начну с первого.

Говорят о египетском народе, о греческом, римском, немецком, французском, американском.

Можно ли сказать, что народы эти состоят из граждан более или менее одного происхождения?

Убежден, что такого никогда не было; исключение составляют некоторые оставшиеся неграмотными племена, которые действительно являются однородными группами схожих друг с другом людей.

Но вот, скажем, Древний Рим. И во времена империи, и во времена демократии, и во времена диктатуры он представлял собой конгломерат многих завоеванных народов, так что было бы затруднительно дать определение истинного римлянина. Испанцы до нашествия мавров были светлоглазыми и светловолосыми. Бывшая Священная Римская империя германской нации представляла собой объединение разных племен, и между жителем Померании и баварцем не было ничего общего.

Стоит раскрыть парижскую телефонную книгу, и обнаружишь там самые неожиданные фамилии, хотя французы считают себя подлинными потомками галлов.

В США после истребления индейцев, от которых остались только жалкие крохи, содержащиеся в своего рода зоопарках, именуемых резервациями, на улицах больших городов можно встретить представителей всех народов мира. Они живут и работают рядом, но все равно держатся отдельными кланами.

На самой вершине пирамиды там находятся потомки британских колонистов, отцов революции и людей самого разного происхождения, прибывших в давние времена со всех сторон света. Шведы, поляки, итальянцы и, наконец, негры и пуэрториканцы разделены практически непреодолимыми перегородками, что не мешает всем им быть американцами, пускай и не первого сорта.

Единственное, что их объединяет, — American Way of Life, то есть американский образ жизни, как выражаются в США.

Если бы это понятие могло служить паспортом, Вашингтон мог бы взять под свою власть многие европейские и не только европейские народы, потому что американский образ жизни с поразительной быстротой распространился по всему миру.

Кока-кола, джинсы, меняющиеся каждые несколько лет стили — сперва джаз, потом рок, потом диско — приживаются в Париже, Риме, Германии через год-два после их рождения в Америке, точно так же как наркотики вроде марихуаны или героина.

Народы? Но ведь они так перемешались между собой, что вряд ли можно говорить об их действительном существовании. Было бы куда лучше, если бы они не питали вражды друг к другу и не стремились любой ценой защищать свою национальную гордость.

Я был бы счастлив, если бы все народы, как писал поэт Поль Фор, решили взяться за руки и «хоровод повели, как братья, вокруг Земли».

Можно, казалось бы, предположить, что в наиболее могущественных странах меньше всего бедняков. На самом деле это не так. Зато не будет ошибкой сказать, что в них больше всего богачей.

Я говорил, что для меня слово «народ» имеет минимум два смысла. В первом значении оно употребляется, когда говорят о населении разных стран.

Во втором оно значит совсем другое:

«Человек, вышедший из народа».

«Человек из народа».

Иначе говоря, оно имеет пренебрежительный оттенок и применяется к классу, стоящему в самом низу социальной лестницы.

«Эта женщина, несмотря на ее вид, из народа».

А «народный суп», то есть бесплатная похлебка для бедняков! А народные банки, куда несут свои жалкие сбережения мелкие вкладчики!

Народные романы, народные балы, фильмы для народа… Можно целые страницы заполнить подобными выражениями, символизирующими грань между «благородными» и всеми прочими.

Правда, когда говорят о «народной демонстрации» или о «народных волнениях», это слово приобретает грозный смысл и подразумевает вмешательство полиции.

Остается еще слово «прогресс», которое употребляется во всевозможных значениях.

Какого же подлинно человеческого прогресса достигли мы со

времен античности или даже с доисторических времен?

Мы уже не покрыты шерстью. Живем не в пещерах и не на деревьях, как, скажем, пигмеи, которых я видел.

Но я все равно возвращаюсь к вечному своему припеву: «Чего достигли люди за много веков?»

Создали машины, из-за которых пришлось ликвидировать более двадцати процентов рабочих мест, отчего во всем мире стало столько безработных, что, несмотря на оказываемую им скудную государственную помощь, они могут представить собой немалую опасность.

Можно за несколько часов без промежуточных посадок перелететь из Европы в Америку или Азию, и на это расходуется безумное количество горючего, а в то же время люди не могут позволить себе как следует отапливаться зимой.

Можно позвонить в любой уголок земного шара, да только сказать, как правило, бывает нечего, разве что дать указание о продаже или покупке акций.

Все путешествуют ради самого путешествия и усердно щелкают фотоаппаратами, вместо того чтобы общаться с жителями страны.

Головокружительно растет число самоубийств, и нередко молодые женщины, превращенные жизнью в роботов, выбрасываются вместе с малолетними детьми из окон. Или же отчаявшийся муж убивает жену, детей и кончает с собой. Подобные истории, о которых мы столько раз читали в газетах, стали уже привычными и не привлекают внимания.

Жаль, что у нас нет статистики самоубийств древних цивилизаций.

Меня, несомненно, сочтут пессимистом, хотя, несмотря на все, что я тут говорю, я им не являюсь. Но в любом случае мы сделали огромный шаг вперед в области табу, то есть запретов.

Интересно, бывали ли уже в истории такие эпохи, когда ликвидировалось так много табу? Возможно, и были, но то, что происходит сейчас, вселяет в меня бодрость. Еще недавно, когда я был в возрасте от пятнадцати до тридцати, строгие установления разных религий не оставляли человеку никакой свободы во многих сферах жизни.

Сейчас пригвождают к позорному столбу аятоллу Хомейни за то, что он хочет править своей страной в соответствии с суровыми законами Корана.

Христианство задолго до Хомейни играло ту же роль. Могли быть сочтены грехом даже мысли, не говоря уже о поступках и отношениях с другими, особенно с лицами противоположного пола.

Именем религии без счету уничтожали неверующих, жгли на кострах несчастных безумиц, объявляя их ведьмами. Сожгли Жанну д'Арк. Французские короли рубили головы всем, кто устраивал против них заговоры.

Любить допускалось только после заключения брака и лишь ради продолжения рода.

Но молодежь отвергла эти табу и занимается любовью безо всякой подоплеки иногда даже с тринадцати лет, и родители не препятствуют этому. Частенько они дают сыну или дочке первые наставления, как пользоваться противозачаточными средствами, и разъясняют, что в случае необходимости надо прибегать к помощи врача для избавления от нежелательного ребенка.

Правда, это не мешает папе, словно кинозвезде, раскатывать по всему миру и собирать толпы, возвещая им, что существуют ад и сатана, что мужчина и женщина могут иметь половые сношения только с целью зачатия новой жизни и т. д. и т. п.

Примерно такие же речи произносит и Хомейни.

Сейчас, когда большинство священников сбросили черные сутаны и одеваются как обычные люди, а монашки разъезжают на мотоциклах, папа призывает их исполнять свой долг, состоящий в том, чтобы отличаться одеждой от прочих смертных.

Кое-кто аплодирует ему, но это ничуть не меняет поведения молодежи и даже людей зрелого возраста. В большинстве стран растет число нудистских лагерей. Даже в Швейцарии относятся терпимо к женщинам, приходящим в бассейн в купальниках без верхней части. Папа утверждает, что брак — это нерасторжимый союз, но в большинстве стран каждая третья пара разводится.

Можно ли это считать раскрепощением человеческой личности? Полагаю, что да. И это было бы поистине прогрессом наряду со многими ложными его проявлениями. Но история учит нас, что в любой области можно ждать скачков назад.

И папа объезжает мир, решив покончить с неповиновением законам церкви, каковые не имеют ничего общего с Евангелием, которое, казалось бы, должно лежать в их основе. *Человеческое достоинство.* Я не решаюсь метить чересчур высоко, когда говорю о человеческой свободе, о которой столькие мечтали во тьме истории. Просто человеческое достоинство, право быть самим собой. Это уже началось, уже существует, хотя и по-иному, чем предсказывалось в так называемых подрывных книгах.

Надеюсь, что наперекор объединенным консервативным силам, опирающимся на власть денег, эволюция эта будет продолжаться.

18 октября 1979

Какой-то классик, во всяком случае писатель, которого мы изучали в коллеже, сказал: «Горе человеку одной книги».

А другой писатель, живший недавно, фамилию которого я тоже забыл, писал: «Каждый из нас носит в котомке один роман».

Поскольку сейчас котомок нет, эта фраза, очевидно, была написана в прошлом веке. Я согласен с этими словами. У каждого человека в возрасте между двадцатью и тридцатью возникает потребность рассказать о своей юности, о первой любви, о первом жизненном опыте. Эта первая книга обычно получается страстной и очень часто великолепной, многообещающей, подкупает правдивостью и непосредственностью.

Иной раз за такую книгу автор, на свою беду, получает литературную премию. Он начинает выпускать книги, написанные тяжело, читающиеся с трудом и тут же канущие в забвение.

На некоторых авторов первый успех так действует, что они начинают упорствовать в стремлении заниматься литературным трудом, не принимают иного образа жизни, и в приемных издательств можно видеть таких писателей, впавших к пятидесяти годам чуть ли не в нищету.

Каждый хранит в себе роман о том, что он видел глазами ребенка, и почти все писатели когда-нибудь принимаются писать о своей молодости. У великого Гёте меня сильней всего трогает книга, называющаяся «Dichtung und Wahrheit», то есть «Поэзия и правда»[203]. И написал он ее не в двадцать, не в тридцать лет, а много позже; я даже думаю, не между ли первой и второй частью «Фауста».

Я тоже не составляю исключения из правил. В сорок лет, уверенный, что мне суждено скоро умереть, я взялся за «Родословную»; я писал ее в тетрадках, чтобы впоследствии ее смог прочесть Марк, которому было тогда два года. Почти десять лет я не публиковал ее, храня верность своему ремеслу романиста.

Некоторые писатели полностью умещаются в своих книгах, и, несмотря на затейливую фабулу, их легко можно узнать в героях.

Критики поверили, что со мной обстоит дело так же, и в большинстве моих произведений пытаются обнаружить меня. Они заблуждаются: я всегда отчаянно старался не смешивать себя с моими героями.

Говорили также, что комиссар Мегрэ — это я… Это и так, и не так. Сперва Мегрэ, которого я собирался использовать в двух-трех книгах, был очерчен довольно поверхностно, но в конце концов перенял кое-какие мои черты; например, он больше верит интуиции, чем рассудку, а также считает, что если разобраться в

человеке, то выяснится, что преступление он совершил не в силу преступных наклонностей, а в силу обстоятельств, оказавшихся сильнее и его, и человеческой природы вообще.

Трубка? Да, я курю трубку, но ведь ее курят еще сотни тысяч людей. Мегрэ сперва носил котелок, а я его надевал всего раз в жизни.

В напряженные моменты Мегрэ любит помешивать угли в печке, как я в отрочестве, но дело в том, что на набережной Орфевр в ту пору не было центрального отопления и в каждом кабинете имелась печка.

Впрочем, я и не смог бы создать второго себя, потому что не знал себя и не пытался познать.

Но теперь вместе со старостью пришло время, когда пытаешься распутать клубок событий, составляющих жизнь. С отрочества, с самого детства я был захвачен судьбами окружавших меня людей, и прежде всего многочисленных членов нашей семьи. В сущности, у меня в жизни были две постоянные темы: во-первых, тайна женщины, ставшая для меня чуть ли не навязчивой идеей, хотя стремление раскрыть ее было проявлением потребности в человеческом общении и в любви; во-вторых, почти такое же неотступное стремление хоть как-то постичь судьбы людей, с которыми я сталкивался.

Такое же стремление было, пожалуй, и главной страстью Мегрэ.

Словом, понять людей, понять истоки их слабостей и никогда не осуждать их.

Я начал наблюдать — безотчетно, потому что был слишком мал, чтобы делать это сознательно, — за своими близкими: сперва за матерью и отцом, потом за дедом Симеоном (мой дед Брюль давно умер), за двумя десятками дядей и теток с обеих сторон, за многочисленными двоюродными братьями и сестрами, за жизненными путями которых я следил так долго, как мог; мне до сих пор случается добывать сведения об их судьбе.

Отсюда — титул «штопальщика судеб», о котором впоследствии мечтал Мегрэ.

Я попытался углубиться в историю и проследить смену поколений в нашем роду.

Что касается симеоновской ветви, то совсем недавно благодаря книге одного университетского профессора, перерывшего все мэрии и ризницы церквей во фламандской провинции Лимбург, случай позволил мне дойти до XVII века.

До выхода этой книги я верил легенде, отзвуки которой слышал еще мой дед; я уже рассказывал ее. Согласно ей, наполеоновский солдат, бретонец по происхождению, раненный в

русском походе, остановился на поправку в бельгийском Лимбурге и, как в дешевом романе, женился на дочери приютившего его фермера.

Живя впоследствии в Бретани, я искал фамилию Сименон во всех телефонных справочниках провинции, но не нашел ничего даже отдаленно похожего. Розысков по всей Франции я не производил. А потом я узнал о существовании советского писателя по фамилии Семенов и задумался: а что, если раненым с лимбургской фермы был солдат вовсе не отступающей наполеоновской армии, а как раз напротив, русской, преследующей французов?

Интересно, что недели две назад этот писатель Семенов навестил меня в нашем домике. Это могла быть встреча родственников!

Но книга профессора Рюттена положила конец легендам. Уже в тысяча шестисотых годах один Сименон батрачил на фермах в окрестностях Лимбурга, то есть был, как говорят теперь, поденщиком — отдавал внаем свои руки и продавал свой пот за поденную, понедельную или помесячную плату.

Его дети, внуки и прапраправнуки продолжали работать на фермах все в той же провинции. Из этой однообразной генеалогии было всего несколько исключений: кюре, мельник, а в недавние времена помощник льежского епископа, двоюродный брат моего деда, с которым я был знаком, и сам мой дед Кретьен Сименон, в юности обошедший бродячим подмастерьем всю Европу с целью изучить шляпное ремесло.

Дед был одним из последних шляпников, обрекших себя на такое трудное ученичество, но зато он делал и цилиндры, еще бывшие в моде, когда я родился, и шляпы из черного фетра, секрет изготовления которого он узнал в Вене, и шляпы из итальянской соломки, и картузы.

Почему он решил обосноваться в Льеже, я не знаю.

Я ни разу не осмелился спросить его об этом. В детстве дед казался мне страшно грозным. Был он высоким, за метр восемьдесят, как мой отец и мои сыновья, и носил пышные бисмарковские усы, которые поседели у меня на глазах. Держался очень прямо, был немногословен, но, когда говорил, понять его живописный язык было затруднительно: дед мешал французские, фламандские, немецкие, итальянские и бог знает еще какие слова.

Когда клиент спрашивал шляпу определенного фасона, дед молча оглядывал его, снимал мерку головы и шел к полкам выбрать шляпу. Водрузив ее на голову, клиент изумленно взирал на свое отражение в зеркале и позволял себе не соглашаться с

выбором деда:

— Вам не кажется, что она мне чуть-чуть велика?

— Нет, — лаконично отвечал дед.

— У меня впечатление, что цвет…

— Вам идет.

В лавке на улице Пюиз-ан-Сок не выбирали и не приказывали открывать десятки шляпных коробок. Если предложенная шляпа клиенту не нравилась, ему оставалось только уйти.

Каждое утро дед вместе с несколькими друзьями своего возраста купался в Маасе и брал меня с собой; на реке была огорожена купальня — в дно вбиты колья, натянуты веревки — и стояла многоярусная вышка для прыжков.

Небольшая компания стариков (по крайней мере мне, четырехлетнему ребенку, они казались глубокими стариками) занимала просторную кабину, в ней все раздевались; там я, например, обнаружил, что у рыжего комиссара полиции совершенно голое тело, зато у самого известного в городе сапожника спина и грудь заросли густым седым волосом.

Кретьен Сименон женился на настоящей валлонке, уроженке Льежа, дочери шахтера, который к старости ослеп; лицо у него было все в черно-синих точках, по которым можно узнать тех, кто долго работал в шахте. В течение многих лет я виделся с дедом в той самой кухне на улице Пюиз-ан-Сок, о которой столько уже рассказывал. Съежившись, он сидел в вольтеровском кресле и казался до смешного маленьким; дожил он чуть ли не до ста лет, каждое утро, постукивая палкой, совершал прогулку по кварталу и грыз при этом большие фиолетовые луковицы.

У моей бабушки была тусклая кожа, резкие черты лица и глаза серые, как платья, которые она обычно носила. Она родила тринадцать детей (двое или трое умерли в младенчестве) и для тех, кто, обзаведясь уже семьями, жил в Льеже, пекла хлеб, настоящий деревенский хлеб, который, зачерствев, становился еще вкуснее, чем свежий; каждое воскресенье все дети приходили за ним.

Мой отец был вторым сыном; старший же уехал в Брюссель, где у него был магазин зонтов и тростей: в ту эпоху мужчины ходили с тросточками, нередко даже из малаккского камыша, да еще с золотыми или серебряными набалдашниками.

О старшем моем дяде Гийоме в доме никогда не упоминали, потому что он развелся и женился вторично, за что был отлучен от церкви; в исключительно религиозном семействе Сименонов тяжело переживали этот позор.

Дядя Гийом, самый элегантный и самый непринужденный из всей семьи, как-то навестил мою мать и повез меня, двухлетнего,

в новый универсальный магазин, где обрядил в красный шерстяной костюмчик. Этим он совершил святотатство: я был посвящен Пресвятой Деве и до шести лет должен был носить только белое и голубое. Мама долго плакала, потом отстирала штанишки, которые я обмочил, отнесла костюмчик в магазин и как ни в чем не бывало обменяла на голубой.

Мой отец, а также мои дети — единственные Сименоны, получившие степень бакалавра, если не считать кюре и помощника епископа.

Отец был настолько лишен честолюбия, что, когда в благотворительном обществе, членом которого он являлся, организовали любительскую труппу, он выбрал себе роль суфлера.

В юности он поступил на службу в контору, представлявшую две швейцарские страховые компании, которые существуют и поныне. Буржуа, располагавшие свободными средствами, приобретали там для себя исключительное право заключать на соответствующей территории страховые договоры от имени той или иной международной компании.

Через несколько лет отец стал старшим над четырьмя служащими, работавшими в этой крохотной конторе; в стеклянной перегородке там было кассовое окошечко, как на вокзале. И вот наряду со страхованием от пожара появилось новое направление — страхование жизни. По старшинству отец имел право первого выбора. Верный своей клиентуре, он выбрал пожары, а его коллеге и другу Плюмье досталось страхование жизни, которое становилось все популярней, и Плюмье разбогател на нем. Я достаточно много рассказывал об отце и поэтому перейду к беглому обзору других членов нашей семьи в разных поколениях.

Дядя Люсьен, третий сын, стал ремесленником, столяром-краснодеревщиком и основал скромную мастерскую. Как и мой отец, он был счастлив на свой лад, ограничив свой горизонт мастерской, где приятно пахло деревом.

Самый младший мой дядюшка, Артюр, голубоглазый толстяк с розовой, как у младенца, кожей и старательно зачесанным хохолком, обожал шутки и розыгрыши.

Следуя в каком-то смысле по стопам своего отца, он основал мастерскую по пошиву кепок, поскольку тогда они были в моде; сейчас эта мода возрождается. Он женился на красивой женщине с печальной улыбкой; она умерла, родив ему сына.

Мальчика звали Морис, и моя мать взяла его к нам, пока он не вырос настолько, чтобы им мог заняться отец.

Морис, которого я знал младенцем, открыл впоследствии

кафе и, не спросив у меня позволения, назвал его «У Мегрэ»… Бросив первую жену и женившись снова, он стал владельцем гаража, а через несколько месяцев покончил с собой.

А что стало с другими Сименонами? Мой дед умер далеко за восемьдесят. Отец умер куда моложе его — в сорок четыре. Потом наступила очередь дядюшки-столяра — он умер от приступа грудной жабы.

У него был сын, еще выше ростом, чем он, студент, похоже, подававший большие надежды. Будучи проездом в Женеве, он поскользнулся в гостинице в ванной комнате и убился. А его мать Катрин, которая в юности была портнихой, жила в крайней бедности, но прожила почти так же долго, как моя мать; она торговала около школы конфетами с лотка. Я узнал, что последние три года жизни она провела прикованная к постели.

А теперь о тетушках. Старшая, Франсуаза, родившаяся за год до моего отца, была красива, смугла, исполнена достоинства; она вышла замуж за ризничего церкви святого Дениса, доброго и чудаковатого дядю Шарля, от которого всегда пахло ладаном. Он увлекался фотографией, и благодаря ему у меня есть несколько снимков, на которых изображены мы с братом в детстве.

У тети Франсуазы и дяди Шарля было двое детей, мальчик и девочка. Их сына я почти не помню: он рано ушел из дома, пошел по скверной дорожке, разумеется, с точки зрения Сименонов, у которых была семейная скамья с высокой спинкой в церкви святого Николая. Во время службы мой дед обходил ряды прихожан и, протягивая медную чашку на длинной палке, бормотал:

— Пожертвуйте ради святого Роха.

А когда в чашку падала монетка, следовало:

— Бог воздаст.

Остаток мессы дед проводил за тем, что опускал монетку за монеткой в щелку ларца, ключ от которого имелся только у кюре.

Тетя Франсуаза умерла от двусторонней пневмонии, которую тогда не умели лечить; она так и не узнала, что сын ее пошел по скверной дорожке.

У дочери ее было удлиненное, удивительно правильное и выразительное лицо; поэтому ее всегда выбирали представлять в ежегодной процессии Пресвятую Деву. Росла она, как говорится, в святости и благодати, а когда выросла, ноги у нее оказались слабые, отчего при ходьбе она покачивалась. Она влюбилась в сына привратника церкви святого Николая, но так и не открылась ему, да кроме того, была уже обручена. Позднее, живя в Париже, я узнал, что кузина умерла, так и не успев выйти замуж.

А вот отцовская сестра мать Мария Магдалина, монахиня

ордена урсулинок и преподавательница коллежа, всегда была для меня загадкой. Я прекрасно знал тетушку, потому что мы часто навещали ее по воскресеньям в монастыре урсулинок, расположенном в Ане, в верхней части города. При монастыре имелся пансион для девушек из богатых семейств. Тетушка была жизнерадостна, но жизнерадостность ее казалась приглушенной, как атмосфера монастыря. Нас там приглашали отведать сладких пирожков, испеченных монахинями; таких вкусных я нигде больше не ел. И нигде не пил такого вкусного кофе с молоком.

Урсулинки носят рогатые крахмальные чепцы, закрывающие голову и щеки и выдающиеся сантиметров на десять перед лицом; целуя тетю, я вечно царапался о жесткий чепец.

По душевной ли склонности стала она монашкой? Позднее я усомнился в этом. Каждая послушница выбирает имя, которое будет носить после пострига. Почему тетя выбрала имя знаменитой евангельской грешницы Марии Магдалины? Вероятно, не случайно.

Она мирно угасла в своей постели незадолго после того, как отметила свое восьмидесятилетие.

Но почему все-таки она выбрала имя Мария Магдалина, если не познала любви и не поддалась естественнейшему человеческому инстинкту, который Ватикан относит к разряду смертных грехов?

Толстощекий шутник дядя Артюр довольно поздно бросил ремесло кепочника и стал привратником в городской ратуше, носителем серебряной цепи. Перевалив за семьдесят пять, он умер — тоже от грудной жабы.

Вот почти все, что мне известно о Сименонах. А сейчас я расскажу о семейной традиции, которая жила, видимо, во многих поколениях. Мой дед звался Кретьен. У отца и моих дядьев были тройные имена, и во всех повторялось это имя. У меня тоже: полностью я зовусь Жорж-Жозеф-Кретьен. Моего брата звали Кристианом, а это в большинстве языков — эквивалент Кретьена. У троих моих сыновей одно из имен либо Кретьен, либо Кристиан.

Не знаю, продолжил ли традицию сын моего старшего, Марка. Я, впрочем, даже не уверен, что он крещен.

Мне остается еще рассказать о тете Селине, самой младшей из всех, высокой, красивой девушке с длинными каштановыми волосами, вышедшей замуж за рабочего, делавшего сейфы. Она единственная из всех детей осталась на улице Пюиз-ан-Сок, и там же поселился ее муж. Бабушка успела научить ее готовить излюбленные семейные блюда. Состарившись, дед очень держался своих вкусов, например любил говядину, жаренную с

салом, луком и морковью, и пивной суп с пряниками, который мне никогда не нравился.

Когда задолго до смерти дед разделил имущество между детьми, шляпную мастерскую он передал Леону, мужу Селины, при условии, что дочка будет заботиться о нем до самой его смерти. А кепочнику Артюру, надеявшемуся стать шляпником, пришлось пойти привратником в ратушу. Мой же отец, мечтавший о старинных часах с боем, медным маятником и секундной стрелкой, которые висели в кухне на улице Пюиз-ан-Сок, получил старую кофейную мельницу; я помню, как еще мой слепой прадед молол на ней кофе, зажав ее между колен, а мы, дети, просили дать покрутить ручку.

Мой брат умер не то в сорок, не то в сорок пять лет далеко от улицы Пюиз-ан-Сок и от Европы. Двадцать лет он прожил в Бельгийском Конго, а во Вьетнаме попал в засаду и погиб.

19 октября 1979

Я решил завершить двадцать первый том серии, названной мною «Я диктую». Более шести лет назад, начиная эту серию, я надеялся открыть себя самого. Удалось ли мне это? Начинаю сомневаться.

Знаю только, что, даже если буду упорствовать и продолжать диктовать, дальше все равно не смогу пойти.

Этот двадцать первый том, который выйдет в свет примерно через два года, потому что в типографии ждут очереди предыдущие тома, будет последним в серии.

Но это вовсе не значит, что я оставлю магнитофон. В течение двух, а то и шести месяцев он мне еще понадобится, чтобы диктовать другие тексты, о которых я знаю или, верней, предчувствую только, что они будут самыми разными. Еще совсем юным я ощутил потребность в самовыражении. Я много писал, много диктовал. Не представляю, как бы я мог жить молча.

notes

Примечания

1

В 70-е годы в нашей стране опубликованы две посвященные ему книги: Модестова Н. А. Комиссар Мегрэ и его автор (социально-психологический детектив Жоржа Сименона). Киев, 1973; Шрайбер Э. Л. Жорж Сименон. Жизнь и творчество. Л., 1977, второе, дополненное издание — Л., 1984.

2

«Когда я был старым» (1971) в отличие от цикла «Я диктую» — дневник, который писатель вел в 1959–1963 гг.; на некоторых его страницах мы находим своеобразную хронику наиболее значительных событий международной жизни — на Кубе, в Конго, в Алжире.

К автобиографическим книгам Сименона можно отнести также повесть «Я вспоминаю» (1941, опубл. в 1944), отчасти «Письмо к моей матери» (1974). Воспоминания о детстве и юности писателя легли в основу его романов «Дождь идет, пастушка» (1941) и «Педигри» (1948).

3

Трагической истории Мари-Жорж Сименон посвятил последнюю свою книгу «Семейные мемуары», Париж, 1981.

4

Бальзак. Собр. соч. в 15 томах, М., 1952, т. 3, с. 13.

5

Жорж Сименон. «Самые добрые пожелания» — «Советская Россия». 11 февраля 1983 г.

6

Леру Гастон (1868–1927) — французский писатель, автор детективных романов. Его Рультабиль — один из первых в литературе сыщиков-«любителей». По словам Сименона, Рультабиль произвел на него, как и на многих других молодых людей, неизгладимое впечатление. Будущий писатель некоторое время даже носил плащ «под Рультабиля» и, подобно своему герою, курил коротенькую трубку.

7

«Аксьон Франсэз» — созданная в начале нашего века крайне правая монархическая организация, многие члены которой в годы второй мировой войны сотрудничали с оккупантами; распущена в 1944 г.

8

Пуанкаре Раймон (1860–1934) — французский политический и государственный деятель; ряд лет — премьер-министр, в 1913–1920 гг. — президент республики. В I мировую войну — сторонник «войны до победного конца». В период гражданской войны в Советской России — один из организаторов антисоветской интервенции.

9

Граф Парижский Анри д'Орлеан (р. 1908) — один из претендентов на упраздненный еще в 1870 г. французский престол. В 1979 г. выпустил книгу воспоминаний «На службе Франции».

10

Рубленая свинина или гусятина, зажаренная в сале. — *Здесь и далее прим, перев.*

11

Серо-голубая палата — серо-голубым был цвет формы французской армии в I мировую войну. Сименон здесь имеет в виду милитаристские и шовинистические настроения среди депутатов парламента в первые годы после войны.

«Родословная» *(англ.)*.

13

Почтенные буржуа Льежа и Вервье узнали себя в героях романа, против Сименона был возбужден ряд дел по обвинению в диффамации.

14

Заместитель бургомистра в Бельгии и Голландии.

15

«Интернэшнл телефон энд телеграф компани».

16

Общество литераторов — организация по охране прав французских писателей, основанная романистом Луи Денуайе в 1838 г.

17

Дювернуа Анри (1875–1937) — французский романист и драматург.

18

Колетт Сидони Габриель (1973–1954) — французская писательница, автор многочисленных романов, новелл и нескольких книг воспоминаний. Именно ею осуществлялся отбор рассказов для публикации в «Матен», где Колетт одновременно вела театральную хронику.

19

Куртелин Жорж (1858–1929) — французский новеллист и драматург. Значительную часть своего времени проводил в кафе и бистро, где находил сюжеты и персонажей для многих своих произведений.

20

Вогезская (первоначально — Королевская) площадь — одна из архитектурных достопримечательностей Парижа. Сооруженная в XVII в. площадь была местом прогулок аристократической публики, а также местом проведения дуэлей. На ней жили госпожа де Севинье, кардинал Ришелье, писатели А. Доде и В. Гюго, музей которого находится здесь в доме № 6, по преданию, здесь жила куртизанка Марион Делорм, героиня одноименной драмы Гюго, и некоторые другие не менее замечательные исторические персонажи.

21

Богема Монпарнаса — к тому времени, когда Сименон появился в Париже, космополитическая богема — художники разных национальностей, и начинающие, и уже завоевавшие некоторую известность, — спустилась с высот Монмартрского холма на левый берег Сены в район бульвара Монпарнас. Здесь они делили время между своей работой и местными кафе, завсегдатаями которых стали и Сименон с его молодой женой. Разразившийся в 1929 г. мировой экономический кризис нанес непоправимый удар этому центру парижской художественной жизни, хотя вплоть до начала войны Монпарнас с прилегающими к нему улицами, его кафе и кабачками оставался притягательным местом для многих писателей, в частности сюрреалистов.

22

Шарик (*франц.*).

23

«Ротонда» — открытое в 1911 г. кафе на бульваре Монпарнас. В 10-е годы его часто посещали некоторые русские политэмигранты. В настоящее время кафе переделано в кинотеатр.

24

Паскин Джулиас Пинкас (1885–1930) — американский художник родом из Болгарии. Творческая его деятельность протекала во Франции. Излюбленный жанр — ню.

25

Кислинг Моиз (1891–1953) — французский художник, выходец из Польши. Основная часть творческого наследия Кислинга — портреты, ню, натюрморты.

26

Вламинк Морис де (1876–1958) — французский художник, портретист и пейзажист, один из ярких представителей фовизма.

27

Фужита — имя, под которым во Франции известен японский художник Фудзита Цугахару (1892–1974).

28

Камарг — болотистая местность в дельте реки Роны.

29

Прозвище короля Генриха IV.

30

«Господин Галле скончался», «Повесившийся на дверях церкви Сен-Фольен», «Коновод с баржи, Провидение»».

31

Автобусы с открытыми площадками, на которых можно было даже курить, курсировали по Парижу еще в начале 60-х годов.

32

Двести четырнадцать.

«Не беспокоить» (*англ.*).

34

Фош Фердинанд (1851–1929) — маршал Франции; в 1918 г. — главнокомандующий войск Антанты. На одной из площадей Парижа установлен памятник Фошу — конная статуя.

35

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — политический и государственный деятель Великобритании, лидер либеральной партии. В 1916–1922 гг. — глава коалиционного правительства. Один из участников Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. и создателей Версальского мирного договора.

36

Павлова Анна (1885–1931) — русская балерина. Дочь солдата и прачки, она стала звездой первой величины в мировом балете. Главные роли — в балетах Адана, Чайковского, Минкуса и др. Для нее М. Фокин поставил танец «Лебедь» (позже — «Умирающий лебедь») на музыку Сен-Санса.

37

Рубинштейн Артур (1887?—1982) — польский пианист. В 1946 г. принял американское подданство, с 1954 г. жил преимущественно во Франции. Автор автобиографической книги «Мои молодые годы» (1973).

38

Леблан Морис (1864–1941) — французский писатель, автор детективных и приключенческих романов, главным героем которых чаще всего был Арсен Люпен, «грабитель-джентльмен».

39

Французское идиоматическое выражение, равнозначное русскому «белая ворона». Фамилия Мерль означает «дрозд».

40

Жансон Анри (1900–1970) — французский журналист, кинодраматург и сценарист (фильмы «Пышка», «Фанфан-Тюльпан» и др.).

41

Лазарев Пьер (1907–1972) — французский журналист.

42

Кессель Жозеф (1898–1979) — французский писатель, автор романов, в которых нашел отражение его богатый опыт журналиста и путешественника.

43

Эпоха Сен-Жермен-де-Пре — конец 40-х — начало 50-х гг., когда кафе квартала старинной церкви Сен-Жермен-де-Пре и одноименная площадь были излюбленным местом встреч парижской интеллигенции, в частности последователей экзистенциалистской философии (в особенности кафе «Де Маго»); здесь несколько лет жили Ж. П. Сартр и С. де Бовуар. В те же годы в квартале собиралась анархически настроенная молодежь с ее подчеркнутым аполитизмом, интересом к ультрамодернистскому искусству и «свободными» нормами поведения и нравами. К этому поколению Сен-Жермен-де-Пре отчасти принадлежал и талантливый романист, драматург и джазовый музыкант Б. Виан (1920–1959).

44

Гитри Саша (1885–1957) — французский актер и драматург. Пьеса «Отец был прав» написана им в 1919 г.

45

Бразийак Робер (1909–1945) — французский писатель и критик. Во время войны сотрудничал с оккупантами.

46

Дочь Ж. Сименона.

47

Полан Жан (1884–1968) — французский писатель и критик. Один из основных сотрудников, с 1953 г. — главный редактор литературного журнала «Нувель ревю франсэз». Видимо, последнее обстоятельство, а также его весьма плохое знакомство с реальной жизнью, о котором говорит Сименон, и объясняют данное ему прозвище Папа римский.

48

Сименон имеет в виду роман «Дамское счастье» (1882), работая над которым Э. Золя опирался на историю возникновения первых больших парижских универсальных магазинов «Лувр», «Бон-Марше» и других.

49

Во время крестовых походов (XI–XIII вв.) средневековых крестьян не столько «соблазняли», сколько заставляли идти за тридевять земель на мусульманский восток воевать с «неверными» за совершенно чуждые им интересы.

50

Трудно сказать, кому именно хотел приписать Сименон эти слова; подобную мысль на протяжении веков высказывали многие. Так, в прологе к комедии «Евнух» древнеримского драматурга Публия Теренция (ок. 185–159 до н. э.) можно найти рассуждения о том, что все персонажи, все роли и ситуации современного ему театра уже встречались в комедиях его предшественников («Уже нельзя сказать ничего, чего не было бы сказано раньше»).

51

Отцы минориты — члены одного из подразделений монашеского католического ордена францисканцев.

52

Во Франции отсчет классов в школе идет в порядке, обратном нашему: старший класс — первый.

53

«Коллекция Бюде» — выходившее во Франции собрание произведений древних авторов. Названо так по имени французского ученого-гуманиста Гийома Бюде (1467–1540), знатока древнегреческого языка и литературы.

54

Лабиш Эжен Марен (1815–1888) — французский драматург, работавший почти исключительно в жанре водевиля.

55

Елисейский дворец — резиденция президента Французской республики.

56

Сегюр (урожденная Софья Ростопчина) графиня де (1799–1874) — французская детская писательница. Родилась в России в семье московского губернатора.

57

Альбаре Селеста — экономка М. Пруста в последние восемь лет его жизни. Сименон имеет в виду ее книгу «Господин Пруст. (Воспоминания, собранные Жоржем Бельмоном)» (1973).

58

«В поисках обретенного времени» — Сименон оговорился: романа под таким названием у Пруста нет; есть роман «Обретенное время», опубликованный уже после смерти автора, в 1925 г.

59

Линдер Макс — сценическое имя Габриеля Лёвьеля (1883–1925), французского режиссера и комического актера. После скромного дебюта в одном из парижских театров Макс Линдер завоевал огромный успех как киноактер, став, в сущности, первой «звездой» в истории немого кино. Оказал несомненное влияние на молодого Чарли Чаплина.

60

Сен-Симон Луи де Рувруа герцог де (1675–1755) — французский политический деятель. В юности королевский мушкетер, позже — дипломат, Сен-Симон, в 1723 г. удалившись от королевского двора, посвятил себя литературной деятельности. Основную часть его творческого наследия составляют начатые им еще в двадцатилетием возрасте многотомные «Мемуары», дающие весьма интересную панораму быта и нравов эпохи Людовика XIV.

61

Бекер Жозефина (1906–1975) — американская эстрадная певица, негритянка. Значительная часть ее артистической деятельности прошла во Франции, куда она приехала с негритянским ревю «Черные птицы». Была участницей движения Сопротивления; вела активную антирасистскую пропаганду.

62

Фейдо Эрнест (1821–1873) — французский писатель, автор нескольких романов, имевших скандальный успех, и пьес.

63

Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский невропатолог, психиатр, основоположник психоанализа. Его представления о бессознательном в психике и поведении человека, о значении детского эмоционального опыта в душевной жизни взрослого, о постоянном влечении человека к эросу и смерти нашли широкое распространение в современной западной культуре. Идеи Фрейда оказали влияние на различные направления буржуазной социологии, философии, литературы и искусства.

64

Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог и психиатр, философ-идеалист. Как полагает Юнг, в психике человека, помимо индивидуального бессознательного, есть более глубокий слой — «коллективное бессознательное», которое является отражением опыта многих прежних поколений. По-видимому, первое, свойственное данному человеку, Сименон и называет новым сознанием, второе — родовым. Юнг оказал влияние на сравнительное изучение религий, мифологии, фольклора.

65

Антимемуары — Сименон имеет в виду «Антимемуары» французского писателя и политического деятеля А. Мальро (1901–1976), первая книга которых появилась в 1968 г.

66

Набережная Конти — на набережной Конти в Париже находится дворец, построенный в XVII в. в основном по проекту архитектора Ле Во. С 1805 г. декретом Наполеона здесь был размещен состоящий из пяти академий Французский институт. В нем и сейчас заседают сорок «бессмертных» — членов Французской Академии, основанной в 1635 г. кардиналом Ришелье. Ироническое отношение Сименона, как и многих других писателей, к «бессмертным» вполне объяснимо: в Академию избирались чаще всего по политическим мотивам люди благонамеренные и консервативные, но не оставившие никакого следа во французской культуре. В то же время в число «бессмертных» не попали Декарт и Мольер, Руссо и Стендаль, Бальзак и Флобер, Мопассан, Роллан, Аполлинер, Мартен Дю Гар, Арагон и многие другие выдающиеся деятели французской литературы, искусства и науки.

Почетный *(лат.)*

Заранее *(лат.)*

69

Баварская больница — названа так в честь Эрнста, герцога Баварского, принявшего духовный сан и бывшего в 1581–1584 гг. епископом льежским.

70

Стихотворение «Полдень» из сб. «Античные стихотворения», 1852. Пер. И. Поступальского.

71

Исав — библейский персонаж, сын Исаака; согласно библейской легенде, продал свое первородство младшему брату Иакову за чечевичную похлебку, когда усталый и голодный вернулся с охоты (Бытие, 25, 25–34).

72

Фовизм (от франц. fauve — дикий, хищный) — авангардистское течение во французской живописи начала XX в. Фовизм не имел четко сформулированной эстетической программы и являлся лишь выражением протеста против художественных традиций XIX в., стремясь утвердить новые живописные приемы. Течение объединяло разных по манере мастеров (Матисс, Вламинк, Дерен, Брак, Ван Донген и др.).

73

«Женщина-холостяк» (1922) — роман французского писателя Виктора Маргерита (1866–1942), не отличающийся большими литературными достоинствами, имел скандальный успех, отчасти благодаря хорошо поставленной рекламе. По роману было поставлено несколько фильмов (в 1923, 1933 и 1956 гг.). Шумным успехом пользовалась и сделанная по роману пьеса. За «Женщину-холостяка» В. Маргерит был вычеркнут из числа кавалеров ордена Почетного легиона, что, впрочем, лишь способствовало увеличению тиража его книги.

74

Жан Кокто (1889–1963) — французский писатель, поэт и драматург, театральный деятель, художник, киносценарист. Творческая деятельность Кокто была связана с разными современными авангардистскими течениями в искусстве — дадаизмом, кубизмом, сюрреализмом и др.

Раймон Радиге (1903–1923) — французский поэт, романист. Рано сблизился с кругами поэтов и художников — кубистов и дадаистов, под влиянием которых были написаны его первые стихи. В 1923 г. опубликовал психологический роман «Бес в крови», отчасти основанный на личном опыте; в нем описывается любовная связь подростка с женой находившегося на фронте солдата. Книга была воспринята как вызов «героической» и «патриотической» литературе о войне, оскорбление защитника родины, «пуалю». Осудил книгу, в частности, автор пацифистского романа «Деревянные кресты» Р. Доржелес. В 1947 г. кинорежиссер К. Отан-Лара поставил по роману фильм с Жераром Филипом в главной роли.

75

Онеггер Артюр (1892–1955) — французский композитор и музыкальный деятель. Среди его наиболее значительных произведений — драматическая оратория «Жанна д'Арк на костре» (1935), проникнутая антифашистским духом оратория «Пляска мертвых» (1938) и др.

Вместе с Л. Дюреем, Д. Мито, Ж. Ориком, Ф. Пуленком, Ж. Тайфером входил в содружество французских композиторов «Шестерка», которое стремилось к обновлению музыкального искусства.

76

Орик Жорж (1899–1983) — французский композитор, автор балетов, музыки для кинофильмов, песен.

77

Пуленк Франсис (1899–1963) — французский композитор. Как и Орик, писал балетную музыку для труппы С. Дягилева «Русский балет». Автор ряда опер, песен на слова французских поэтов Аполлинера, Элюара, Арагона, Десноса и др.

Гарвардская школа руководителей производства (*англ.*).

79

Мэдисон-авеню — улица в Нью-Йорке, центр рекламной индустрии.

К этой мысли Сименон не раз возвращается в своих воспоминаниях, ошибочно приписывая ее Евангелию. «Не хорошо быть человеку одному» — так, согласно первой книге Ветхого завета (Бытие, 2,18), сотворив первого на Земле человека, Адама, сказал Бог и добавил: «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот тогда на свете появилась и первая женщина, Ева, сотворенная из ребра Адама. Рассуждения о пагубности одиночества можно найти и у Экклезиаста: «Двоим лучше, нежели одному», «Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его» и т. д. (Экклез., 4).

81

Новоорлеанский блюз — первоначально лирическая песня американских негров с берегов Миссисипи из района г. Новый Орлеан. Оказал большое влияние на формирование джазовой музыки. В текстах блюзов начала 20-х годов появились мотивы социального протеста.

82

Сименон вспоминает здесь стихотворение французского поэта и публициста Жана Батиста Клемана (1836–1903). В 1870 г. за стихи и памфлеты, направленные против режима Второй империи, он был подвергнут тюремному заключению, в 1871 г. был членом Парижской Коммуны, которую воспел во многих стихах. Стихотворение «И вот пришла пора черешен» было положено на музыку А. Ренаром.

83

Термины игры в шары.

84

Бурре — народный танец французской провинции Овернь.

85

Парфенон — храм богини Афины в Афинах, один из величайших памятников древнегреческого искусства (V в. до н. э.). В XVII в. при осаде Акрополя венецианцами во время войны с турками подвергся разрушениям. В начале XIX в. англичане вывезли в Англию снятые с Парфенона статуи и выломанные из стен барельефы.

86

Гаррота — орудие пытки или казни путем удушения. Один из современных французских словарей указывает, что гаррота некогда применялась в Испании; однако еще в 1963 г. с помощью гарроты был казнен испанский коммунист Хулиан Гримау.

Избранное общество *(англ.)*.

88

«Делаж» — марка спортивного автомобиля по имени французского автомобильного конструктора Луи Делажа (1874–1947).

89

Омон Жан Пьер — известный французский драматический актер.

90

Спиричуэлс — духовные песни американских негров, один из жанров их музыкального фольклора. Эти песни передают преимущественно трагические настроения, хотя иногда в них звучат и ноты протеста.

91

Сименон имеет в виду вышедшие в 1976 г. сборники его репортажей 20–30-х гг. «Открывая Францию» и «В поисках человека».

92

Пэпис (или Пэпс) Сэмюэл (1633–1703) — английский политический деятель и мемуарист. Его обширный «Дневник», отмеченный большой наблюдательностью, дает местами превосходную картину нравов целого периода в жизни Англии.

93

В день битвы при Ватерлоо, дав по семафорному телеграфу ложное сообщение о победе французов, банкир Ротшильд устроил на лондонской бирже панику, которая принесла ему огромные барыши.

94

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–1935) — французский писатель и эссеист, автор психологических романов из жизни светского и буржуазного общества, в которых выступал с проповедью католических и антидемократических идей.

95

Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель, произведения которого проникнуты индивидуализмом и католицизмом.

96

Популярная в 30-е гг. песня, исполнявшаяся Морисом Шевалье.

97

«Республика приятелей» (1913) — сатирический роман французского журналиста Робера де Жувенеля (1881–1924).

98

Амин Дада Иди (р. 1926) — политический деятель Уганды. Пришел к власти в 1972 г. в результате военного переворота. Президент Уганды до 1979 г., когда в ходе гражданской войны был изгнан из страны. Отличался необыкновенной жестокостью.

99

Катастрофа в Севезо — в 1976 г. на химическом заводе транснационального концерна Гофман-Лароша в итальянском городе Севезо под Миланом произошла катастрофа, в результате которой в атмосферу был выброшен сильный яд диоксин. Одного килограмма этого яда достаточно, чтобы убить несколько миллионов человек.

100

Сад Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де (1740–1814) — французский писатель. Значительную часть жизни провел в тюрьмах за совершенные им преступления на сексуальной почве. Автор многочисленных романов, в которых содержится описание различного рода извращений, эротические видения. От имени Сада произошло понятие садизм. В XIX в. писаниям Сада не придавали особого значения, а после I мировой войны сюрреалисты обнаружили в его произведениях нечто для себя близкое. Вторая волна интереса к Саду приходится на период после II мировой войны, когда Сада пытались представить едва ли не как борца против буржуазной морали, за «раскрепощение» человека.

101

Дерен Андре (1880–1954) — французский художник и скульптор, один из представителей фовизма.

102

Гарсон Морис (1889–1967) — французский адвокат, историк и публицист.

103

Севинье Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де (1626–1696) — французская писательница. Известна прежде всего своими письмами к дочери, которые писала на протяжении 20 лет; в них она рассказывала о жизни Парижа и Версаля, критиковала некоторые стороны жизни двора, внешнюю политику монархии. Под ее пером эпистолярная проза стала подлинным искусством.

104

Имеется в виду Ги Дрю (р. 1950), победивший в беге с барьерами на дистанции 110 м.

105

Ремю — сценическое имя французского актера Жюля Мюрера (1883–1946).

106

Пулидор Ремон (р. 1936) — французский велогонщик-профессионал.

107

По инициативе Пьера де Кубертена (1863–1937), французского общественного деятеля, педагога, активного пропагандиста спортивных игр, в 1896 г. были проведены первые Олимпийские игры нашего времени.

108

Порто-Риш Жорж (1849–1930) — французский драматург.

109

«Путешествие маленького савояра по Франции» — Сименон имеет в виду роман «Без семьи» (1878) французского писателя Гектора Мало (1830–1907).

110

«Максим» — и в наши дни, и в описываемое Сименоном время один из самых дорогих парижских ресторанов. Открыт в 1892 г. неким Максимом Гайяром как нечто вроде трактира для кучеров фиакров. Видимо, такая «экзотика» в центре города очень скоро привлекла в «Максим» «шикарную» публику — посетителей расположенной недалеко от ресторана Оперы, актеров, «золотую молодежь» Парижа.

111

«В поте лица своего будешь есть хлеб свой» — так, согласно Библии, сказал Господь Бог, изгоняя из рая провинившихся Адама и Еву (Бытие, 3, 19).

112

«Стиль — это человек» — афоризм, принадлежащий французскому ученому-естествоиспытателю и писателю Ж. Л. Бюффону (1707–1788).

113

Селин (наст. имя Луи Фердинанд Детуш) (1894–1961) — французский писатель, стиль которого отличается неровностью.

Имеется в виду одеяние академика.

115

Сартин Антуан Габриель де (1729–1801) — французский политический деятель; возглавляя парижскую полицию, способствовал значительному совершенствованию ее организации, улучшению освещения улиц Парижа.

116

Речь идет о том, что 24 декабря 1976 г. на одной из парижских улиц наемным убийцей был застрелен запутавшийся в сомнительных финансовых аферах бывший министр, депутат Национального собрания герцог де Брой.

117

Ставиский Александр (1886–1934) — русский эмигрант, главное действующее лицо скандальной финансовой аферы, разразившейся во Франции в 1933–1934 гг. Сименон, занимавшийся делом Ставиского по заданию газеты «Пари-суар», характеризовал Ставиского и его окружение как гангстерскую шайку в самом прямом и точном смысле слова. Расследование «дела» повлекло за собой отставку замешанных в нем депутатов Национального собрания, таинственные исчезновения людей и документов, ряд самоубийств и т. д. Речь шла о многих сотнях миллионов франков. По официальной версии, покончил с собой и сам Ставиский, однако были все основания предполагать, что его, как человека, слишком много знавшего, попросту говоря, «устранили».

118

Синдония Микеле — сицилийский банкир, тесно связанный с мафией и реакционной профашистской ложей П–2 (Пропаганда–два). Был обвинен во многих финансовых аферах как в Италии, так и в Соединенных Штатах.

119

Название провинций в Бельгии и Нидерландах и города в ФРГ, земля Гессен.

120

Саваоф — одно из библейских названий бога, подчеркивающее его всемогущество; «саваоф» на древнееврейском языке означает «воинство».

121

Анисовый аперитив.

122

Секретарь Сименона.

123

Беллетристика (англ.).

124

Маджента — город в Северной Италии, близ которого в июне 1859 г. союзные франко-итальянские войска разбили австрийскую армию.

125

Фешенебельный курорт во Франции на берегу Средиземного моря.

126

Пикар Огюст (1884–1962) — швейцарский инженер и ученый-физик; в начале 30-х гг. поднялся на стратостате на высоту 16 940 м, а в 1953 г. опустился в созданном им батискафе на глубину 3150 м.

127

Булимия — волчий голод; возникающее в виде приступов чувство мучительного голода, обычно при некоторых нервных и психических заболеваниях. Здесь — в переносном смысле: особенная тяга к чтению газет и журналов.

128

Добрый самаритянин — персонаж евангельской притчи (Еванг. от Луки, X, 25–37), оказавший помощь брошенному на дороге разбойниками умирающему человеку; олицетворяет милосердие между людьми, невзирая на различие во взглядах, на расовые и религиозные расхождения.

129

«Девочка со спичками» («Маленькая торговка спичками») — фильм был поставлен Ж. Ренуаром в 1928 г. по одноименной сказке Г. Х. Андерсена с К. Хесслинг, женой режиссера, в главной роли.

130

Жуве Луи (1887–1951) — французский актер театра и кино, режиссер.

131

«Порт-Сен-Мартен» — парижский театр, основанный в 1771 г. как театр мелодрамы. В начале XIX в. в нем происходили костюмированные балы. Расцвет театра связан с романтической драмой; в нем состоялось первое представление драмы В. Гюго «Марион Делорм». В конце XIX — начале XX в. театр был одним из центров литературно-театральной жизни Парижа.

132

Бор Гарри (1880–1943) — французский актер.

133

Ага-Хан — титул главы мусульманской секты исмаилитов. Здесь имеется в виду Мохаммед Шах Ага Султан Хан III (1877–1957), политический деятель и меценат.

134

Дювивье Жюльен (1896–1967) — французский кинорежиссер; им, в частности, был поставлен известный советским зрителям фильм «Мари-Октябрь» (1959).

135

Дамиа — сценическое имя Мари-Луизы Дамьен (р.1889), французской эстрадной актрисы, певицы. Дамиа выступала также с чтением стихов, играла в театре, снималась в кино.

Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique — Общество драматургов, композиторов и музыкальных издателей.

137

Гют Поль (р. 1910) — французский писатель-юморист, драматург и романист; наибольшим успехом пользуется цикл его романов, в котором он создал тип простака — «Наивного»; с помощью этого персонажа Гют показывает разные аспекты современной жизни.

138

Дютур Жан (р.1920) — французский писатель, романист и эссеист.

139

Блюм Леон (1872–1950) — лидер и теоретик Французской социалистической партии, в 1936–1938 гг. глава правительств Народного фронта.

140

Селье Ганс (р. 1907) — канадский патолог. Сформулировал т. н. концепцию стресса.

141

Франциск Ассизский (1182–1226) — итальянский религиозный деятель и писатель.

142

«Человек человеку волк» — выражение, восходящее к латинским авторам; было подхвачено и прокомментировано английскими философами XVIII в. Гоббсом и Бэконом.

143

«Оставь надежду всяк сюда входящий» — слова из надписи над вратами ада в третьей песне поэмы Данте «Ад».

144

Понсон дю Террай Пьер Алексис (1829–1871) — французский писатель, автор многочисленных романов, главным героем которых был Рокамболь, впервые появившийся в его «Парижских драмах».

145

Монтепен Ксавье де (1823–1902) — французский писатель, автор т. н. романов-фельетонов (печатавшихся из номера в номер в газетах), снискавших ему большую известность. Перу Монтепена принадлежит, помимо страшных «Драм адюльтера» (1873), захватывающая история несчастной «Разносчицы хлеба» (1889), сын которой, впрочем, становится министром.

146

Декурсель Пьер (1856–1926) — французский писатель, автор большого числа популярных в свое время романов и мелодрам, в том числе драмы «Петербургские тайны» (1905). Наиболее известный среди его романов — «Преступление святой» (1889).

147

«Невинная и поруганная» — роман популярного в 20-х гг. нашего века поставщика развлекательного чтения Шарля Мерувеля.

148

Фантомас — герой серии детективных романов Марселя Аллена (р. 1885) и Пьера Сувестра (1874–1914).

149

Оне Жорж (1848–1918) — французский драматург и романист, в конце XIX в. пользовавшийся широкой популярностью.

150

Лаведан Анри (1859–1940) — французский журналист и драматург; интересовался историей и написал сценарий для фильма «Убийство герцога Гиза» (1908), который некоторые историки кино не без основания считают первым художественным фильмом.

151

Терье Андре (1833–1907) — мало чем примечательный французский романист.

152

Кар Ги де (р. 1911) — французский писатель-романист, отличающийся чрезвычайной плодовитостью.

153

Ментенон Франсуаза д'Обинье маркиза де (1635–1719) — внучка поэта Агриппы д’Обинье, была замужем за поэтом и автором «Комического романа» Скарроном; любовница, потом морганатическая супруга Людовика XIV; ханжа и обскурантистка.

154

Новый мост (Пон-Нёф) — самый старый мост Парижа. Сооружение его закончилось в первые годы XVII в. Со своими лавками, бродячими торговцами, «артистами» и женщинами легкого поведения Новый мост некоторое время был одним из центров парижской жизни. Однако на мосту нашли убежище шайки воров и грабителей, которые не стеснялись выбрасывать свои жертвы в воды Сены, и в XVIII в. все строения, находившиеся на мосту, были снесены.

155

«Чешуи змей, у нас шипящих на челе…» — строка из трагедии Ж. Расина «Андромаха» (V, 5).

156

«Глаз из могильной тьмы на Каина глядел». — Строка из стихотворения В. Гюго «Совесть» (поэтическая книга «Легенда веков», состоящая из трех циклов, опубликованных в 1859, 1877 и 1883 гг.).

157

Сименон имеет в виду скульптурную группу скачущих лошадей на т. н. Большом дворце, который, как и сооруженный напротив него Малый, был построен в Париже к Всемирной выставке 1900 г.

158

В ноябре 1978 г. в заброшенном среди джунглей южноамериканской республики Гайаны поселке Джонстаун совершили коллективное самоубийство или были убиты несколько сот (около тысячи) человек, членов религиозной секты «народный храм» во главе с неким Джонсом, фанатиком и, как выяснилось позже, агентом ЦРУ. Секта «народный храм» была создана в США еще в середине 50-х гг., а позже около 1200 ее членов перебрались в Гайану. Были основания утверждать, что все они послужили подопытным материалом для бесчеловечных «психологических» экспериментов ЦРУ. Когда в Гайане возникла угроза разоблачения, члены секты, ее руководители и оказавшиеся там свидетели были уничтожены.

159

Имеется в виду вторая армянская резня в Турции в 1909 г. при султане Абдул-Хамиде II (1876–1909).

Люкс Ги (р. 1920), Зитрон Леон (р. 1914), Стефан Роже (р. 1919) — французские радио- и тележурналисты.

161

Шансель Жак (р. 1928) — псевдоним французского радиожурналиста Жозефа Крампа.

162

Ньепс Жозеф Нисефор (1765–1833) — французский физик, изобретатель, один из создателей фотографии.

163

Люмьер братья Луи Жан (1864–1948) и Огюст (1862–1954) — французские изобретатели, разработали конструкцию аппарата для съемки и проекции движущейся фотографии, тем самым положив начало современному кинематографу.

Ныне Калимантан.

165

Речь идет о Католической лиге 1576 г. — объединении части духовенства и дворянства во главе с Гизами во время религиозных войн во Франции.

166

Куртизанки периода «прекрасной эпохи» — начала 1900-х гг. Вместе с Лианой де Пужи за красоту и, видимо, за умение с необычайной быстротой проматывать огромные состояния своих «покровителей» были прозваны «тремя великими». Выступали в кабаре, иногда — в театрах на Больших бульварах, где пели и танцевали. Каролина Отеро, сумевшая в течение своей блистательной карьеры обольстить даже одного из русских великих князей, действительно имела богатую виллу на Лазурном берегу на юге Франции, однако вынуждена была ее продать и в 1965 г. закончила свою жизнь в меблированных комнатах в Ницце в почтенном возрасте 97 лет. Эмильена д'Алансон никакого отношения к герцогам д'Алансон не имела, но отличалась тягой к великосветским кругам и своим возвышением была обязана соблазненному ею молодому герцогу д'Юзес.

167

Бернарден де Сен-Пьер Жан Анри (1737–1814) — французский писатель, автор романа «Поль и Виржиния», повествующего о любви двух юных существ на лоне дикой, не тронутой человеком природы.

168

В утверждении о том, что Вольтер был личным врагом Руссо, есть некоторое преувеличение, хотя философы существенным образом расходились в мнениях по многим вопросам. Так, Вольтер резко напал на книгу Руссо «Письма с горы» (1764), критикуя не только философскую доктрину автора, но и ряд моментов его личной жизни и поведения. Свои полемические заметки оставил Вольтер и на полях другой книги Руссо — «Эмиль, или О воспитании» (1762).

169

Валентино Рудольф (1895–1926) — американский киноактер, выходец из Италии (наст. имя Альфонсо Гулиельми). Актер, в общем посредственный, пользовался совершенно необыкновенным успехом (особенно у зрителей-женщин) и стал едва ли не первым в истории кино «идолом» широкой публики. Прославился в фильмах «Четыре всадника Апокалипсиса» и «Шейх». Длительная посмертная слава Рудольфа Валентино в большой степени объясняется тем, что он умер молодым, до появления звукового кино, встречи с которым не выдержали многие по-настоящему талантливые актеры.

170

Бернар Тристан (наст, имя Поль) (1866–1947) — французский романист и драматург.

171

Капю Альфред (1858–1922) — французский драматург.

172

Франц. gaulois — «галл, галльский» означает также «шутливый, вольный, грубоватый».

173

Жакоб Макс (1876–1944) — французский поэт, художник, драматург и романист. В начале своей литературной деятельности был связан с кубизмом и некоторыми другими течениями современной ему литературной и художественной жизни. Фигура весьма своеобразная и оригинальная, Жакоб, выходец из еврейской семьи, после «видений» Христа, неоднократно являвшегося ему в его комнате в Париже, перешел в католичество и на долгие годы удалился в Сен-Бенуа-сюр-Луар, местность, знаменитую своим монастырем и старинной церковью.

174

«Клозри де Лила» — популярное среди писателей (в частности, сюрреалистов), особенно в 30-е гг., кафе. Сименон ошибается: кафе это находится не на бульваре Сен-Мишель, а на бульваре Монпарнас.

175

Фор Поль (1872–1960) — французский поэт, драматург, деятель культуры. Первый поэтический сборник опубликовал в 1894 г., в 1912 г. собратьями по перу был провозглашен «королем поэтов». Фор содействовал развитию символической поэзии и театра, был основателем и директором Художественного театра, в котором ставились преимущественно символистские пьесы.

176

Леканюэ Жан (р. 1920) — французский политический деятель, министр в составе ряда правительств V Республики, ярый поборник «атлантизма».

177

Дебре Мишель (р. 1912) — французский политический деятель, активный сторонник генерала де Голля и его политики. Премьер-министр (1959–1962), министр в составе ряда правительств V Республики.

178

Сименон ошибается: Франция была разделена на департаменты еще до Наполеона. Основные законодательные акты, относящиеся к созданию департаментов, были приняты в 1789–1791 гг. В настоящее время Франция-метрополия (включая остров Корсику) насчитывает 96 департаментов.

179

Сименон имеет в виду то, что некоторые положения теорий А. Эйнштейна, выраженные в математических формулах, объективно способствовали созданию американской атомной бомбы.

180

Жарри Альфред (1873–1907) — французский писатель, один из представителей модернистской литературы на рубеже двух веков… Наиболее известное произведение — фарс «Король Юбю», содержащий элементы критики буржуазной действительности.

181

Папа Иоанн-Павел II, избранный на папский престол в 1978 г., в некоторых своих выступлениях и обращениях к верующим пытался вернуть церковь к ряду старых религиозных догм и представлений. Деятельность Иоанна-Павла II в значительной степени направлена против тенденций к обновлению, существующих в современной католической церкви.

182

«Тайфун» (1903) — небольшой роман английского писателя Джозефа Конрада (1857–1924). Поляк по происхождению (настоящая его фамилия Коженёвский), Конрад значительную часть своей жизни провел во Франции.

183

Сименон, по-видимому, имеет в виду незаконченный и опубликованный лишь после смерти Конрада роман «Тревожное ожидание».

184

Пиво Бернар (р. 1935) — журналист, ведущий французских телепередач «Апостроф», в ходе которых происходят дискуссии на литературные темы, писатели знакомят слушателей со своими новыми произведениями.

185

Абд аль-Кадир (1808–1883) — национальный герой алжирского народа, его вождь в национально-освободительной борьбе против французских колонизаторов (1832–1847).

186

Медичи Мария (1573–1642) — королева Франции, супруга Генриха III, мать Людовика XIII.

187

Сюркуф Робер (1773–1827) — французский мореплаватель, корсар. Под конец жизни — богатый судовладелец.

188

Брассер Пьер (1905–1972) — сценическое имя французского актера Пьера Эспинасса. Снимался в таких фильмах, как «Набережная туманов» (1938), «Дети райка» (1944) и др.

189

Декуэн Анри (р. 1896) — французский режиссер.

190

Дарье Даниель (р. 1917) — французская киноактриса. Снималась в фильме по роману Сименона «Правда о Бэби Донж» (1951). Известна советским зрителям по исполнению главных ролей в фильмах «Красное и черное» (1954), «Мари-Октябрь» (1959).

191

Ганс Абель (1889–1981) — французский драматург, сценарист и кинорежиссер.

192

Ван Донген Кес (1877–1968) — французский художник, голландец по происхождению, один из наиболее ярких представителей фовизма.

193

Солидор Сюзи (р. 1906) — французская эстрадная актриса, певица.

194

Эпштейн Жан (1897–1953) — французский кинорежиссер, теоретик кино.

195

Кавальканти Альберто (р. 1897) — английский кинорежиссер.

196

«Кабинет доктора Калигари» (1919) — фильм немецкого кинорежиссера Роберта Вине (1881–1938). Главный герой фильма доктор Калигари — гипнотизер, заставляющий своего медиума Цезаря совершать различные преступления.

197

Агиар Марсель (1899–1974) — французский драматург и сценарист.

198

«Метрополис» (1926) — фильм немецкого кинорежиссера Фрица Ланга (1890–1976); одну из ролей в нем исполняла немецкая актриса Бригитта Хельм (р. 1906).

199

Сутин Хаим (1894–1943) — французский художник; родился и до 1913 г. жил в Литве. Некоторые моменты биографии Сутина были использованы Сименоном в его романе «Маленький святой».

200

Отель «Матиньон» — резиденция французского премьер-министра.

201

Пруво Жан (1885–1978) — один из французских промышленных магнатов, владел рядом газет и журналов (в том числе «Фигаро», «Пари-матч» и др.).

202

В феврале дело Ставиского дополнилось делом Пренса. Советник Пренс, занимавшийся финансовой стороной афер Ставиского, располагал важными документами, которые он должен был передать в следственные органы, но по роковой случайности он «выпал» из поезда Дижон — Париж и разбился насмерть.

203

«Поэзия и правда» — автобиографическая книга Гёте (тома 1–4 изданы в 1811–1833 гг.), охватывающая ранний период его жизни и деятельности до переезда в Веймар.